ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

8

1981

8 НОВЫЙ МИР 1981

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г. № 8 Август, 1981 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ НАРОВЧАТОВ 2

РОДИНА — **Михаил Беляев, Николай Доризо, В. Баширов, Марк Зарецкий, Татьяна Глушкова** 3

ЛЕВ ГИНЗБУРГ — **Разбилось лишь сердце мое**, роман-эссе. *Игорь Костецкий.* В интересах сближения культур 11

ЧАРЛЬЗ СНОУ — **Лакировка**, роман. Окончание. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская 155

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ — **Расколотый остров.** Ирландские репортажи 174

В МИРЕ НАУКИ

К. ДОЛГОВ — **Ренессанс и политическая философия Макиавелли.** Окончание 193

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ — **Рождено современностью** 227

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 247

Б. Рунин. Бремя времени. — **Юрий Болдырев.** Долгая была война.

Политика и наука 254

Ким Селихов. Люди трудной профессии.— **В. Елисеева.** Восхождение.— **С. Кузнецова.** Индия: связь времен.

КОРОТКО О КНИГАХ 264

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ НАРОВЧАТОВ

Советская литература понесла большую утрату. 22 июля на 62-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончался видный советский писатель и общественный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда, секретарь правления Союза писателей СССР, главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Сергеевич Наровчатов.

Сергей Сергеевич Наровчатов родился 3 октября 1919 года в г. Хвалынске Саратовской области. Он принадлежал к писателям фронтового поколения Великой Отечественной войны. Со студенческой скамьи С. С. Наровчатов ушел добровольцем защищать Родину, проявил себя стойким бойцом и мужественным военным журналистом.

Более сорока книг стихов и поэм, литературоведческих исследований, очерков и рассказов, сборников воспоминаний — «Костер», «Священная война», «Фронтовая радуга», «Солдаты свободы», «Мы входим в жизнь» и многие другие — принесли С. С. Наровчатову широкое признание и любовь советских и зарубежных читателей.

Все творчество С. С. Наровчатова — образец неустанного служения делу Коммунистической партии, советского народа, родной литературе. Оно проникнуто духом партийности, беззаветного служения Родине, глубокого лиризма. Его произведениям присущи высокая культура, широта эрудиции, взыскательность ученого и художника. Своим самобытным талантом, мастерством и трудолюбием С. С. Наровчатов внес большой вклад в развитие советской многонациональной литературы. Много сил и энергии С. С. Наровчатов отдавал воспитанию творческой молодежи.

С. С. Наровчатов избирался членом МГК КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР, секретарем правлений Союза писателей СССР и РСФСР, возглавлял Московскую писательскую организацию, являлся членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям при Совете Министров СССР, членом Советского комитета защиты мира.

Партия и правительство высоко оценили боевые подвиги и творческие достижения С. С. Наровчатова: он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. За поэму «Василий Буслаев» ему была присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького.

Светлая память о писателе-коммунисте, прекрасном художнике, человеке большой души Сергее Сергеевиче Наровчатове навсегда сохранится в сердцах советских людей.

Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, М. С. Горбачев, В. В. Гришин, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Я. Пельше, М. А. Суслов, Н. А. Тихонов, Д. Ф. Устинов, К. У. Черненко, П. Н. Демичев, В. В. Кузнецов, Б. Н. Пономарев, М. С. Соломенцев, И. В. Капитонов, В. И. Долгих, М. В. Зимянин, К. В. Русаков, В. Н. Макеев, М. А. Яснов, В. Г. Афанасьев, А. А. Епишев, С. Г. Лапин, Б. И. Стукалин, Е. М. Тяжельников, В. Ф. Шауро, Б. Н. Пастухов, В. И. Кочемасов, Е. К. Федоров, А. М. Роганов, Г. М. Марков, С. А. Азимов, Ч. Айтматов, М. Н. Алексеев, А. А. Ананьев, Т. Аскаров, С. А. Баруздин, А. А. Беляев, Ю. В. Бондарев, П. П. Боцу, Ю. Н. Верченко, Р. Г. Гамзатов, Н. М. Грибачев, Н. В. Думбадзе, П. А. Загребельный, М. А. Ибрагимов, Е. А. Исаев, М. Каноатов, В. В. Карпов, В. М. Кожевников, Ф. Ф. Кузнецов, Т. Курбанов, П. А. Куусберг, Л. М. Леонов, А. М. Малдонис, С. В. Михалков, Д. Мулдагалиев, В. М. Озеров, В. А. Петросян, Г. Р. Приеде, С. В. Сартаков, Е. И. Скурко (М. Танк), А. А. Сурков, А. Б. Чаковский, А. Н. Чепуров, М. А. Шолохов.

© Журнал «Новый мир», 1981.

РОДИНА

★

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

Ополченцы Куликова поля

Свет очей! Земля родная,
Укрепи своих сынов!
Поклонись, трава степная,
Твердой поступи полков.
Клич Москвы прошел Россией —
И потек к Непрядве люд.
Молодые и седые
Нынче в воинство идут.
Утро сечи блещет медью.
Русичи — лицо к лицу —
Приготовились к бессмертью
И победному венцу.
В ковыли вросли, белесы,
С первым проблеском зари
Кузнецы, каменотесы,
Пахари, чеботари,
Не блиставшие оружьем,
Не рубившие сплеча,
Только пояса потуже
Затянули сгоряча.
И насупленные деды
И ретивые юнцы —
Чернь России! — эти смерды —
Жизни честные творцы.
Нынче в поле, а не в кузню
Люди ливенской земли
Заодно со всею Русью
Дело выдюжить пришли.
Дед и внук стоят, поевши
У студеных родников
И лепешек затвердевших
И засушенных блинов.
Близок полдень. В сечу рьяны
Грянут рати в зной мечей.
По-за Доном Ярославны
Не сомкнут в мольбе очей.
Враг метнется к ополченцам.
Стрелы в лоб помчатся им,
Не успевшим в бронь одеться
За трудом своим земным.
И скрестилось, силой вея,
С черногривым, как зверье,
Копиищем Челубея
Пересветово копье.
Содрогнуло поле воем
Потрясенных басурман,
Солнце замерло над полем,
Кони выпили туман.
И качнула смердов пеших
Вражья темная волна.
От ордынцев налетевших
Буйна битвы гущина.
Только бы не поскользнуться!
Дед и внук — спина к спине —
Встали насмерть, бойно бьются,
Словно вспыхнули в огне.
Дед — само меча сверканье!
Пали первые тела.
Лишь не сбилось бы дыханье
И рука б не подвела.
Внук не передернут страхом —
И за мать и за разор
Он окрасил первым взмахом
О насильника топор.
Дед кроит мечом за сына,
Что кузнечил, бронь ковал,
Что кровавого мурзина
Ссек — и сам от сабли пал.
Внук — он множит стон за стоном:
Пал копейщик, смял стрелка.
Вырвет маму из полона!
Как костер, горит рука.
Рядом бьется юный княжич:
Яро взвил коня свечой —
И с седла он свержен навзничь,
Меткой сорванный петлей.
Дол зеленый! Стал ты пылен.
Непрогляден вихрь мечей.
Враг напорист и всесилен.
Страсть к отечеству сильней.
Кровь смешалась с потом. Вытри!
И паши! Как ширь свою!
Он и сам великий Дмитрий
Нынче пахарем в бою.

Дед уже в ручьях кровавых
Но еще, не лезли чтоб,
Положил двоих на травы —
Как от всей Орды отгреб.
Внук двоих мотает снова —
Сгибнуть, но не отступать.
Только брови свел сурово
Деду-бортнику под стать.
Размахнись, душа сыновья,
В смертном чреве духоты!
Блещут в гневе встречном копья.
Брызжут щепками щиты.
Время сгинуть лихолетью
И врагов, как ливнем, смыть:
Иссушили землю смертью —
Время жажду утолить.
И, сшибаясь, с хрустом стиснут
Лава лаву. Крики, гуд.
Разойдутся — стрелы взвизгнут.
Снова колят и секут.

Устоять! Не растеряться!
Мать земля, открой пути!
Так враги вокруг роятся —
Деда с внуком не найти.
Их найдут — и славить будут,
И придут столетья к ним.
Столько тел упавших всюду —
Перекрыли путь живым.
Словно нету небосклона,
Сникла в копьях высота.
Русь привольна, но у Дона
Кровью хлещет теснота.
В эту смертную стихию
Распрямись, России стать!
Ополченцев, как Россию,
Как ее простор, не смять.
Смердов в сече ходят плечи —
Как вбивают в ширь зерно.
В состоянье жаркой сечи
На Руси живут давно.

НИКОЛАЙ ДОРИЗО

***

Инстинкт пчелы,
упрямо ткущей соты,
Скворцов,
домой летящих по весне,—
Великий разум
матери природы,
Он иногда
снисходит и ко мне.
И так же властно
и необъяснимо
В ту редкую минуту
волшебства
Мудрей меня
рождаются слова...
Жизнь на планете
лишь одним хранима —
Инстинктом.
Если б не было его,
В безбрежном небе
птицы б не летали,
Икру бы рыбы
в реках не метали,
Стихи бы
не слагались без него.
Да и в науке
не было б открытий
Без инстинктивных
творческих наитий.
Инстинкту
все подвластно под луной.
Он — тайный смысл
Любовной птичьей речи

И тайный смысл
гармонии земной...
А мы
лишь разум славим человечий.

***

Куда рыбцы,
ты спрашиваешь, делись —
По пальцам можно рыбу сосчитать?..
Сто лет назад,
когда шел вешний нерест,
Когда белуга шла икру метать,
Так уважали рыбу,
так ценили
Богатство
вековечное
свое —
Колокола
на праздник
не звонили,
Чтоб благовестом
не спугнуть ее!
Любили реку — вот какая ересь,
Любили так, что видно было дно...
Куда рыбцы, ты спрашиваешь, делись?
Теперь понятно?
То-то и оно!

Стихи, написанные в Шильенском замке. Швейцария

Когда бы был я заключен
Пожизненно,
притом не в келье,
А цепью
к плитам пригвожден
В средневековом подземелье,
Когда бы знал
наверняка
Во мраке смрадного колодца,
Что ни одна моя строка
Отсюда
к людям
не прорвется,—
Я б все равно
слагал тогда
Стихи,
как бы вскрывая вены,
Пусть безнадежно,
в никуда —
Как лбом
о каменные стены.
Слагал бы,
строки забывал
И вновь слагал
без упованья
На отзвуки людских похвал,
На хоть бы малое признанье.
Слагал, не думая о них.
О, прометеевая мука!
И вот тогда пришел бы стих,
Мой лучший стих,
Бессмертный стих,
Хоть от него в веках
ни звука.

***

Как нам смириться, что уходят даты,
Что время
так стремительно
идет?
Рука все пишет —
семьдесят девятый,
Хотя уже
восьмидесятый год.

***

Нам понятней теперь год от года,
Что с природою
надо дружить,
Ведь без нас
прожила бы природа,
Без нее
мы не можем прожить.

***

Эта мысль к добру иль не к добру
В полусне
мелькнула
на рассвете:
Если я когда-нибудь
умру,
Жил ли я
действительно
на свете?..

***

Опять в щенка
смирил я львенка,
С послушной нежностью
притих.
Твои глаза —
как два ребенка,
Никак нельзя
обидеть их!

***

Меня он хвалит. И его хвалю я тоже
Отнюдь не ради кумовских услуг.
Не потому хороший он поэт,
что он мой друг,
А потому мой друг, что он поэт хороший.

В. БАШИРОВ

Все это

У каждого свое —
и даже то, что обще,—
над рощей воронье,
декабрьская площадь,
рассветная река,
полуденное лето,
и снег, и облака,
и люди — и все это,
что ты зовешь землей,
природой, белым светом,
у каждого свое,
отдельное, при этом
никто не обделен,
ни у кого не плоше —
ни меньше и не больше
ни снега, ни ворон,
ни площади, ни рощи,
ни облака, ни света,
а между тем все это —
отечество твое.

Другое лето

Река на рассвете в холодном дыму —
рассвет над рекою, рассвет — над рекою,
где тучи — стрижами — к другому — тому
далекому берегу — в лето другое,
где тучи — не тучи, но нетопыри,
внезапными вспышками память взрывая —
туда, где в исходе не этой зари,
из тьмы вызревая, одна — заревая,
сгорающая, грозовая — по ту
рассветную сторону этого света —
туда, где от жара — в холодном поту,
в последнем ознобе истекшего лета —
а там — по высокую сторону лет —
река на рассвете — рассвет над рекою —
рассветная Лета, где лето и свет,
где самое прошлое и дорогое —
а там — над рекой — не на смерть, а на жизнь —
летучие жизни, в огне — молодые —
а там — над рекой, обрываясь с крутизн,—
стрижи золотые, стрижи — золотые...

МАРК ЗАРЕЦКИЙ

Ясно вижу

Ясно вижу, будто внове
Где-то в детстве, под быльем,
Как под солнце проливное
Вышла женщина с бельем.

Вышла, богом не забыта,
Гениальность не тая,
Оснастить устои быта
Парусами бытия.

Урок рисования

Какими, сам не знаю, чувствами
В кладовке памяти сберег
Глаза учительницы грустные
И рисования урок.
Тогда стараньями нетяжкими
(А тема вольная дана)
Так первоклассно первоклашками
Война была отражена.
Предвосхищая ход истории,
Усердствовал безмолвный класс,
Четыре улья в школьном дворике
Разглядывали в окна нас.
Поскольку наша жизнь дошкольная
Единой мечена судьбой,
Одна у нас и тема вольная
И на любом листочке — бой.

Какими были баталистами,
И каждый тем-то и силен,
Что лишь убитыми фашистами
Его рисунок населен.
А сытыми давненько не были —
Одна из самых главных черт,—
Сосредоточась, крошки хлебные
Употребляли на десерт.
На женских лицах тень страдания,
Беды отчетливая тень,
А на уроке рисования
Предвидится победы день.
И не без твоего участия,
Пророческий рисунок мой,
Подавлена паучья свастика
Пятиконечною звездой.

ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

Выход к морю

1

Так вот куда стремились мы от века,
так вот о чем — Ливонская война...
Не возвышает душу человека,
а разве что гнетет ее волна.

А разве возвращает восвояси —
к отчизне без окон и без дорог,
где дождь исходит в неутешном плясе,
и вот поплыл уже и сена стог.

И вот плывет по морю драный лапоть,
и вот летят грудастые суда
до устья Эльбы, до низовьев Лабы,
и пеною вскипает борозда.

И вот встает лихой ганзейский город —
прижимистый, под кирхой городок...
А вкус воды все так же солон, горек,
а дух земли по-прежнему глубок.

Гостиный двор. В заулке — синагога.
Меняльной лавки сводчатый портал...
А бог все так же не похож на бога,
как в час, когда творцом себя назвал.

И так блестит на солнце черепица
и благочинен уличный покой,
как будто бы младенца из корытца
здесь выплеснули с мыльною водой.

И женщин осторожная осанка,
и копьями — раскрылия чепцов...
(Ну разве так ступает россиянка,
когда заморских потчует купцов!)

И замирает будничное море
и в гавани недужное лежит,
коль трубчатая музыка в соборе,
как ветр в овраге, буйно загудит.

И во главе семейного отряда
шагает пекарь, шорник, водовоз...
Так что же сердце лапотное радо,
когда рыдает птица альбатрос?

Когда летишь — и паруса в заплатах! —
туда, где скачет душная вода,
до устья Эльбы, до низовьев Лабы
и далее — неведомо куда!..

2

Варяжское, языческое море!
Какая быль на дне погребена!
Щепоть земли с Софийского подворья,
обломки мачты — иль веретена?

Какой была упрямой эта пряха,
что две зимы сучила да пряла!
И парусом вздымается рубаха,
июньским льном лагуна зацвела.

И мореход — холоп и смерд вчерашний —
свой путь по звучным звездам начертал.
Он на волне — как будто грач на пашне,
так важен, точно сам ее вспахал!

Так весел, словно это сине море,
а там — недолго! — море-океан —
не тягость, не чужбина и не горе,
а штормовая вотчина славян!

Как будто бы, повит морскою славой,
качаясь в ледовитой глубине,
он родину зовет уже державой —
при парусах, при верфях, при зерне;

при городах и златоверхих храмах,
промоинах озерного челна,
степных криницах, приворотных травах —
и жаворонком слышится волна...

Забытый поэт

Я склоняюсь уже не спеша
над твоим молчаливым уроком.
Где паришь, золотая душа?
Что ты делаешь в небе глубоком?
Так ли славно оттуда глядеть,
отыскав уголок поукромней,
как рябины червонная медь
заалела над отчею кровлей?
Так ли горько следить, как иду
по ледку — по расколотым
стеклам —
к твоему ломотному пруду,
что листом покрывается блеклым?
К той березе — крутые рога
перепутались с лапами ели...
Так ли горько видать, что луга
обезлюдели да пожелтели?
Так ли странно слыхать, как
прошла
под гармонь деревенская свадьба?

А когда-то и церковь была
и на льне богатела усадьба,
из которой под вздохи старух -
вдовых теток и матери — мчался
в Дерпт, Париж, громовой
Петербург...
С сельской музой затем повенчался.
То ли ключница, то ли жена,
говорят, на гроши схоронила.
Недостало ни леса, ни льна
На нещадные эти чернила...
Так ли скучно смотреть, как молчу
над твоей немудреной строкою:
может, просто на память учу,
может, высью дышу голубою.
Может, думаю: зряшнее нет,
чем твердить, что поэт —
врачеватель,
а тем паче, что умер поэт,
если жив одиночка читатель.

***

Уже следов любовного недуга
ты на моем лице не различишь.
Высоким смехом отвечает вьюга.
Церковкой звякнет городская тишь.

И, пойманная кем-нибудь на слове,
я эту речь в испуге не прерву.
Я проживу в Можайске или Пскове,
я в Новгороде молча проживу.

Я заведу зеленый огородец,
я маков цвет на грядках разведу
и буду думать: вот скрипит колодец,
вот плещет гусь на солнечном пруду.

Пускай моей подругой будет ива,
пускай дрожит сердечком бересклет.
Я не знавала жизни сиротливой:
таким был людным этот белый свет!

Таким был добрым хоть бы первый встречный,
такой угрюмой я сама была,
что и теперь в лугу моем заречном,
пожалуй, не отмоюсь добела.

Но если скажут: мне всего милее
древесный шелест — не людская молвь,
набухшие от сырости аллеи —
не равенство, не братство, не любовь,

а это золотое дребезжанье —
нестройный плеск, набат, морозный гуд,
когда встают с погоста прихожане,
когда на лед чудской они идут;

когда такая тишина витает,
такая птица горькая кружит,
как будто дух неслышно воспаряет,
а тело где-то мертвое лежит,—

я так скажу: для этих расстояний
на сорок бед единственный ответ:
страданье не зовет себя страданьем,
разлука знает, что разлуки нет.

Девчонка помнит: нарядят вдовою,
мальчонка чует, что — геройски пасть...
Что жизни им отмерено с лихвою
в тот час, когда она оборвалась.

Я так скажу — что этот мир древесный
напрасно ты желаешь разделить
на то, что — песнь, и то, что было песней,
на речь — и то, как надо говорить.

На клейкий лист — и жухлую бумагу,
на смех и плач, на слово и число.
Сотру со щек непрошеную влагу.
Смотри — ее к оврагу отнесло...

И если на краю воды и суши
стою одна — то разве знаешь ты:
всю ночь с листвы глядят людские души,
хлебнувшие безлюдной высоты.

Они глядят с волненьем и тоскою,
как зреет мак, как тихий город спит...
И разве что с отшельницей глухою
весь небосвод, засыпанный землею,—
со мною неурочно говорит.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

★

РАЗБИЛОСЬ ЛИШЬ СЕРДЦЕ МОЕ

Роман-эссе

И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло...

Вольфрам фон Эшенбах, «Парцифаль».

От автора

О чем эти записи? Рассуждения о труде переводчика поэзии? Страницы воспоминаний? Серия литературных и житейских новелл? Затрудняюсь ответить.

Любая человеческая личность, как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастна к высочайшим понятиям. Земное и духовное начала переплетены в жизни и в каждом из нас, ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ярма бытия, устремляется ввысь, и он же силой земного притяжения возвращается к нам на землю. Именно этой причудливой диалектикой объясняется жизненность и одухотворенность всякого искусства.

Жизнь переводчика тысячелетней поэзии показалась мне наиболее удобным объектом для наблюдения этих диковинных переплетений и взаимосвязей. В силу одного своего призвания он обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий, и он же должен себя самого, маленькое свое, частное, сформированное временем человеческое «я», как бы отдать вечности, непрерывному потоку истории. Он вмещает в себя множество действительностей, тысячи жизней: авторов, персонажей. Разве все это, помноженное на его собственную жизнь, не достойно стать предметом романа?

«Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объект, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи»,— обольщал себя в своих «Воспоминаниях» Аполлон Григорьев.

Едва ли кому-либо удавалось добиться подобной объективности. И все же говоря о себе самом, предаваясь тем или иным подчас рвущим сердце личным воспоминаниям, я стремился выявить пугавшую меня самого таинственную связь времен, сходство множества судеб, единую зависимость людей от обстоятельств и прихотей Времени, единую нашу ответственность перед ним...

В поисках святого Грааля

1

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда» — сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они?

О, конечно, мы знаем: из высокой потребности высказаться — посредством перевода, устами другого автора, пропустив себя через него (а не только его через себя), из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое... Но все это общие положения, это известно.

На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из сора повседневности, из сора жизни, из сора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные: увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ...

Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады, в рамках его школы. Но хорошо помню, как, прочитав в «Иностранной литературе» Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, с его же предисловием, испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья — одно из ярких эренбурговских эссе на историческую тему.

Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя тема была подсказана, оставалось найти материал, которым и явились немецкие народные баллады, добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку.

В первой своей работе над немецкой стариной я опирался и на пастернаковский перевод «Фауста» с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и закоулков средневековых немецких городов: попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я узнал пастернаковские строки...

Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером, с его ранней лирикой, а затем с «Лагерем Валленштейна». И все же я считаю эту встречу всего лишь (вернее сказать, не всего лишь, а прежде всего) школой для дальнейшего продвижения вглубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять и народные баллады, и поэзию Тридцатилетней войны, и лирику вагантов. Шиллер приоткрыл мне то, что именуется немецким духом, немецкой субстанцией,— тайну немецкого поэтического воображения.

Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я еще опишу подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения «Раздел земли». Всего лишь одно словцо — отделяемая приставка hin — определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а может быть, и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что, из какого бы «сора» переводное стихотворение ни росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника.

«Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно»,— справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой, академической книжности.

Однако из этого вовсе не следует, что, «глядя в окно», можно забыть про «бумагу», то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, пренебречь необходимыми литературовед-

ческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв — с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника.

Все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам: таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод несомненно является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен.

В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дает лишь полное и всестороннее владение оригиналом.

Одно связано с другим.

Я переводил раннего Шиллера, «Мужицкую серенаду», «Вытрезвление Бахуса», мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству, не к Шиллеру бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю: нигде так не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в лейпцигском предместье Голис. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой...

В переводе «Лагеря Валленштейна» встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих шести с половиной армейских лет. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германией, немецкой музой, полюбившимся мне книттельферзом — немецким раешным стихом. Но при мне, со мной были и приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил. В шиллеровский текст стали входить «стрельбище», «караульная будка», «поверка». Расстрига-капуцин в своей потешной проповеди кричал: «...в бога мать!» — причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольность и повышенное чувство собственного достоинства — все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме.

Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но, заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособия, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими.

Я убежден, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик, нет перевода без «сверхзадачи».

Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому «порядку», который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия...

Переводы «растут» не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта.

«Марата» Петера Вайса я не мог прогрызть около двух лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод, почти ежедневно. И только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму «театра — психиатра», зажегся так, что перевел пьесу залпом, за месяц.

Поэзия немецкого барокко (XVII век), переводам которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась

мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин. Точно могу сказать, где и когда это было: в доме у Маргариты Алигер 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников, и среди них книгу Бехера «Слезы отечества» — антологию немецкой поэзии XVI—XVII веков.

Я стал читать то, чем потом жил — ничего другого делать не мог, только переводил эти стихи,— но тогда глаз даже не остановился ни на чем, скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой просматривалось как будущий перевод, пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяжелой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Грифиуса — «Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе...», не сцепил ее с другой...

Так началась книга «Слово скорби и утешения», практически завершенная лишь в 1973—1975 годах. В подлиннике содержались размышления о судьбах Европы, о пагубе войны и отчаянном ей противодействии. Но ведь не только о войне и о мире шла здесь речь. В стихах XVII века сама война представала как наказание человечеству за его слепоту, за греховность, за своекорыстие. Ставился вопрос, жить или не жить, а если жить, то как: в рабстве, в глупости, в темноте или в свободе, в любви, в созидании земных благ? Большие ставились, кардинальные вопросы жизни и смерти не только отдельного человека, но и всего человечества, сопричастного каждому отдельному человеку, причем ставились неистово, мощно.

Именно этим меня захватила поэзия немецкого барокко, и в переводы я «вбивал» именно эту — уже не только Грифиуса, Опица, Флеминга, Гергардта, но как бы и свою — идею.

Справедливо говорят: важно побывать в стране поэта или на месте действия произведения, которое переводишь. Работая над поэзией XVII века, я побывал, кажется, на местах всех главных сражений Тридцатилетней войны: видел и Белую гору в Праге, и сожженный когда-то войсками генерала Тилли Магдебург, выдержавший осаду Штральзунд, города Силезии, поле битвы под Лейпцигом, в Лютцене, где убили шведского короля Густава Адольфа, кусок земли, который и сейчас еще принадлежит шведскому правительству и куда ежегодно на торжественную церемонию съезжаются шведы, видел замок в Хебе (Эгере), где был заколот Валленштейн, и даже трогал рукой наконечник копья, которым его закололи.

В музеях хранятся ржавые ядра, пищали, железные, с потайными замками сундуки войсковых казначеев, ветхие, выцветшие штандарты... И все это, включая, конечно, архитектуру барокко, нужно было увидеть, все это позже мне пригодилось. Но гораздо важней было проникнуться тем тревожным мироощущением, которое испытываешь, странствуя по городам и дорогам Европы, приобщаясь ко множеству судеб, из которых складывалась единая европейская судьба. История здесь взывает к современности: вглядись в мои памятники, в мои могилы, в мои шрамы! Да не пройдет для тебя бесследно мой опыт!

Я переводил поэтов XVII века с их предостерегающим, гражданственным пафосом, рожденным в пламени Тридцатилетней войны, передо мной вставали «священные камни Европы»: не только акрополи и колизеи, но сизые, сиреневые, серые европейские каменные улицы — дом к дому, булыжник к булыжнику, брусчатые мостовые. Европа вся каменная, и «священные камни» — не одни лишь соборы и королевские замки, но и набитые людьми дома, которые могут вдруг рухнуть, если их не защитить,— посыплются стекла, погаснут витрины, сгорят книги.

Строки барочных стихов словно корчились, кривились от боли — не от этой ли боли их дисгармоничность?

И все же одного этого ощущения для перевода было недостаточно.

В лирике барокко особенно важно воспроизвести приметы стиля — такие, например, как эмблематика, звукопись. В стихах имитировались шум дождя, ветра, пушечная пальба, треск фейерверка. Были стихи, как бы написанные красками — рыжие строки осени, холодная белизна зимы. Стихи изобиловали эмблемами: «замшелая стена, пещера, череп, кость...»

Конечно, у переводчика нет ящика с приемами, с «изобразительными средствами». Как и оригинальный поэт, он берет их из жизни, из окружающего мира — с той лишь разницей, что берет только по велению подлинника.

В стихотворении Зигмунда фон Биркена «Осенняя песнь Флоридана» нужно было передать грохот телег, стук падающих на землю плодов, звуки и цвета урожайного праздника...

Был теплый и влажный, серый сентябрьский день. Безуспешно проведя несколько часов за письменным столом, я вышел на улицу. В голове вертелись обрывки немецких строк.

У овощной палатки разгружали виноград, яблоки, рабочие с грохотом ставили на землю дощатые ящики. Прогромыхал, подпрыгивая, грузовик с надписью на борту: «Уборочная»...

Неожиданно пришедшее слово «громыхать» сделалось ключевым. Застывшие в тисках оригинала строки сдвинулись, пошли:

Загромыхали телеги, подводы.
Ну-ка! Живей! Начинаются роды!
Все на сносях... И поля, и сады
Ждут не дождутся мгновенья рожденья:
Сам Флоридан собирает плоды!..

Откуда берется лексика перевода, из чего она складывается? Неужели перевод есть только перевод значений или в него входит собственный словарь переводчика, накопленный за жизнь в повседневном быту, вычитанный из книг?

Совсем мальчишкой в дурацкой частушке я услышал словцо «скидавать». Прошли годы, я переводил состоящую из забавных трехстиший народную балладу о том, как солдаты зашли погреться в корчму. В одно из трехстиший надо было уложить такое примерно содержание: солдат снимает с себя снаряжение, хозяйка наливает ему вина и подносит жареную рыбу. Я бился над этими тремя строчками бесконечно, вертел их и так и сяк — ничего не получалось.

Как-то я ехал по Пироговке, вдали золотились купола Новодевичьего монастыря... «Хозяйка налила вина...», «Вина хозяйка налила...», «Вина хозяйка подает...»

И вдруг из глубины подсознания вынырнуло то забытое, потерянное, оказавшееся спасительным слово:

Солдат свой ранец скидает.
Вина хозяйка подает
И запеченной рыбки...

«Когда б вы знали, из какого сора...»

...После войны я вернулся из армии в Москву переполненный стихами. Я писал их каждый день, жил ими.

Я учился на филологическом факультете Московского университета, на немецком отделении. Мы изучали Гердера и верхненемецкое передвижение согласных.

Был 1947 год.

Германия лежала в развалинах, во мгле. Кажется, оттуда не доносился к нам ни один живой поэтический голос. Немецкие писатели-эмигранты, возвратившись на родину, словно пропали из виду. О современной немецкой поэзии мало кто знал.

Однажды, придя в библиотеку, я заглянул в газеты и журналы, выходившие в советской зоне оккупации. Передо мной были стихи. Много стихов. Они ошеломляли — болью, надеждой.

Я стал ходить в библиотеку ежедневно, переписывал стихи в тетрадку. Они поселились во мне, томили душу. Я должен был перевыразить их по-русски, как бы отдать — друзьям, родителям, соседям: в то время других читателей у меня еще не было.

В 1948 году в Москву приехала первая после войны делегация немецких писателей: Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Стефан Хермлин. Делегация посетила университет, ее принимали на филологическом факультете. Хермлин сказал несколько приветственных слов, но стихи читать отказался: забыл книжку в гостинице, а по памяти читать не умел. Я отважился ему помочь: написал по-немецки на тетрадном листке «Балладу о Даме Надежде», она входила в число первых моих переводов, я знал наизусть каждое слово. Хермлин был поражен. В Москве он оказался впервые — после подполья, после Испании, после отрядов маки...

Он прочел по моей записи балладу в оригинале, потом я прочел перевод.

С этого началось. Меня стали поддерживать, стали печатать.

Мои переводы заметил Маршак. Он был старый, больной, маститый поэт, которого знала вся страна, был перегружен делами, болезнями, заботами. Он разыскал меня и попросил зайти.

Потом он подарил мне книжку — «Замечательному поэту...».

Корней Чуковский на своей книжке написал еще щедрее: «...моему любимому поэту». Такая щедрость может показаться расточительной. Но меня эти слова окрылили.

Я входил в литературу в эпоху великих переводческих открытий, когда мировых гениев открывали, как открывают материки, завоевывали, подчиняли себе. Еще живы были Щепкина-Куперник, Лозинский. Маршак завершал главный труд своей жизни — перевод Бернса и Блейка. Пастернак переводил «Фауста».

Постепенно у меня отмерла потребность писать свои стихи. Не оттого, что переводить легче и приятней. В переводах я полней выражал себя, чем в стихах собственных. Я стал шутя объяснять, что лучше Шиллера я все равно не напишу, а хуже нет смысла. Из-под моего пера выходили гениальные строки — не мои, конечно... Но — страшно подумать! — ведь и мои, м о и!..

В переводе я прожил долгую жизнь.

Помню трудные времена.

На переводчиков нападали невежды, пытались отлучить их от литературы. Между тем переводом нередко занимались подвижники.

Однажды, в самом начале 50-х годов, я пришел в Детгиз: выплачивали гонорар за переводы (боюсь ошибиться) с армянского — Ашота Граши. В длинной очереди в кассу впереди меня стояла грузная пожилая женщина в стоптанных туфлях, в черном пальто с засаленным воротником. Под мышкой она держала большой потертый ридикюль. Ее седые волосы были небрежно заколоты старомодными шпильками. Я не видел ее лица. Очередь приблизилась к кассе, женщина протянула в окошечко паспорт, и через ее плечо я прочитал: «Ахматова-Гумилева Анна Андреевна»...

В одном толстом журнале был изруган пастернаковский «Фауст» (впоследствии автор рецензии горько сожалел о своем поступке, корыстном и вынужденном). Перевод этот было решено в Союзе писателей обсудить. Собрание невнятной скороговоркой вел Михаил Зенкевич, видный переводчик, в прошлом поэт-акмеист. Пастернак сидел за круглым столиком в Дубовом зале Дома литераторов, к моему теперешнему удивлению заполненном в лучшем случае напо-

ловину. С ним рядом, подбадривая его, сидел задиристый и ершистый Асеев... Обсуждение как таковое не клеилось, ораторы, все без исключения хвалившие перевод, выступали слишком сбивчиво, робели, и тогда Пастернака попросили прочитать что-нибудь из «Фауста». Он охотно согласился, стал своим тягучим голосом читать сцену с Гретхен в тюрьме и вдруг осекся, всхлипнул, захлопнул книгу и сказал:

— Не могу... Жаль ее...

Позднее в автобиографическом очерке Пастернака «Люди и положения» я прочел слова, напомнившие то давнее обсуждение: «Я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине...» Эти слова многое объясняют в творческой биографии Пастернака. Свет сострадания в равной степени лежит и на его стихах и на его переводах.

В статье, гордо озаглавленной «Заметки переводчика», он пояснил, что писание собственной поэмы и «срисовывание» в русских стихах английских стихов Шекспира, «гениальнейших в мире, было задачей одного порядка и одинаковым испытанием для глаза и слуха, таким же захватывающим и томящим...».

Переводу отдали значительную часть своего творчества Арсений Тарковский, Николай Тихонов, Вильгельм Левик, в переводе — не меньше, а может быть, даже больше, чем в собственных своих стихах,— выражала себя Мария Петровых, та, перед которой благоговели лучшие русские поэты — ее современники.

Когда мне исполнилось пятьдесять пять лет, в день рождения, томимый мрачными предчувствиями роковых перемен в моей личной судьбе, едва ли не прощаясь с прожитой жизнью, я записал в дневнике:

«Если вспомнить мое хождение по стихам, то я пытался с помощью своих переводов сказать, чем жил, что думал о жизни, чего хотел от нее. Выражал я через них и радость молодости, и грубое наслаждение плотью, напор и лихость, жившие во мне, тогда молодом. Всегда мне хотелось хлестнуть читателя чрезмерной, почти недозволенной смелостью (в смысле грубости, эротической ярости), но более всего — внушить ему идею примирения с бытием, вывести его из состояния уныния, показать крутые и сильные характеры — в веселье и в гневе, в отчаянии или в яростном негодовании, в неистовом отрицании зла и в потребности прощать, любить, делать добро... Не часто я бывал понят даже близкими мне людьми, а критиками-профессионалами и подавно. Они писали о моей любви к Германии, об интересе к германской культуре, не догадываясь, наверно, что просто я в этой культуре, в этом огромном — за жизнь — материале нашел нечто близкое себе!..»

К этому времени я уже выпустил главные свои книги, издал перевод «Парцифаля», закончил «Рейнеке-лиса», жизнь шла на ущерб, но всем существом я сознавал, что мучительные странствия в поисках святого Грааля для меня только теперь, собственно, и начинаются.

2

Стихотворный роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» считается «Фаустом» и «Божественной комедией» средневековья, однако у нас он известен главным образом благодаря одноименной опере Рихарда Вагнера, в свое время весьма популярной. Мало кому приходилось вплотную сталкиваться с 25 тысячами средневерхненемецких строк, хотя многие, должно быть, слышали, что рыцарь Парцифаль отправился на поиски Грааля — не то священного камня, не то чаши, в которую Иосиф Аримафейский собирал кровь распятого Христа. На пути к Граалю этот рыцарь пережил множество при-

ключений в духе куртуазной, рыцарской литературы и романов так называемого Артурова цикла. Парцифаль входил в число приближенных знаменитого короля Артура и, следовательно, принадлежал к рыцарям Круглого Стола, за которым Артуровы паладины рассказывали о своих похождениях.

Впервые пересказ «Парцифаля» я услышал на первом курсе от профессора Б. И. Пуришева. Это были незабываемые лекции. Только что окончилась война, в аудитории сидели люди, которых надо было вернуть в атмосферу научной сосредоточенности, романтики знаний, приобщить к эстетическим сокровищам. Б. И. Пуришев, как и С. И. Радциг, С. С. Мокульский, Н. К. Гудзий, А. А. Белкин и другие наши тогдашние профессора, делал это с необычайным искусством. Не только содержание его лекций, но и его речь, изысканная, отличавшаяся достоинством и благородством, внутренняя одухотворенность, весь его облик — все как бы уводило в тот поэтичный, зачарованный мир, который на языке учебной программы назывался «Западноевропейская литература средних веков и Возрождения». С интересом слушали мы о скитаниях выросшего в лесу простодушного юноши, который превратился потом в неустрашимого Парцифаля, о заветах старого воина Гурнеманца («Рыцарь не задает праздных вопросов!»), о мучениях многострадального короля Анфортаса в его сказочном замке Мунсальвеш — хранилище святого Грааля, о мудрой пророчице Кундри и о верной Сигуне, рыдающей над телом своего Шионатуландера.

В ту пору наших знаний было явно недостаточно, чтобы прочитать роман в оригинале, русского же перевода не существовало, если не считать переложения С. И. Лаврентьевой (ритмизованной прозой) для детей, вышедшего в издании автора в 1914 году в Петербурге.

В 1969 году издательство «Художественная литература» предложило мне перевести «Парцифаля» для соответствующего тома «Библиотеки всемирной литературы». Тип издания, рассчитанного на массового читателя, предусматривал, что перевод не должен быть полным. Непомерно большой, грандиозный объем сделал бы стихотворный роман трудным для восприятия. Было решено, что повторяющиеся эпизоды, слишком далекие или несущественные ответвления от сюжета, чрезмерно пространные описания будут либо заменены стихотворным же сокращенным пересказом, либо опущены.

Идея создания русского «Парцифаля» принадлежит Б. Л. Сучкову и Р. М. Самарину. Они являлись, по существу, моими кураторами и слушателями первых глав перевода, с ними же был согласован принцип сокращений. Хотелось, чтобы перевод был не столько сокращенный, сколько «уменьшенный», то есть чтобы сохранились основные и побочные линии романа и такие его особенности, как, скажем, многословие, растянутость, излишняя с нашей сегодняшней точки зрения подробность в описаниях, все вплоть до некоторых «несуразностей», которые, как потом прояснилось, имели вполне определенный смысл. Надо было показать европейский роман на самой ранней его стадии, только что вылупившимся из эпоса, из героических поэм — так называемых жест, песен о деяниях, житийной литературы...

Я обложился книгами, пособиями, трехтомным изданием «Парцифаля» в подлиннике и всеми доступными мне переводами романа на современный немецкий язык.

Увы! Все то, что некогда в университете, в изящном и кратком пересказе виделось таким увлекательным, овеянным романтическим флером, предстало вдруг в виде тягучих, слипшихся, почти бесформенных строк.

Страшно было подступиться к этой громадине, спящей мертвым сном в Бразельянском лесу, во владениях короля Артура. Да и кого, рассуждал я, могут в наш век всерьез заинтересовать стоверстые

описания рыцарских турниров, давно отзвучавший стук мечей, сверкание лат, запутанные, подчас нелепые похождения?.. «Парцифаль» казался гигантским неуклюжим кораблем, затонувшим почти восемь столетий назад, который мне предстояло поднять со дна моря...

Вольфрам фон Эшенбах родился в 1170 году, своего «Парцифаля» он начал в 1200-м, завершил в 1210-м. Это было бесконечно давно: время Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце, третьего и четвертого крестовых походов, совсем незадолго до Батыя и начала татаро-монгольского нашествия на Русь.

В чем же я должен был искать вдохновение? Что, какую тему найти для себя на сей раз?

Гейне однажды заметил, что история литературы — это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит и с которыми состоит в родстве... Тем не менее, занимаясь историей литературы и отправляясь за литературными сокровищами в самые отдаленные времена и страны, следует не гальванизировать литературные трупы, а возвращать к жизни спящую красавицу — Поэзию. Ее только нужно уметь разглядеть, под грудой столетий услышать ее дыхание.

И я пытался. Карабкался по средневековым строчкам, перечитывал переводы. Еще ничто не роднило меня ни с автором, ни с главным героем, ни со стихом, не было даже предварительной концепции перевода. На дворе стояли сильные морозы, но еще большим холодом веяло от бесконечно длинных шестнадцати глав-песен и от понятия «Грааль» — умозрительно-бездушного идеала, который в разные времена провозглашали идеалом то чисто христианским, то чисто германским, то космическим символом, отображением бытия. При этом Грааль был еще и неисчерпаемым подателем пищи, земных благ, своего рода скатертью-самобранкой.

В либретто к опере Вагнера, написанном самим композитором, Грааль предстает в виде античной хрустальной чаши. Есть авторская ремарка: «Ослепительный луч падает сверху в хрустальную чашу, которая начинает все ярче и ярче пламенеть, освещая все багряным сиянием». В другом месте у Вагнера король Анфортас «с просветленным лицом высоко поднимает Грааль и мягко поводит им во все стороны...».

Но в те январские дни 1971 года, когда я приступал и все никак не мог приступить к переводу, еще далеко было не только до встречи с Граалем, но и с самим Парцифалем...

Надо было решать, каким размером переводить текст. Средневерхненемецкая поэзия не знала строгих размеров, однако явно чувствовалась ямбическая основа. Роман был написан двустишиями, что, с одной стороны, казалось бы, облегчало перевод, а с другой — могло утомить читателя монотонностью. Правда, Вольфрам фон Эшенбах не был чрезмерно педантичен. Наряду с двустишиями он употреблял и строфическую форму народного эпоса. Это предоставляло и мне известную свободу действий.

Мало-помалу в глубине текста стало прослушиваться «биение сердца», строки начали как бы пульсировать: там, внутри, угадывалась своя жизнь и только какая-то перегородка мешала этой жизни прорваться наружу, разлиться, перейти к нам, в наши дни. То был языковой барьер и барьер времени. Бездонная глубина, откуда предстояло извлечь эту жизнь, этот мир.

Но что значит извлечь? По-русски переписать тысячи средневерхненемецких строк? Уцепившись за строку, перевести текст из немецкой стихии в русскую? Да, но что такое в данном случае перевести? Ведь это перевести немецкий текст XIII века в мир русских людей, читавших Пушкина и Есенина, воспитанных на Гоголе и Толстом. В какую же стихию я этот текст перенесу? Как не учесть, что моими читате-

лями будут люди не начала XIII, а 70-х годов XX века? Надо иметь в виду их жизнь, их время, их интересы. Нельзя забывать и о другом: как бы там ни было, я обязан показать им все-таки XIII век и их самих перенести в средневековую немецкую стихию...

В то время, когда я переводил «Парцифаля», ученые все чаще стали требовать от переводчиков уважения к истории человеческой мысли, к истории культуры, нравов, обычаев. Это было справедливое требование. И в самом деле, по меньшей мере нерасчетливо устранять в переводе старинного произведения «моменты» (пользуясь терминологией одного из авторов статей о мировой культуре и современности), «которые способны породить удивление современного читателя своей «странностью»...». Напротив, каждая такая «странность» бесценна: старина неожиданно оборачивается новизной, обнаруживаешь неведомые поэтические приемы, причудливые повороты сознания. Чем больше этих «странностей», тем радостней переводить, хватило бы только умения!

Вместе с тем переводчику часто как бы указывают его место посредника между автором текста и читателем, требуя «большей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник».

Возражать не приходится, однако, не обладая собственным мировоззрением, собственным стилем, переводчик не в состоянии справиться с этой задачей.

«...мы сами никак бы не столкнулись с немцами,— писал Гоголь,— если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступный, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность!»

Итак, переводчик — и оригинальность! Никакого противоречия в этом, разумеется, нет. Скорее, важнейшее условие для того, чтобы стать настоящим поэтическим посредником. Впрочем, иные и не нужны.

Со всей серьезностью передо мной вновь встал вопрос о принципах перевода классики.

Известно, что в 20-х годах, в пору господства буквалистов, классиков зачастую переводили каким-то удивительно пыльным, мертвым, старомодным языком, бесконечно далеким от живой современной речи. В наше время возникла и, можно сказать, даже нарастает другая опасность — амикошонства, панибратского отношения к текстам великих писателей, не просто осовременивания, не демократизации, а недопустимого удешевления и разжижения лексики мировых классиков.

Снова и снова я вчитывался в седой, древний подлинник: старался понять исконную лексику, почувствовать стих.

Между тем Вильгельм Штафель, наиболее полно, добросовестно и, может быть, даже вдохновенно переложивший «Парцифаля» на язык современной немецкой прозы, в послесловии к своему труду утверждал, что вообще нет никакой необходимости переводить роман Вольфрама фон Эшенбаха современным стихом. Вильгельм Герц, один из тех, кому лучше, чем другим, удалось перевести «Парцифаля» стихами, с точки зрения Штафеля, «дал нам «Парцифаля» XIX столетия». Нет, говорит он, раз уж не удается полностью, точь-в-точь воспроизвести форму, то пусть точь-в-точь будет передано хотя бы содержание. А это возможно сделать, только отбросив стих, при котором неизбежны вынужденные переводческие вольности.

Но разве содержание и форму можно отъединить друг от друга? Разве содержание не определяется в известной мере звучанием стиха, его интонацией, характером рифмы, ритмическими ходами? Разве

образ самого поэта-рассказчика не выражается прежде всего через его стих?..

Вот те мысли, которые занимали меня в первые недели работы, когда я все теснее сходился с франконским рыцарем и поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом, которого обязан был заставить заговорить по-русски.

Кого склоняет злобный бес
К неверью в праведность небес,
Тот проведет свой век земной
С душой унылой и больной...

Так начинался «Парцифаль» — рассуждениями на религиозно-нравственные темы, однако выраженными совершенно просто, по-житейски, не без некоторого балагурства даже.

Из-за кулис глянул на меня живой автор, подмигнул и повел за собой туда, в даль своего романа.

Позднее я приметил свойство автора появляться в разгар повествования, возникать в нем неизвестно откуда и неизвестно куда исчезать. Лукавый, всепонимающий, всезнающий автор возвышался над всеми своими персонажами, он был их хозяином, и они совершали поступки, повинуясь единственно его авторской воле. Он и меня, своего переводчика, постепенно подчинял себе, навязывая свой тон, манеру мышления. Он был одновременно и автором и как бы персонажем своего романа, одним из наиболее привлекательных открытостью, доверчивостью, смелостью суждений, истинным чувством юмора, то есть способностью относиться с юмором прежде всего к самому себе. Повествуя, он то вступал в разговор с читателем, то стремился защитить повествование от читательского любопытства, то таинственным образом испытывал ваше внимание, память, сообразительность...

Собственно, большинство биографических сведений об Эшенбахе, которыми располагает наука, извлечены из его романа: названия мест, где он жил, упоминания о постоянных материальных тяготах и любовных переживаниях, отголоски яростной полемики.

Свое произведение Эшенбах именует не чем иным, как попыткой в соответствии с истиной пересказать неоконченную «Книгу о Персевале» провансальского поэта Кретьена де Труа, положившую начало жанру рыцарского романа. По версии Эшенбаха, он всего лишь излагает по-немецки то, что у Кретьена «сказано по-провансальски», с изменениями и добавлениями, заимствованными у поэта по имени Киот. Этот Киот причинил немало беспокойства исследователям, пока со всей тщательностью не было выяснено, что Киот — всего лишь плод авторской фантазии Эшенбаха, введенный в роман, видимо, для того, чтобы совместить легенду о Персевале (Парцифале) с легендой о Граале, а также использовать литературную мистификацию в литературной борьбе со штампами, с тем, что уже Эшенбаху казалось в рыцарском романе отжившим, отработанным. Вот, к примеру, начиненный элементами пародии отрывок, в котором повествуется о короле Артуре и об очередных странствиях Парцифаля:

...Однако где же наш герой?
То было зимнею порой.
Снегами скоро все покроется...
Как? Разве на дворе не Троица?
Ведь все весной напоено
И все цветет!.. А! Вот оно!
О, стародавние поэты
Мне ваши ведомы приметы.
У вас в стихах король Артур —
Изнеженнейшая из натур.
Зефирами он обдуваем.
Он как цветок. Он дышит маем.
Весенний, майский, неземной,
Он только в Троицу, весной,
По вашим движется страницам
На радость голубым девицам!
Но нет! У нас он не таков!
С нас хватит «сладких ветерков»!
Мы сей рассказ соорудили,
Собрав бесчисленные были
И вымыслы. И так хотим,
Чтоб — пусть мороз невыносим —
Герой наш, столь любимый мною,
С Артуром встретился зимою...

Все повествование пересыпано подобного рода полемическими колкостями, направленными иногда против таких знаменитых современников Эшенбаха, как Гартман фон Ауэ, Генрих фон Фельдеке и другие. Эшенбах не держался в стороне от литературных событий, в крепости Вартбург он участвовал в состязании миннезингеров, где его соперником выступил Вальтер фон дер Фогельвейде.

Однажды я попал в эту крепость на литературное торжество. Герольды звуками труб возвещали о прибытии гостей, внутри каменного, похожего на огромную пещеру зала горели смоляные факелы, на гигантском блюде лежал зажаренный дикий кабан. И как восемьсот лет назад, правда уже совсем по иным поводам, спорили, состязались между собой поэты...

Воображению нетрудно было восстановить картину того, как Эшенбах, который, как истинный рыцарь, не умел ни читать, ни писать (в чем он не без бравады признавался в своем романе), заставляет читать себе вслух текст «первоисточника» и тут же, импровизируя, диктует писцу свои «переделки», свою «версию».

Научившись при дворах покровителей французскому языку, Вольфрам очень дорожит этим своим знанием, то и дело (но всегда к месту!) щеголяет французскими словечками, которые во французской транскрипции попадают в немецкий текст.

Впрочем, знаком он не только с французским. Неоднократно в романе встречаются латинские названия камней, арабские наименования планет... Может быть, его настойчивое утверждение, что он «грамоты не разумеет», тоже полемический прием, поза, противопоставление себя поэтам-книжникам, средство самозащиты? Как удалось ему обработать такое множество теологических, юридических, медицинских и прочих специальных сведений, которые вынуждают меня, переводчика, то и дело обращаться к энциклопедиям и старинным справочникам?

Часто, прервав нить повествования, Эшенбах делится с окружающими его слушателями этими сведениями, предается размышлениям по бесконечному количеству поводов, его авторское «я», как уже сказано, до предела активно. Ему ничего не стоит вступить в разговор даже с «госпожой Авентюрой», то есть с собственной фантазией, с собственным, еще неясно различаемым замыслом:

Ах, это вы, госпожа Авентюра!
Ну, как там юный друг Артура?
Живет ли в счастье он или в муке?
Прошу: в свои возьмите руки
Сего повествованья нить
И постарайтесь нас возвратить
Туда, где мы прервали
Рассказ о Парцифале...

«Даль свободного романа» (воспользуюсь этой столь часто употребляемой теперь пушкинской формулой) беспредельна. Пройти огромное расстояние по всем его строчкам, от главы к главе, нелегко: в длинной дороге читателю нужен верный попутчик, рассказчик-друг...

Смысл «Парцифаля» открывался мне по мере общения с его создателем. Где-то я прочел, что «Вольфрам фон Эшенбах был самым свободолюбивым человеком средневековой Германии». Я все теснее связывал его образ с картиной времени, помещал его в гущу конкретных исторических фактов. Он не мог не слышать о них, не знать... Германские крестоносцы разрушили и сожгли Константинополь — с домами, храмами, бесценными библиотеками. В горло друг другу вцепились вельфы и гогенштауфены. Генрих Лев и Альберт Медведь ринулись на славянские племена.

Это его окружало, тревожило. Дело не в том, что в «Парцифале» появились внятные современникам намеки, а некоторые сцены романа напоминали реальные, известные всем события. Эшенбах понял: мир настолько насыщен преступлениями, что им противостоять может разве что святость. В своей не слишком богатой внешними

событиями жизни он явил необычайную силу духа и высоко поднялся над временем, одержимый великой мыслью. Он был из тех, кто в самом себе способен черпать мощь...

Есть книги — как заброшенные, заросшие травой могилы. Не то чтобы они были плохо или подло написаны, нет — просто в них не было достаточной нравственной силы, большой нравственной задачи, а личность авторов слишком слабо просвечивала сквозь то, что они сконструировали.

Эшенбах остался. Не вне своей книги, а в ней.

Впрочем, «Вольфрам фон Эшенбах, в своих прославленных стихах воспевший наших женщин милых», просил не считать его «Парцифаля» книгой («Нет, не книгу я пишу...»). Почему же?

Все, что узнал я и постиг,
Я не заимствовал из книг.

Видимо, для него существовало нечто большее, чем книга,— ж и з н ь.

Родину Вольфрама фон Эшенбаха, городок Вольфрамс Эшенбах, что в переводе означает Эшенбах Вольфрама, мне, к сожалению, удалось увидеть уже после завершения работы над «Парцифалем».

...Ехал из Ансбаха по мягкому мокрому шоссе. Вдоль обочин то возникали, то исчезали голые деревья с темно-зелеными стволами, редковатый смешанный лес. Здесь-то и была, наверно, та непроходимая чаща, которую Эшенбах вообразил заколдованным Бразельянским лесом. Здесь стоял замок Мунсальвеш, здесь хранился Грааль.

Великая, как само мироздание, средневековая поэма рождалась в баварской глуши, среди крохотных, открыточных, музейных домишек, над которыми торчал шпиль церкви.

Улицы носили имена Вальтера фон дер Фогельвейде, Гартмана фон Ауэ, Готфрида Страсбургского, Тангейзера... Были здесь также улица Титуреля, улица Лоэнгрина, улица Парцифаля.

Гнездо миннезингеров...

На площади Вольфрама фон Эшенбаха перед церковью святой богоматери возвышался памятник, установленный в XIX веке: перепоясанный мечом Вольфрам, худощавый, поджарый, с острым насмешливым лицом, держал в руке лютню.

Я вошел в церковь. На стене, над каменной могильной плитой прочел:

«Остановись, странник! Ты находишься рядом с останками великого поэта Вольфрама фон Эшенбаха, которые здесь, в подземелье церкви Святой Богоматери, ждут часа воскрешения из мертвых».

3

Работа строилась так: сначала я читал подлинник, затем то же место в прозаическом переводе Штафеля, после этого — все варианты стихотворных немецких переводов (чтобы сравнить различные переводческие решения и трактовки), наконец, относящиеся к данному эпизоду толкования и комментарии ученых.

Перевод первых двух глав занял несколько месяцев. В соответствии с подлинником я избрал для начала повествовательную интонацию, стараясь по возможности не перебивать ритм (четырехстопный ямб), игнорируя пока ритмическую шероховатость оригинала. Надо было дать читателю возможность по накатанным ямбам углубиться в даль повествования, вчитаться, преодолеть первые страницы, освоиться в романе и идти, читать дальше.

Однако постепенно меня стало охватывать беспокойство: уж не слишком ли гладко звучит стих, нет ли недостоверности в том, что, переводя «Парцифаля», я «пишу Онегина размером» — обстоятельст-

во, которое даже Лермонтова смущало в «Тамбовской казначейше»? И хотя все немецкие переводчики «Парцифаля» на современный язык брали именно этот размер и ямб, повторяю, лежал в основе ритмического рисунка подлинника, надо было искать способы усложнения ритма: сбить его, взъерошить, как только для этого найдется время и место.

Место между тем не находилось. Первая и вторая книги романа, целиком посвященные похождениям отца Парцифаля Гамурета, были созданы как бы на одном дыхании, не давая возможности остановиться, сменить шаг. Строка переходила в строку, один эпизод в другой, насыщенный битвами, путешествиями, любовными приключениями. Мне слышался чеканный классический ямб: как иначе передать величавость и вместе с тем лихость, напор, зной, обдать читателя жаром битв?.. Не следовало забывать, что я имею все же дело с воинами, рыцарями, а не просто носителями авторских идей.

Теперь сошлись они друг с другом.
Колотят копья по кольчугам.
И древки яростно трещат.
И щепки на землю летят.
Ах, в беспощадной этой рубке
Ждать не приходится уступки...

Надо только представить себе эту картину: ослепительное сверкание до блеска начищенной стали! В стальных панцирях люди, в сталь — вплоть до ушей — закованные кони. Громыхают, падая наземь, стальные фигуры.

В нескончаемо длинных песнях торжествовали, говоря словами автора, Любовь и Воинское Рвенье, и нельзя было терять динамики, допускать, чтобы стих увядал в косноязычии, сникал до усталости. Была и другая опасность — чрезмерной оперной пышности, слащавости. Стих мог увязнуть в потоке любовных изъяснений, в описании экзотических красот.

Хотелось передать страсть, негу, томленье, чтобы у читателя перехватывало дыхание, когда «на бархате дивана сидят отважный Гамурет и королева Белакана», и в то же время не утратить напряженную авторскую мысль о единстве людей, будь они христианами или язычниками, «черными».

В годы, когда полки крестоносцев шли, чтобы в далеких землях обрушить мечи на неверных, а язычников подвергали поношениям со всех церковных амвонов, Эшенбах в своем романе говорил: «Что значит разность цвета кожи, когда сердца слились в одно?» Языческие монархи, языческие рыцари, языческие обряды и обычаи описаны Эшенбахом с симпатией и уважением...

Я знал, что мысль об общности людей, пройдя через весь роман, приобретает символическое звучание в финале, когда почти все персонажи окажутся связанными между собой родством. Линии множества жизней замкнутся на Парцифале, и от него же потянутся вдаль новые нити. Это был образ рода человеческого, непрерывности жизни. И к такому восприятию надо было приучать читателя уже с первых глав.

Между тем к третьей главе началось такое нагромождение эпизодов, что я и сам едва удерживал их в памяти. На меня сыпалось бесчисленное множество имен, диковинных географических названий.

Под напором сюжетной сумятицы стал наконец постепенно меняться размер, стих все более приближался к своему естеству:

...Итак, он с королем расстался
И в комнате один остался,
Сказав послушной свите:
«Я спать ложусь. Вы тоже спите...»
Но тут пажи вбежали
И обувь с ног его усталых сняли.
И, скинув облаченье,
Он чует облегченье.

Это, пожалуй, наиболее точный ритмический «портрет» подлинника, созданный не сразу, а в процессе долгого и медленного освоения текста.

Теперь я располагал возможностью время от времени (желательно как можно чаще) демонстрировать читателю это первородное звучание, вписывать его в условный размер перевода, подобно тому как встраивают куски уцелевших древних стен в современные архитектурные ансамбли.

Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации: «Ах, знаю я такую, о коей я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан». А вот уже совсем почти раек:

Скажу вам без обману.
Его женой я стану.
Лишь он моя отрада
И нам другого короля не надо!..

Мне эти строки были особенно дороги, потому что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого «Парцифаль» был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот. Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что «Парцифаль» при всем своем мистицизме имеет под собой прочную народную, жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях — например, в мгновенных победах, которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллад и песен, где как по мановению волшебной палочки происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро, или в чрезвычайно живом, ядреном рассказе о волшебном Клингсоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердечие.

Насмешка над злой силой — один из любимых народных мотивов. Перехитрить черта или злого волшебника — какая это утеха для народной души, какая вера в свои собственные силы в эти истории вложена! И если у Вагнера Клингсор — всемогущая мистическая и неумолимая субстанция, подвергшаяся некой таинственной операции, то у Эшенбаха он скорей мерзкий, похотливый колдун и расправа с ним происходит куда более лихо и решительно:

Сталь сверкнула и — долой
То, чем любовник удалой
Перед женщинами похвалялся!..
С тех пор Клингсор скопцом остался...

В подобных эпизодах стих звучал задорно, в парных рифмах одна рифма словно на лету подхватывала другую, чудо что были за парочки: «отрубил — протрубил», «Азии — голубоглазее», «храмовник — терновник»! Все подсказал подлинник...

За рифмой важно было следить, чтобы не терять упругость стиха, и осторожно снижать не из подлинника взятую, а от чужих немецких переводов идущую чрезмерную патетику, не меньше остерегаясь забористости, излишней хлесткости и лихости. Например, в сцене с Гурнеманцем Парцифаль, приехав в крепость Грагарц, чуть не становится мужем его дочери — прекрасной златокудрой Лиасы, однако он «в Грагарце с нею не останется, он к новым похождениям тянется, к неведомым событьям» — и категорическое резюме: «Супругами не быть им!»

Рифмы «останется — тянется», «событьям — не быть им» могли настроить читателя на облегченный, полуюмористический лад, который, как мы уже видели, иногда присутствует в оригинале, особенно в авторских комментариях. Эту казавшуюся порой неуместной чрезмерную живость у Эшенбаха всегда нейтрализует таинственная воз-

вышенность. Так, в сцене с Лиасой после «супругами не быть им!» шла мотивация:

Он ощущает странный зов,
Идущий прямо с облаков.
Зов, полный обещанья...
Так пробил час прощанья.

Несмотря на кажущуюся легкость, многие строки давались с трудом, то и дело возникали неожиданные, почти непреодолимые препятствия. В «Парцифале» множество раз рифмуется wip и lip — в XIII веке эта рифма была столь же банальна, как у нас «любовь — кровь», но тут же, рядом — редчайшие ассонансные рифмы, диковинные звукосочетания.

Для развития сюжета существенным считается эпизод, в котором Парцифаль, еще наивный юноша, в сшитом матерью шутовском наряде, не ведая, что творит, убивает отважнейшего из рыцарей — Красного Итера, случайно попав ему дротиком в глаз. Парцифаль надевает поверх своей одежды снятые с убитого «стальные латы боевые», и вот уже Итер похоронен, а другой рыцарь, Иванет, сооружает на могиле крест из злосчастного дротика, прибитого поперек какой-то доски,— дело не слишком хитрое, на которое сам Эшенбах отвел всего несколько строк... Однако в переводе доска никак не «прибивалась» к дротику, вся процедура не укладывалась в заданный размер. Чего только я не перепробовал! «Он доску к дротику прибил...», «И, дротик прикрепив к доске...», «Прибита к дротику доска...» — все не то, не видно, что сооружается именно крест. Как это пояснить?

Я работал над этими строчками почти месяц, до полного физического изнеможения, пока, наконец, не получилось:

Где Парцифаль? Простыл и след...
Уже он скрылся за горою...
А тело юного героя
Покрыл цветами Иванет.
И по законам здешних мест
Соорудить решил он крест,
Всем видимый издалека:
Злосчастный дротик Парцифаля
И поперечная доска
Сей скорбный крест изображали...

Надолго пришлось сделать перерыв...

Пятая песнь начиналась с уведомления читателя о том, что́ ему предстоит в этой песне узнать, то есть со своеобразной аннотации. Вот — в дословном переводе — тот материал, которым я в данном случае располагал:

«Тех, кому еще охота услышать о том, куда попадает тот, кого Авентюра послала в дальние странствия, ожидает безмерно большое чудо. Пусть дитя Гамурета скачет далее! У моих участливых слушателей есть причина пожелать ему удачи, ибо случится так, что он испытает великое бедствие, однако обретет в конце концов почет и радость...»

Преобразуясь в стихи, комья слов рассасываются, речевые конструкции облегчаются, содержание вливается в созданную для него форму:

Спешу заверить тех из вас,
Кому наскучил мой рассказ,
Что расскажу в дальнейшем
О чуде всепервейшем.
Но перед тем, как продолжать
Позвольте счастья пожелать
Сыну Гамурета —
Причина есть на это.
Сейчас ему как никогда
Грозит ужасная беда:
Не просто злоключенья,
А тяжкие мученья.
Но я скажу вам и о том,
Что все закончится потом
Полнейшею удачей:
Не может быть иначе!
К нему придут наверняка
Почет и счастье... А пока...

А пока Парцифаль продолжает свой путь по лесу, среди нехоженых дорог, очень напоминая собой дюреровского всадника... Я же ломал голову над тем, как разнообразить рифмы на «Парцифаль»:

«сталь», «даль», «печаль», «Грааль», «жаль», «хрусталь», «скрижаль» и даже «февраль» — все, кажется, кроме «кефаль», было использовано!

Важное значение имела реставрация сложных материализованных средневековых метафор. Автор мог превратить в многозначительную метафору самое обычное, ходовое выражение, употребляемое на каждом шагу, например: «Ты заключена в моем сердце». Эшенбах тут же ловит сказавшего это на слове: «Подумайте только, что творится! Способна ль взаправду уместиться большая женщина в маленьком сердце?.. Через какую такую дверцу она в сердце входит, как дорогу туда находит?..» Безусловно, в такой реализации словесных клише есть оттенок юмора.

В ходе перевода я обнаруживал пристрастие Эшенбаха к контрастам, к резким столкновениям материй высоких и «низких», просторечий и изысканной, придворной лексики, усложненных метафор и банальностей, почти непристойной эротики и необычайного целомудрия. Из бесчисленности контрастов возникало ощущение бесконечного многообразия мира, изменчивой сущности человеческой души. В самом начале своего романа Эшенбах утверждал право человека на сомнение (zwievel) потому, что «порой ужиться могут вместе честь и позорное бесчестье», что люди подобны сорокам, которые «равно белы и чернобоки», и что в душах людей «перемешались рай и ад». Важно лишь не отчаяться, не «извериться вконец», не избрать «один лишь черный цвет».

Только поняв эту великую гуманистическую идею Эшенбаха, убедившись, что передо мной не просто эффектные литературные приемы, а суть, я стал все более внимательно присматриваться к контрастам и по возможности все чаще использовать их в переводе.

Конечно, реставрации поддавалось далеко не все. Приходилось удалять куски омертвевшей ткани: утомительные, длинные и бессодержательные эпизоды, которые уже ничего не могли сказать современному читателю, многословие, когда оно становилось невыносимым. Отчетливо проступали сюжетные слабости, немотивированность иных поступков, ходульные приемы рыцарских романов. Однако эти свойства можно было устранять лишь с большой осторожностью, в самых крайних случаях. Гораздо чаще их приходилось сохранять, восстанавливать.

Причуды времени, выверты средневековой фантазии виделись в рассказе о первых днях супружеской жизни короля Гамурета:

Носил герой поверх кольчуги
Рубашку царственной супруги,
В которую была она
В часы любви облачена.
И в той священнейшей рубашке
Он в битвах не давал промашки...
В конце свидания ночного
Рубашку получал он снова.
Их восемнадцать набралось,
Пронзенных копьями насквозь.

Я опускал в переводе ряд подробностей, но не смог опустить, скажем, подробнейшего перечня камней, который в одном эпизоде, очевидно, был весьма важен автору: «Каменья, что украшали кровать, я бы хотел здесь вам назвать. Итак, это были: карбункул, агат, сапфир, изумруд, аметист, гранат, берилл, опал, халцедон, алмаз, турмалин, бирюза, рубин, топаз...» Мне были дороги и такие следы авторского мышления, где он посреди пышной тирады вдруг говорил, что «лик героя напоминал... щипцы»! Именно щипцы потому, оказывается, что «подобными щипцами дам, слишком ветренных сердцами, вполне возможно удержать: лишь надо посильнее жать!..».

Я читал эти строки в подлиннике и думал о языке перевода: не маловато ли у меня архаизмов?

Передача архаизмов давно уже является предметом переводческих дискуссий, хотя никто, конечно, не в состоянии точно сказать, откуда и какие брать для перевода старинных текстов старые слова,

не считая затасканных и неизбежных «коль», «сколь», «столь», «ежели», «нежели», «вкушать», «вотще» и пр.

Спасительная лексика первой четверти XIX века может оказаться слишком современной в переводе стихов того же XIX столетия и слишком старомодной в переводе текста XIII века. Дело, очевидно, не только в лексике, но и в интонации, в манере речи, в ее темпе, а также в том, какой угол зрения выбирает переводчик. Несомненно одно: подавляющее большинство произведений, какому бы веку они ни принадлежали, в оригинале написано современным (по отношению к своему времени) языком. Дело переводчика решать, что из этого следует: то ли что он должен подчеркнуть удаленность той некогда живой и современной языковой стихии от нашей сегодняшней, то ли восстановить изначальную живость звучания... Память, эрудиция, художественный такт, сама жизнь подскажут наиболее подходящие для этого слова.

Что касается меня, то я старался, чтобы груз архаизмов не давил стих, предпочитая тяжеловесным архаизмам легкий, как бы условный налет старины. Добрую службу мне сослужил немецко-русский словарь Тиандера, где русский перевод значений дан на лексическом уровне 1911 года. Всевозможные пособия напомнили, что значат бармица, шишак, наручи, валет, кравчий; из них я позаимствовал драгоценную терминологию: пробный турнир, большой турнир... В запасе у меня были и средневековые костюмные термины, например шаперон, роб, бегуин, нарамник.

Кстати сказать, независимо от того, есть ли на это указание в подлиннике или нет, переводчик должен хорошо представлять себе внешность персонажей, видеть их жесты, должен уметь мысленно одевать их в соответствующие костюмы. Названия блюд, предметов обихода, деталей одежды не только обогащают лексику перевода, но и делают ее достоверной и естественной.

В «Парцифале» надо было восстановить и другое: момент импровизации. Хотелось, чтобы читатель ощутил атмосферу, в которой создавался роман. Так называемый эффект присутствия достигался самым тщательным воспроизведением всех признаков прямого контакта автора с аудиторией, с публикой: насмешек, перемигиваний, перебранок («А вы меня не торопите!.. Коль неохота слушать вам, другому слово передам...»), авторских замечаний, вызванных реакцией слушателей, а также пауз, когда рассказчик, задумавшись, ищет подходящее слово, неожиданных отступлений от плавного повествования, брошенных вскользь замечаний, реплик («...и в том даю вам слово, что часто голодает... ах!.. Кто?.. Я! Вольфрам фон Эшенбах!..») — иначе говоря, всего, что только великая сила искусства удерживает от того, чтобы стать простым рифмоплетством, болтовней в рифму...

4

«Парцифаль» отличается нравственным максимализмом. Это главное, что интересно в нем нашему времени, этим роман более всего дорог.

В «Парцифале» духовные поиски и сомнения ведут к истине через деятельное добро, через страдание и сострадание.

Суть добра —
В том, чтоб душа была добра...

Эта прописная, казалось бы, истина чрезвычайно и важна и сложна.

В романе есть и любовь со всеми ее причудами, и вера в своем вечном столкновении с неверьем, и рождения, и смерти, бесконечное множество невосполнимых утрат и чудо неожиданных обретений, встреч, возвращений. «Парцифаль» — свод человеческих знаний, ко-

торые, как выясняется, все, вместе взятые, стоят меньше, чем простое сострадание, слово «сердечного участья», представляющего собой высшую этическую ценность.

Попав в Мунсальвеш, молодой Парцифаль оказывается перед лицом двух начал: земного блаженства, воплощенного в Граале, и безмерного земного страдания, которое олицетворяет мучимый страшным недугом, вечно зябнущий король Анфортас. Памятуя, однако, что рыцарю не пристало задавать вопросы, Парцифаль не решается спросить несчастного, что с ним. Таким образом, Парцифаль ставит рыцарское «вежество» выше сострадания — не из жестокости или душевной черствости, а из приверженности строгому рыцарскому этикету, иначе говоря, ставит официальную сословную этику выше общечеловеческой.

Роковой этот поступок в один миг круто изменяет его судьбу. Вместо того чтобы избавить Анфортаса от жестоких мучений (только «в о п р о с, исполненный участья», мог принести исцеление) и самому стать королем Грааля, Парцифаль обречен теперь на тягчайшие испытания, на неприкаянность, на долгие изнурительные странствия, а главное — на совершение новых грехов. В действие вступает так называемый автоматизм вины, когда преступление неумолимо влечет за собой вереницу других. В романе отразились некоторые суждения о категории вины Блаженного Августина: в наказание за совершенный грех человек теряет нравственную ориентацию (состояние, которое Августин обозначал термином ignorantia) и обречен на совершение злых дел. В этом смысле грех, совершенный Парцифалем в Мунсальвеше по отношению к Анфортасу, является своего рода возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный до этого: убийство Красного Итера.

В романе Эшенбаха путь к искуплению вины лежит через мучительное познание жизни. Только познав жизнь во всех ее проявлениях, от возвышенной, святой любви (Сигуна) до подлого коварства, злодейства и низости (сенешаль Кей, Клингсор), обретя утраченную было веру, Парцифаль вновь попадает в Мунсальвеш, задает Анфортасу спасительный вопрос, находит свою жену Кондвирамур и становится владыкой Грааля...

Итак, поиски святого Грааля — труд нравственный, путь к нему есть путь познания окружающего мира и самого себя, обретение Грааля — обретение Истины. Вот эту авторскую идею и должен был выразить перевод. Читатель должен был получить произведение гуманное, не приемлющее зла ни в каком виде, требующее от человека не какой-нибудь мелочной и пошлой «отзывчивости», а готовности бесстрашно ринуться в бой с несправедливостью и жестокостью, туда, где раздается крик боли, мольба о помощи.

...Медленно шел по залу оруженосец, подняв кверху копье, с острия которого стекала красная струя крови.

И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло.
Все беды, горести, потери!..

Какая важная, пронзительная мысль! Как насущно это требование: «избыть содеянное зло», которого в мире накопилось столько, что уже выдержать невозможно — кровь хлынула. Неужели за оруженосцем закроется сейчас резная дубовая дверь и он так и пройдет со своим кровоточащим копьем, никем не замеченный?.. Этот оруженосец появляется в Мунсальвеше в разгар пиршества, перед выносом Грааля как напоминание, предостережение.

Парцифаль видел и оруженосца и копье, но молчал. Он был слишком добросовестен, слишком кроток («Скромность, а не спесь

ему задать вопрос мешает и права спрашивать лишает»), слишком корректен в своем отношении к этому миру («Молчать его заставил свод рыцарских старинных правил»), чтобы вмешиваться. Но в мире, где властвует зло, общепринятые добродетели оборачиваются опасными пороками. Так, против собственной воли Парцифаль становится причиной страданий и смерти своей горячо любимой матери Герцелойды, его необдуманные поступки ранят сердце Сигуны и Кундри, он виновник тяжелых переживаний Ешуты и Куневары, невольный убийца Красного Итера. К пятой песне, то есть даже еще до встречи с Анфортасом, невинный, наивный и отважный юноша несет на себе груз тяжких нравственных преступлений: такова иррациональность порочного мира.

Кто же он, в конце концов, этот «святой простец», как именует Парцифаля в своем либретто Вагнер?

«Он — негодяй всего лишь!» — восклицает вестница Кундри, явившаяся «на тощем муле» в блистательное собрание рыцарей Круглого Стола в момент наивысшего триумфа Парцифаля, чтобы бросить ему в лицо слова страшного обвинения: «Вас не занимала чужая боль нимало...» И сам бог «вырвет ваш язык за тот невыкрикнутый крик простого состраданья...».

Очищение Парцифаля наступает в тот миг, когда он всем своим существом осознает Истину, выраженную в наивном житейском совете, а на самом деле — великом общечеловеческом требовании:

Спеши, спеши на помощь им.
Тем, кто обижен и гоним.
Навек сроднившись с состраданьем
Как с первым рыцарским деяньем!..

Тем-то и велик Эшенбах, тем-то и заслужил его труд воскрешение, что в своем XIII веке он понял это требование, не счел эту истину банальной и не отвернулся от нее высокомерно.

Несмотря на обилие кровопролитных турниров, поединков, убийств, в романе Вольфрама фон Эшенбаха жизнь предстает как высшее благо. Жизнь богоугодна, если уж воспользоваться религиозной терминологией, она — сама по себе, как противоположность смерти — нравственна. Лишение жизни — тягчайший из грехов, и убийство, пусть даже в обычном для того времени поединке, требует трудного искупления.

Текла жизнь, менялись времена года, чередовались полосы удач и неудач. Почти через три года после начала работы громадина романа поднялась на поверхность...

Ну а Грааль? Что же он все-таки такое, этот расточитель щедрот, который «в своей великой силе мог дать, чего б вы ни просили»? Как понимать эти слова, это дыхание тайны?

Светлейшей радости исток,
Он же корень, он и росток,
Райский дар, преизбыток земного блаженства.
Воплощение совершенства.
Вожделеннейший камень Грааль.

...Люди живут в поисках своего «святого Грааля», во имя Истины.

Геттингенский семинар

1

В октябре 1977 года группа германистов из Болгарии, Польши, Румынии, Советского Союза и Югославии занималась в Геттингене, в Институте Гёте проблемами художественного перевода.

Геттинген для русских не пустой звук. В конце XVIII — начале XIX века в Геттингенском университете обучались молодые русские люди. Здесь были Н. И. и А. И. Тургеневы, Кайсаров, будущие учителя Пушкина Куницын, Кайданов, Кареев, Пушкиным же воспетый Каверин, гусар. Может быть, не случайно своего Ленского, который «из Германии туманной привез учености плоды», наделил Пушкин «душою прямо геттингенской». Ленский впервые появляется в «Евгении Онегине» во второй главе, Пушкин завершил ее в 1824 году. В том же году в «Путешествии на Гарц» Гейне написал о «знаменитом своими колбасами и университетом» Геттингене: «Сам город очень красив и нравится больше всего, когда обернешься к нему спиною». Этого в Геттингене не могут простить Гейне и по сей день, особенно же утверждения, будто у геттингенок слишком большие ноги. Свои письма из Геттингена Гейне помечал «дыра Геттинген», иногда «проклятая дыра Геттинген». Он жил здесь на Вендштрассе, в голубом особнячке, где сейчас в нижнем этаже рыбный магазин «Нордзее», то есть «Северное море» — название одного из гейневских циклов.

Все же Гейне был несправедлив к Геттингену: к этому городу стоит повернуться лицом. Здесь жили великие поэты, ученые. К геттингенскому кружку поэтов был близок Готфрид Август Бюргер, автор знаменитой «Леноры», напечатанной в «Геттингенском альманахе муз», и — «Мюнхаузена». В России вокруг перевода «Леноры» кипели литературные страсти: перевод Катенина вызвал нападки Гнедича, Катенина яростно защищал Грибоедов, позже к нему присоединился Пушкин. Жуковский переделывал свой перевод «Леноры» дважды.

Бюргер в Геттингене выступил в поддержку идей Французской революции, против посягательства на свободу человеческой мысли. Это было в 1789 году. В конце века Павел I особым уложением запретил всем русским обучаться в заграничных университетах и ввозить в Россию книги с Запада.

В 1805 году, однако, Андрей Кайсаров защитил в Геттингене докторскую диссертацию «Об освобождении крестьян в России». Это был человек редкостной духовной мощи, публицист, филолог, автор «Сравнительного словаря славянских наречий» и в Геттингене на немецком языке изданной книги «Славянская и русская мифология».

1812 год застал Кайсарова университетским профессором в Дерпте. Он вступил в действующую армию, при штабе Кутузова создал первую в истории России фронтовую газету «Россиянин». От «Россиянина» тянулись незримые нити к ранним декабристским организациям. Кайсаров погиб в партизанском отряде в 1813 году под Ганау...

Геттинген свидетельствует о таинственном переплетении человеческих судеб, неисповедимых путях истории. Русских геттингенцев здесь помнят, их биографии исследует университетский профессор Рейнгард Лауэр.

В 80-х годах XVIII века среди геттингенских студентов был граф Михаил Милорадович. Впереди его ждала слава: участие в походах Суворова, победы над турками, освобождение Бухареста, Бородинская битва, где он командовал правым крылом 1-й армии... 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга его смертельно ранил Каховский.

В 1792 году в Риге при возвращении из-за границы были арестованы обучавшиеся в Геттингене Василий Колокольников и Максим Невзоров, косвенно связанные с Новиковым. Их доставили в Петропавловскую крепость, где обоих пытал знаменитый Шешковский. Колокольников умер в заключении, в Обуховской больнице. Невзоров наказанию не подвергся, ему лишь запретили ехать врачом в Сибирь. С 1807 по 1815 год он издавал журнал «Друг юношества», от кото-

рого веяло мрачной религиозной мистикой, печатал слабые многословные оды. Геттинген он назвал рассадником крамолы и атеизма.

29 января (10 февраля) 1837 года у смертного одра Пушкина стоял его друг Александр Иванович Тургенев, член арзамасского братства, выдающийся историк, в прошлом геттингенский студент. Тургеневу суждено было сопровождать тело Пушкина в Святые Горы. Известно, что царь прислал умирающему Пушкину своего лейб-медика Арендта... Дочь Арендта Генриетта вышла замуж за немецкого врача русской службы Максимилиана Гейне. В 1824 году он получал от своего брата Генриха письма: «проклятая дыра Геттинген»...

В мире все связано между собой, всё и все.

Когда-то я переводил «Балладу о Генрихе Льве»:

Чего так в Брауншвейге встревожен народ,
Кого провожают сегодня?
То Генрих Брауншвейгский уходит в поход
На выручку гроба господня...

Баллада была записана в XVI веке, подвергалась неоднократным обработкам, народная молва сделала Генриха Брауншвейгского героем фантастических приключений. Потерпев кораблекрушение, он расправился с грифом, который «герцога вынес на сушу», оказался свидетелем схватки дракона со львом — и «кинулся льву на подмогу». Лев поклялся служить ему до конца своих дней. Затем следует еще целый ряд невероятных происшествий. Баллада заканчивается словами:

Так герцог, что прозван был Генрихом Львом
До старости герцогством правил.
А лев, находясь неотлучно при нем,
И в смерти его не оставил.
Не смог пережить он такую беду
И в тысяча сто сорок третьем году,
Теряя последние силы,
Почил у хозяйской могилы.

Герцог Брауншвейгский — Генрих Лев — основал Геттинген. Герб города — три сторожевые башни, под ними с поднятой лапой лев, увенчанный золотой короной. Он показался мне давним знакомым...

Отчего тянет к старине, к фольклору? Гёте писал, что в старых народных стихах «таится непреодолимое очарование, подобное тому, какое имеет для стариков образ юности и юношеские воспоминания». К родниковым истокам поэзии припадают, чтобы обрести новые жизненные силы, выслушать суждения, которые выверены временем и поэтому кажутся вечными, незыблемыми.

Геттинген дохнул на меня романтикой старины, чистотой, созерцательностью. Именно этим проняли меня еще в детстве немецкие народные песни, потянули к себе.

Меня иногда спрашивают, с чего началось мое увлечение немецкой поэзией. С Шиллера, с Гейне? С изучения немецкой культуры? Я с благодарностью вспоминаю моих университетских профессоров, но первое «ощущение Германии» пробудили во мне не они.

Когда мне было пять лет, в 1926 году, в нашей семье поселилась Иоганна Андреевна Прам, немка, одна из тех «немок», которые водили по бульварам тогдашней Москвы группы детей. Это была послереволюционная, последняя по счету разновидность домашних учителей — сочетание отмененных революцией бонн и гувернанток с обычными нянями,— обладавших скорее педагогическим инстинктом, чем навыком и образованием. Женщины в основном пожилые и одинокие, они отдавали много души «своим» детям и в постоянном общении приучали их к иностранному языку «без грамматики».

Именно на таком условии, чтобы «без грамматики», Иоганна Андреевна, которую мы все звали просто Анни, согласилась меня

учить, воспитывать и проводить со мною весь день — с самого раннего утра до вечера, пока не укладывала меня спать.

Жила она в небольшой комнате при кухне, которая в старых домах предназначалась специально для прислуги, и сразу же обставила эту комнату на немецкий лад, с вышивками и изречениями на стене, одно из которых — в рамке, с серебряными готическими буквами на черном стекле — я хорошо помню: «Бог помогает, бог помогал, бог поможет и впредь».

Все это не мешало Анни, может быть с некоторой осторожностью, принимать новые нравы, и, приобщая меня к пасхе, рождеству, немецким пасхальным и рождественским песням, она не забывала и о советских, общегражданских праздничных днях, и вместе со своей Анни я вырезал из глянцевой красной бумаги звездочки, вплетал красные ленты в еловые ветки, чтобы украсить ими комнату к 1 Мая, 7 ноября или же 22 января, который тогда отмечался как День памяти Ленина и 9 января 1905 года.

Кстати, заглянув в календарь за 1926 год, я установил, что тогда официально отмечались следующие праздники и памятные даты: Новый год, День памяти Ленина, Низвержение самодержавия, День Парижской коммуны, День Интернационала, День пролетарской революции. Днями отдыха также считались: в марте — благовещение, в апреле — страстная суббота и пасха, в июне — вознесение и духов день, в августе — преображение и успение, в декабре — рождество. Религиозные традиции были еще сильны, и над Москвою плыл колокольный звон всех ее церквей.

Однако это отступление, очевидно, мало относится к предмету моей повести, хотя именно в кануны праздников, как революционных, так и немецко-лютеранских, меня охватывали особо сильные, хотя и противоречивые чувства, выражаемые мною, естественно, по-немецки. Сидя в комнатенке Анни, скажем, в канун 1 Мая, мы по-немецки пели «Интернационал» и «Марсельезу», потом, надев пенсне, она читала из книжки заранее заложенное специальной закладкой стихотворение или рассказ революционного содержания. И в той же комнате в сочельник мы самозабвенно пели: «Тихая ночь, святая ночь».

От Анни я узнал множество немецких песен, песенок, немецких стишков, сказок, детских, наивных, которые спустя десятилетия вернулись ко мне в виде немецкого фольклора.

Я уже тогда совершенно отчетливо представлял себе (видел, слышал), как мимо скалы Лорелеи «тихо Рейн течет», фахверковые дома в старинных городишках, даже их обитателей — у Анни были книжки с картинками. И когда, через целую жизнь, я увидел все это в натуре, воочию, то испытал скорее радость узнавания, чем удивление.

Среди сказок Анни самой, быть может, трогательной была сказка ее собственной жизни со сказочной, недосягаемой страной, где в одном старинном городе в маленьком доме жил отец Анни — старый сапожник Андреас Прам и где остались ее добрая старая матушка с двумя дочерьми, сестрами Анни. Я видел эту беленькую старушку и двух ее дочек, двух прелестных барышень, которые существовали в прекрасном, неведомом городе на желтом песчаном берегу моря. Рассказ Анни всякий раз сопровождался демонстрацией единственной цветной открытки с видом старинного города и фотографиями матушки и прекрасных барышень — сестер. Правда, и открытка и фотографии относились к далеким временам. После войны и революции Анни потеряла всякую связь со своими родными, не получала от них писем, не писала им сама и вообще не знала, где они и что с ними. И все же Анни верила, что обязательно еще встретит в этой жизни и свою мать и сестер, и она пальцем показывала на черное стекло с серебряными готическими буквами.

Анни водила меня на Немецкое кладбище. Недалеко от входа стояла статуя — Гамлет с черепом в руке, на постаменте было написано: «Дар Карла Цитемана». Цитеман был московским богачом, Анни когда-то служила у него в доме чтицей при его больной, прикованной к постели жене. Когда жена Цитемана умерла, он подарил Немецкому кладбищу статую Гамлета, кажется, она там стоит и сейчас.

Мы бродили между могил, замшелых плит, склепов. Я читал немецкие эпитафии, стихотворные заклинания, обещания встретиться в ином, лучшем мире. Однажды у кладбищенской стены Анни показала мне заросшие высокой травой могилы немецких солдат.

Среди песен Анни — по большей части любовных или шуточных — были две солдатские: «О Страсбург, о Страсбург, любимый город мой, лежит здесь, похоронен, солдат молодой...» и другая — ночная, жуткая, о том, что рассвет сулит гибель: вчера ты еще гарцевал на гордом коне, сегодня будешь пронзен пулей в грудь, завтра погребен в хладной могиле.

Так я ощутил дыхание военной немецкой смерти...

В Аннинespecially рассказах часто фигурировал персонаж, изображенный на одной из фотографий: плотный круглолицый мужчина, учитель немецкого языка в классической московской гимназии,— Артур Кох, дядя Анни и ее покровитель, самый близкий ей человек, который увез ее из родного города в Москву, опекал, заботился о ней и учил многим мудрым вещам. Анни то и дело приводила его рассуждения по самым различным поводам, от мелких житейских, практических советов до философских размышлений о том, что добро побеждает зло, о силе милосердия и как важно быть бережливым, не будучи скаредным. Этот Аннин дядя, как она рассказывала, скоропостижно умер перед самой войной, и она, оставшись одна, пошла сперва служить к Цитеману, потом в бонны к купцам Вешняковым, от которых осталось название станции Вешняки, затем жила в семье одного профессора, который куда-то исчез, снова лишилась места, пошла на биржу труда, где встретилась с моей матерью... Много позже кто-то из нашей семьи высказал предположение, что Артур Кох был вовсе не дядя, а возлюбленный Анни. Возможно, так оно и было на самом деле. А спустя еще много лет в какой-то букинистической лавке я нашел истрепанный сборник упражнений по немецкой грамматике, составленный Артуром Кохом.

Анни пробудила во мне «немецкое начало», задела в моей душе какую-то немецкую струну, все остальное пришло потом.

С чего начинается переводчик? Что значит способность воспринимать чужую жизнь, как свою, обмениваться не только языками — жизнями?.. Нации, народы, «языцы», тянутся друг к другу, как двое королевских детей из немецкой народной баллады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки, изнывая от невозможности преодолеть разделяющее их пространство. Королевич бросился вплавь, тогда королевна зажгла свечку, чтобы ему был виден берег. Однако злая старуха-черница загасила свечу, и «ночь поглотила пловца».

Кто они, эти злые, которые гасят зажженный любящей рукой огонек?.. Но, может быть, переводчики — лодочники?..

Немецкие народные баллады я переводил с особым чувством. Я помнил слова Гейне: «Тот, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, пусть прочтет их народные песни». Я хотел, чтобы немцев узнали с лучшей стороны. Для этого были свои основания.

Когда моя книга вышла, я получил письмо от одной женщины. Она писала, что три года провела на оккупированной территории. Первые немцы, которых она увидела, носили зеленого цвета шинели солдат. Потом пришли немцы в черных мундирах эсэсовцев... У этой женщины убили дочь, муж ее погиб на войне. К немцам она проник-

лась ненавистью, ей казалось, что на всю жизнь. И вот она писала: «Эти стихи спасли меня от ненависти. Не может быть плохим народ, у которого есть такие песни. Не народ, видимо, виноват...»

Вскоре я оказался в Кельне, среди сверстников. Я с гордостью показывал им свою книгу с замечательными, в старинном немецком духе выполненными гравюрами художника Бургункера. Однако ни содержание книги, ни иллюстрации не вызывали особого умиления. Кто-то сказал:

— Нас от этих стихов воротит. Они напоминают нам гитлеровщину...

Да, их украли у народа: нежную Лилофею, королевских детей, влюбленного мельника, хитроумного портняжку, пляшущего крестьянина, тихое течение Рейна, фахверковые дома с крутыми крышами, леса, темные силуэты на вершинах ступенчатых гор, украли, оприходовали по ведомству министерства пропаганды. Изо дня в день, из года в год немцам твердили: Германия, родина, кровь, почва.

Они отдали народные песни своей солдатне, превратили в маршевые. Тысячи хриплых глоток ревели: «В глуши зеленой чащи я помню старый дом...» Национальную любовь к празднествам, красочным карнавалам, к площадным действам они использовали для своих истерических массовок и оргий. Они лгали, что очищают национальную культуру от скверны, от зловредных наростов, возвращают ее к чистым истокам. Они возвратили ее не к истокам, а отшвырнули на столетия назад — в ночь средневековых кошмаров. Они покушались на самое сокровенное: на душу народа.

Те, кто поверил им, пошел за ними, пришли: одни в Сталинград, другие в Освенцим. Убийцами.

Когда кончалась война, в 1945 году, Томас Манн сказал: «Опустившись до жалкого уровня черни, до уровня Гитлера, немецкий романтизм выродился в истерическое варварство, в безумие расизма и жажду убийства...»

Прошло более тридцати лет, а святые слова «родина», «честь», «материнство», «народ», «почва» все еще вызывают страшные ассоциации. За ними все еще мерещатся силуэты лагерных вышек и крематориев. С идиллических немецких ландшафтов все еще не смыт яд, которым их опрыскали.

В Геттингене одной из первых мы слушали лекцию профессора Фера «Немцы глазами иностранцев».

В аудиторию вошел элегантный седой господин в сером костюме, с мрачным, серьезным лицом. Он начал так:

— Я родился восьмого ноября восемнадцатого года, в последний день мировой войны, и поэтому мои родители дали мне имя Готфрид: бог, мир. Прошло немногим более двадцати лет, почти все мои школьные товарищи погибли в концентрационных лагерях, на полях войны. Мира не было. Был ли бог?.. После войны я объездил все страны Европы, кроме Албании. Бывает, что имя «немец» еще вызывает неприязнь, отчужденность. Это не случайно. Гитлер нанес Германии, немцам такой ущерб, вызвал к немцам такую ненависть — как никто ни к одному другому народу. И от этой травмы мы еще не отделались, хотя стремимся доказать, что мы не те, какими нас, возможно, еще представляют...— Он продолжал: — В отношении тех или иных народов издревле существуют предвзятости, расхожие, клишированные представления. Например, многие думают, что итальянцы все обязательно едят спагетти, они — макаронники, датчане все белобрысые. Педантичность, чрезмерная пунктуальность в равной мере считались немецкой добродетелью и немецким пороком. В этих беззлобных клише нет, собственно, ничего обидного. Немцы — это пиво, немцы — колбаса. В одном английском учебнике немецкого языка тридцать четыре упражнения связаны с колбасой... После двух мировых войн для многих народов немцы стали олицетворением войны,

нацией Гитлера, Круппа. В послевоенных английских сказках для детей злодеи всегда — немцы. На это обратили внимание педагоги, пресса, началась кампания против антинемецких настроений, против злобы и недоверия. Искоренить их нелегко... Невозможно, встретившись с французом, избежать разговора о войне, о нацизме. Как выглядит немецкая тема в передачах французского телевидения? Нацизм, война, оккупация, немного старой немецкой классики и крохотный процент — сегодняшняя жизнь в ФРГ. Нечто подобное происходит и в Италии... Голландцы теснее других связаны с немцами, но голландцы жестоко пострадали от немецкой оккупации, это наложило свой отпечаток на то, как они смотрят на нас... К сожалению, Федеративную Республику Германии еще плохо знают, особенно ее культуру. Культурная жизнь у нас рассредоточена, у нас нет культурной столицы, такой, как, например, Париж. Постарайтесь изучить нас, понять. Мы уповаем на литературу, на переводчиков. Мало высоких слов о дружбе, мало одной доброй воли, для взаимопонимания нужны конкретные дела. Чтобы переводить, нужна объективность, нельзя заниматься переводом книг, руководствуясь предвзятостями...

...Первым немецким поэтом, которого я перевел на русский язык, был (если не считать детских упражнений, проб пера) Иоганнес Бехер. Я разыскал его новые стихи вскоре после войны в газете «Теглихе рундшау». Это были свидетельства об отчаянии, надежде, первых проблесках света. Главная их сила — спасительная горькая правда. С первых послевоенных месяцев, в потемках, в немыслимом краю развалин Бехер искал, что еще уцелело от великой немецкой культуры, что еще можно спасти. Он вытаскивал из-под руин, бережно возвращал соотечественникам слово Гёте, фуги Баха, холсты Грюневальда... Он ободрил, привлек к делу возрождения немецкого духа престарелого Гергарта Гауптмана. Он протянул руку поддержки Гансу Фалладе, Бернгарду Келлерману. Он обратился с призывом сотрудничать к писателям, оставшимся в эмиграции,— Томасу и Генриху Маннам, Лиону Фейхтвангеру. Его услышали. Сердце его исходило любовью к немцам, к Германии и леденело от ненависти к фашизму, к обезумевшим от шовинизма жестоким кретинам, которые ввергли немецкий народ в пучину безмерных страданий.

Он говорил: Германия — в сердце...

Гитлер, изгоняя из Германии писателей, ученых, думал, что лишил их Германии. Но Германия была в сердце, они обращались к ней на родном языке, и она из глубины сердца отвечала им по-немецки.

Ни один из них — ни Бехер, ни Томас и Генрих Манны, ни Ремарк, ни Брехт, ни Анна Зегерс, ни Вольф — не стал в изгнании ни хуже писать, ни хуже говорить по-немецки. Зато Германия, вернее то, во что превратилась территория Германии,— третий рейх говорил устами фашистских фюреров, с уродливыми, фальшивыми оборотами речи, шаблонами, варварским произношением.

Бехер звал: спасите немецкий язык от порчи!

В Германской Демократической Республике Бехер был первым министром культуры, его стихи 50-х годов исполнены предчувствия космической эры, но тогда, в тишине мертвых неподвижных летних немецких ночей 1945 года, Бехеру слышались слова Якоба Бёме: «И если бы горы стали горами бумаги, и моря — морями чернил, и все деревья — стволами перьев, этого все равно не хватило бы, чтобы описать страдание, существующее в мире...»

Поэт революционного авангарда, спартаковец, один из видных экспрессионистов 20-х годов, Бехер обратился к самым простым, исконным формам: к изречениям, проповедям, тихим народным песням. Он писал: «От таких песенок не следует отмахиваться с высокомерием, свойственным иным литераторам, ибо они, эти песенки, дей-

ствительно выражают народные чувства, притом самыми народными средствами».

Он стоял среди развалин, среди тишины, и ему казалось, что все немцы, все человечество, весь мир вопрошает: где была Германия?

И он ответил:

Как много их, кто имя «немец» носит
И по-немецки говорит... Но спросят
Когда-нибудь: — Скажите, где была
Германия в ту черную годину?
Пред кем она позорно гнула спину?
Свою судьбу в чьи руки отдала?

Быть может, там, во мгле, она лежала,
Где банда немцев немцев угнетала,
Где немцы, немцам затыкая рот,
Владыками себя провозглашали,
Германию в бесславный бой погнали,
Губя свою страну и свой народ?

Назвать ли тех Германией мы вправе,
Кто потянулся к дьявольской отраве,
Кто, опьянев от бешенства и зла,
Нес гибель на штыке невинным детям
И кровью залил мир? И мы ответим:
— О нет, не там Германия была!

Но в камерах, в тюремных казематах,
Где трупы изувеченных, распятых
Безмолвно проклинали палачей,
Где к отомщенью призывает жалость,—
Т а м заново Германия рождалась,
Т а м билось сердце родины моей!

Оно стучало там, за той стеною,
Где узник сквозь молчанье ледяное
Шагал на плаху, твердый, как скала;

В немом страданье матерей немецких,
В солдатских письмах, в тихих песнях детских,
В тоске по миру — родина жила!

Ее мы часто видели воочью,
Она являлась днем, являлась ночью,
Украдкой пробираясь по стране.
Она в глубинах сердца вызревала,
Жалела нас, и с нами горевала,
И нас будила в нашем долгом сне.

Пускай еще в плену, пускай в оковах,
Она рождалась в наших смутных зовах,
И знали мы, что день такой придет:
По воле пробужденного народа
Восторжествуют правда и свобода
И родину получит наш народ.

Об этом наши предки к нам взывали,
Грядущее звало из дальней дали:
«Вы призваны сорвать покровы тьмы!»

И, неподвластны ненавистной силе,
Германию в себе мы сохранили,
И ею были, ею стали — МЫ!..

Эти стихи я всегда читаю в оригинале и в переводе, когда выступаю перед любой немецкой аудиторией. Я вспомнил их в связи с лекцией профессора Фера...

Что значит «немцы»? Как понимать слово «немец»?

В 1941 году, в июле, нацистские летчики бомбили Москву. В большом сером доме в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галереи, стоял у окна человек. Это был Иоганнес Бехер. Он смотрел на багровое зарево, слушал, как грохочут зенитки. На улице женский голос пронзительно закричал: «Немец бомбит!» Бехер подошел к письменному столу. На листе бумаги было написано: «Я — н е м е ц». Так озаглавлено его ставшее хрестоматийным стихотворение. У нас оно печаталось множество раз.

В 1962 году в Западной Германии вышла книга «На спине ветра. Поэзия свободы 1933—1945», составленная Манфредом Шлессером. В ней есть все, кто пострадал от гитлеризма или боролся против него. Поэты Германии, Австрии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Западного Берлина. Звезды первой величины и стихотворцы не очень известные. В этом сборнике Бехера нет. Впрочем, в книге «Письма немецких классиков», выпущенной в 1969 году издательством Киндлера в Мюнхене, где есть Геллерт и Клопшток, Лессинг и Виланд, Гёте и Шиллер, Гёльдерлин и Клейст, Новалис и Тик, Гофман и Брентано, где есть даже Анна Луиза Карш, нет Генриха Гейне.

Реакция мелочна и мстительна. Она никому ничего не прощает.

2

Лекции о современной западногерманской поэзии читали на геттингенском семинаре профессора Иорг Древс и Альбрехт Шене.

Иорг Древс — в кожаной куртке, худой, узколицый, с усиками — вошел в аудиторию; не здороваясь, ничего не говоря, мелом написал на доске свое имя, год рождения: 1938.

Он начал с тезиса Эрнста Блоха: «Поэзия есть сгусток прожитого мгновения», затем стал рассказывать о поисках новых форм выразительности, о демократизации поэтического языка, о влиянии битовой музыки и поп-арта, о попытках новых поэтов совместить индивидуальное «я» с политическим...

По мнению профессора Древса, в поэзии началось некоторое оживление, стихов стали больше писать, больше читать, однако, добавил он, если наступают хорошие времена для поэзии, то, значит, неблагополучно в обществе.

Поэты, стихи которых он разбирал — Делиус, Урсула Крехель, Юрген Теобальди,— люди примерно тридцати — тридцати пяти лет. Это те, кто пережил смену поветрий, крушение экстремистских иллюзий. Когда читаешь их стихи, ощущаешь странную неустойчивость, кажется, что качается пол под ногами.

Они расстались с герметической метафорикой Айха, Целана, Кролова, прозаизировали язык, но иногда это не те прозаизмы, которые спасают стихи от высокопарной красивости, а серая проза повседневной скуки. Теобальди, например, посвятил большое стихотворение консервированному итальянскому блюду — равиоли, дешевой студенческой еде вроде наших пельменей. Иные стихи напоминают мусоросбрасыватели: в них банки из-под консервов, бутылки из-под пива, объедки, окурки. Интерьер новейшей поэзии — дешевая студенческая квартира, пивная, неуютный накуренный бар. В таких стихах зябко, как в нетопленой комнате.

Древс разбирал стихотворение Урсулы Крехель о женской эмансипации. Оно начиналось так: «Анджела Дэвис, дева Мария и я лежим в узких белых кроватях»... Христианская тема присутствовала во многих стихах. Иногда она приобретала неожиданный ультралевый оттенок. Т о т, кто однажды «в белом венчике из роз» сквозь вьюгу пошел впереди блоковских двенадцати, превращался здесь в жестокого, озлобленного террориста. Более всего в этих стихах удручало отсутствие живого чувства, но и заумными их назвать было невозможно.

Теобальди придумал стихи о том, как он вместе с Гёте мчится в машине, включает на полную мощность радио, Гёте, крайне заинтересованный всем, что видит, кричит: «Вперед! На природу!» — ломает стеклоочистители, машина вкатывается «на природу», пролетев через деревню, вырывается в поле, Гёте и Теобальди вываливаются из кабины... В чем здесь смысл?

Иорг Древс пояснил:

— В уничтожении дистанции между поэтами, в упразднении авторитетов.

Я задал вопрос об отношении к классике, вернее о взаимоотношениях между классикой и современной поэзией. Профессор вскинулся на меня:

— Что вы понимаете под классикой? Что значит для вас классическая традиция? Для нас это понятие рухнуло. Гёте почти никто не читает и не изучает. Шиллер практически мертв. Гораздо важнее Шиллера для меня Бюхнер. Сейчас живыми к л а с с и к а м и, если уж употреблять это слово, считаются у нас не Гёте и Шиллер, а Клейст, Гёльдерлин, Жан-Поль. Гёльдерлина выпустило издательство «Ротер штерн» («Красная звезда») — заметьте!..

Что ж... Бывают общественные, литературные ситуации, когда одни классики отходят на задний план, уступают место другим, затем возвращаются. Наследие оттого и живое, что не остается неподвижным.

В Геттингене в витринах книжных магазинов я видел уцененные собрания Гёте. Зато возрос читательский спрос на Клейста, на Жан-Поля. Писатели пользуются иногда его утешительной мыслью: «Покуда человек пишет книгу, он не может быть несчастлив». Из авторов XX века популярнее других стал Герман Гессе. Я бывал во многих

профессорских и литературных домах с большими библиотеками, случалось, что разговор заходил о Шиллере, надо было найти то или иное стихотворение. Шиллера, как правило, не оказывалось, долго обзванивали знакомых, пока кто-либо не находил у себя ветхий томик, оставшийся еще от родителей, дедов. Кто, однако, из нынешних западногерманских интеллигентов не завел у себя «Жизнь Квинта Фикслейна» или «Адвоката Зибенкеза» — острые сатиры Жан-Поля?

Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой, но бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику, духовные ценности выпадают из его обессилевших рук.

Бессмертие классиков — понятие чрезвычайно сложное. Можно назвать самые высокие имена и не сразу ответить, живы ли они или покоятся в сердцах знатоков! А может быть, они живут в строках новых поэтов, перешли в них? Пушкинский «Памятник» отвечает на это со всей определенностью: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Не хоть один человек, не хоть один читатель, а — п и и т!.. Хоть один!.. Речь идет о далеком поэтическом потомке, в чьих жилах его, Пушкина, кровь. То же происходит, конечно, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Шиллером — с любым из великих. У каждого многочисленное потомство, на всех материках, во всех странах света...

Из чего создаются стихи?

Профессор Альбрехт Шене (пятьдесят два года, учился в США, Канаде, ФРГ, выдающийся знаток немецкого барокко) построил свою лекцию оригинально. Поэтов он не цитировал, включал кинопроекционный аппарат, на экране появлялись, допустим, Пауль Целан, или Готфрид Бенн, или Гюнтер Айх, читали свои стихи. Экран выключался, Шене комментировал, затем экран вспыхивал вновь.

Возник диктор телевидения, объявил о начале войны во Вьетнаме. После этого экран показал поэта Гергарда Рюма. Он читал сонет, составленный из тех же слов, что и сообщение диктора, но ритмически организованных так, что слова падали на слушателя-читателя, как бомбы на крыши Вьетнама. Это был звуковой эффект, но содержал ли этот эффект поэзию? Может быть, за поэзию принимают любую эмоционально окрашенную речь? Или же, напротив, существует тенденция к возведению в поэзию газетной и даже канцелярской речи?.. На стихи идут рекламные проспекты, расписания поездов, газетные информации,— из них выдергивают слова, комбинируют, составляют коллажи. Один из поэтов ритмизовал газетную заметку, помню первую фразу, начало сонета:

Астро-
навт
Арм-
стронг
в мо-
ре
ти-
шины...

Каждый слог сопровождается ударом метронома.

В прежние времена пошлость в поэзии называли рифмованной: она бряцала рифмами, рядилась в пышные метафоры, у нее был возвышенный слог. Ныне пошлость опростилась, приобрела аскетический вид, она «рационалистка» и изъясняется преимущественно верлибром. Из словесной мешанины выплывает иногда крохотная мыслишка. Это входит в «правила игры».

В конце 50-х годов Ганс Магнус Энценсбергер писал о торжествующей накипи:

Пена цветет, ширится,
Захлестнула всю землю,
Накипь забрызгала мир,
И ее не выжжет огонь,
Не вырубит меч...
...И что делать с теми,
Кто говорит «Гёльдерлин»,
А втайне думает: «Гитлер»?..

Энценсбергера-поэта вызвало к жизни отвращение к накипи, к наглому самодовольству «экономического чуда», к безнаказанности зла. Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много «моделей», заблуждался, но не отчаялся. Его выручили трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его книге «Мавзолей» за скромными инициалами А. Г., Ф. Ш., Ч. Д., А. М. встают фигуры тех, кто украсил собой историю человечества, например Александр Гумбольдт, Фридерик Шопен, Чарлз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие другие. И здесь же описание жизней, прожитых зря, во вред остальным... Свою поэму «Гибель «Титаника» (1977) он горестно назвал — комедия. Вместе с громадой «Титаника» тонут иллюзии 60-х годов, тонет любовь. Гибнет надежда. У поэта хватило мужества взглянуть на это хотя бы с иронией.

Энценсбергер, как и большинство современных западных поэтов, пишет безрифменным стихом, но рифма ему, пожалуй, и не нужна.

На геттингенском семинаре мне по-новому открылся Пауль Целан, поэт, который числился гражданином Австрии, издавался в ФРГ, а жил и умер в Париже. Я переводил его «Фугу смерти» — скорбное поминание тех, кто замучен в концлагерях. Целан в юности познал нацистские преследования, все его родные погибли, образ смерти в эсэсовской форме шел за ним по пятам. Он покончил с собой в 1971 году, в возрасте пятидесяти лет... Теперь он вдруг ожил передо мной на экране — человек с грустным, спокойным лицом. Стихи он читал по книге, отчетливо, медленно произнося каждое слово. Чтобы понять Целана, нужно проникнуть в грунтовые, подземные воды слов. Смысл у него не лежит на поверхности, но его «темная» поэзия противостоит словесной дешевке, истрепанному языку повседневности. У него есть страшные метафоры: волосы, которые никогда не станут седыми...

В перерыве говорили с профессором Шене о барочной поэзии: он считает ее наиболее близкой сегодняшнему состоянию, восприятию. Коллизии XVII века — это не конфликты между чувством и долгом или между богатством и бедностью, а столкновения исключительные, роковые: между жизнью и смертью, временем и вечностью, войной и миром. Одна из величайших трагедий той эпохи — отсутствие положительного идеала, вернее какого-либо реального душевного пристанища, кроме веры в бога. Но и вера в бога как в высшую спасительную силу, которая с таким простодушием выражена в стихах Пауля Гергардта,—

Но если кажется порой,
Что не пришла подмога,
Свой тяжкий грех молитвой вскрой
И уповай на бога,—

подвергается сомнению у Ангелуса Силезиуса:

Я без него ничто. Но что он без меня?..
Бог жив, пока я жив, в себе его храня.

Впрочем, одно-единственное пристанище остается всегда: совесть.

Мы вспомнили Фридриха фон Шпее. Он был иезуит, в его обязанности входило сопровождать на казнь осужденных к сожжению «ведьм». Закончив обряд, он возвращался домой, запершись в кабинете, писал свои стихи — бисерным почерком, нумеруя строфы. Сторонники реформации относились к нему с особой ненавистью: святоша, пособник палачей! На его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом выздоравливал. В 1631 году по всей Германии разо-

шлось анонимное латинское сочинение «Cautio criminalis». Автор неопровержимо доказывал, что среди осужденных женщин нет ни одной виновной, признания вырваны пыткой. Трактат возымел свое действие, после него сожжение «ведьм» фактически прекратилось. Автором этого сочинения был Фридрих фон Шпее — поэт. Но есть нечто такое, что выше поэзии,— совесть.

3

В те дни, когда в Геттингене работал наш семинар, Западную Германию трясли политические страсти. Не стихала, а, казалось, наоборот, усиливалась «гитлеровская волна» — неожиданный для посторонних, массовый, болезненный интерес к Гитлеру. То и дело выбрасывало на рынок обломки, сор третьей империи: дневники Геббельса, мемуары Шпейделя, Августа Кубицека, Германа Гислера, Х. Ф. К. Гюнтера, Гергарда Бука... На экранах шел (шестую неделю! восьмую неделю!) фильм Иоахима Феста «Гитлер. История карьеры». Продавались предметы нацистского обихода. Не было газеты, журнала, иллюстрированного еженедельника, где в той или иной связи не появлялись бы фотографии Гитлера, Геринга, Бормана, Гиммлера, Геббельса, Риббентропа. При желании можно было вообразить, что время круто повернуло вспять, к тридцать третьему году; нацисты в центре общественного внимания, может быть, они уже идут к власти?.. Устроители семинара чувствовали себя неловко, приходилось отвечать на недоуменные вопросы.

Молодой доктор Ш., приложив руку к груди, заглядывая в глаза собеседнику проникновенно-умоляющим взглядом, объяснял:

— Клянусь вам, это преходящая мода, на ней наживаются коммерсанты, не придавайте этому серьезного значения.

Но как будто назло одно за другим поступали сообщения: молодой злоумышленник водрузил в Западном Берлине на Колонне победы государственный флаг третьего рейха, лейтенанты бундесвера под пение «Хорста Весселя» сжигали картонные таблички с надписью «еврей». Нацистские приспешники устраивали эксцессы и в самом Геттингене.

И снова доктор Ш. проникновенно говорил:

— Я сам в отчаянии, но это хулиганство, не более чем отвратительное хулиганство... Поверьте...

Время было непонятное, беспокойное, по тихим улицам Геттингена ползла жуть. Однажды ночью неизвестный вломился в гостиничный номер, в котором жил польский участник семинара, напал на него, произошла потасовка; полиция объяснила, что в гостиницу «забрел» обыкновенный наркоман... Тем не менее из Бонна прибыли представители польского посольства, была направлена официальная нота протеста.

Все это вторгалось в переводческие проблемы, накладывало на работу семинара свой отпечаток.

Беспокойство усиливалось еще одним обстоятельством. Кто-то искусно имитировал нарастание «красной опасности». Вся страна была обклеена плакатами с изображением красных флагов с серпом и молотом, красных звезд, стены испещрены революционными лозунгами, улицы полыхали кумачом. Полиция разыскивала террористов, которые тоже именовали себя красными. Молодые люди в защитного цвета шинелеобразных пальто раздавали прохожим листки, на которых пылали слова «красное утро»...

Не каждый умел разобраться, чьи руки потянулись к революционным символам. Многим начинало казаться, что вот-вот разразится кризис, катастрофа. В чем спасение? Кое-кто тосковал по утраченной силе: Гитлер был, конечно, плох, но все-таки при нем был порядок.

У кого-то сердце холодело от страха: неужели на жизнь снова накинут фашистскую сеть?

Журналы проводили опросы: стоит ли вводить смертную казнь? Подавляющее большинство ответило: нет.

В стране действовали запреты на профессии. Коммунистов не допускали на государственную службу, увольняли из школ, театров. Это вызвало широкое недовольство. Об ущемлении демократии открыто заговорили даже умеренные писатели, ученые, деятели культуры. На них накинулись справа, объявили «симпатизантами», втайне сочувствующими террористам...

Обер-бургомистр Геттингена Артур Леви (социал-демократ) и второй бургомистр Иоахим Куммер (ХДС) устроили в честь участников семинара прием в зале старой городской ратуши. Речь зашла о положении в стране, о защите демократии. Иоахим Куммер сказал:

— Опыт Веймарской республики показал, что́ привело к фашизму. Конечно, были и другие причины, например реваншистские притязания, но главное состояло в глубоком разочаровании в республике, в том, что был решительно подорван авторитет существующей государственной власти, оплеванной, расшатанной со всех сторон...

В какой-то степени эта тема присутствовала и в фильме Иоахима Феста. Я смотрел этот фильм на последнем сеансе, зал был переполнен, хотя фильм демонстрировался уже около месяца, а Геттинген — город не такой уж большой.

О фестовском «Гитлере» много писали, его ругали, кажется, всюду, дурные отзывы о нем я читал и в ФРГ. В соответствии со сценарием в фильме разыгрывалась трагедия не столько немцев, не столько народов Европы, сколько мистической личности: мечтателя, фантазера, авантюриста, фанатика. Он и сейчас, в этом фильме, возвышался над толпами, над горем и кровью миллионов, над могильным рвом где-то в России, в который падали с обрыва тела убитых выстрелом в затылок (в фильме есть и такой нечеловеческий документальный эпизод). Мерзкая фигура диктатора, ретивого, рьяного, яростного исполнителя злой воли темных социальных сил, возводилась в ранг шекспировского персонажа, он заслонял собой всех.

Но в фильме было и другое. Из цепи событий Фест вырвал, крупно показал сумятицу, предшествующую 1933 году, агонию Веймарской республики.

Эта пора притягивает внимание искусства. В разное время я видел фильмы «Корабль дураков» и «Кабаре». В кривом зеркале «Кабаре» корчилась предгитлеровская Германия, отравленная ядом слабости, нервозности, моральной извращенности, больная, гнилая страна, где персонажи — завтрашние палачи и жертвы и послезавтрашние фрицы, которые будут стрелять из фаустпатронов, а потом кричать: «Гитлер капут!»; трагедия издерганной нации, которая ждала, искала спасителя, а получила убийцу. В «Корабле дураков» — патологический «сон разума», слепота, самообман, пошлость, злоба, наглеющий жестокий расизм, гнетущее социальное неравенство. Корабль, нагруженный такими пороками, не мог не причалить к Гитлеру...

У Феста было иное: он предостерегал от нарушения политического стереотипа. В сопротивлении, которое оказывали прущим штурмовикам ротфронтовцы, в схватке между красными и коричневыми, в отчаянной попытке левых сил преградить дорогу нацизму он усматривал смуту, состязание «крайних». Тогда победил Гитлер, но кто победит теперь?

Публика расходилась после сеанса молча, одни были озадачены, другие подавлены. В беснующихся толпах, в охваченных эротическим возбуждением женщинах, которые, замерев в экстазе, слушали фюрера или устилали дорогу его автомобилю цветами, молодые люди с ужасом узнавали своих бабок и матерей...

Интерес к фашистскому прошлому в Западной Германии действи-

тельно крайне возрос, но вызван он совершенно различными причинами. Через тридцать два — тридцать три года после войны в благоустроенных квартирах западных немцев вдруг зазвучало эхо далеких выстрелов там, в керченской яме, в партизанской Белоруссии, в Бабьем Яре, в балках смерти, в глубине тюремных дворов, в камерах пыток. Молодежь, словно очнувшись, вопросительно взглянула на старших: кем вы были? кто вы?

Тридцать два года непережеванное, загнанное вглубь прошлое набухало, превращалось в гнойник. Молчали школьные учебники, отмалчивались родители. А литература?.. Нельзя сказать, что она молчала. В 50-х годах Вольфганг Кеппен написал свой роман «Смерть в Риме»: фашизм, милитаризм у него мечутся в агонии, но и агонизируя, продолжают убивать. В романе Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого» в сплющенном, сжатом времени, во внутренних монологах «буйволиный» фашизм подтачивает, разрушает не только творения человеческих рук, но и пожирает человеческую душу — агнца. В «Жестяном барабане» Гюнтера Грасса карлик Мацерат выбивает дробь на жестяном инструменте: фашизм — уродство, фашизм — извращение... Мы знаем книги Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, публицистику Гюнтера Вальрафа, Бернта Энгельмана. И все же главная книга о самой трагической полосе в истории немцев создана не была. Много символики, метафор, сложных стилистических построений, действие слишком замедленно...

Об этом говорили и на семинаре: традиции реалистов 20—30-х годов исчерпаны, в их манере сейчас не пишет никто, время эпопей, «просторных» реалистических европейских романов кончилось. Может быть, это и так, но кто не помнит у нас романов Фейхтвангера, Фаллады, Ремарка, пьесу Фридриха Вольфа «Профессор Мамлок», «Седьмой крест» Анны Зегерс? Они потрясали своей достоверностью. Позже к нам пришел «Доктор Фаустус» Томаса Манна, он поражал своей глубиной.

Я недоумевал: крупные писатели ФРГ имеют за плечами большой личный опыт, им доступно гигантское множество ценнейших документов, открыта возможность встречаться с какими угодно людьми, причастными к жизни третьего рейха,— используют ли они эту возможность? Почему литература ФРГ почти не коснулась конкретных исторических персонажей, прошла мимо такой страницы истории, как Нюрнбергский процесс?

Вместо писателей, историков, педагогов на страстный запрос молодежи отвечал рынок. По своему размаху «гитлеровская волна» могла соперничать разве что с сексуальной.

Однако дело было не только в коммерции. На гребне «гитлеровской волны» к власти рвались реваншисты, крайне правые, оголтелые экстремисты всевозможных оттенков...

Страна переживала какую-то болезнь. Все были всем недовольны. От террористов-экстремистов, от «симпатизантов» с их нечеткой порядочностью до старых гитлеровцев.

Страна нуждалась в успокоении. Все маялись...

Каждое утро, приходя на семинар, мы получали кипы газет: «Франкфуртер альгемайне», «Франкфуртер рундшау», «Зюддейче цайтунг», «Ди вельт», «Ди цайт», к нашим услугам были университетская и городская библиотеки (устроители семинара правильно поняли, что переводческое мастерство вытекает из знания жизни, ее примет и реалий). С газетных страниц отрешенно смотрел на людей похищенный террористами председатель Союза предпринимателей Ганс Мартин Шлейер, фигура, кстати сказать, политически мало почтенная. Он был без галстука, с припухшим усталым лицом. В руках он держал табличку: «Тридцать один день под стражей». В левом углу фотографии были две буквы: Б — М. Кажется, это была его последняя прижизненная фотография.

13 октября я смотрел телевизионную передачу. Бронзоволицый, с толстыми пунцовыми губами негр в смокинге в ритме танго гнул к полу ослепительную блондинку. Вдруг передачу прервали, диктор сообщил, что неизвестные злоумышленники угнали самолет, который с Майорки следовал во Франкфурт-на-Майне... Дальнейший ход трагических событий известен.

И снова перед глазами людей заплясали две буквы: Б—М; и вновь раздались напугавшие всю Европу зловещие имена: Б а д е р— М а й н х о ф.

...В июне 1963 года в Гамбурге в поисках материала для очерков я наткнулся на молодежный левый журнал «Конкрет». Он помещался на третьем, кажется, этаже дома на Вильгельмштрассе, над магазином игрушек. В тесных редакционных комнатах все кипело. Журнал делали с задором, с вызовом. Среди всеобщего тогдашнего самодовольства и внешней благопристойности «Конкрет» выглядел задиристым забиякой. В нем было перемешано все: политическая смелость, сексуальная раскованность, хлесткая критика буржуазных нравов.

То и дело приходили какие-то молодые люди, авторский, должно быть, актив; они бредили Брехтом, так и клокотали политической левизной. Магнитофон играл революционные песни. Все это было для меня тогда ново и неожиданно. Ничего похожего в Западной Германии я еще не встречал.

Вечером меня пригласили к себе домой, как они выразились, в свою «хижину», издатели журнала — Ульрика Майнхоф и ее муж Клаус Райнер Рель.

В отличие от скромного редакционного помещения загородная «хижина» Релей напоминала буржуазную виллу. Одна комната была обставлена в романтическом средневековом стиле, другая — в ультрасовременном, третья была детской.

Ульрика Майнхоф была красивой молодой женщиной. В ней сочетались острый ум и женское обаяние. Она говорила не торопясь, внимательно и напряженно, с некоторым оттенком недоверия слушая собеседника, готовая к обсуждению, беззлобному спору. Клаус Рель выглядел несколько возбужденным, нервным, он сразу стал заострять разговор, уводить его от литературы к политике.

Супруги были настроены резко отрицательно к стране, в которой жили, настолько отрицательно, что, казалось, им действительно не остается ничего, кроме борьбы. Их прямо-таки снедала жажда свободы, как если бы они были невольниками. Они горели желанием перестроить мир, мыслили большими категориями, но в их рассуждениях отсутствовало одно важное звено: л ю д и. Человеческие жизни, все же представляющие собой какую-то ценность.

Позднее, переводя стихи Энценсбергера «О трудностях перевоспитания», я вспомнил эту встречу в «хижине», разговоры о необходимости всемирного переустройства.

Все это было б вполне достижимо,
если б не люди...
Люди только мешают,
путаются под ногами,
вечно чего-то хотят,
от них одни неприятности...

Если б не они,
если б не люди,
какая настала бы жизнь!
Как бы нам было легко,
как бы все было просто!..

Мы сидели, разговаривали, ели луковый суп. Ко всему Ульрика Майнхоф оказалась еще искусной кулинаркой... Когда пришло время уходить, она стала настаивать, чтобы я непременно взглянул на ее

детей-близнецов. Она приоткрыла дверь в соседнюю комнату, тихо, привстав на цыпочки, наклонилась над двумя белыми кроватками, в которых сладко спали ее малыши...

Спустя несколько лет вся Западная Европа была буквально терроризирована анархистской группой Бадера — Майнхоф, которая именовала себя «Фракцией красной армии». Террористы — выходцы из буржуазных семей, не связанные ни с одной из левых политических партий, ни с рабочим движением,— убивали и похищали людей, грабили, совершали налеты на банки. Однажды они пригрозили взорвать Штутгарт.

На улицах европейских городов появились бронетранспортеры, полицейские с автоматами и ручными пулеметами охраняли вокзалы, аэродромы.

Душой террористической организации была Ульрика Майнхоф.

В 1972 году страшную террористку схватили. Я видел фотографию этой женщины, неузнаваемо изменившейся, с одутловатым лицом и мутным взглядом. Она покончила с собой в тюрьме...

Теперь, оказавшись в Западной Германии в дни похищения и убийства Ганса Мартина Шлейера, угона самолета с заложниками, загадочного самоубийства в штутгартской тюрьме Штаммгейм Бадера, Энслин, Распе — ближайших сообщников Майнхоф,— я вспомнил тот далекий вечер в «хижине»-вилле, малюток, спящих в белых кроватках...

Чем руководствовались эти люди? Что их вело? В чем их злое безрассудство? В чем оправдание и есть ли оно?.. В связи с волной терроризма на Западе возник новый интерес к «Бесам» Достоевского... Нет, я вовсе не склонен считать балованного, пресыщенного Бадера современным немецким Верховенским или даже Нечаевым. Меня занимало другое. Что было бы, если б, разрушив и размолов старый порядок, или, вернее, старый непорядок, Бадер и Ульрика Майнхоф получили возможность установить наконец свою, ими придуманную и разработанную с в о б о д у?

Жил в России в 40—70-е годы умный человек — цензор, профессор Никитенко Александр Васильевич, сын крепостного, получивший вольную при содействии Рылеева, впоследствии видный критик, сотрудник Некрасова и Панаева. Никитенко был противником всякого радикализма, и многие его суждения невозможно сейчас признать верными. И все же вычитал я у него слова, которые применительно к полемике с теперешними распаленными «радикалами» хотел бы здесь привести:

«Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты, только навыворот. В них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово и возымейте в вашу очередь желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякая другая не имеет смысла,— со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдет, как они на вас накинутся за малейшее разногласие, какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине. Благодарю за такую свободу!»

В газетах появилось еще одно сообщение: в городе Заульгау состоялось последнее заседание «Группы 47»; она закончила свое тридцатилетнее существование.

На геттингенском семинаре с докладом о литературной ситуации в ФРГ выступал Дитер Латман, бывший председатель западногерманского Союза писателей, депутат бундестага. Он пояснил:

— Фактически группа распалась давно, она погибла под ударами левого студенческого движения. Молодежь говорила: «Из вас растут

железные орденские кресты». А ведь когда-то «Группу 47» едва не запретили американские военные власти: она казалась чересчур левой...

И снова передо мной возник 1963 год, глубокая осень, маленький баварский городок Заульгау, где все было серое — туманы, каменные дома, дымы над крышами. В отеле «Клебер-пост» — очередное заседание «Группы 47»; прокуренный зал, Ганс Вернер Рихтер как добродушный старый хозяин, гремя колокольчиком, ходил между столиками, созывал на собрание. Это было время его взлета — двадцать пятое заседание созданной им группы, конгресс наиболее видных писателей немецкого языка западных стран. В Заульгау тогда собрались Эрнст Блох, Вальтер Енс, Гюнтер Грасс, Вальтер Хеллерер, Уве Ионзон, Зигфрид Ленц, Петер Рюмкорф, Ганс Магнус Энценсбергер, Фриц Раддац; впервые на заседании группы присутствовали гости из Советского Союза, из ГДР — там я познакомился с Иоганнесом Бобровским... В «Группу 47» входили также Генрих Бёлль, Ингеборг Бахман, Альфред Андерш, Гюнтер Эйх, Петер Вайс, Ильза Айхингер... Какое было соцветие!

Теперь все это отцвело, осыпалось. По газетной фотографии Рихтера трудно узнать: состарившийся, располневший, с седой мальчишеской челкой. И под фотографией сообщение о роспуске группы. Как некролог.

4

На переводческом семинаре, конечно, не могли не говорить о мастерстве перевода. Выступали представители Союза писателей и Союза переводчиков ФРГ; профессор Шеффель прочитал доклад «В какой степени перевод означает интерпретацию оригинала?».

— Переводить,— сказал он,— значит интерпретировать... Лютеру во время перевода Библии привиделся дьявол. Лютер запустил в него чернильницей, в крепости Вартбург и сейчас еще можно увидеть на стене коричневое чернильное пятно... В данном случае дьявол — воплощение дьявольской трудности, которая возникла перед Лютером-переводчиком и которую испытывает, должно быть, каждый из нас. Как преодолеть языковой барьер? Как истолковать подлинник по своему разумению, оставаясь, однако, исполнителем авторской воли? Как сделать перевод явлением своей литературы, своего языка, сохраняя при этом, как того требовал Вильгельм Гумбольдт, едва заметный оттенок чужого? И какова допустимая здесь мера?..

Сам Шеффель переводит французов — Флобера, Пруста, Натали Саррот, но он знаком с немецкими переводами русских классиков. Они производят на него не слишком благоприятное впечатление. Чехова стали хорошо переводить лишь в самое недавнее время, а столь популярный и даже любимый немцами Достоевский — все же в известной степени Достоевский не подлинный, сильно онемеченный переводом, приспособленный к немецкому языку, а не свободно живущий в нем.

В переводе, наверно, самый тяжкий грех — ложь. Грех перед автором, перед самим собой. Есть ложь преднамеренная, когда чужое выдают за свое и свое за чужое. Есть ложь невольная — от недостатка знания, главным образом языка. Слово в наши дни как никогда прежде обросло множеством дополнительных значений, смысл, заложенный в нем, непомерно разросся. Не проникнув в ядро слова, невозможно интерпретировать текст: переводчик читает его слепыми глазами.

В жизни мне приходилось участвовать в разных переводческих диспутах, всякий раз мы упирали на то, что переводчик — писатель. Все это так. Однако геттингенский семинар напомнил, что у перевода своя, отличная от всех прочих литературных жанров специфика. Перевод есть прежде всего перевод. Перевод — синтез: литературо-

ведения (интерпретация), лингвистики (знание языка) и самостоятельного творчества (художественное воспроизведение подлинника). Это в теории. На практике же часто одно из звеньев выпадает...

Оригинальный поэт необязательно и не всегда может быть хорошим переводчиком, драматург — хорошим актером, а композитор — музыкантом-исполнителем, хотя исключения всем известны (Мольер, Булгаков — актеры, Рубинштейн, Рахманинов, Скрябин — великие пианисты). Но переводчик поэзии в пределах своего жанра, то есть в переводе, оставаться поэтом просто обязан!.. Пишет ли он собственные стихи или нет, в данном случае совершенно не важно. Важно, в какой степени проявляется он как поэт в переводе, с какой мерой ответственности относится к своей переводческой задаче.

Большинство наших бед происходит оттого, что нарушаются границы жанра: начинают поэтизировать подлинник, досочинять за автора, фантазировать или навязывать тексту свое истолкование. Самым же бессовестным нарушением переводческой этики является небрежение к подлиннику, забота о собственной литературной персоне. У нас иной поэт-переводчик обеспокоен тем, чтобы его перевод звучал так, как если бы оригинала и в природе не существовало: «звучит как по-русски!» Но нет! Надо, чтобы не только «как по-русски!». Это почуял такой насквозь русский поэт, как Твардовский, когда писал о Маршаке, что тому «удалось в результате упорных многолетних поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской свойственности, прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка, далекого по своей природе от русского». Твардовский догадался, в чем здесь секрет: «Такая гибкость и счастливая находчивость при воспроизведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется... не тем, что Маршак искусный переводчик,— в поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом,— а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого, творческого отношения к родному слову».

Вот это живое отношение к родному слову, вдохновенное подчинение его «приказу подлинника» и есть п о э з и я п е р е в о д а!

Об организации переводческого дела в ФРГ рассказывали Розмари Титце и Урсула Бринкман. Они говорили, что в ФРГ есть лишь один переводчик с русского, который в состоянии существовать на свой литературный заработок.

Я спросил, собираются ли в ФРГ издавать, скажем, Лермонтова, Тютчева. Мне ответили, что вопрос этот, к сожалению, не столько творческий, сколько коммерческий. Где тот издатель, который рискнет заказать переводы их стихов, где гарантия, что издания будут рентабельными?

Я встречался с некоторыми издателями — может быть, я подскажу какие-нибудь имена, книги?.. Я «подсказывал», издатели записывали; стоило, однако, заговорить о поэзии, о классиках, о русских литературных мемуарах, о существовании которых на Западе иногда даже не подозревают, как мои собеседники прятали карандаши. Мало кто верил в успех, они заранее считали, что спроса не будет. Может показаться невероятным, но мне всерьез приходилось чуть ли не упрашивать издать стихи Пушкина, Лермонтова, рекламировать, например, мемуары дочери Льва Толстого — Татьяны Львовны Сухотиной. Я пытался прибегать к самым доступным аргументам: «Увидите, что раскупят мгновенно, это же интереснее любого приключенческого романа. Один уход Льва Толстого из Ясной Поляны чего стоит!..»

Переводчики художественной литературы в ФРГ живут трудно. Как бы они ни любили Пушкина или Тютчева, это их не прокормит. За стихи почти не платят. Переводы прозы оплачиваются гораздо ниже, чем технические переводы... И тем не менее они переводят. Из люб-

ви к искусству. Из бескорыстной нежности к слову. Из потребности отдавать прочитанное, полюбившееся неведомому, невидимому читателю...

В Геттинген на семинар приехал из Франкфурта-на-Майне Карл Дедециус. Он выпустил отдельной книжкой «Облако в штанах» Маяковского: приставил к русским строчкам свои, немецкие — и на глазах у читателя переливается из одного языка в другой живая поэтическая кровь.

Перевод Дедециуса почти неправдоподобно точен и выразителен до крайности. Вслед за переводом и параллельным русским текстом следуют немецкий подстрочник и два предшествующих перевода поэмы — Гуго Гупперта и Альфреда Тосса. Каждый из этих переводов имеет свои достоинства, во всяком случае они достойно соперничают друг с другом, а возможность сравнить их между собой и сопоставить с русским текстом таит особую радость...

Сейчас стало модно употреблять в отношении переводчиков термины «доноры», «литературное донорство». Высокомерные поэты считают, что жертвуют свою голубую кровь тем, кого они переводят. Но что значит переводить? Это брать и отдавать. Брать от другого, отдавать от себя. Перевод — это высшая степень литературного бескорыстия, высшая форма понимания чужого языка, чужой души, чужой жизни, понимания настолько, что происходит таинственная метаморфоза: я становлюсь тобой, ты — мной.

У Пауля Флеминга есть стихи:

Я жив. Но жив не я. Нет, я в себе таю
Того, кто дал мне жизнь в обмен на смерть мою.
Он умер, я воскрес, присвоив жизнь живого.
Теперь ролями с ним меняемся мы снова.
Моей он смертью жив. Я отмираю в нем...

В этой причудливой диалектике — существо переводческого искусства.

Возьми меня всего и мне предайся ты...

На семинаре один день был специально отведен Генриху Гейне. Видимо, не случайно. Известно, что в гитлеровские времена Гейне был запрещен, книги его сжигали; менее известно, что Гейне тайком читали — не только в домах, в некоторых гимназиях на это отваживались даже учителя на уроках. На отношении к Гейне проверялась человеческая порядочность. Пока человек жив и остается человеком, он сохраняет способность противостоять злу. Даже тем, что полушепотом читает стихи запрещенного классика.

Устроители семинара знали, что за границей иногда складывается впечатление, будто в ФРГ запрет на Гейне не отменен до сих пор: конфликты вокруг установления памятников, борьба за присвоение его имени Дюссельдорфскому университету, которая окончилась поражением. Неприятие Гейне — позорное пятно: отвращение к свободомыслию, старые счеты с «французским духом». Вокруг Гейне кипит борьба и сегодня. И все же он постепенно выходит из забвения: его выталкивает оттуда само время и он все более и более окутывает своими стихами вроде бы уже навсегда окаменевшие человеческие сердца. В Дюссельдорфе удалось открыть научный центр — Институт Генриха Гейне, создать общество его почитателей. Стихи Гейне, положенные на музыку Шубертом, Шуманом, Листом, пели певцы и певицы в строгих концертных залах. Сейчас молодые шансонье-гитаристы в прокуренных студенческих клубах кричат в микрофон его тексты — песни протеста.

Профессор Лауэр читал лекцию «Гейне в переводах на славянские языки». В странах Восточной Европы, особенно в России, Гейне всегда был больше чем поэт: символ свободомыслия, борьбы, стра-

дания. Из России он в 80-х годах пришел в Болгарию, всколыхнув множество свободолюбивых сердец. В Польше Сенкевич называл его боевым союзником, им зачитывалась Мария Конопницкая. В Хорватии Гейне воспринимался как предшественник новейшей литературы. В годы войны его книги были с партизанами Югославии.

Его «Книга песен» вошла в песни народов. Стихотворение «Азра» стало боснийской народной песней, «Красавица рыбачка» — народной песней грузин, «Хотел бы в единое слово...» — известнейшим русским романсом. Его стихи переводили лучшие поэты славянских стран. Профессор Лауэр говорил о переводах Лермонтова, Тютчева, А. К. Толстого, Блока. Из русских переводчиков XIX века он выделил Михайлова, Аполлона Григорьева, из переводчиков наших дней — Тынянова, Левика. Они, с его точки зрения, нашли к Гейне наиболее верный ключ.

Чем, однако, близок Генрих Гейне людям нашего времени? Я думаю, остротой, беспощадностью мысли, насмешкой над напыщенными, бездарными негодяями, над их затянувшимся постылым всесилием. Сражаться с ними было опасно: расплачиваться приходилось кровью, жизнью. Навязчивый образ у Гейне — Enfant perdu, боец, который, не выпуская оружия из рук, все же гибнет: Nur mein Herze brach...

Говорят: гибну, но не сдаюсь! У Гейне логический акцент перемещен: не сдаюсь, но гибну! Отсюда особый трагизм его горькой иронии. Об ироническую концовку, как лодочник о скалу Лорелеи, разбивается лиризм самых проникновенных его стихов.

Никто не знает, как он, в сущности, выглядел. Фриц Раддац в своей книге «Гейне, немецкая сказка» (1977) подметил, что вне зависимости от возраста его изображали то романтическим красавцем с вьющимися светлыми волосами, то полнеющим тоскливым иудеем, то изможденным старцем, то пышущим здоровьем юношей. И только посмертная маска передала его подлинный облик: лицо распятого Христа с застывшей на губах улыбкой Мефистофеля. Его звали Генрих Гейне, но в метрике стоит имя Гарри, а на могильном камне начертано: «Анри».

Гейне открыл закон относительности ценностей в расколотом, разорванном мире. Он установил и другое: великая мировая трещина проходит через сердце поэта.

5

Институт Генриха Гейне в Дюссельдорфе помещается на Билькерштрассе — это всего в нескольких метрах от Болькерштрассе, где стоял дом, в котором Гейне родился. «Этот дом,— писал он в «Книге Ле Гран»,— некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке, его владелице, чтобы она ни в коем случае не продавала его. Она ведь теперь за весь дом едва выручит столько, сколько чаевых получит от знатных англичанок в зеленых вуалях та служанка, что будет показывать им комнату, где я появился на свет».

Не знаю, побывали ли здесь знатные англичанки, но во время второй мировой войны английские бомбардировщики разрушили именно ту часть дома, где над колыбелью поэта «играли вечерние лучи восемнадцатого и первая заря девятнадцатого столетия». Остался лишь фасад булочной Вейдегаупта с укрепленным на нем барельефным портретом Гейне — инициатива «Союза дюссельдорфских юношей».

В день рождения Гейне, 13 декабря, в 6 часов вечера на эстраде перед булочной Вейдегаупта барабанная дробь наполеоновского барабанщика Ле Грана открывает карнавальное шествие. Движутся гейневские персонажи, от здания ратуши, огненно-рыжая, идет, декламируя свои стихи, дочь палача Йозефина:

Нет, не хочу на суку висеть,
Нет, не хочу в воде тонуть,
Хочу приложить к губам своим
Меч, отточенный богом самим...

Поэт, художник, а также присяжный заседатель в городском суде Гаральд Хюльсман завел меня к себе: его жена шила костюмы для карнавала, и я увидел фригийский колпак и зеленое, распахнутое на груди платье Зефхен...

Всякий раз, когда я бывал в Дюссельдорфе, меня тянуло на Болькерштрассе, и всякий раз, когда я сюда попадал, шел проливной дождь. Приходилось прятаться в расположенном напротив ресторане «Золотой котел» («Goldener Kessel»), где в зале над деревянными стругаными столами возвышается бюст Гейне: молодой человек с упрямым наклоном головы и сосредоточенным напряженным взглядом. Бюст этот имеет свою историю. При нацистах хозяин ресторана держал его в тайнике под полом, так что Гейне находился в подполье в самом буквальном смысле слова.

Искушенные в литературе приезжие, наслышанные о том, что Гейне в Дюссельдорфе забыт, указывая на бюст, иногда провоцируют посетителей и официантов вопросом: «Кто это?»

Не избежал этого искушения однажды и я и тут же получил от одного из официантов ожидаемый ответ:

— Какой-то музыкант...

Я едва ли не обрадовался — выходило нечто вроде «что и требовалось доказать», — как другой официант, удивившись моему вопросу, воскликнул:

— Как?! Вы не знаете?! Гейне! Великий немецкий поэт! Он родился в доме напротив...

Напротив я был солнечным летним днем 1960 года. По случаю воскресенья булочная была закрыта, я позвонил. Репродуктор, вмонтированный в стену, осведомился: «Что вам угодно?» — затем электричество отворило железную калитку. Навстречу мне, пропуская огромного дога, вышел юноша в красном джемпере, без рубашки. Я протянул ему визитную карточку.

Юноша провел меня во двор, расположенный позади дома: там был свален мусор, виднелись остатки фундамента. Юноша остановился и сказал:

— Здесь...

В квартире булочника, в прихожей, на стене под стеклом висела факсимильная копия — написанные рукой Гейне острым готическим почерком слова: «Город Дюссельдорф очень красив, и когда вспоминаешь о нем на чужбине, будучи к тому же его уроженцем, как-то чудно становится на душе. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой».

В прихожей было прохладно, на длинных полках стояли конторские книги, штемпеля, модель парусника. Уютно пахло кондитерской...

К Гейне мое поколение приобщалось перед самой войной. Он и раньше, как известно, был в России популярен, любим, но в конце 30-х годов его в наше сознание внедряли особенно страстно. Он был барабанщик революции.

В ту пору антифашистских митингов и политических процессов, конгрессов в защиту культуры и чкаловских, отдававших стальной оборонной мощью беспосадочных перелетов Гейне был как бы узаконен — в Берлине его сжигают, в Москве он воспламеняет молодые сердца: «Я — меч, я — пламя!..»

В школе я читал свои стихи, посвященные Гейне:

Города Германии, города на Рейне,
Существуют вот уж много сотен лет.

Пел о них когда-то славный Генрих Гейне,
Смелый барабанщик, боевой поэт...

...И снова сладостно замирает у меня сердце, когда я думаю о своей 240-й школе на Рождественском бульваре. Недавно я там был, постепенно возвращались, выплывали из небытия вестибюль, гардероб, лестница, коридор с теми же цветами на подоконниках. Все, все осталось: те же классы, та же уборная, куда тайком ходили курить. Даже я остался: хожу, смотрю. Вот через эту дверь можно вылезти на крышу, а потом спуститься по пожарной лестнице на школьный двор... Ах, какие там были обворожительные девчонки, у меня и сейчас сердце млеет от воспоминаний! Недавно я увидел одну из них — пожилую женщину под дождем на площади у Белорусского вокзала. Больше никого, кажется, нет...

Я иду по школьному коридору в свой класс. Отворяю дверь. Меня просят повторить, пройти еще раз: не получилось.

— Ну, теперь хорошо. Сядьте за парту...

Телевидение ГДР снимает фильм о Гейне. Я должен рассказать, как в школе научился любить Гейне, приобщившись сначала к его «Лорелее».

Так оно, пожалуй, и было, я был влюблен в Элечку Туманян и у Гейне в «Книге песен» читал именно про нее, она была прекрасна и безжалостна, как Лорелея, и на меня веяло сладкой истомой от этого Гейне так, что я даже отважился перевести несколько его стихотворений. Эти переводы я огласил на занятиях литературной студии в Доме пионеров среди прочего моего детского стихотворного вздора. Но когда занятия студии летом подошли к концу, наш руководитель Михаил Светлов почти уверенно предсказал, что я стану переводчиком немецкой поэзии. И примерно то же самое сказал другой наш учитель, известный в свое время детский писатель Рувим Фраерман, совершенно равнодушно пропускавший мимо ушей все мои остальные стихи.

Переводчиком немецкой поэзии я стал, но к стихам Гейне по-настоящему так и не пробился. Ни одним из своих гейневских переводов я не доволен, хотя продолжал заниматься ими всю жизнь... Гейне, который казался мне когда-то ближе всех немецких поэтов, оказался самым из них недоступным, недостижимым.

На непереводимость Гейне сетовал еще Блок, которого образ Гейне преследовал, должно быть, всю жизнь. В его записных книжках, особенно 1918—1920 годов, то и дело встречаешь лихорадочные записи: «Жар. Много Гейне», «Ночью пробую переводить Гейне», «Весь день — Гейне», «Весь день я читал Любе Гейне по-немецки и помолодел»...

Из современных ему переводчиков Блок выделял Зоргенфрея, поэта символистского круга, сотрудника Блока по «Всемирной литературе». Ему посвящены «Шаги командора» и несколько лестных отзывов: «В. А. Зоргенфрей хорошо переводит», «Перевод Зоргенфрея, кажется... блестящ...»

Вильгельма Александровича Зоргенфрея сейчас мало кто знает, хотя переводы его возвратились в новые издания Гейне, а иные стихолюбы еще хранят в памяти его куплеты времен голодных петроградских пайков.

Рассказывают, что был он высок, грузен, говорил глуховато, медленно. Изредка грустно улыбался. Замкнутый добрый человек. Однажды он принес молодому тогда германисту В. Адмони рукопись своего перевода «Торквато Тассо» Гёте с просьбой сличить перевод с подлинником, высказать замечания. На полях рукописи имелись чьи-то карандашные пометки.

— Не обращайте на них внимания,— предупредил Зоргенфрей,— это Александр Александрович.

— Какой Александр Александрович? — встрепенулся Адмони.— Блок?!

Зоргенфрей кивнул.

— И вы хотите, чтобы я прикасался к этой святыне? — спросил Адмони.— После Блока мое вмешательство лишено смысла.

— О нет! — остановил его Зоргенфрей.— Я прошу вас непременно сверить с оригиналом. Александр Александрович не очень хорошо знал немецкий язык...

Адмони был крайне удивлен. Впрочем, он уверял, что и Зоргенфрей, хоть и был из немцев и всю жизнь занимался немецкой литературой, немецким языком владел средне.

Былые, злые песни
Про темную судьбу
Давайте похороним
В большом-большом гробу...

Эти строки его перевода останутся...

В 1956 году 15 ноября умер Георгий Аркадьевич Шенгели, поэт, стиховед, переводчик. Мне поручили составить некролог, выдали его личное дело.

Шенгели я еще застал: значительное профессорское лицо, седая шевелюра, очки. На собраниях секции переводчиков он вел себя, что называется, активно: слушая ораторов, бросал с места реплики. Чаще всего одобрительные.

Когда-то он был изысканным, нежным крымским поэтом. Мне помнились его строки:

На нас надвинулась иная череда.
Томленья чуждые тебя томят без меры.
И не со мной ты вся. И ты уйдешь туда,
Где лермонтовские бродят офицеры...

В 20-х годах на него накинулись лефовцы. Шенгели бросился на Маяковского. Маяковский рявкнул:

В русском стихе еле-еле
разбирается профессор Шенгели...

Он стал переводить Верхарна, Гюго, стихи Вольтера и Мопассана, издал книгу Гейне «Избранные стихотворения» с предисловием Лелевича.

После войны неистовый ревнитель переводческого мастерства Иван Кашкин ударил по его переводу «Дон Жуана» Байрона. Он покорно перешел на Барбаруса, Лахути и Кару Сейтлиева, а заканчивал жизнь переводчиком туркменского эпоса «Шасенем и Гариб».

В личном деле хранилась анкета, собственноручно заполненная им 13 марта 1953 года, без единой помарки, каллиграфическим почерком: 1894 г. р., сын адвоката, город Темрюк, юридический факультет Харьковского университета, русский (дед по отцовской линии — грузин), первый сборник вышел в 1914 году... Далее шли однообразные ответы: нет, не состоял, не был.

Затруднения начались где-то на третьей странице с вопроса, находился ли он или его ближайшие родственники на временно оккупированной территории. Шенгели добросовестно отвечал: «Я — не находился. Мой дядя по матери В. А. Дыбский, старейший профессор Харьковского университета, оставался в Харькове, где умер от голода, о чем сообщалось в «Правде». Возможно, там находились и его дети и внуки, о которых я сведений не имею...» На вопрос, есть ли у него за границей родственники, сообщил: «Да. Мой племянник Игорь Шенгели, которого я видел лишь младенцем, живет в Бейруте, откуда прислал мне в 45 г. через редакцию «Правды» письма, оставленные мною без ответа». Чистосердечно ответил на вопрос, лишался

ли он или его ближайшие родственники избирательных прав. «Я — нет. Моя теща, М. В. Косоротова, 1870 г. р., в конце 20-х гг. на несколько месяцев была лишена избирательных прав в связи с административной высылкой ее сына...»

Я — не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспадрон...
(Шенгели — «Гамлет»)

Я — меч, я — пламя!..
(Шенгели — из Гейне)

В некрологе я написал о вкладе покойного в русскую поэзию и в искусство художественного перевода.

В Институт Генриха Гейне я попал в историческое мгновение: директор доктор Йозеф Крузе только что за 21 тысячу марок приобрел в букинистической лавке первое (1815) издание «Эликсира дьявола» Гофмана — маленький ветхий том. На обратной стороне обложки карандашом было написано:

«Мне не хотелось бы начинать год со лжи. Однако же дорогому господу богу нашему я бы открыл свою просьбу подарить Вам часть отмеренных мне лет, но, разумеется, не все, ибо все-таки прекрасно жить в мире, где обитают девушки - - - (здесь у меня следуют три черточки). Остаюсь с уважением и преданностью, о моя прекрасная, мягкосердечная Фанни.

Ваш Гарри Г.

01 января 1818».

Это был новогодний подарок, который Гейне сделал своей кузине Фанни, одной из четырех дочерей гамбургского банкира Соломона Гейне, родной сестре той самой Амалии, любовь к которой, зажигая и испепеляя поэта, навеяла ему лучшие строки «Книги песен». Тем не менее Гейне успевал вспыхивать любовным огнем поочередно ко всем остальным сестрам, быть может, инстинктивно спасаясь от безответной любви к Амалии.

Нет... Все они рассудительно вышли замуж за солидных людей: Фанни — за доктора медицины Шредера, Фредерика — за банкира Оппенгеймера, Тереза — за юриста Галле, Амалия же отдала свое сердце землевладельцу Фридлендеру.

Еще более ослепительную карьеру сделали единокровные братья Гейне. Густав подвизался при австрийском дворе, получил дворянский титул, его величали Густав Гейне фон Гельдерн, его потомки вышли на верхи венгерской знати, оказавшись в родстве чуть ли не с Габсбургами. Макс (Мейер), тот, что женился на дочери лейб-медика Арендта, жил в Петербурге, дослужился до высоких чинов, выпустил книгу мемуаров о балканском походе русской армии — «Картины Турции», издавал медицинскую и литературные газеты. Все они, его родственники, были люди инициативные, напористые, оборотистые, и сам он не мог бы, конечно, продержаться без их материальной помощи. И все же, по его собственным словам, лучшее, что у них было, это его фамилия...

Итак, я оказался первым иностранцем, которому выпала честь увидеть еще никому не известный автограф Гейне, к тому же сделанный на первом издании книги Гофмана.

В Институте мне показывали гейневские рукописи — обычно тонким пером, коричневыми чернилами. В Париже, в «матрацной могиле», лежа на низкой кушетке, куда его на руках переносили с кровати, исколотый морфием, он писал преимущественно на широких плотных листах размашистым почерком, карандашом.

Я прочитал его последнее письмо матери: «...подставь мне твои милые старенькие губки, чтобы тебя мог от всего сердца чмокнуть твой любимый сын...»

Она пережила его на три года...

За несколько часов до смерти в комнату к нему проник австрийский поэт Альфред Мейснер. Он осведомился, каковы его отношения с богом. Гейне, улыбаясь, ответил: «Будьте спокойны. Бог простит меня. Это его профессия».

17 февраля 1856 года около четырех часов утра жизнь его угасла.

Два года спустя в России вышел первый сборник Генриха Гейне на русском языке: «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова. Санкт-Петербург, 1858». Эту книжку хранят в дюссельдорфском Институте как реликвию.

В 1858 году Россия переживала вешнее время надежд, ободряющих слухов, вызревания реформ. Шли бесконечные толки о предстоящей отмене крепостного права. Составлялись проекты новых законов, уставов Литературного фонда, Театрального комитета, нового университетского устава.

Оживление царило и в русской литературе. Тургенев закончил «Дворянское гнездо», Гончаров — «Обломова», Некрасов — «Размышления у парадного подъезда». Жили, писали Толстой, Щедрин, Тютчев, Островский, Сухово-Кобылин, Аполлон Григорьев, Чернышевский. Вот-вот должен был вернуться из ссылки Достоевский...

Михайловский томик Гейне также принадлежал к знамениям времени. Десять лет назад Жуковский, прочитав Гейне, с ужасом писал о нем Гоголю как о провозгласителе «всего низкого, отвратительного и развратного». Теперь Гейне стал в России кумиром — произошла переоценка ценностей.

Многие переводы Михайлова живы поныне: «Два гренадера», «Вопросы», «Женщина»... Они не всегда точны, но передают главное: настроение, интонацию, мысль. Кажется, Михайлов первый внял совету Гейне, который незадолго до смерти сказал французскому германисту Сен-Рене Тайандье по поводу своих стихов: «Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не переводить». И верно. Будь иначе, мы никогда не читали бы: «Во Францию два гренадера из русского плена брели...» — не повторяли бы: «Когда-то друг друга любили мы страстно... Любили хоть страстно, а жили согласно...»

На Гейне пошла мода, его переводили, кажется, все, но часто плохо. Поэт-сатирик Минаев разнес и Фета, и Майкова, и Берга, и Миллера. Писарев жестоко бранил переводы Костомарова, упрекал его в искажении подлинника. Но Всеволод Дмитриевич Костомаров, племянник знаменитого историка, был повинен в более тяжком грехе: он был доносчиком.

14 сентября 1861 года ночью арестовали Михаила Ларионовича Михайлова. Он был доставлен в III отделение. Когда ему предъявили текст составленной им прокламации «К молодому поколению», он понял, кто его выдал. Костомаров приходил к нему просить содействия в своих литературных работах по части самостоятельной и переводной поэзии. Михайлов доверчиво отдал ему то, что, возможно, было важней стихов и переводов.

В литературной среде арест Михайлова вызвал потрясение. Всего лишь полгода прошло с 5 марта, когда на улицах встречные христосовались друг с другом. За всю свою тысячелетнюю историю Россия еще не была так свободна. Отмена крепостного права! Пало рабство!.. В Петербург вернулся прощенный Достоевский...

Через два или три дня после ареста Михайлова у издателя «Русского слова» графа Кушелева-Безбородко собрались почти все петербургские литераторы: как помочь товарищу, что предпринять? Была составлена петиция министру народного просвещения; долго дебатировали, обсуждая текст, просили допустить к следствию депутата от

литераторов. Подписалось человек около ста, однако действия это не возымело никакого; вручавших петицию чуть было не посадили на гауптвахту.

Михайлову вменялось в вину, что его воззвание ставило целью возбудить бунт против верховной власти, вызвать потрясение коренных учреждений государства. Особо было отмечено, что «нельзя принять в уважение показание Михайлова, что при составлении прокламации он имел единственною целью ослабление цензуры».

Общество недоумевало. Те, кто читал прокламацию Михайлова, по неведению не усматривали в ней ничего опасного, ее открыто передавали из рук в руки, читали при посторонних. И за это может грозить каторга? Даже если — только в одном экземпляре? Но как же так? Ведь — воля. Ведь — эпоха великих реформ. Ведь — весна: «...последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином» (Аполлон Майков)... Не николаевские же ведь времена!

Михайлова судил правительственный сенат. Он был переведен в невскую куртину Петропавловской крепости...

Для нас Михайлов — поэт XIX века, классик перевода. В глазах своих судей он был закосневший в своих пороках тридцатилетний молодой человек, злоумышлявший против верховной власти опасный государственный преступник. Его приговорили к двенадцати с половиной годам каторжных работ.

В каторге Михайлов продолжал переводить Гейне.

Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал...

Он умер в Сибири в возрасте тридцати шести лет.

Сообщение о его смерти Герцен поместил в «Колоколе» под возмутительным, как это считалось в жандармских кругах в Петербурге, подстрекательским заголовком «Убили».

Более полувека имя его находилось под запретом.

В замечательной антологии Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах» (СБП. 1877) множество переводов помечено инициалами «М. М.». Переводы Костомарова из отвращения к доносчику в изданиях Гейне теперь никогда более не публикуются...

6

В программу работы нашего семинара входила поездка по стране: Брауншвейг, Гамбург, города Рейна и Рура; завершалось все посещением Франкфуртской книжной ярмарки. Мне удалось посетить еще и Мюнхен: повидать давних друзей, возложить цветы на могилу Макса.

В 1976 году весной я виделся в последний раз с моим другом издателем Максом, который когда-то организовал мне мучительные для него и для меня «потусторонние встречи» с уцелевшими главарями нацистской Германии. Он понимал, зачем мне это нужно: прикасаясь к вершинам немецкого духа, я обязан был знать также бездны, мрачные закоулки и тупики немецкой истории.

Макс был тяжело, безнадежно болен, ценил каждый отпущенный ему день, но считал своим долгом не только прожить этот день, просуществовать как-то, но прожить со смыслом, с пользой для других. Втайне он верил, что именно этим сможет одолеть, пересилить болезнь. Часто он повторял: «Главное, чтобы мы были живы, любили друг друга и оставались людьми». Некоторым эта истина казалась банальной, между тем в ней содержался глубокий смысл: не так-то просто любить друг друга и оставаться людьми, когда кругом воют волки...

Мы ехали с ним в машине, и по всей дороге, прекрасной, солнечной, в зачарованный апрельский день вырастали на каждом шагу предостерегающие знаки: «Lebensgefährlich!» («Опасно для жизни!») — желтые таблички с изломанной красной стрелой.

Макс довез меня до гостиницы, обнял, мы распрощались, и я еще раз увидел его в дверях: рыжего, непривычно худого, ставшего вдруг как бы прозрачным. Подняв руку, он с чувством сказал: «Gott mit Dir!» («Бог с тобой!»).

Я думаю, что переводчик не меньше, чем оригинальный автор, нуждается в прототипах, в поисках жизненных ситуаций, схожих с теми, которые ему предстоит воссоздавать своим пером, на своем языке. Перевод возникает на пересечении двух действительностей — переводчика и автора. Когда я переводил «Бедного Генриха» Гартмана фон Ауэ, мне иногда виделся Макс... И я спрашиваю себя: так ли уж далек XII век от XX?

Затем возникли и другие параллели...

Мы приехали в Вольфенбюттель, в библиотеку герцога Августа, снаружи, да и, пожалуй, изнутри чем-то похожую на храм. В этой библиотеке некогда работал Лессинг, и здесь, в Вольфенбюттеле, он написал те два письма, которые есть не что иное, как документ человеческого мужества, ума и силы духа: горестное утешение в худшем из бедствий.

Первое письмо было написано в новогоднюю ночь 31 декабря 1777 года:

«Мой дорогой Эшенбург,

поскольку моя жена лежит без сознания, пользуюсь минутой, чтобы поблагодарить Вас за Ваше дружеское участие. Радость моя была непродолжительна, мне так не хотелось его потерять, этого сына, он был так умен, так умен. Не думайте, что недолгие часы моего отцовства сделали меня слепо любящим отцом, я знаю, что говорю. Разве не служит доказательством его ума то, что его удалось вытащить на этот свет лишь с помощью железных щипцов? Что он сразу же заметил подвох? Разве не служит доказательством его ума то, что он воспользовался первой же возможностью снова покинуть этот мир? Правда, этот маленький озорник хочет увести за собой и свою мать, ибо надежды, что мне удастся ее сохранить, почти нет. Однажды мне, как всем другим людям, захотелось узнать простое человеческое счастье. Но мне это было не суждено.

Лессинг».

И десять дней спустя, 10 января 1778 года,— второе письмо, тому же Иоганну Иоахиму Эшенбургу:

«Дорогой Эшенбург,

моя жена умерла. Мне и через это суждено было пройти. Я поистине рад, что таких ударов мне уже больше не предстоит. Это очень утешительно. Кроме того, мне приятно, что я могу не сомневаться в Вашем и остальных наших друзей в Брауншвейге дружеском участии.

Ваш Лессинг».

Я знал, почему вчитываюсь так в эти письма. Я жил, застыв то ли в ужасе, то ли в надежде... Всего несколько месяцев назад я услышал страшный диагноз. Она должна была погибнуть, она была обречена. Операция сделала чудо — ее спасли. Я оставил ее в Москве не просто вернувшейся к жизни — расцветшей, она вновь жила, цвела,— долго ли продлится ее цветение? На этот вопрос никто не хотел отвечать...

Каждые три-четыре дня мы перезванивались, она была в превосходном расположении духа, бодра, нагружала меня милыми забавными поручениями, ждала... Она же сообщила мне, что скоро должен выйти наш «Рейнеке-лис» — вещь, наиболее ею любимая...

...В библиотеке в Вольфенбюттеле на полках белели корешками старинные фолианты, инкунабулы.

И вот я держу в руках нашего «Рейнеке-лиса», народную поэму XV столетия, том в переплете из белой телячьей кожи, листаю хрупкие страницы старинного текста, вижу слипшиеся строчки, как бы врезанные в текст гравюры: дурашливый самодовольный лев, избитый мужиками кот Гинце, потешная сцена так и не состоявшейся казни хитроумного Рейнеке.

Никогда я так не ощущал значения слова «подлинник», его сладости: подлинное, истинное.

Подлинный «Рейнеке» носил длинное, во весь титульный лист название:

«ХИТРОУМНЫЙ РЕЙНЕКЕ-ЛИС

Сие есть весьма преполезная, столь же забавная, сколь и поучительная книжица, в коей обиходным, однако любезным манером под личиною льва, медведя, лиса, волка и прочих зверей примечательно изображены и живыми красками обрисованы жизнь и суть придворного, а также всех прочих сословий не токмо в свете их добродетелей, но более того в свете владеющих ими пороков».

В 1975 году в антикварной лавке в Бухаресте я наткнулся на позднее, уже середины XIX века, издание этой книги, стал читать и тут же с увлечением принялся за перевод. В древней поэме яростно клокотал неистовый народный темперамент. В недрах раешного стиха слышался гул возмущения, надвигавшейся Реформации и Крестьянской войны. Балаганный немецкий стих — книттельферз — родила раскрепощенная народная душа.

Что, собственно, означает ритм как не биение сердца, перешедшее в стих?

Гёте в своей поэме-пересказе загнал юркого Рейнеке-лиса в гекзаметр. Раешный, ярмарочный книттельферз он приберег для другого: книттельферз угадывается в стихе, которым написан «Фауст». Faust-Vers — не что иное, как материализованный в ткани почти раешного стиха ироничный и трезвый разум народа, который торжествует над всеми коллизиями, философскими исканиями и нравственными выводами Фауста.

Не случайно, видимо, книттельферз в наши дни избрал для пьесы «Марат-Сад» Петер Вайс. Над хаосом, над суесловием, над суетой, над мучительными и кровавыми распрями, поисками «абсолютной истины», над абстракцией хохочет книттельферз — здравый народный смысл в балаганных лохмотьях райка.

Признаюсь, более всего я люблю переводить этот рожденный в народной утробе немецкий стих. Современных, пишущих голым верлибром поэтов я перевожу редко, они мне даются с трудом. С рифмованным немецким стихом мне жаль расставаться. Помню, как почти физически ощущал силу рифмы в поэзии барокко, особенно в сонетах, где неумолимая рифма замыкала строку: приговор, не подлежащий обжалованию. В народных балладах, в лирике вагантов, в стихах раннего Шиллера рифма привносила в хаос и сумятицу жизни гармонию, блаженное умиротворение. В «Лисе» рифма била током, от нее слова как бы отпрыгивали, перебегали в следующую строку. В спотыкающемся ритме, в набегающих друг на друга словах, увенчанных рифмой-погремушкой, таилась музыка великого карнавала — жизни...

На этот раз, встречаясь с западногерманскими поэтами, я задавал всем без исключения один и тот же вопрос: почему вы избегаете рифмы?

Одни говорили, что немецкая рифма себя изжила, другие объясняли это внутренним диссонансом.

В Дюссельдорфе поэт и рисовальщик Рольфрафаэль Шреер, острый, думающий человек, пытался втолковать мне:

— Рифма сохранилась только как средство иронии или в шансоне. Я не вправе рифмовать. Если я рифмую, то, значит, сознаю себя хозяином положения, а я таковым не являюсь. Я не хозяин даже собственной речи! На каждого из нас льется такой поток информации, что мы не в состоянии его ни осмыслить, ни подобрать для него нужные слова. Стоит кому-нибудь кашлянуть на другом конце света, как радио, телевидение тут же доносят до меня этот кашель!

Он говорил о переизбытке информации как о серьезной человеческой драме; я добросовестно слушал его, но понять не мог.

В Эссене, после того как нас провезли через весь прокопченный, продымленный, угольный Рур, для участников семинара устроили встречу с писателями округа Оберхаузен — Эссен — Гельзенкирхен. Это были профессиональные писатели рабочего Рура: поэтесса Лизелотта Раунер, старый горняк, поэт и прозаик Иозеф Бюшер, слесарь, поэт Рихард Лимперт, поэт, преподаватель физкультуры в школе Герберт Сомплецки, руководитель городской библиотеки, поэт Гуго Эрнст Койфер. Нам вручили биобиблиографические справочники о писателях земли Северный Рейн — Вестфалия: «Они пишут между Падеборном и Мюнстером», «Они пишут между Гохом и Бонном», «Они пишут между Мерзом и Хаммом»... Именитые и почти безвестные авторы представлены здесь как собратья по перу, равные перед судьбой и литературой: фотография, краткое жизнеописание, сведения о литературных премиях (от Нобелевской до премии вечерней газеты), отрывок из произведения, домашний адрес, номер домашнего телефона, писатель о себе — несколько слов.

В тот вечер мы говорили о важных вещах. Как преодолеть глупость, неподвижность мысли, умственный застой, переизбыток «холестерина» в мозгах?.. Подобно тому как от обжорства и неподвижности страдает организм, так неподвижность мысли, ожирение ума способны привести общество на край катастрофы.

Когда снова вернулись к литературе, я все же не удержался, задал свой вопрос: отчего пишут без рифмы?..

Это вызвало оживление.

Они считают, что это идиосинкразия: в третьем рейхе слишком много было рифмованной лжи, складных лозунгов, складных изречений среди нескладной, чудовищной жизни.

Лизелотта Раунер ответила:

— В сорок пятом году мы сказали: «После Освенцима стыдно писать стихи».

Она перефразировала изречение Теодора Адорно: после Освенцима невозможно заниматься литературой. Я хотел было возразить ей, но она продолжала:

— Да. Стало вдруг противно. Освенцим, скелеты, тюки с женскими волосами — и вдруг мы, узнав об этом, глядя на это, должны изъясняться стихами, хореями, ямбами, анапестами, когда все внутри сломано!.. Какая может быть мелодия, когда внутри — скрежет?

В Бохуме меня пригласили выступить перед студентами-русистами, почитать свои переводы. Я часто слышал, что нынешняя западногерманская молодежь стихи не любит, а классическую поэзию и вовсе.

Я начал с того, что рассказал им о себе, о Москве, о первой встрече с немецким языком... Моя студенческая жизнь прервалась через двадцать семь дней после того, как меня, выдержавшего труднейший вступительный конкурс, приняли в Институт истории, философии и литературы: началась вторая мировая война, нас призвали в армию... Это и был мой первый настоящий университет — шесть с половиной лет, шесть курсов. В огромной солдатской семье, собравшейся со всех концов страны, я постигал жизнь, ее смак, ее горечь. Я вбирал в себя русскую речь, которой не обучишься ни на одном факультете, постигал вес русского слова, его вкус, бесконечность его оттенков.

Вот они, мои любимые немецкие стихи по-русски. Я стал читать их: Шиллера, Гюнтера, Флеминга, Гергарта, Гейне — по-немецки и сразу в переводе, по-русски.

Я посмотрел на аудиторию: они жадно слушали, многие стихи они узнавали впервые. Меня просили читать еще и еще, и я приводил к ним их же немецких поэтов с их тоской, с их страстью... Мне показалось, что — пусть на минуту — стихи этих старых немцев сблизили всех, сплотили, коснулись каких-то затаенных струн. Что-то, значит, трепещет в людях, если они в состоянии вдруг притихнуть, замереть, принизиться перед вечной поэзией. Может быть, она, выражаясь словами русского поэта, и есть как жизнь: «...растворенье нас самих средь всех других, как бы им в даренье...»? Да и не в том ли назначение перевода?.. Но если бы я сейчас сказал только об этом, меня б не поняли или не согласились бы со мной потому, что все было накалено и насыщено не поэзией, а политикой: поэзия, перевод, семинар, даже это мое выступление.

Я говорил с ними откровенно, серьезно. История человечества есть история борьбы за свободу и история борьбы против свободы. Мир захлебывался в крови, горел в войнах. Люди уповали на власть слова, которое сильнее власти денег. Геттингенский публицист и сатирик, который был также знаменитым физиком, Георг-Кристоф Лихтенберг писал, что «больше, чем золото, мир способен изменить свинец, но не тот, который находится в ружейном стволе, а тот, что лежит в наборной кассе печатника»... Но если это так, то, может быть, и от нас зависит, на что именно пойдет свинец из наборной кассы? Надо учиться думать, сопоставлять, вытравить из сердца вражду, злые предубеждения... К этой мысли меня самого все время возвращал долгий геттингенский семинар.

Через три месяца меня вновь пригласили в Бохум.

Было начало января 1978 года, в окнах еще горели рождественские елки. После затянувшихся праздников люди медленно разминались, возвращались к своим делам — из гостей, из загородных путешествий. Страсти, которыми жила страна в октябре, как будто бы улеглись. Притаились разыскиваемые полицией террористы, с экранов сошел фильм о Гитлере, еще не прочистили горло завзятые крикуны.

Все было тихо. И в этой тишине, в тягучем предрассветном сумраке, над крышами, над переплетениями железных и шоссейных дорог, над людскими жизнями вставал, выплывал из темноты вопрос: а что же дальше?

Слово скорби и утешения

1

Ночь... Все вырублено, выжжено, перебито. В темноте на ощупь бреду, ищу заступников, сочувствующих, слов утешения. В этой мгле набрел на свои переводы Андреаса Грифиуса, других поэтов Тридцатилетней войны — Гофмансвальдау, Опица, Флеминга... У них противостояние скорби — д у х.

Вот они теснятся передо мной, мои поэты, мои друзья. Чтобы спасти.

Смею ли, однако, искать спасения, помощи, потеряв ее? Ведь клялся же, кричал, что теперь ничего уже больше не страшно, не нужно уже ничего.

Нет. Страшно. И — нужно... И от этого еще страшнее.

Ночь. Все происходит ночью.

Была ночь на 5 января 1621 года. В Силезии над городом Глогау бушевала метель...

Но сначала была ночь с 1 на 2 октября 1616 года, когда появился на свет Грифиус. Понедельник вбирал, всасывал в себя уходящий воскресный день. Грифиус родился в тот миг, когда часы начали бить полночь. Считалось, что это дурной знак.

Прошло менее пяти лет. В Глогау вступал «зимний король» — Фридрих V, разбитый войсками Католической лиги под Прагой, у Белой горы. Королевская свита потребовала от протестантской общины сдать драгоценную серебряную утварь. Во главе общины стоял отец Андреаса Грифиуса — архидьякон Пауль Грифиус.

В ночь на 5 января 1621 года над Глогау бушевала метель. В завывании метели архидьякону отчетливо послышалось слово с м е р т ь. Он сказал об этом жене.

Существуют ли вещие сны, голоса, знаки, приметы? Или все нашептало предчувствие, как злой доносчик?..

На рассвете Пауль Грифиус умер от приступа удушья, внезапно. В городе распространился слух, что архидьякон отравлен.

Это была первая смерть, которая вошла в жизнь Андреаса Грифиуса. Первый удар. Может быть, в ту ночь в нем впервые забрезжил поэт: там, где другие теряли все, он обретал. Скорбную мысль. Силу духа.

Мы шли друг другу навстречу триста пятьдесят лет. Я знаю жизнь Грифиуса в подробностях и могу о ней рассказать. Но еще рано.

Я расскажу, как впервые услышал название Г л о г а у.

На дне картонного ящика — мой армейский архив: письма родителям, школьным друзьям, стихи. Я не прикасался к ним почти тридцать лет. Перебирая этот архив в августе 1978 года, в одном из писем к матери, присланных из Маньчжурии в августе 1945 года, нашел описание переправы через Амур, окрашенный, как я тогда писал, «розовыми, вечерними красками». Среди тех, кто толпился на берегу,— «парень-сержант из частей, только что отвоевавших в Германии. На груди — полный набор медалей, он подпоясан трофейным ремнем, на пряжке надпись: «Gott mit uns», из-под пилотки чуб, немыслимая для нас, дальневосточников, вольность. Он подошел ко мне, попросил закурить и лихо стал рассказывать, как брал Глогау...».

Прочитал — и вспомнил страшное до замирания сердца ощущение п е р е п р а в ы на тот, другой берег, «в мир иной». Действительно в иной мир...

Случается: вдруг так ясно, так властно предстает перед человеком вся жизнь. Начинаешь ее видеть, кажется — можешь дотронуться рукой до каждого денька, денечка. Но все это за толстенным стеклом... За стеклом...

Вот что было с Андреасом Грифиусом между 1621 и 1634 годами, вот что он вынес,— есть люди, за которыми несчастья гонятся, как своры псов: догоняют, рвут...

Спустя год после смерти отца мать Грифиуса вышла замуж за учителя местной гимназии Эдера.

Вскоре гимназию закрыли по требованию иезуитов.

Через Глогау тянулись колонны ландскнехтов. С шумом и грохотом занимали дома, становясь на постой. Раздавалась стрельба, крики. То и дело вспыхивали пожары. Между тем это было всего лишь начало Тридцатилетней войны: первое шестилетие.

В город ворвался драгунский полк. В доме Грифиуса драгуны разграбили библиотеку отца, перешедшую к отчиму. Мальчик запомнил руки, рвущие книгу.

21 марта 1628 года умерла мать Грифиуса.

Сила, насилие отняли отца, мать, книги, дом, школу.

Насилие отнимало веру.

Поддержанные драгунским полком, местные иезуиты осуществляли массовое перекрещение. Протестантам предлагалось добровольно возвратиться в лоно католической церкви. Многие возвращались.

Насилие несло с собой ложь.

В Глогау жила сводная сестра Грифиуса, жена торговца. Когда она родила сына, она крестила его по католическому обряду. Однако втайне семья исповедовала протестантскую веру. Чтобы не посещать католическую иезуитскую школу, мальчик учился дома.

Иезуиты действовали последовательно, неумолимо, давили, брали, прибирали к рукам власть, жизнь, жизни.

Убежденных протестантов изгоняли из города, большинство перебиралось в соседнюю Польшу. На вывозимое имущество налагалась громадная пошлина. В случае неуплаты дети не могли следовать за родителями.

Учитель Михаэль Эдер направился в деревню Дрибиц — пограничное местечко, расположенное уже на польской территории. Грифиуса он взял с собой. В Дрибице учитель стал пастором...

...Представим себе этого человека. Высокий, сутулый, внутренне распрямившись, он покидает свой родной город, чтобы даже формально не подчиниться насилию, не потворствовать ему, не поступать вопреки своим убеждениям. Приходит в какую-то польскую деревню с малышами, с пасынками.

Человеку с юности нужны высокие примеры, поступки, достойные подражания. Их нельзя навязать. Хорошо, когда первой школой благородства является родительский дом, когда чувство собственного достоинства вырабатывается в подражании отцу, матери, друзьям дома. Намного трудней тем, кто вынужден совершенствоваться потом, в течение долгой жизни, не имея соответствующей подготовки с детства...

В 1629 году Михаэль Эдер женился на Марии Рисман, восемнадцатилетней дочери королевского судьи в Глогау, образованной и набожной девушке. Она любила музыку, поэзию, в доме собирались, дивно пели псалмы.

Но в этом доме поселилась смерть.

Брак Эдера и Марии Рисман длился всего шесть лет, в течение которых шестеро их детей либо умерли вскоре после рождения, либо рождались мертвыми. Для Марии Рисман Андреас Грифиус стал собственным, родным ребенком. И она заменила ему мать.

Она умерла, не дожив до двадцати пяти лет. Свои первые латинские сонеты Грифиус посвятил ее памяти.

Это было время всевластия смерти... В Силезии бушевала война. Две враждующие армии разоряли страну. С лица земли исчезали деревни, на пару сапог можно было выменять дом. Поля заросли сорной травой. Сгорел Глогау. Ордам наемников сопутствовали голод, эпидемии — чума, тиф. За городскими стенами возводили чумные бараки, рыли могилы.

Летом 1632 года стоял невероятный зной. Землю сушило, жгло. Полураздетые, гонимые голодом и жаждой люди бродили по мертвым от зноя улицам.

Мертвецов не хоронили по четырнадцать дней. Не хватало гробов. Гроб можно было купить у солдат за 30—50 дукатов. Солдаты по ночам пробирались на кладбище к свежим могилам, выкапывали гробы, перепродавали.

Для чумы не существовало государственных границ. В Бреславле она уничтожила половину населения. Вторглась в Польшу.

Тысячи людей умирали. Медики лишь беспомощно разводили руками. Внезапно разнесся слух, что найдено спасительное снадобье. Найдено или будет найдено вскоре... Вспыхнула надежда. Те, кто еще не заболел, молились: только бы дотянуть до появления чудесного зелья! Кто мог знать, что возбудитель чумы будет открыт лишь

в 1894 году и что лишь в середине XX века начнут применять более или менее эффективные средства...

Первые искры поэзии Грифиуса возникли среди праха, среди ночи отчаяния.

Он учился в гимназии во Фрауштадте, жил в семье врача Карла Отто: был здесь чем-то вроде репетитора.

В декабре 1632 года в один и тот же день от чумы умерли жена доктора Отто, двое его сыновей, обе дочери. Сам Отто потерял слух, паралич навсегда приковал его к постели...

После долгой осады пал Магдебург — одно из самых трагических событий Тридцатилетней войны. Озверевшие солдаты Католической лиги ворвались в город.

Сто пятьдесят лет спустя в своей «Истории Тридцатилетней войны» Шиллер писал о гибели Магдебурга со страстностью очевидца:

«Чудовищно, ужасно, возмутительно было зрелище, представшее здесь перед человечеством. Оставшиеся в живых выползали из-под груд трупов, дети, истошно вопя, искали родителей, младенцы сосали грудь мертвых матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить в Эльбу более шести тысяч трупов; неизмеримо большее число живых и мертвых сгорело в огне; общее число убитых простиралось до тридцати тысяч...»

Говорят: печальная история. Скажем иначе: история печальна.

В гимназии, где учился Грифиус, поощряли стихотворчество, ораторское искусство. Грифиус писал латинскую поэму — о вифлеемском избиении младенцев. Он читал школьную проповедь — о разрушении крестоносцами Константинополя.

Что значит жизненный путь? Для одних это постепенное нисхождение в могилу, для других — восхождение к вершинам духа, познания, самосовершенствования.

Отчим внушал: в бедствиях надо искать спасение в самом себе.

Бывает камнепад. На голову человека судьба обрушивает беды одну за другой, как град камней; кажется, им не будет конца, никогда не встанешь. Град камней способен размозжить голову, но не в силах сокрушить дух. Грифиус уже тогда был свободным человеком, свободной личностью — оттого, что победил в себе зависимость от роковых обстоятельств, даже от смерти. Он яростно писал сонеты, короткие, в четырнадцать строк, выкрики. Ему было восемнадцать лет, когда он уходил, уплывал из охваченного войной и чумой Фрауштадта по Одеру в Данциг...

На камнях Европы до сих пор лежит тень исчезнувших империй, владычеств. Трудно поверить, что Испания владела Нидерландами, что Вена, столица австрийских Габсбургов, приводила в трепет народы, что существовала Османская империя и — до сравнительно недавнего времени — турецкое иго, что в Тридцатилетней войне, где, убивая Германию, дрались между собой немецкие католические и протестантские князья, участвовала не только Франция, но и грозная Дания, но и могущественная Швеция.

То было время двуличия, двойной, тройной игры, тайных переговоров, лжи во всем. Среди сумятицы, интриг, политических комбинаций и расчетов, которые сплелись в страшную стальную паутину, бились человеческие жизни и метался так называемый человеческий дух, к которому политика была совершенно безразлична. Дух был не ее сферой...

Первой заграницей для меня была Маньчжурия, встреча с Европой произошла чуть позже. В армию меня призвали 27 сентября 1939 года, нас везли в теплушках восемнадцать дней, 15 октября выгрузили на небольшой тупиковой станции. Помню белокаменное, дореволюционной постройки здание вокзала и яркое, кумачовое, морозное над ним зарево. Это был Благовещенск-на-Амуре, крайняя точка на границе с оккупированным тогда Китаем, с Маньчжурией, имено-

вавшейся в ту пору Маньчжоу-Го... На той стороне, на другом берегу Амура, горели тусклые огоньки «заграницы»: город Сахалян-Хэйхэ.

На Амуре служили долго. Это была огромная, застоявшаяся армия. Служили в одних и тех же частях по шесть, даже по семь лет, в сопках.

Мы именовались Дальневосточным фронтом, то есть считались как бы фронтовиками и находились тоже как бы на передовой. И все же быт был скорее гарнизонный, казарменный, построенный в соответствии со строевым и дисциплинарным уставами. Мы размещались в казармах, офицеры жили в городке со своими семьями. Работал ДКА — Дом Красной Армии... Это был самый глубокий тыл советско-германского фронта и передовая линия Дальневосточного фронта, еще не вспыхнувшего, молчавшего изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.

Бездействующая армия отличается от действующей не столько благополучием, сколько крайним напряжением нервов... Мы находились не на отдыхе. Нас держали в напряжении приказы, строевая дисциплина, строгая обстановка границы. Перед нами стоял противник. Но гласно его не называли. И как должен был воспринимать дальневосточный солдат обращенный к нему с каждой газетной полосы лозунг «Смерть немецким оккупантам!»?

Поздно вечером 8 августа 1945 года по радио вдруг передали почти забытые песни времен Хасана и Халхин-Гола о самураях. Потом зазвучал вальс «На сопках Маньчжурии». Через несколько часов начались военные действия против Японии...

Я перечитывал свои армейские письма, пылкие клятвы — «ваш и навсегда ваш», «ваш всегда и везде»,— заклинания, что непременно, обязательно, вопреки всему вернусь. Иногда это сопровождалось цитатой из Твардовского, Алигер, Антокольского, Симонова, из шульженковских и утесовских песен. Некоторые письма родителям были выдержаны в духе публицистики армейских газет, попадались фразы: «Спасибо вам за письма, за заботу, за ваше повседневное, неослабное внимание...», «В дальнейшем я прошу подробнее, детальней и конкретней сообщать о себе»... Пейзажные зарисовки выглядели так: «На улице — лютый мороз, без снега. От страшного холода стоит туман, и луна, как ломтик лимона, кажется вмерзшей в фиолетовое бездонное небо».

Я читал эти письма, видел свое отражение как на дне колодца глубиной в тридцать пять лет...

В армии я писал стихи, печатал солдатскую лирику в армейской газете «За счастье Родины», во фронтовой газете «Тревога». Печататься было сладостно, стихами отзываться на то, чем живешь, и тут же без промедления видеть свои строки набранными типографским шрифтом в газете. Конечно, те стихи не поднимались над самым посредственным уровнем гигантской стихотворной продукции, рожденной войной. И все же что-то от этих стихов, наверно, осталось, перешло в переводы. Когда вышли «Лагерь Валленштейна», ранние стихи Шиллера, немецкие народные баллады, в рецензиях на мои переводы писали, что мне более всего дается грубоватый, «плебейский» немецкий народный стих. Но вот мои собственные строчки армейских лет:

...Я теперь воюю, я теперь сражаюсь
И с врагами пулей меткой объясняюсь...

Как бы там ни было, я прослыл признанным — в пределах своей части — поэтом. В архиве я нашел письмо: младший лейтенант Резник заказывал мне стихи. «Товарищ Гинзбург! Так и напиши: «Тов. Резнику от старшины Гинзбурга на память о его любимом брате Мишкé». Хошь деньгами возьми, хошь папиросами. Очень прошу»... Мишко погиб под Кенигсбергом.

На мои стихи обратили внимание командиры и жившие на Дальнем Востоке поэты: они были ко мне снисходительны, требовательны, без их поддержки я, наверно, никогда не пришел бы в литературу. Во фронтовой газете, к собственному своему удивлению, я увидел статью о себе, которую написал известный на весь Дальний Восток поэт Петр Комаров: добросовестно разбирал мои строки, учил, поругивал, кое за что хвалил.

От августовских дней в Маньчжурии в памяти остались беспрерывные дожди, теплая, мутная влага. Мошкара жалила мокрые от дождя лица, в сапогах булькала вода. Под дождем по длинному тракту навстречу нам шли китайцы с красными повязками на рукавах. Они поднимали кверху большой палец и говорили: «Шибко шанго!» («Очень хорошо!»). В одной деревне я увидел, как староста бьет палкой по спине крестьянина; тот, кого били, не сопротивлялся, напротив, кланялся в пояс, благодарил.

Город Сахалян-Хэйхэ, на который я смотрел шесть лет подряд из Благовещенска, оказался типичным дореволюционным русским городом. Русские вывески с твердыми знаками и ятями, афишные тумбы с русскими афишами, булыжные мостовые, «ночь, улица, фонарь, аптека», горемычные русские эмигранты...

Это было первое узнавание чужой жизни, чужой беды...

В декабре 1945 года я краем глаза увидел взъерошенную и взбаламученную Европу. На Дальнем Востоке уже близка была демобилизация, уже можно было ехать домой, но генерал Гросулов настоял, чтобы я под самый конец службы, пусть в качестве его ординарца, поехал с ним хоть на две недели через Варшаву туда, на Запад, набрался впечатлений: он был убежден, что у меня есть литературные задатки и все увиденное мне когда-нибудь еще пригодится. То была и моя первая творческая командировка.

...Это были места, отходившие или уже отошедшие к Польше. Поляки, пережившие страшную немецкую оккупацию, уже вселялись в эти дома, последние немцы эти места покидали, Европа лежала в виде груд битого кирпича, кое-где над грудами щебня возвышались полууцелевшие соборы, кирхи. Заглянув внутрь одного из таких соборов, я увидел поразившую меня картину: рухнувший орган, выбитые витражи, через которые влетали вороны, на каменном полу лежал с отколотым крылом каменный ангел.

Восемнадцать лет спустя, работая над стихами поэтов Тридцатилетней войны, я переводил сонет Христиана Гофмансвальдау «На крушение храма святой Елизаветы»:

Колонны треснули. Господень рухнул дом.
Распались кирпичи, не выдержали балки.
Известка, щебень, прах... И в этот мусор жалкий
Лег ангел каменный с отколотым крылом.
Разбиты витражи. В зияющий пролом
Влетают стаями с надсадным воплем галки.
Умолк органный гул. Собор подобен свалке.
Остатки гордых стен обречены на слом...

Что это — перевод или зарисовка с натуры, страница из моей тогдашней записной книжки? В подлиннике есть все: рухнувший орган, распавшиеся кирпичи, балки, которые не выдержали. Ангел с отколотым крылом добавлен мной. Но лег он в стихотворение непроизвольно, естественно, не просто для рифмы...

Мы остановились в небольшом городке, в доме, принадлежавшем некогда директору гимназии Юлиусу Остерману, от него на входной двери осталась эмалированная табличка с его именем и еще одна — тоже эмалированная — табличка: «Милостыню не подают, нищих просят обращаться в магистрат, в отдел воспомоществований». Во дворе немецкие пленные пилили дрова, их охранял польский солдат. Какие-то люди в штатском жгли костер, грелись.

Неподалеку от дома был парк. При входе щит напоминал: «Die Sauberkeit deiner Stadt — in deiner Hand» («Чистота твоего города — в твоих руках»). Щит был изрешечен пулями, в самом парке среди нечистот стояли на берегу замерзшего пруда бронзовые Бисмарк и Мольтке, залепленные грязью. На башне городской церкви бил колокол, близилось рождество.

Я писал стихи о немецком городе, о директоре гимназии Остермане, о рождестве. Мне вспомнилась детская песенка: «O, Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter»— ее знает каждый, кто изучал в детстве немецкий язык. Я писал:

В Германии теперь стоит зима.
В лесах застывших дико воют волки.
А все никак не выйдет из ума
Рождественская песенка о елке,
О том, как первобытную красу
И в декабре седом не потеряла
Та елочка, которая в лесу
Близ города немецкого стояла.
Теперь все это кончено... Совой
Кричат в ночи охрипшие метели,
И молча ходит польский часовой
Вокруг германской истомленной ели.
И в кирхе не поет уже орган —
Торжественно, возвышенно, тягуче.
И только шпиль сквозь утренний туман
Своим крестом уперся прямо в тучи.

В Германии суровая зима.
Здесь каждый день похож на понедельник,
И выглядят невесело дома
Вот в этот, мной увиденный сочельник.
Пройдет по тихой улице вдова,
Патрулем ранним поднята с кровати.
Где муж ее? Там, где шумит трава
На берегу неведомой Ловати.
У живописных, сказочных озер
В волшебном сне неповторимых утр
Угрюмые мужчины жгут костер
Из толстых книг. Читаю: «Мартин Лютер»...
Такой предстала предо мной она,
Знакомая из песен и молений,
Жестокая, блаженная страна,
Поставленная нами на колени...

Стихотворение помечено 20 декабря 1945 года.

Возвращался я на попутных грузовиках через испепеленную Польшу.

Была ночь в мертвом, неправдоподобном Быдгоще: освещенные луной развалины, совершенно пустая площадь, отель «Полония» и вдруг, словно свадьба призраков,— невеста в фате, жених в цилиндре, карета, толпа поляков в английской почему-то форме.

И была еще ночь в Варшаве. На Маршалковской живым было только одно дерево и странно ярко желтели плакаты-простыни: «Ева Бандровска-Турска» — певица, о которой я слышал еще в Москве... Все остальное было черно, разбито, виднелись только остовы зданий.

2

Грифиус в 1634 году в Данциге. Год для Грифиуса относительно благополучный.

Данциг — город библиотек, академий, торговли, искусств.

Он учится в академической гимназии. Говорят: сила духа. Но дух бессилен, если его не питают знания. Грифиус учился не просто прилежно — истово. Языкам, математике, астрономии.

Поэзию и математику в гимназии преподавал профессор Петер Крюгер, обладатель двух небесных глобусов. Крюгер составлял для Данцига астрологические прогнозы.

В те времена увлечение астрологией было повальным. Люди ощутили свою зависимость от далеких светил. Это было не столько суеверием, сколько смутным осознанием себя частицей вселенной.

Астрологом был великий астроном Кеплер, открывший законы движения планет. Астрология — шарлатанство. Кеплер, однако, шутя говорил: «Конечно, эта астрология — глупая дочка астрономии. Но, боже мой, что сталось бы с умной матерью, если бы у нее не было этой глупой дочки!..»

Кеплер в конце жизни, гонимый войной, нуждой, сделался личным астрологом Валленштейна: посмеиваясь составлял для него гороскопы. На годы вперед были расписаны «славные побоища», пред-

сказано, что «полководец отличит себя достоинством, храбростью». Валленштейн верил звездам, верил в свою счастливую звезду. В 1634 году его убили заговорщики в крепости Эгер.

В Данциге профессор Петер Крюгер знакомил юношу Грифиуса с учением Коперника. В год, когда Грифиус родился, совет кардиналов внес труды Коперника в индекс запрещенных книг как не соответствующие священному писанию. Потом гнули великого Галилея. Известно, что, находясь под домашним арестом, страшась дальнейших преследований, Галилей уступил, отступился. В том же году, когда Галилей отрекся от себя, от Коперника, Грифиус писал пылкие стихи «К портрету Николая Коперника»:

О, трижды мудрый дух! Муж больше чем великий...

Грифиуса пронзило открытие величайшей из истин: «...Мы вращаемся вкруг солнца своего!»

Было для него в том году и другое открытие. В Данциге Грифиус встретился с Мартином Опицем.

Опиц был великим поэтом. Его называли герцогом немецких струн, сравнивали с Гомером, Пиндаром. Сравнение, вероятно, преувеличенное. Но для немецких поэтов XVII века он значил многое. Он вырвал немецкий стих из латинской оболочки, дал ему возможность говорить на родном языке. Поэтика — педантичная наставница поэзии. Но «Книга о немецком стихотворстве» Опица проникнута состраданием к униженному человечеству, к попранной родной речи. Слова, как и людей, пинают, калечат, мучат. Говорят: слово способно убить. Можно убить и слово.

Некоторые полагают, что стили создаются теоретиками.

Барокко больше чем стиль: состояние души, мира. Ужас не в том, что жизнь и смерть, смерть и любовь — рядом, что они находятся в постоянном противоборстве, а в том, что они сосуществуют, что они у ж и в а ю т с я. Иногда это осознаешь с беспощадной отчетливостью.

Опиц открыл закон бесконечно простой и бесконечно сложный: в бедствиях народ, человек нуждаются в утешении. Эту миссию должна принять на себя поэзия. Врачевать, помогать, не докучая своим сочувствием, настойчиво выводить из горя. Это большой, редкий дар. Люди читали его «Песни утешения средь бедствий войны», слышали рассудительную, мужественную, спокойную речь. Сердце — двигатель в н у т р е н н е г о сгорания: все сгорает внутри нас. Надо призвать на помощь рассудок.

Разрушит враг твой дом, твой замок уничтожит,
Но мужество твое он обстрелять не может...

Спасение — в чистоте и глубине скорби, в праведности поступков: в добродетели.

С чего же мы скорбим, неистовствуем, плачем,
Раз в глубине сердец сокровище мы прячем?..

...Бывает: вдруг погружаешься в жуть жизни, в ледяную черную воду, в то, что прежде было тебе недоступно, что еще вчера было для тебя лишь отвлеченным понятием — книгой, искусством.

Видел сон об утонувшем ребенке. Все во мне противится, мечется: нет! нет! нет! нет! Потом во сне, в полусознании кто-то вдавливает в меня мысль: свыкнись, прими как должное, рассудком прими, смирись. И я смиряюсь. Во сне.

Справедливо ли это? Или средневековое средство утешения — «смирись!» — устарело?..

...Прошло три шестилетия Тридцатилетней войны. Начиналось четвертое.

В 1636 году в имении Шенборн, в Силезии, жил пфальцграф Георг Шенборнер — человек высокой учености, сочинитель книг по истории права, теории государства, обожатель поэзии. Шенборнер прослышал о Грифиусе, пригласил его к своим детям воспитателем.

Все как в старинном романе: поместье магната, молодой домашний учитель, дочь магната Элизабет.

Молодой учитель влюблен в Элизабет, пишет стихи... Литературоведы установят, что все любовные стихи Андреаса Грифиуса были посвящены Евгении — Элизабет Шенборнер.

Потом будет разлука, скитания по дорогам войны, дальние странствия.

После Лейденского университета, после Амстердама, Парижа, Рима, Венеции, Флоренции, Страсбурга он, знаменитый поэт, драматург, автор «Екатерины Грузинской», слава отечества, вернется, снедаемый надеждой, в Силезию.

22 ноября 1647 года он узнает: Элизабет фон Шенборнер, не дождавшись его, вышла замуж. За три дня до его возвращения. Она ждала девять лет.

Судьба: не судьба...

Кончится Тридцатилетняя война, заключат мир.

В день провозглашения мира Грифиус в очередном сонете «К Евгении» напишет:

Но без твоей любви мне даже мир не впрок.

Там будут и такие слова:

Но одинок ли я? Ты здесь — в мечте, во сне.
И пропадает боль.., Так что ж ты значишь въяве?!

Но это уже 1648 год. Вернемся к началу.

Шенборнер покровительствует молодому поэту. В городе Лисса (Лешно) он издает первый сборник его сонетов — тоненькую тетрадку.

На этом идиллия обрывается.

Был 1636 год. Люди тащились по войне, по дорогам войны, как матушка Кураж, впряженная в свою повозку.

Рядом с имением Шенборнера в одну ночь, за несколько часов, сгорел город Фрейштадт. Пожар вспыхнул внезапно. Первым заметил дым брат Грифиуса Пауль, начал будить людей, но вместо того чтобы начать борьбу с огнем, люди в панике разбегались, среди дыма и пламени сновали грабители.

Грифиус направился на пепелище, изучил причины пожара с дотошностью следователя. Собранные им материалы и сегодня еще хранятся в городском архиве Вроцлава (тогда Бреславля). Пожар не был вызван непосредственно обстоятельствами войны. Скорее засухой, беспечностью, отсутствием запасов воды, багров, лестниц. Но в стихотворении Грифиуса «На гибель города Фрейштадта» — картина военного вторжения: пороховой дым, гром пушек, разрушение домов, бесчинства солдатни. Не Фрейштадт горел, не просто Фрейштадт, а Германия, охваченная пламенем войны, погрязшая в пороках, тонущая в крови.

Грифиус бродил среди погорельцев. Слезы ели глаза. Но он сказал: не *я* плачу — *мы*.

Слезы отечества.

Так родилась формула времени.

Перед ним предстали символы войны: орды чужеземных наемников, взбесившаяся картечь, ревущая труба, меч, жирный от крови. Именно жирный, а не красный: ненасытное чудовище, отъевшееся на крови.

Сонет «Слезы отечества» имеет подзаголовок «Anno 1636».

Но теперь я должен рассказать о своей вине перед Грифиусом.

Вот мой перевод его сонета, печатавшийся массовыми тиражами десятки раз, неоднократно одобренный критикой (перевод был сделан в 1961 году):

Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч
Похитили наш труд, вконец нас одолели.

В руинах города, соборы опустели.
В горящих деревнях звучит чужая речь.
Как пересилить зло? Как женщин оберечь?
Огонь, чума и смерть... И сердце стынет в теле.

О, скорбный край, где кровь потоками течет!
Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет.
Забиты трупами отравленные реки.

Но что позор и смерть, что голод и беда,
Пожары, грабежи и недород, когда
Сокровища души разграблены навеки?!

Прошло семнадцать лет. Для меня произошло крушение мира. Июльской ночью 1978 года я сопоставлял свой перевод с подлинником. Вот из чего состоит текст Грифиуса:

«Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями. Орды наглых народов, беснующаяся труба, жирный от крови меч, гремящая картечь пожрали наш пот, наш труд и наши припасы. Башни стоят в огне, церковь переобращена, ратуша повергнута в ужас, сильные зарублены, девы опозорены, и, куда ни кинешь взгляд, повсюду огонь, чума и смерть, пронизывающие душу и ум. Здесь через укрепления и города беспрестанно течет свежая кровь. Уже минуло трижды шесть лет с тех пор, как наши реки, отяжеленные множеством трупов, текут замедленно. Но я еще умалчиваю о том, что хуже, чем сама смерть, что ужаснее чумы, пожаров и голода, что теперь сокровища души у многих разграблены...»

Все вдруг осветилось, как при вспышке молнии. Беда моего перевода, в котором соблюдены и размер подлинника и система рифмовки, который п о ч т и точен и п р и м е р н о воссоздает ту же картину и ту же мысль, что и в подлиннике, состоит в приблизительности, в какой-то высшей неточности, особенно противной оттого, что перевод внешне благозвучен и в ц е л о м даже у д а ч е н.

Вчитываясь, я сначала обратил внимание на разницу в числах. У Грифиуса — «трижды шесть лет», у меня — «восемнадцать». 3×6=18 в математике. А в поэзии? Может быть, трижды шесть равно бесконечности?

Шестилетие — мера длины времени.

Бывает, минута кажется вечностью. Бесконечно долог год. Год за годом. Шесть лет войны. Потом еще раз шесть лет. Но конца нет, и опять мучительно медленно тянется новое шестилетие.

Грифиус был выдающимся математиком. Он знал внутренний смысл чисел.

Посреди медлительного времени едва текут заваленные, забитые трупами реки... У меня: «Забиты *тр*упами *от*равленные реки». Есть имитация барочной звукописи (тр-тр), но картины остановившегося времени нет.

«О, *скор*бный *кр*ай, где *кр*овь потоками течет...» — строчку можно бы считать крепко сколоченной, с эффектной звукописью скр-кр-кр... Но у Грифиуса-то не просто кровь течет потоками, а каждый день страну заливает новая, с в е ж а я кровь. Кровь течет беспрерывно!

Перечитываю второе четверостишие: «В руинах города, соборы опустели...»

«В руинах города» — штамп, заимствованный мной из собственных переводов с немецкого годов 1947—1949... У Грифиуса совершенно конкретно: в огне церковные башни и «ратуша повергнута в ужас», то есть мечутся, не знают, что делать, как помочь, городские советники, отцы города, мужи, тем более что «сильные зарублены». «Соборы опустели» — тоже неправда. Грифиуса печалит не то, что мало стало прихожан, иное: надругательство над верой, насильственное перекрещение, травля протестантской церкви.

И вот семнадцать лет спустя новое приходит решение:

Мы все еще в беде. Нам боль сердца буравит.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч,
Все жрет наш хлеб, наш труд, свой суд неправый правит.
Враг наши церкви жжет. Враг нашу веру травит.
Стенает ратуша!.. На пагубу обречь
Посмели наших жен!.. Кому их оберечь?..
Огонь, чума и смерть... Вот-вот нас жизнь оставит.
Здесь каждый божий день людская кровь течет.
Три шестилетия! Ужасен этот счет.
Скопленье мертвых тел остановило реки.
Но что позор и смерть, что голод и беда,
Пожары, грабежи и недород, когда
Сокровища души разграблены навеки?!

Чем вызвано стремление к точности? Только ли переводческой добросовестностью? Нет. Там, где точность нужна, стремишься к ней потому, что говоришь за автора, берешь на себя страшную ответственность. Он доверился тебе, он вынужден гласить твоими устами, ты единственный в эту минуту, кто знает правду — что́ он хотел сказать. Смеешь ли ты не сделать все что возможно, чтобы выполнить свой долг перед ним?

Встреча на пересечении судеб. Его — посмертной и твоей — прижизненной.

В одну июльскую ночь 1978 года в Москве слово Андреаса Грифиуса, произнесенное в Шенборне близ Фрейштадта в 1636 году, достигло твоего слуха. Не отгони его от себя, вникни в него, сохрани неискаженным и выпусти в сегодняшний мир, в московскую ночь прилетевшее к тебе из 1636 года слово немецкое!..

Итак, с л е з ы о т е ч е с т в а.

Нет, оказывается, ничего священнее человеческой слезы, ничего чище. Слезам, как мы теперь поняли, надо верить.

Счастливы те, для кого сохранились понятия «отечество», «родина», не рассыпались, не превратились в труху. Те, кто в состоянии скорбеть за свою родину, кто рвется ей на помощь в беде, пусть к опозоренной, пусть к заблудшей. Кто не осквернит ее пустыми, холодными славословиями, холодной скептической улыбкой. Издевкой над матерью. Ведь тогда действительно конец. Край.

Страшные нити связывают человека с другими жизнями, сердцами.

В Москве сонет Грифиуса явился к Иоганнесу Бехеру. Был 1937 год.

Бехер ответил Грифиусу двумя сонетами под общим заголовком: «Слезы отечества, год 1937». Он перечислил разграбленные сокровища души, составил скорбный реестр: поруганы фуги Баха, холсты Грюневальда, гимны Гёльдерлина,— слова, краски, звуки. Как и триста лет назад, полыхают костры из книг.

Известное изречение Гейне — там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей — подтверждалось.

Ужасно сожжение книг. Но не менее ужасно неиздание книг, которые должны были быть изданы, ненаписание книг, которые могли быть написаны. Ужасно, когда мысль вынуждена оставаться невысказанной!

Мне писала вдова Бехера Лили Бехер:

«Хотела бы поставить Вас в известность, что такая фигура, как Грифиус, в течение десятилетий играла большую роль в творчестве Бехера. Не случайно одно из наиболее совершенных его творений, написанных в 1937 году, носит название «Слезы отечества». Мотив сонета «Слезы отечества» — мысль о том, что надо сделать так, чтобы раз и навсегда после столетий страданий высохли наконец слезы отечества. Эта мысль проходит лейтмотивом через все стихи, статьи и речи Бехера с середины тридцатых годов до дня его смерти».

В 1954 году в Берлине Бехер выпустил антологию немецкой поэзии XVI—XVII веков «Слезы отечества». Тогда же он завершил цикл стихов «Народ выходит из мрака».

Шли из темноты толпы.

У Грифиуса есть сонет «Заблудшие»: еще страшнее, чем слезы отечества, слепота бредущих во тьме толп. Угасшие, слепые глаза, в которых нет даже слез... Это написано в миг наивысшего отчаяния.

Вы бродите впотьмах, во власти заблужденья,
Неверен каждый шаг, цель также неверна.
Во всем бессмыслица, а смысла ни зерна.
Несбыточны мечты, нелепы убежденья.

И отрицания смешны, и утвержденья,
И даль, что светлою вам кажется,— черна,
И кровь, и пот, и труд, вина и не вина —
Все ни к чему для тех, кто слеп со дня рожденья.

Вы заблуждаетесь во сне и наяву,
Отчаявшись иль вдруг предавшись торжеству,
Как друга за врага, приняв врага за друга,

Скорбя и радуясь, в ночной и в ранний час...
Ужели только смерть прозреть заставит вас
И силой вытащит из дьявольского круга?!

Я переводил этот сонет в Таллине, в гостинице «Виру». Писал, посматривая на спящую Бубу. Я любил так работать — чтобы она была рядом, чтобы, подняв глаза, мог видеть ее лицо, почти всегда светящееся добротой, спокойствием и редко раздраженное, злое. Многие слова и строки я с п и с ы в а л с ее прекрасного лица.

Потом была блаженная «немецкая тишина» в Ширке. Мы с Бубой жили в отеле «Генрих Гейне», в городке гномов, среди гор Гарца. Я заканчивал истово переводимого «Рейнеке-лиса». Наконец закончил:

Да поможет нам всемогущий бог!..

Нам еще предстояла долгая жизнь. Поездка в Польшу, в Силезию...

Стихи Грифиуса о фрейштадтском пожаре вызвали недовольство городских властей. За эти же стихи Шенборнер возвел его в поэты-лауреаты. Состоялось торжество: Элизабет (Евгения) увенчала Андреаса сплетенным ею самой лавровым венком.

Шенборнер стал мрачен: ему чудилось, что католики покушаются на его жизнь, грозят ограбить, разорить имение. Однажды он объявил Грифиусу, что умрет 23 декабря. За неделю до назначенного срока слег. Грифиус не отходил от его постели.

Предсказание оказалось точным. Шенборнер умер на руках у Грифиуса 23 декабря 1637 года.

В то время надгробные речи были предметом искусства так же, как эпитафии. Речь Грифиуса над гробом Шенборнера считалась одной из блистательных. Обращаясь к жене усопшего, он восклицал:

«С какой пылкой любовью, с каким нежнейшим радушием неизменно встречала она супруга своего! Сколь благорассудительными речами смягчала она его тяжкие огорчения! Сколько горьких вестей, кои приносило с собой сие тяжкое время, удавалось ей не допустить до его слуха! Сколь часто ее мудрый совет ограждал его от людской злобы!»...

Осенью 1976 года в Силезии я стоял возле барочного мавзолея. К стенам лепились надгробия с завитками, розочками, витиеватыми эпитафиями. Шумела, осыпая листву, трехсотлетняя липа...

Прошло немногим более года. Я сидел в комнате, куда меня пригласили, где мне должны были огласить приговор. Безукоризненно одетый молодой человек за столом смотрел на меня подчеркнуто спокойно, убийственно спокойно. Сердце у меня замерло, потом камнем упало в низ живота. Молодой человек сказал, что надежды нет.

Я спросил:

— Никакой?

Молодой человек ответил:

— Никакой.

Я спросил:

— Что же делать?

Он промолчал.

На стене кабинета висел большой лист ватмана: «Памятка по наилучшей организации труда для ИТР и служащих.

БУДЬ ОПРЯТЕН И АККУРАТЕН ВО ВСЕМ.
НЕ СТЫДИСЬ ЭЛЕГАНТНОСТИ.
БУДЬ КРАТКИМ!
НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙ ПРИСУТСТВИЯ ДУХА!..»

...Грифиусу оставаться в Силезии было далее невозможно. 26 июля 1638 года он был зачислен студентом Лейденского университета.

Оставим его на время в Голландии. Он вырвался на свободу, вдохнул ее воздух. Набрался сил. Ему предстоит общаться с великими людьми: с Гуго Гроцием, с самим Декартом. Он узнает Рембрандта, который как раз в это время переживает счастливейшие дни с Саскией. В Лейдене он будет изучать философию, право, медицину. На него обратят внимание. Он выступит с блестящими лекциями по геометрии, логике, физиогномике, поэтике, археологии. Он займется астрономией и практической анатомией.

Мы же перейдем от высоких предметов к вставному лирическому, можно сказать, даже почти эстрадному эпизоду.

Варшава, декабрь 1973 года.

А р т и с т.

3

Сильвия приехала за нами в гостиницу с небольшим опозданием. Влетела в вестибюль — в серой дубленке, яркая блондинка, молодая женщина — и буквально втолкнула нас в такси. Ехать до госпиталя было недалеко, минут восемь, но за этот небольшой срок мы от нее, а главным образом от шофера, который говорил по-русски, услышали, что «Петербургского знает весь мир», что он написал «Танго Милонга» и «Последнее воскресенье» — танго, под которое в 30-е годы стрелялись безнадежно влюбленные. Узнали мы и о том, что сама она певица и что сейчас у них растет пятилетний мальчик, которому завтра отец должен вручить рождественский подарок, и этот подарок — мотоциклист на мотоцикле — она везет в коробке, и что Петербургский не может есть больничную ужасную пищу, он любит поесть мало, но вкусно, и она везет ему обед, и что они познакомились в Аргентине, после того как у Петербургского умерла первая жена, и что вот уже шесть лет они снова живут в Польше... Все это было сообщено как необходимая, пусть и лаконичная, информация.

Будучи женой знаменитости, которую «знает весь мир», автора «Танго Милонга» (оно же «Донна Клара»), она не проявляла никакого зазнайства и, не совсем понимая, кто я такой — журналист, писатель, композитор или сотрудник управления по охране авторских прав,— говорила со мной очень уважительно, как с московским гостем...

Больница воеводская (по-нашему областная), в которой лежал Петербургский, была обычной больницей, чистой, но казенной. В коридоре под стеклом был укреплен стенд со всевозможными видами почечных камней — коллекция странных минералов.

Петербургский встретил нас на пороге своей отдельной, предоставленной ему из уважения главным врачом крохотной комнаты, отдельной палаты в этой общей больнице, среди мрачных людей — мужчин и женщин в скучных халатах. Среди больных были и дети, и все сейчас собирались в холле, чтобы посмотреть телевизор.

Петербургский был в красного цвета теплом мягком халате, из-под которого виднелась розовая ночная пижама, в мягких кожаных туфлях. Он был очень невысокого роста, почти лысый, с чисто выбритым, даже холеным лицом. Под мышкой он держал градусник. Петербургский крайне обрадовался приходу жены, весело расцеловал ее, чуть ли не подпрыгивая, а когда она объяснила ему, что привезла с собой гостей из Москвы, так же весело предложил нам располагаться в его комнатенке. Я начал объяснять, что давно хотел познакомиться с п а н о м Петербургским, что давно, еще мальчиком, слышал его музыку, но он прервал меня и, как бы притворившись рассерженным, сказал:

— Эй! Оставь! Какой там «пан», «господин»?! Я тебя на «ты», ты меня на «ты». Чего там...

И он пояснил, что сразу узнал в нас «родных людей, артистов», а л ю д и д у х а во всем мире сразу узнают друг друга, и поэтому никаких «вы» быть не может — только «ты»...

Между тем Сильвия быстро развернула привезенные с собой свертки: подарок, который завтра надлежало вручить сыну, термос с супом, термос со вторым, мясным блюдом, большую желтую стеклянную банку с консервированным компотом и бутылку сока. Все она делала чрезвычайно проворно и ловко, и когда Петербургский начал наконец с аппетитом есть, счастью его, казалось, не было предела.

— Ах,— говорил он,— если существуют на свете такие жены, значит, есть в небе бог! Это чудо, это настоящее чудо! Это не мамочка, а золото!

На столике у него стоял складень с фотографиями красавца ребенка...

Он окончил гимназию в Варшаве еще до первой мировой войны и по-русски говорил совершенно свободно, с легким польским акцентом. Тогда же, до первой мировой войны или до революции, он аккомпанировал выступавшему в Варшаве В е р т и н ь с к о м у, а в зале сидела настоящая «пани Ирэна», действительно похожая на королеву, и, протягивая руки, В е р т и н ь с к и обращался с эстрады именно к ней.

В 1926 году была написана знаменитая «Донна Клара», или «Танго Мйлонга», которую Эл Джонсон пел на Бродвее и которая и сейчас входит в золотой фонд эстрадной музыки.

Все это он мне рассказывал, быстро поглощая обед, и вдруг, посмотрев на меня, спросил:

— Так ты кто — писатель?.. Что же ты пишешь? Романы? Стихи? Заработок имеешь?.. Ну слава богу!

Видимо, вопрос о заработке был для него немаловажным, и «Донна Клара» не оплаченная потеряла бы для него свою ценность: чувство мастера, знающего цену своему труду.

Слова «Донны Клары» в 1926 году написал в Вене Фриц Ленер-Бе́да, поэт, о котором я впервые услышал в Берлине от писателя Бруно Апица.

Ленер-Беда, говорил Апиц, в конце концов останется в истории не как автор шлягеров и либретто оперетт, хотя именно он написал либретто «Веселой вдовы» Легара, а как автор песни бухенвальдских узников. Апиц рассказывал мне о нем с большой нежностью и тепло-

той, как о человеке замечательного мужества, душевной красоты при всей кажущейся внешней незащищенности.

Когда в Австрию вошли немцы, Ленер-Беда был арестован и направлен в Бухенвальд, где все немецкие узники знали его как лагерного поэта: он писал тексты лагерных песен, он сочинял издевательские эпиграммы на лагерное начальство, он писал лирические стихи о любви, разлуке, надежде на возвращение домой и о том, как прекрасна свобода. А потом его отправили в Освенцим, и там он закончил свою жизнь в газовых печах Биркенау-Бжезинки...

— Это был,— рассказывал о Ленер-Беде Петербургский,— такой невысокий, подвижный и очень предприимчивый человек, который работал день и ночь: писал тексты песен, либретто — чего только он не писал!

Когда Петербургский, бывало, приезжал в Вену, они сидели вдвоем, работали и «выдавали» сводившие с ума весь мир текст и музыку: два профессионала, короли шлягеров. И даже Легар не мог им помешать, и Ленер-Беда говорил Легару, что сейчас у него «этот маленький Петербургский из Варшавы», а значит, он занят для всех и пусть Легар позвонит позже...

И Петербургский все это рассказывал, вспоминал молодые годы, а позади было столько испытаний, что человек, кажется, не может с ними справиться, выдержать их, но выдерживает и все же справляется. И Петербургский смеялся, шутил с женой, острил, вспоминал друзей, хотя через пять дней ему предстояла серьезная, может быть даже смертельная, операция. И только один раз он нахмурился, когда вспомнил, что в одном нашем фильме играет патефон у нацистов в гестапо и под музыку его «Донны Клары» расстреливают и пытают людей. Когда он увидел этот фильм по телевизору, ему стало нехорошо, с ним случился сердечный приступ... Как же так? И что бы на это сказал Ленер-Беда?.. Конечно, прошло время, ничего не поделаешь, но все-таки действительно некрасиво получилось, несерьезно... И Сильвия сказала:

— Как же так, взять, использовать музыку живого еще композитора в таком ужасном контексте?

Но Петербургский уже отталкивал от себя этот неприятный эпизод, этот невольный инцидент и рассказывал, что недавно получил письмо от Лени Утесова, который поздравил его с днем рождения сына и написал: «Чтобы твой сын был таким же талантливым, как ты».

И тут я узнал, что в 1939 году, когда началась вторая мировая война, Петербургский попал в Москву и в Советском Союзе в 1940 году из-под его пера выпорхнула мелодия, песенка, которую потом подхватили фронты и глубокий тыл, весь народ: «Синенький скромный платочек...»

И Петербургский стал вспоминать Советский Союз, Москву, Дунаевского, Лебедева-Кумача...

В ходе нашего разговора он изображал то цыгана, играющего на скрипке, то русского певца-эмигранта, то официанта из ресторана в Буэнос-Айресе, то еврея-флейтиста. Он сказал, что умеет играть на всех инструментах, что знает всю музыкальную классику, мог бы дирижировать симфоническим оркестром и писать серьезную музыку, но избрал танго, избрал песни, легкую музыку, которая пригодилась людям в самых тяжелых испытаниях.

4

В Польшу я тогда приехал, чтобы посетить Освенцим.

Уже были написаны мои книги о зверствах нацистов — «Цена пепла», «Бездна», «Потусторонние встречи»,— много раз бывал я в Бухенвальде, бывал в Заксенхаузене, Равенсбрюке, Дахау, видел бал-

ки смерти, рвы смерти, ямы смерти, мемориалы на месте казненных деревень, перевел пьесу Петера Вайса о процессе над палачами Освенцима «Судебное разбирательство» («Дознание»), а в самом Освенциме почему-то так и не был, хотя Освенцим и есть наивысший символ страданий, конечная станция, на которую привезли человечество.

Что такое Освенцим?

Прежде всего именно станция. На белой жестяной вывеске на сером здании городского вокзала написано просто: О с в е н ц и м.

Дальше автобусом или на такси. Можно пешком. Потом...

В то утро метался дикий, холодный, резкий ветер, почти вьюга. Совершенно пусто. Пустынно.

Кажется — не помню точно,— то ли был понедельник (Освенцим закрыт?), то ли санитарный день, то ли ремонт. Может быть, из-за того, что был канун рождества.

Одни мы были.

В новопостроенном помещении — почта, буфет, где резко пахло куриным супом и кислой капустой.

И вот — территория, которую столько раз видел в кино, на снимках, в воображении. Жалкие черные буквы тупого немецкого изречения: «Arbeit macht frei»; шест-шлагбаум, за ним городок военного, гарнизонного типа, состоящий из одинаковых двухэтажных красных кирпичных домиков, несколько улиц. Это и есть Освенцим.

Описывать экспонаты Освенцима невозможно. Над ними произнесены миллионы слов: речей, клятв, присяг, стихов, прозвучали миллионы хоралов, псалмов, молитв, набатов. Над ставшими историческими экспонатами, застывшими за стеклом гигантских витрин:

войлоком слежавшимися, уже утратившими свой первоначальный цвет женскими волосами,

над миллионами пар стоптанной обуви,

над миллионами кисточек для бритья,

над миллионами оправ для очков,—

над всем, что остается от человечества, после того как его уничтожают...

Смотри. Смотри. Но загляни сначала в себя. И шепотом, так, чтоб никто не слышал, спроси: «Ну а ты бы мог?..»

Нет, нет, не палачом, конечно, не комендантом, не офицером охраны, не капо, не... не...

А если бы заставили? А если бы т а к с л о ж и л о с ь? А если бы вдруг по недомыслию, по неведению...

А если бы — с у д ь б а?..

Приходится возвращаться к старой, казалось бы, давно отработанной теме: в ч е м о н и в и н о в а т ы?

Человек-эсэсовец кажется со стороны просто убийцей.

Отговорка, что он всего лишь исполнитель приказов, давно уже признана юридически несостоятельной. Помимо приказов, помимо службы, есть еще и другое: с р е д а, понятие чести (эсэсовско-нацистский девиз: «Моя честь — моя верность!»), система взаимоотношений — б ы т и е, которое определяет сознание.

Среда, в которой живет убийца, вовсе не считает себя шайкой бандитов. Напротив, они спаяны как бы военным, чуть ли не фронтовым товариществом, они вместе, чувствуя локоть друг друга, идут на боевые операции, например на прочесывание партизанских районов, связанное с риском для жизни, на ловлю подпольщиков. Они оперативные работники, они на о с о б о й службе. Лагерь, Освенцим,— страшное место. Здесь страшное, т а й н о е делается дело. Если тебе т а к о е дело доверили, то ты, значит, чего-то стоишь...

Так появляется извращенное понятие профессиональной этики, когда нельзя расслабляться, подводить друзей, начальство, дело.

Важен лозунг, важна высокая цель. На лезвиях ножей штурмовиков было выгравировано: «Все для Германии».

Но с человека, оказывается, строго спрашивают. От него требуется умение критически мыслить, критически оценивать среду, приказы, доктрины.

Есть выражение до костра. То есть я готов сопротивляться злу, но до костра. Если будут угрожать костром, я пасую. Но поставим вопрос иначе: пасуй, но до костра. То есть если тебя заставят вести на костер человека, ты этого сделать не сможешь...

От этой темы мне трудно уйти.

Выход моего первого сборника поэтов Тридцатилетней войны — «Слово скорби и утешения» (1963) — по времени совпал с работой над документальной книгой «Бездна», о процессе над девятью эсэсовскими карателями в Краснодаре. Этих в бездну затащили корысть и эгоизм, рожденный «витальным страхом».

Людям трудно вообразить мир без себя. «Да здравствует мир без меня!» — это хорошо, великодушно сказано, однако предпочтительней мир со мной, в крайнем случае я — без мира. Согласиться с тем, что мир будет существовать без тебя, крайне трудно, сознание этому противится. И тогда — у скольких! — звериная, кошачья хватка: пусть все что угодно, только бы я! Пусть весь мир перестанет существовать, но лишь бы — я, я, я вот сейчас, вот в эту минуту! Лишь бы я существовал!..

Чуть отдышавшись, они добавляют: «...и при этом неплохо чтоб существовал! Любой ценой!»

И тогда им назначают цену...

Что же все-таки есть человек?

В годы Тридцатилетней войны по улицам Бреславля с крестом, в терновом венце ходил врач Иоганн Шефлер, который именовал себя Ангелус Силезиус (Вестник из Силезии). Прохожие кидали в него камни, со лба его текла кровь.

Ангелус Силезиус размышлял о том, что есть человек; он не мог скрыть своего изумления.

Сколь дивен человек! Но кем его назвать?
Он может богом быть и чертом может стать.

Что же в таком случае есть бог?

Бог жив, пока я жив, в себе его храня.
Я без него ничто, но что он без меня?

Об этих афоризмах тогдашние недоброжелатели отзывались так: «Он пишет для польских девок вороньим пером, обмакнутым в мочу»...

В 1905 году в Ясную Поляну к Толстому приехал японский поэт Токутоми Рока. Во время беседы Толстой принес из своей библиотеки старинную немецкую книжку «Херувимский странник». Прочел вслух несколько стихотворных изречений. Сперва по-немецки. Затем в подстрочном переводе по-английски. Токутоми Рока записывал за Толстым японскими иероглифами изречения Ангелуса Силезиуса на своем веере.

Что есть человек?

В Голландии Грифиуса остро интересовала анатомия. Он писал: «И кто бы не порадовался, увидев в человеческом теле частицу и модель большого мира?» В человеке он видел чудо природы, сверхмудрое существо.

Почему человек — венец творения? Почему «дивен человек»?

Нет ничего сложнее, загадочнее, совершеннее человеческой личности, человеческой жизни, даже самой неудавшейся.

Неудавшаяся жизнь — тоже чудо.

В Лейденский университет после путешествия в Россию и Персию в составе шлезвиг-гольштейнского посольства приехал Пауль Флеминг. Он увидел ширь: жил в Ревеле, Новгороде, Москве, Ниж-

нем, Астрахани, узнал русский быт; проникся приязнью к русским, эстонцам, мордвинам, татарам, ногайцам, черкесам, лезгинам. Он написал несколько сонетов, посвященных Москве, желал ей не тронутого войной голубого неба, тишины. Вместе с ученым и путешественником Адамом Олеарием он плыл на корабле «Фридрих» вниз по Волге, к Каспию, писал, что своим стихом когда-нибудь еще заставит Рейн услышать мелодию волн Волги... В странствиях он увидел г л у б ь, всмотрелся в себя:

И счастье, и несчастье лежат в тебе самом!..

В Москве он набросал строки:

Будь тверд без черствости, приветлив без жеманства,
Встань выше зависти...

Он ощущал человека во времени.

Подобно тому как смертный человек воспроизводит людей, «изжив себя вконец, рождает время — В р е м я». Грядущее зависит от сущего.

Человек во власти времени, но он же определяет лик времени.

Ведь время — это мы. Никто иной. Мы сами!

Он ощущал человека в пространстве, человеческое «я» — в соприкосновении со множеством других. Стихи перенасыщены местоимениями:

...*Я* потерял *себя*. *Меня* объял испуг.
Но вот *себя* в *тебе я* обнаружил вдруг...
Сколь омрачен *мой* дух, вселившийся в *тебя*!..
...Но от *себя меня* не отдавай *мне* боле...
И нет *меня* во *мне*, когда *я* не с *тобой*.

Флеминг умер в Гамбурге на тридцать втором году жизни.

В Голландии ему было тридцать. Грифиус был на семь лет моложе.

В Голландии они встретились.

Голландия — пестрая, вольная страна. После силезских пепелищ — монументальные ратуши, торговые ряды, рынки, биржи, гильдийские дома, верфи, каналы, мастерские. На улицах толпы цветных, запахи азиатских пряностей. В моду входят чай, кофе. Продают драгоценные ткани, ковры. Собирают керамику. Покупают картины.

Грифиус жил среди этой пестроты, неся в себе свой страх, свою скорбь. Э т о никуда не уходило. Отечество плакало в нем. Болело в нем. Он нес свой крест: свою родину, свой жребий.

Смерть продолжала свирепствовать, не щадя никого. Умер любимый брат Грифиуса Пауль, которому он посвятил вышедшие в Лейдене «Воскресные и праздничные сонеты». Немного позднее умерла Анна-Мария, сестра.

Если окинуть взглядом жизнь Грифиуса, можно бы сказать, что скорбь питает поэта. Смерти, болезни, война, скитания, все, что другого бы опустошило, послужило для Грифиуса как бы стимулом к творчеству. Страшные потери, страшные утраты, горе молотит, молотом обрушиваются удары судьбы один за другим, но дух не гнется, дух устоял. В чем причина этой духовной, душевной крепости? Почему не сошел с ума, не умер тут же? От инстинктивной ли жажды жизни, от врожденного ли жизнелюбия, от стоицизма, от мудрости, от смирения перед всемогущей судьбой? Не для того ли без конца разрабатывал вариации на тему бренности, чтобы успокоить себя, других, теряющих самых близких, самое близкое, всё, словами о всеобщей бренности?

Мы говорим: поэт-пророк, поэт-трибун, поэт-воин, поэт-богоборец, поэт-проповедник. Вспомним Грифиуса, Опица, Флеминга и на-

зовем еще одну функцию: поэт-утешитель. Воинствующий утешитель в минуту самой лютой, острой душевной боли, в минуту потери надежды... Если в такую минуту человека хоть немного может утешить слово поэта, то существование поэта уже оправдано. А тут в утешительном слове нуждались миллионы...

Наконец смерть вплотную приблизилась к нему самому. Может быть, он писал о ней слишком часто. Ему было двадцать четыре года. Он тяжело заболел. Никто не верил, что ему удастся спастись. Он выжил. Обратился с благодарственными стихами к господу богу. И тогда же, в Голландии, написал исполненные признательности строки, посвященные своей больничной сиделке.

В Голландии он переводил Данте, овладел одиннадцатью языками...

Но вернусь к своей старой т е м е.

Прокурор Ф а с с у н г е.

5

В Берлине генеральная прокуратура ГДР помещается на Герман-Матерн-штрассе, в черном, закопченном здании с кариатидами. Снарядом выгрызло кусок колонны, повреждена одна из скульптурных групп: старец и мальчик. У обоих снарядом оторвало головы: безголовый старик, положивший руку на плечо обезглавленного войной отрока.

Впервые в прокуратуру ГДР я приехал несколько лет назад в связи с сенсационным делом Блеше.

Тогда в связи с этим делом выплыло вновь известное всему миру изображение: мальчик в кепке с переломленным козырьком, с поднятыми вверх руками, с недоумевающей улыбкой. За его спиной смутно маячит фигура эсэсовца с автоматом...

Самые пронзительные страницы мировой литературы — жалость к детям. К Дэвидам Копперфилдам, Оливерам Твистам, Козеттам, Илюшечкам, к маленьким оборвышам.

Диккенс, Гюго, Достоевский.

Мальчик у Христа на елке...

И вот машина Endlösung — к о н е ч н о г о у н и ч т о ж е н и я — придвинулась вплотную к беззащитному лицу ребенка.

М а ш и н а валила пограничные столбы, сокрушала государства, армии, людей, военную технику, уничтожала все. Теперь осталось вот это: мальчик...

Зачем был сделан этот снимок? Чтобы показать полное, тотальное могущество национал-социализма? Вот: все растоптано, все сожрали, теперь и это сожрем?.. А может быть, просто дурачились, щелкали, хорошая, эффектная композиция? Снимок действительно очень выразительный... А может быть, упрятанная под хохот, под хриплый собачий лай совесть, желание запечатлеть злодейство?..

Снимок стал символом. Говорили: мальчик в кепке, с поднятыми вверх руками навсегда останется перед глазами человечества.

Но в прокуратуре думали не столько о символах и уж не столько именно об этом мальчике, сколько об эсэсовце с автоматом, который маячил за его спиной. Потому что в глухом городишке в Тюрингии жил тихий семейный человек — Блеше. Вскоре после войны в шахте, где он тогда работал, произошел обвал, и ему была сделана пластическая операция, полностью изменившая его внешность. Он жил, становился стариком.

Они все состарились: биологические законы распространяются на всех.

Можно ли, нужно ли, гуманно ли это, чтобы старика Блеше — ?..

Но Блеше стал стариком, а мальчик не успел стать даже юношей. И прокурор Фассунге не хотел, чтобы старики, которые когда-

то были сильными, здоровыми, молодыми мужчинами, убивавшими детей,— чтобы эти старики улизнули из жизни не расплатившись.

Прокурор Фассунге погружается в дела, в криминалистику, выезжает на место и занимается множеством специальных вопросов.

Мы познакомились в 1972 году. Помню, он вошел, чуть ли не вбежал в кабинет — румяный, веселый. «Бодрячок какой-то»,— подумал я. Посмотрел на его руки: обветренные, красные, с крепкими пальцами. Поди из таких вырвись!

В тот раз я совершал мрачное путешествие по следам военных преступлений: в горы Гарца, в Хальберштадт, в Гарделеген. Еще сохранились полусгнившие лагерные вышки, клочья одежды узников, куски ржавой проволоки.

В Берлине мы присутствовали на судебном процессе: судили старика, бывшего начальника гестапо, садиста, во власть которого был отдан средней величины город в оккупированной немцами Чехословакии... Старик едва говорил, отвечал на вопросы односложно, однообразно: «Так точно», «Не могу вспомнить». Он был в костюме, галстуке, но в теплых домашних туфлях. Во время перерыва конвоиры выводили его из зала под руки, он едва волочил ноги.

Что мог значить для этого человека приговор? Все в нем давно уже выстыло, даже страх смерти... Зачем нужен был суд? Чтобы пробудить совесть в бывшем палаче? Нет, речь шла не о том, лишенные совести никаких угрызений совести, конечно, не испытывают,— речь шла о справедливости. О том, чтобы предсмертные крики жертв: «Придет и ваш час, палачи!» — не остались пустыми угрозами. О том, чтобы люди помнили: всемогущество зла зыбко.

Мы говорим: век живи — век учись.

Кажется, историю нельзя повернуть вспять, но иногда, похоже, она останавливается, пятится назад, поворачивает обратно, к самым худшим временам, словно не из чего ей делать выводы. Это именуется одним словом: р е а к ц и я. Но это же бывает и в частной жизни: не делают выводов из собственного горького опыта, не извлекают уроков. Во всех случаях это гибельно...

Взгляни на себя, на мир новыми, прозревшими глазами!..

Прокурор Фассунге рассказывал мне историю своей жизни. Он родился в Силезии, примерно в тех же местах, где жил м о й Грифиус. Отец Пауля Фассунге был каменщиком, мать работала на табачной фабрике. В девятнадцать лет, в 1941 году, его призвали, отправили солдатом-радистом на Восточный фронт, в двадцать один год он попал в плен к партизанам, остался в отряде, затем, был направлен в Горький в лагерь военнопленных.

В начале 1945 года с двумя товарищами его перебросили через линию фронта. В солдатском ранце у него лежала рация. Он носил то же имя, что и прежде, был в той же, что и прежде, военной форме, находился на родине, среди своих, только смотрел на все иными глазами... Чьими? Созданного в Советском Союзе Национального комитета «Свободная Германия»?

Глазами человеческой совести.

Пробудившись, она способна творить чудеса, способна заставить человека пересмотреть всю свою жизнь, порвать все прежние связи, повести на смертельный риск, одушевить безумной отвагой.

Что есть человек?..

Фассунге рассказывал:

— В Горьком, в лагере нашим учителем был один советский майор. Это был — человек! Высокий, с черными жгучими глазами, он, казалось, мог завораживать! По-немецки он говорил лучше многих из нас, поправлял, если мы делали грамматические ошибки. Он весь пылал желанием переубедить нас, научить чему-то хорошему. Он верил в нас и смотрел на нас как на товарищей. Умел убеждать, подчинять своей воле, в о л е с о в е с т и. И не наказания

мы боялись, а недоверия с его стороны, его презрения... Так я стал немецким солдатом, но совсем иного толка, чем прежде. И я говорил себе: если тебя т е п е р ь убьют, то ты хоть погибнешь не зря.

Беседы с прокурором Фассунге мне дали многое. В то время я надеялся углубить мою книгу «Потусторонние встречи». Мне потребовались дополнительные материалы.

Вот, собственно, причина, по которой я обратился в прокуратуру ГДР и почему совершил еще одну поездку по местам мучений и зверств.

Но странное дело. Погружаясь в следственные и судебные материалы о преступлениях нацистов, я, к собственному удивлению, все больше думал о начатой однажды работе над переводами поэтов Тридцатилетней войны. Немецкий XVII век звал меня к себе своею болью, главной своею заботой: осознаем ли мы себя людьми, кто мы, по какому пути идем и что нас ждет, если мы не одумаемся?.. То, что я находил в папках, которые мне показывал Фассунге, толкало меня к Грифиусу, Опицу, Флемингу.

Я думал о тайне барокко. Почему поэзия Тридцатилетней войны ближе нам, чем многое другое, почему иные наиновейшие поэтические эксперименты кажутся обветшалыми, а XVII век поражает новизной поэтических достижений? Почему далекий Грифиус мне роднее рассудочных, анемичных поэтов наших дней?

Дело в ощущении края пропасти. Пушкин в «Пире во время чумы» понял, что бывают времена, состояния духа, когда слаще любви, слаще свободы «упоение в бою, и бездны мрачной на краю», вот это перехватывающее дыхание чувство, когда «все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог...» —

> И счастлив тот, кто средь волненья
> Их обретать и ведать мог.

Мы обретали, мы ведали.

Н а к р а ю возможно отчаяние, но не сплин, не хандра. Не унылое безверие, а горячая вера. Не вялый самоанализ, а в упор поставленный вопрос: быть нам или не быть, жить или не жить? Хохот над смертью, ужас перед жизнью, но только не кривая усмешечка, не скепсис, не дряблая ирония. Не безволие, а воля. Не пустая трата времени среди безвременья, а сопоставление времени с вечностью. «Навечно рай, навечно ад» — мельче категорий не признавали.

Последовавший за XVII просвещенный XVIII век поэтов Тридцатилетней войны почти не помнил, не знал, разве что мудрый Лессинг открыл политические эпиграммы Фридриха Логуа. Грифиуса, например, забыли на полтораста лет: впервые его имя вновь появилось лишь в 1806 году в учебной программе одной из гимназий города Глогау; спустя еще восемдесят лет вышел первый полный сборник его стихотворений.

XVII век более всего оказался близок веку XX. Грифиуса, Опица, Гофмансвальдау, Флеминга начали истово читать отравленные ипритом, те, кто вместо человеческого лица увидел вдруг маску противогаза и ужаснулся от мысли, что мир может погибнуть. Интерес к поэзии барокко стал возникать после первой мировой войны: тогда-то и начали распространять термин «барокко», заимствованный у архитектуры, на музыку, живопись, а затем и на поэзию. Португальское слово «барокко» (от «перола барока» — жемчужина неправильной формы) оказалось пригодным не только для зодчества: «неправильность», декоративность, избыточность.

По-настоящему, однако, время барочных поэтов пришло после 1945 года. Люди нашли в них как бы товарищей по несчастью, увидели в них союзников, стали вдумываться в их нравственные уроки,

в понимание ими человечности. Ведь что такое гуманизм как не обдуманная совокупность реальных мер, предотвращающих войну и убийства, как не попытка смягчить нравы, утишить боль, утешить?

Весь 1973 и 1974 годы, отложив в сторону публицистику, я работал над книгой «Немецкая поэзия XVII века», которая вышла в свет в 1976 году, в дополненном виде — в 1977-м.

«Слово скорби и утешения» — сборник 1963 года — строился в основном на антологии Бехера. Теперь в моем распоряжении были десятки книг, изданных в ГДР, ФРГ, Швейцарии, Чехословакии, Польше. Вновь я посетил Силезию. Все шире открывалась мне жизнь, которая стояла за строками стихов, горестные реалии.

Многие поэты Тридцатилетней войны оплакивали гибель, сожжение книг. Это было реальным несчастьем, бедствием для тысяч людей. Богатейшие библиотеки в Силезии были не только у поэтов, ученых, вельмож, но и у горожан, мещан. Были библиотеки при храмах — например, Марии-Магдалины, святого Христофора, святой Елизаветы в Бреславле. Гуманист Томас Редигер подарил городу огромную свою библиотеку. Сгорела и она.

Во Вроцлаве за железными дверьми книгохранилища я увидел то, что чудом удалось спасти от всех войн, в том числе и от второй мировой. «Гамлет» издания 1605 года, первое издание Коперника, первое издание Лютера — в серой коже, с металлическими застежками: «Ветхий завет на немецком. М. Лютер, Виттенберг». Книгу иллюстрировал Кранах... Стихи Кохановского. Первые издания Грифиуса. Изданная в 1581 году в Лионе книга доктора медицины и доктора философии Франциска Санчеса, преподнесенная им Джордано Бруно: на титульном листе — чрезвычайно витиеватая, пышная дарственная надпись. На том же титульном листе пометка самого Джордано Бруно наискось, как резолюция: «И этот осел еще смеет именовать себя доктором!»

Можно представить себе, что там за книги погибли.

В начале этой главы я рассказывал, как переводил сонет Христиана Гофмансвальдау «На крушение храма святой Елизаветы». Гофмансвальдау был бургомистром Бреславля, позволял себе публиковать только шуточные эпиграммы, однако тщательно готовил свои стихи для посмертного издания.

Храм святой Елизаветы во Вроцлаве я увидел в строительных лесах. Он был разрушен во время Тридцатилетней войны, восстановлен, снова разрушен в апреле 1945 года, отстроен вновь. Трижды его охватывали страшные пожары: в последний раз за несколько месяцев до моего приезда, в мае 1976 года.

И говорит господь: «Запомни, человек!
Ты бога осквернил и кары не избег.
О, если б знать ты мог, сколь злость твоя мерзка мне!
Терпенью моему ты сам кладешь предел:
Ты изменил добру, душой окаменел.
Так пусть тебя теперь немые учат камни!»

Я побывал в так называемых храмах мира. Вестфальский договор, установивший религиозный мир «на вечные времена», утвердил принцип «Cuius est regio, eius est religio dispositto» — религия, которую исповедует правитель, распространяется на его подданных. Силезия осталась провинцией католической Австрии. Протестантам запрещалось строить церкви с применением металла и камня: только без единого гвоздя, только на земляном фундаменте — «храмы мира». Таких храмов в Силезии три. По всем расчетам, они могли простоять не более десяти — пятнадцати лет. Они простояли триста.

Здесь все из дерева: массивные колонны, которые кажутся мраморными, пилястры, горельефы, которые невозможно отличить от золотых, пышные, имитирующие бронзу гигантские люстры.

Храм напоминает театр призраков: промерзшее, ледяное, совершенно пустое помещение, рассчитанное на 4500 человек. Кресла партера. Ложи. Ярусы, расписанные орнаментами, рисунками на библейские и евангельские сюжеты, украшенные гербами городов. Все повито паутиной, покрыто пылью, все во власти холода и запустения. На стене портрет Лютера.

«Твердыня наша — наш господь».

Я ехал в Легницу (Лигниц) по той же дороге, по которой уже путешествовал однажды в 1945 году. Мерещились в темноте фигуры; представил себе, как по этим холодным, унылым, длинным дорогам, меся грязь, шли люди... Какие? Кто? Я должен был ощутить их своими братьями из XVII века, иначе как бы я мог взяться за перо?

В Легнице я заглянул в городской архив. Принесли пыльные черные папки. Толстая бумага. Едва поддающиеся прочтению, с немыслимыми писарскими завитушками, каллиграфическим почерком написанные приговоры. Я с трудом разбирал: «Милостию божией, 18 февраля 1631 года...» Упавшие в архив человеческие трагедии.

В Стшегоме, в Яворе сохранились документы, свидетельствующие о всеобщем ожесточении, распаде нравов, о бродяжничестве, нищете. По улицам толпами бродили страшные женщины — проститутки Тридцатилетней войны.

До войны в Силезии существовала своеобразная демократия. Были выборы — в ратушу, в суд. Теперь «выбирали» единственного кандидата, назначенного австрийским военным губернатором. С этой процедурой покончили в XIX веке: прусское правительство присылало в Силезию на выборные должности своих чиновников...

Я добирался до фактов, до того, что мучило моих поэтов.

Из Италии и Франции через Страсбург Андреас Грифиус возвращался в силезский мрак. На Европу он смотрел угрюмыми глазами силезца. В Париже властвовал на сцене Корнель, но ни «Сид», ни «Родогуна» не произвели на Грифиуса большого впечатления, с раздражением он писал: «Ни одна трагедия не может обойтись без любви и сводничества...» Случайно он оказался свидетелем возвращения из Англии королевы Маргариты Генриетты, вдовы казненного Карла I. Грифиус был потрясен. Он думал о призрачности всевластия, изменчивости счастья. Именно тогда у него возник замысел трагедии «Карл Стюарт».

Он был убежден, что человек имеет право на счастье. Все, что отнимает у человека счастье, есть зло. Видимо, в этом смысл его громоздких, непригодных для постановки на сцене трагедий.

Угрюмая сила обвинителя уживалась в нем с блаженнейшим чувством, яростной потребностью кинуться на защиту обиженного, страждущего, пусть даже виновного, но в данную минуту страдающего, падшего.

По пути домой, в Глогау, он задержался на некоторое время на польской территории, во Фрауштадте у своего отчима: тот бедствовал, разбитый параличом, уже несколько лет был прикован к постели...

В Силезии война все еще продолжалась, хотя уже изъела, изгрызла себя. У Грифиуса ненасытным чудовищем был жирный от крови меч. У Фридриха Логау появился другой образ: ненасытный голод, который пожирает всех, в конце концов сожрет и войну.

Преступные полководцы продолжали гнать в бой ландскнехтов. Много написано об их жестокости, жадности. Известно, что армия Валленштейна жила исключительно военной добычей. Но прочтите песни ландскнехтов: ни бравады, ни воинственности, скорее горькие размышления о бесприютной солдатской доле, о том, как худо простому человеку на войне, в этом жестоком мире. Песни поражают своей человечностью, рассудительностью. Когда Шиллер писал «Лагерь Валленштейна», он как бы заново осмыслил солдатский фольк-

лор Тридцатилетней войны. В грубой массе солдат, в этих насильниках и охальниках, он разгадал гонимых нуждою людей, почувствовал их затаенное человеческое тепло, достоинство, отчаянную жажду воли.

Главное зло — забвение хоть на миг, что человек — мера всех ценностей, что высшую на земле ценность представляет собой человек, пусть самый завалящий, «последний человек», так скажем.

...Осенью 1978 года я вновь встретился в Берлине с прокурором Фассунге. Он знал о моей беде, говорил со мной сдержанно, грустно.

Что есть предел падения? Распад связей между людьми, то состояние, когда человек перестает видеть в других людях людей. Убийцы, эсэсовцы, подбрасывая кверху ребенка и расстреливая его на лету, видят в нем не человека — всего лишь мишень. Для палачей те, кого они прикладами подталкивают к краю могильного рва, а потом расстреливают, не люди. Им это внушено, иначе они не смогут нормально выполнять свою обязанность: убивать.

Между тем они сами перестают быть людьми. Когда жертвы кричат в лицо палачам: «Вы не люди!» — это, по существу, верно. Их расчеловечивает сложная система идеологической обработки. Для начала их отключают от знаний, от достижений цивилизации, до предела сужают круг сведений о мире, о жизни, в свободные от знаний мозги вводят яд. При этом лишают доступа к каким бы то ни было противоядиям. Только — «Шварцер кор», только — «Штюрмер», только — «Фелькишер беобахтер». Персонал концлагеря тоже находится в концлагере. Ежедневно. Постоянно. Только три-четыре недели в году — отпуск. Потом снова служба. Аппельплац. Перекличка. Рапорты. Офицерское казино...

Я спросил Фассунге, приходилось ли ему допрашивать «интеллигентных» преступников.

Приходилось. Врачей, например, которые до нацизма были обычными врачами, потом вступили в нацистскую партию, в СС, стали врачами-убийцами. Умерщвляли «неполноценных» узников, проводили опыты над живыми людьми. А после войны стали снова врачами и лечили людей. Хорошо умели лечить. Не хуже, чем умерщвлять. Бесчувственно убивали. Бесчувственно лечили. Чувства ни при чем. Это ужас бесчувственности.

Преступников можно выследить, выловить. Но попробуйте выловить саму причину, явление! Существует множество людских пороков и слабостей: стяжательство, неуживчивость, жестокость, сварливость, страсть к склокам, зависть, замкнутость,— и вдруг все эти неприятные качества, эти признаки несовершенства человеческой природы мобилизуются, ставятся на службу государственной военно-полицейской машине, утилизируются. Более того, кто не обладает такими пороками, должен ими постепенно обзавестись, иначе его сомнут!

Ужас фашизма состоит в том, что он убивает общепринятую мораль, извечные нравственные нормы, стирает заповеди. Что значит для лагерного врача клятва Гиппократа по сравнению с приказом, полученным от какого-нибудь штурмбанфюрера? Что значит «не убий!» по сравнению с зарегистрированной в журнале входящей документации телефонограммой об убийстве очередной партии больных, престарелых, недееспособных или признанных таковыми?..

...Пишу эти строки, снова охватывает меня мучительное состояние горя, страшной жалости к н е й, к ее глазам, рукам, жестам. Почти непереносимая мука.

Но ясно теперь одно: страшны жестокие сердца, преступно сердце, лишенное сострадания, жалости. Ради священного сострадания можно пойти на любое унижение, переступить через самолюбие. Святое чувство жалости усмиряет гнев, обиду.

Более всего в ней было развито это чувство...

После поездки в Силезию я переводил «Сонет надежды» Грифиуса, «Строки отчаяния» Гофмансвальдау, не предполагая, что предсказываю своими переводами собственную судьбу, то, что произойдет вскоре. Что, вчитываясь в «Песню утешения» Гергардта, буду искать сокровенный смысл в его строках, приспосабливать эти строки к себе:

...С больной души он снимает гнет.
Возьмет, что дал, что взял — вернет.
Дарует утешенье!..

Пора наконец описать внешность Грифиуса.

На единственной известной мне литографии он похож на Петра Первого. Одутловатое лицо, угрюмый, пучеглазый, кошачьи усы торчком в стороны, длинные темные волосы ниспадают на белый, с кружевами отложной воротник.

Он уже возвратился в свой Глогау, отклонив предложения стать профессором математики, которые поступали к нему от университетов Франкфурта, Гейдельберга, Упсалы.

Он занимает пост синдика, ему надлежит ведать делами земских сословий, осуществлять надзор за соблюдением финансового законодательства. Хлопотливая, трудная должность, которая требует усердия, времени, умения быть дипломатом. Он видит в этом веление судьбы, перст божий, убежден, что вернулся в Силезию не зря, не случайно.

Господь, отчизну мне ты дал в начале жизни,
Дабы я знал, что жизнь есть только — жизнь в отчизне...

Он составляет свод законов города Глогау — попытка противостоять католическому абсолютизму австрийцев. Опасаясь местной цензуры, он печатает свод в Польше. Вопросы права в мире бесправия занимают его и как драматурга. Он пишет пьесу «Папиниан»: юрист Папиниан не соглашается юридически обосновать убийство, совершенное тираном. Вместе со своим малолетним сыном он принимает мучительную смерть — во имя права: из груди у него вырывают сердце.

В присутствии выдающихся ученых Грифиус производит в Бреславле вскрытие двух египетских мумий. Разрешение на вскрытие выхлопотал ему Гофмансвальдау. Это было необычайно сложно, мумии принадлежали аптекам, из них изготовляли дорогие лекарства. Результаты вскрытия Грифиус описал в латинском трактате...

Он женится на дочери богатого купца Розине Дейчлендер.

Он маститый сановник, отец семейства. У него семеро детей.

Четверо один за другим уйдут в вечность, как в чащу леса, еще в младенчестве.

Анна Розина, любимица родителей, в пять лет внезапно лишится рассудка, дара речи, не сможет двинуть ни рукой, ни ногой. В таком состоянии она проживет всю оставшуюся жизнь, пока не угаснет в возрасте тридцати восьми лет в одном из госпиталей Бреславля.

Сын Пауль умрет в двадцать четыре года.

И только сын Христиан переживет отца, станет ученым, поэтом и в конце XVII века издаст собрание сочинений отца.

Несчастья будут преследовать Грифиуса до последнего часа, словно испытывая прочность его духа. Но и в поздних его стихах мы не найдем стенаний. Разве что в сонете «На завершение года 1648» ощутим томившую его потребность в передышке, в отдыхе.

Уйди, злосчастный год — исчадье худших лет!
Страдания мои возьми с собой в дорогу!
Возьми болезнь мою, сверхлютую тревогу.

Сгинь наконец! Уйди за мертвыми вослед!
Как быстро тают дни... Ужель спасенья нет?
К неумолимому приблизившись итогу,
В зените дней моих, я обращаюсь к богу:
Повремени гасить моей лампады свет!
О, сколь тяжек был избыток
Мук, смертей, терзаний, пыток!
Дай, всевышний, хоть ненадолго дух перевести,
Чтоб в оставшиеся годы
Не пытали нас невзгоды.
Хоть немного радости дай сердцу обрести!

Это было в год подписания Вестфальского мира...

В Мюнстер, где был подписан Вестфальский мирный договор, я впервые попал в конце лета 1978 года.

Да, был конец августа, и листву, которая начала зеленеть еще при ней, уже запылило, уже сжигало, сжирало лето, уходящее в первую без нее осень.

Но ведь всего два с половиной месяца назад все было не только не безнадежно, напротив, ярко вдруг блеснула надежда. Я стоял под окнами послеоперационного корпуса, размахивая книжкой журнала «Иностранная литература», и тогда на третьем этаже в одном из окон над чем-то белым медленно поднялась и плавно опустилась рука.

Почему смерть бьет в самое неподходящее время, когда только бы, кажется, жить, когда возникают достойные замыслы и когда наступает пора пожинать плоды долгой, трудной и, в общем-то, достойной жизни?..

10 июня 1978 года утром меня вызвали в послеоперационную палату. Буба лежала неподвижно среди голубого кафеля, с отрешенным взглядом, тяжелым, уже величественным лицом, с трудом открыла глаза и говорила с трудом. Постепенно я ее «разговорил», лицо снова стало м о и м, то есть родным, милым мне е е лицом. Она поправила на мне накинутый небрежно халат, как раньше поправляла пиджак или воротник пальто. Улыбнулась...

Свидание длилось несколько минут.

Потом, вечером, я сидел в той палате, в которой она находилась до операции и куда ее должны были через несколько дней возвратить. Вошла профессор М., сказала, что только что была у нее т а м и считает, что надежда есть, безусловно есть. У меня была с собой книжка — «Немецкая поэзия XVII века». От полноты чувств я успел сделать дарственную надпись, хотел прочитать вслух «Сонет надежды» Грифиуса.

Внезапно М. вызвали. Пришла сестра, что-то шепнула ей на ухо. М. сказала:

— Я сейчас вернусь. Подождите.

Я ждал около часа. Никто не появлялся.

Проводя целые дни в больнице, я перечитывал литературу о Грифиусе. Одна из монографий лежала в палате на тумбочке. Я стал машинально листать книгу, взгляд остановился на странице, где говорится о пожаре во Фрейштадте.

В палату вошел молодой врач. Он мялся, не знал, что сказать, улыбался вяло. Потом вдруг сказал:

— Вообще дела не очень-то хорошие...

Это была первая остановка ее сердца, первая клиническая смерть. В течение дальнейших дней таких остановок было семь.

19 июня 1978 года в 13 часов 50 минут Буба умерла.

Когда сообщили, что Буба умерла, я понял, что умерла, но что-то еще трепыхалось во мне: «Да, она умерла, но...» Было какое-то нелепое, успокаивающее подсознательное «но». Она умерла, но... идет дождь... Но... я давно это предвидел... но... я сильный человек, я выдержу...

Но я умер вместе с ней.

Нет ничего страшнее, чем это: «...вечно в наших сердцах». Вот когда только в сердцах, только в памяти...

Вдруг вспомнил, как в январе 1978 года мы ехали с ней из Кельна. Поезд в Кельне стоит всего три минуты, вещи с трудом забросили в московский вагон, сами едва успели вскочить в соседний — в немецкую «сидячку»: темно-синее грязное мягкое купе... Зайцем ехал какой-то мальчик лет двенадцати, аккуратный немецкий школьник: бежал из дома. Проводник высадил его на ближайшей станции, в Дюссельдорфе, сдал в дорожную полицию. В коридоре качались странные типы: один с маленькой синей дамской сережкой в ухе... Сидели в полутьме, в полудреме всю ночь, к утру на несколько минут задремали. Очнулись, направились в свой московский вагон, выбежали в тамбур — вагон, в котором мы ехали, оказался последним, тот, шедший сзади советский вагон со всеми нашими вещами, где-то отцепили. За нами зияла пустота, бежали, то переплетаясь, то расходясь, рельсы...

В декабре 1977 года мы поехали в Ленинград, город, который я всегда особенно любил, а она меньше, считала музейным, предпочитала Москву. Но теперь ее пронзил Ленинград, все она видела будто впервые, от всего ее бросало в дрожь: от последней квартиры Пушкина на Мойке, где она, конечно, и прежде бывала, но никогда раньше ни она, ни я так остро, так мучительно не переживали того страшного несчастья, которое случилось с нами со всеми здесь 29 января (старый стиль) 1837 года, когда Жуковский писал свои бюллетени....

Мы пришли на последнюю квартиру Достоевского (с ним, что ли, прощаться?) и, стоя в прихожей этой квартиры большой семьи, слушали рассказ экскурсовода, молодой женщины со страдальческим лицом, о последнем дне Достоевского, об этом в наугад раскрытом Евангелии найденном: «Не удерживай...»

Прощались мы навсегда.

Дул в эти дни в Ленинграде, свистел пронзительный, острый, ледяной ветер, гнал снег. Я подумал о великой пушкинской догадке, о его великой метафоре. Пушкина преследовал образ бурана, метели, снежного вихря. У него — «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя», у него — «Бесы», где «вьюга... слипает очи», у него — «вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась», у него — «как путник запоздалый», стучится буря в окно, у него — «Метель» в «Повестях Белкина», у него — «Ветер завыл; сделалась метель» в «Капитанской дочке»... Видим Пушкина распростертым на снегу у Черной речки и видим: розвальни мчат тело Пушкина по снежной дороге в Святые Горы. Памятник Пушкину в Москве представляется воображению чаще всего в зимний день, облепленный снегом... Случайность ли это или томительно-сладостное предощущение того неотвратимого, о чем догадался он в «Пире во время чумы», где зима рифмуется с чумой:

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,—

где зима — и рождественский, радостный, чуть ли не детский праздник, и...

Пушкинская метель воет в «Шинели» Гоголя, гуляет по Невскому проспекту; Достоевский поставил эпиграфом к «Бесам» пушкинские строки; «Ветер, ветер — на всем божьем свете!» — в «Двенадцати» Блока. Булгаков услышал завывание пушкинской вьюги в «Белой гвардии», в повестях... Метель метет по страницам русской литературы...

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы, что делать нам?..

Важно, мягко тронулся поезд. Мы отъезжали, смотрели в окно. Так было похоже на Петербург, на «Анну Каренину»: шли по перрону генералы, священник. Шел писатель Распутин...

Когда ей было двенадцать лет, она вдруг лишилась родителей, семьи. Через Даниловский приемник ее вместе с братом вывезли в ледяной, зимний Рыбинск в детдом, где спали на соломенных тюфяках под байковыми приютскими одеялами. Всех знобило, все мерзли... Директор Жуков отнесся к ним со вниманием, жалостью, помогал расти.

Выросли. Вышли в люди, стали инженерами, изыскателями, научными работниками. Они не прерывали дружбы и относились друг к другу с братской, родственной нежностью.

У их отцов были легендарные имена, биографии: они делали историю и сгорели в ее огне...

Дети встретились 22 февраля 1978 года в Москве — отмечали сорокалетие со дня прибытия в Рыбинск. Выпустили стенгазету со старыми, детдомовскими фотографиями: «Их было тринадцать».

Приехала старая женщина, вдова их директора, погибшего на фронте. Когда ее провожали домой в Рыбинск, несли на вокзал тяжелые сумки с апельсинами....

Итак, это был конец февраля.

В марте все покатилось, полетело с откоса...

Втайне от нее я гадал на книгах: перед анализами, перед рентгенами, перед посещением врачей, перед операцией. И — всякий раз! — книги отвечали: разгром, конец, гибель.

За несколько минут до ее смерти я наудачу раскрыл «Рейнеке-лиса», это была ее любимая книжка, к тому же смешная, сатирическая, едва ли я мог наткнуться на страшное место. Ткнув пальцем в одну из страниц, прочитал:

И вот остались минуты считанные...

Мы часто все употребляем слово «смертные», не думая, что оно относится к нам самим. А ведь осознание краткости жизни возлагает на нас высокий долг. В припадке обиды или раздражения мы иногда не разговариваем со своими близкими, забывая, что потом они, умерев, не смогут разговаривать с нами вечно... Бойтесь ссор! Каждая ссора может оказаться последней! Старайтесь простить друг другу все, что можно простить. Знайте, что высшее счастье, истинное счастье — возможность видеть любимое существо. Других любимых не будет!

«Кончена жизнь»,— последние слова Пушкина.

Теперь только я ощутил, осознал это всем своим существом: тридцать лет, тридцать тяжелых, длинных, трудовых, насыщенных всем тем, что именуется жизнью, вдруг как бы развеяло по ветру, словно они превратились в пепел, в золу, в дым.

Да, та жизнь сгорела. Над трубой крематория вился только слабый дымок...

Мы живем в надежде, надеждой. За ней, отделенная от нее глубочайшим рвом, лежит безнадежность. Из обители безнадежности в обитель надежды возврата нет. Но там вы свободны от боязни утратить надежду, за которую так цеплялись.

7

Вестфальский договор, положивший конец Тридцатилетней войне, был подписан в Мюнстере 24 октября 1648 года.

Я родился 24 октября 1921 года в Москве. Мой отец был адвокатом, передо мной проходит вереница его клиентов. Голосов их не помню, вижу очертания, иногда — лица. Помню жесты. Немой фильм.

Вижу их вереницу с 1925—1926 годов до 1955-го, когда мой отец умер 30 мая.

Первые, кто приходил, были дамы. Помню вуали, муфты, горжетки. Приподняв вуаль, дама подносит к глазам платок...

Помню взлохмаченного человека с бородой-мочалкой, в чесучовом пиджаке. Руки его дрожат. У этого помню слова. Его сын — в Соловках. Человек зачастил к моим родителям, можно сказать, прижился. Звали его Абрам Александрович Иоффе. Он был выкрест, толстовец. Сын его был православный священник...

В ту пору адвокатам была разрешена частная практика на дому. Мы жили в доме 28 по Печатникову переулку, в квартире 1, номер нашего телефона был тогда 2-53-10. Я очень хорошо запомнил этот номер: еще и сейчас в моем мозгу вспыхивают иногда цифры 2-53-10 — магические знаки времени. Телефон был настольный, с большой тяжелой трубкой на никелированных рычажках. Кроме телефона, в квартире был еще один аппарат: электросчетчик фирмы «Сименс и Шуккерт», черная металлическая коробка, висевшая на стене в коридоре.

К счетчику прикасаться было строжайше запрещено — потому что, как говорили мои родители, он о п л о м б и р о в а н, то есть находится под охраной государственной власти. Только представитель государственной власти имеет право, сняв пломбу, заглянуть в нутро счетчика. Всякий, кто даже случайно нарушит запрет, вступает в конфликт с властью, с законом, а то, что с законом не шутят, я усваивал с самого раннего детства.

Из разговоров, которые велись в кабинете отца, до меня долетали слова «губсуд», «ГПУ», «МУР», «фининспектор»,— я догадывался, что все это имеет отношение к закону, к власти, которая в нашей квартире оставила в напоминание о себе свинцовую пломбу, прикрепленную к счетчику. Пломба вызывала у меня тайный страх и непреодолимое желание сорвать ее, что я однажды и осуществил, к собственному ужасу.

Я сам явился к родителям с повинной, не прося о пощаде, готовый понести заслуженное возмездие. Я не совсем отчетливо представлял себе, в чем оно будет выражаться, но несомненно полагал, что з а м н о й п р и д у т, как приходили тогда за теми, о которых я слышал в шепотке клиентов отца.

Представитель власти пришел в тужурке, с черной короткой бородкой торчком: электромонтер. И когда я спросил, что меня ждет, он тут же огласил приговор: «Десять лет расстрела солеными огурцами!» — после чего прикрепил к счетчику новую пломбу и ушел.

К своим клиентам отец относился с состраданием, исключая тех, чьи преступления были вызваны жестокостью, низостью, подлым расчетом. Убийц не защищал никогда. Очень жалел жен осужденных, матерей, детей, вообще их близких. И однажды весь, как бы перед смертью — действительно незадолго до смерти,— отдался защите одной молодой женщины. Речь шла о крупных злоупотреблениях, женщина работала вместе с мужем, проходила по делу как его соучастница, дома у нее оставались двое маленьких детей. Ей грозил один из астрономических сроков тех лет. Отец буквально бросился на ее защиту, накануне приговора он говорил: «Если ее осудят, я пойду за ней».

Ее осудили условно, отпустили домой. У меня хранится серебряный подстаканник: «Вы спасли нашу маму».

Естественно, я видел этих людей глазами сына адвоката. Если бы мой отец был прокурором, я, возможно, видел бы их совсем в другом свете...

Переговоры по процедурным вопросам длились бесконечно долго. Прекращение Тридцатилетней войны становилось неотвратимым, уже

не было ни сил, ни желания, ни, главное, смысла продолжать войну, однако не менее двух лет ушло на обсуждение церемониала, порядка обращения друг к другу, формул приветствия, кого каким титулом величать. Папский легат остроумно заметил, что охотно бы позволил всем участникам будущего конгресса называть друг друга «ваше императорское величество», лишь бы скорей начинали.

Не начинали. Созывали рейхстаги, ландтаги, пыхтели над дипломатической перепиской. Писцы по сто раз переписывали каждую ноту: вносились исправления.

Наконец условлено было избрать местом переговоров Вестфалию: Мюнстер и Оснабрюк. Оба города на время переговоров объявлялись нейтральными: островки благоденствия и вызывающей роскоши среди океана страданий и крови.

Конгресс должен был начаться в 1642 году, но вопрос о статусе германских князей и некоторые другие частности отодвинули официальное открытие еще на год. Впрочем, и в 1643 году посланники не спешили. Каждая сторона боялась унизиться перед другой, уронить свой престиж, прибыв на конгресс первой.

Война продолжалась.

В декабре 1644 года конгресс торжественно открыли. В Мюнстер прибыли 230 дипломатов. Кроме России, Турции, Англии, здесь была представлена вся Европа. Мир еще не знал столь гигантского общеевропейского форума. Триумф миролюбия, доброй воли. Еще не мир, но уже п р а з д н и к мира.

Этот «праздник» длился четыре года.

Война продолжалась. В 1645 году шло побоище между датчанами и шведами. В 1646 году шведы и французы вторглись в Баварию. Все тонуло в крови...

В то время в Мюнстере было 10 тысяч жителей и примерно такое же количество составляли приезжие дипломаты, их свита, их охрана. Жили на широкую ногу, швыряли деньгами. Как наживались на войне, так теперь наживались на мире. Это была прекраснейшая пора праздности, выдаваемой за деловитость, торжество цинизма и разврата под маской добродетели и миротворчества.

В Мюнстере царил дух наживы, подкупа, взяточничества. Стоимость квартир, плата за ночлег возросли в десятки раз. Со всей Европы в город стекались «жрицы любви», фокусники, бродячие актеры, шарлатаны, живописцы, писавшие дорогостоящие портреты участников конгресса. Тогда же было создано «Карнавальное общество», существующее и поныне.

Никто никуда не спешил: делалось великое дело — установление европейского мира «на вечные времена»! И ничтожные, мелкие люди, преисполненные важности и самоуверенности, закатывали балы, развлекались, позировали льстивым придворным живописцам, а война между тем продолжалась: никому не пришло в голову на время переговоров объявить прекращение огня. Война продолжалась, гибли люди, переменчивое военное счастье улыбалось то одной, то другой стороне. Реляции полководцев курьеры везли в Мюнстер. Представитель стороны, которая взяла на сей раз верх, восседал за столом в этот день с важной миной.

Колесница переговоров тащилась чрезвычайно медленно. Сильнее разума были взаимное недоверие, упрямство, жадность, стремление к господству. Когда переговоры заходили в тупик, наступали долгие месяцы безделья. Дипломаты развлекались. В 1645 году французы дали представление «Балет мира»: аллегорическое изображение победы Согласия над Распрей. Второй балет был поставлен в феврале 1646 года по случаю рождения сына у герцога Лонгевильского, ничтожного франта.

Да, то были не лучшие из людей — вершители европейских судеб.

В Зале мира в мюнстерской ратуше, сидя на длинной деревянной скамье, на которой восседали когда-то посланники, я рассматривал их писанные голландскими мастерами портреты.

За девяносто лет до конгресса в этом зале вершила свой суд Мюнстерская коммуна, «Совет двенадцати апостолов». Иоанн Лейденский, в недалеком прошлом портной и бродячий поэт Ян Бокельзон, объявил себя царем Нового Сиона, в будущем — владыкой всего мира. Мюнстер был провозглашен городом, избранным богом, оплотом тысячелетнего царства Христова... Ремесленники, мелкие торговцы, городская беднота сплотились, чтобы начать жить по-новому. Все, что было до них, весь предшествовавший миропорядок, было делом рук дьявола. Теперь будет полное равенство, теперь не будет ни богатых, ни бедных, теперь все будет общим. Общими будут и жены. Так сказали пришедшие из Голландии, из Лейдена, пророки Ян Матис и Иоанн Лейденский. Так сказали ставшие бургомистрами ткач Киппенбройк и торговец Книппердолинг. Из Мюнстера идеи коммуны распространятся скоро по всему миру.

Мюнстерская коммуна знала героику, восторг, знала жестокость. Книппердолинг рубил головы маловерам, изменникам, стяжателям.

Коммуна знала любовь. Когда Ян Матис умер, его вдова Дивара стала одной из шестнадцати жен Иоанна Лейденского.

Коммуна знала голод, нужду и осаду. Она выдерживала осаду шестнадцать месяцев. Она обратилась за помощью к протестантским князьям. Те предпочли сговориться с католическим епископом.

Коммуну погубило предательство. В ночь на 25 июня 1635 года один из граждан Мюнстера, столяр Гресбек, провел в город осаждавшие его войска.

Иоанна Лейденского, палача Бернда Книппердолинга и канцлера коммуны Бернгарда Крехтинга посадили в клетки и возили по городам Вестфалии, показывая народу. Потом их пытали раскаленными щипцами. Потом казнили. Клетки с их трупами вознесли над городом, эти клетки висят и сейчас на башне церкви святого Ламберта, прямо над часами: то ли достопримечательность, то ли предостережение.

Дивару обезглавили на соборной площади.

В Зале мира под стеклом хранятся туфля одной из жен Иоанна Лейденского, отрубленная кисть женской руки...

Выйдя из ратуши, я отправился в церковь святого Ламберта; почерневший камень, ранняя готика. Часы, над которыми висят клетки, пробили полдень. Протрубил на башне трубач.

Из глубины своих скорбей к тебе, господь, взываю...

Каждые полчаса бьют часы и трубит трубач над Мюнстером.

В годы второй мировой войны раздался здесь иной трубный глас.

Епископом Мюнстера был тогда именитый вестфалец, двухметрового роста богатырь граф Клеменс фон Гален.

Среди его предков были военачальники и священнослужители. Про него говорили: вестфальский нрав, вестфальская кровь! Он обладал несокрушимой волей и нежным сердцем. К нему льнули дети.

В 1933 году епископ фон Гален оторопел: к власти пришли чудовища.

Он обрушил на них свои проповеди, послания к пастве.

Епископа пытались урезонить. Розенберг, приехав в Мюнстер, сунулся было к нему, хотел предложить сотрудничество: фон Гален выставил «идеолога партии» за дверь...

Началась война. Мюнстер бомбили ночью и днем, под бомбами рухнула ратуша с Залом мира, пострадала церковь святого Ламберта, горели дома.

Епископ сидел в своем кабинете, курил трубку с длинным тонким чубуком, работал. Не было случая, чтобы он спустился в бомбоубежи-

ще. Когда раздавался отбой, он выходил на улицу, бродил среди развалин, перевязывал раненых, утешал отчаявшихся.

В соборе, где он служил, терлись агенты гестапо. Вслушивались в его проповеди, следили за реакцией прихожан.

Епископ говорил о преследовании церкви, о внесудебных расправах, об исчезновении людей. Он говорил о противозаконном всевластии гестапо.

В Берлине не знали, что с ним делать. Арестовать, убить? Он был слишком заметной фигурой, слишком популярен в народе; следовало, пожалуй, повременить.

Гитлер шипел: «Подлый поп!» Геринг послал Галену письмо, полное скрытых угроз.

Эта возня вокруг епископа с точки зрения нацистской этики была преступным слабодушием. Когда нужно было, сокрушали целые страны, убирали кого угодно, а тут какая-то каланча ходит по Мюнстеру и совращает народ. И Гиммлер говорил Герингу: «Что нас губит, так это мягкосердечие... Мы слишком гуманны...»

В окрестностях Мюнстера находилось несколько психиатрических лечебниц. В августе 1941 года епископ Клеменс фон Гален с амвона церкви святого Ламберта произнес:

— В течение вот уже нескольких месяцев нам сообщают, что из психиатрических больниц и интернатов по указанию из Берлина в принудительном порядке увозят пациентов, которые давно больны и, возможно, считаются неизлечимыми. Как правило, в таких случаях родственники вскоре получают извещение, что тело кремировано и прах может быть выдан. У всех существует граничащее с уверенностью подозрение, что эти многочисленные случаи смерти душевнобольных происходят не сами, а вызваны умышленно, что тут руководствуются учением, утверждающим, будто так называемую неполноценную жизнь можно уничтожить, то есть умерщвлять ни в чем не повинных людей, если кажется, что их жизнь не представляет никакой ценности для народа и государства. Страшное учение, оправдывающее убийство невиновных, принципиально допускающее насильственное умерщвление нетрудоспособных инвалидов, калек, неизлечимо больных, престарелых!..— И далее гремел мюнстерский епископ:— Признать, что люди имеют право умерщвлять своих «непродуктивных» собратьев, даже если пока это касается только несчастных и беззащитных душевнобольных, это значит позволить в п р и н ц и п е убивать всех непродуктивных, то есть неизлечимо больных, инвалидов труда и войны, убивать нас всех, когда мы состаримся и будем немощны, а следовательно, непродуктивны. Тогда ничего не стоит каким-нибудь тайным распоряжением распространить метод, испытанный на душевнобольных, на других «непродуктивных», то есть на страдающих неизлечимой болезнью, на престарелых, на инвалидов по старости, на тяжело раненных солдат. Тогда в опасности жизнь любого из нас. Какая-нибудь комиссия может внести его в список «непродуктивных», которые, по ее мнению, «утратили право на жизнь». И никакая полиция его не защитит, и никакой суд не будет судить за его убийство и не подвергнет убийцу заслуженному наказанию. Кто сможет тогда доверять своему врачу? Может быть, он объявил больного «непродуктивным» и получил указание убить его. Трудно представить себе, какое наступит нравственное одичание, какое всеобщее недоверие, которое проникнет и в семьи, если мы примиримся с этим страшным учением, если согласимся с ним и будем ему следовать. Горе людям, горе нашему немецкому народу, если священная заповедь божья «не убий!», которую господь бог, наш творец, изначально запечатлел в человеческой совести, будет не только нарушена, но с этим нарушением примирятся и будут чинить его безнаказанно...

Епископ фон Гален многое предвидел. Нет, своею проповедью он не остановил топор палачей, но он совершил главное: сделал что мог.

Как ни странно, убрать фон Галена тогда не решились: боялись брожения на фронте среди солдат, уроженцев Вестфалии, волнений в тылу. Ждали удобного случая: может быть, в одну из бомбежек... Но «подходящий момент» так и не наступил. Клеменс фон Гален умер в сане кардинала в 1946 году от приступа аппендицита. До этого он успел вступить в острый конфликт с английскими оккупационными властями...

Мирный договор подписывали не в здании ратуши — носили на подпись посланникам на квартиры.

Потом грянули залпы салютов, взвились в небо ракеты фейерверков, ударили колокола.

За что воевали тридцать лет? В 1648 году первоначальные мотивы войны были почти забыты. Мы читаем у Шиллера: «Бедствия Германии были столь ужасающими, что миллионы людей молили лишь о мире и самый невыгодный мир казался благодеянием небес».

Пустырем отчизна стала,
Слезы выпиты до дна,
Даже смерть — и та устала...
Так окончилась война.

Посланники задержались в Мюнстере до февраля 1649 года.

19 февраля в здании ратуши состоялась церемония ратификации Вестфальского договора, затем был устроен необычайно пышный прием.

Зал, в котором происходила церемония, назвали Залом мира.

После того как разбомбленную, превращенную в груду обломков ратушу восстановили в 1948 году, при входе в Зал мира укрепили табличку с латинским изречением: «Pax optima rerum» («Мир — высшее благо»)...

Миновало страшное тридцатилетие. Наступали десятилетия зыбкого мира.

Логау беспощадно язвил:

Война — всегда война. Ей трудно быть иною.
Куда опасней мир, коль он чреват войною.

Гюнтер продолжал развивать мысль Грифиуса о разграбленных войной сокровищах души: презренны дети, которые предают родину-мать, презренна родина, которая предает своих сыновей.

Томас Манн писал, что Тридцатилетняя война «опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад». Однако именно в эти годы Германия дала великих людей: в литературе Грифиуса, в музыке — Шютца.

Андреаса Грифиуса называли силезским Шекспиром.

Он родился в год смерти Шекспира и Сервантеса, в 1616 году, умер в год столетия Шекспира.

В Глогау заседал магистрат...

«...16 июля 1664 года без четверти пять после полудня его в присутствии всех собравшихся членов магистрата и комиссий поразил столь внезапный и сильный апоплексический удар, что он вскоре скончался на руках испуганных советников, и, таким образом, его жизнь оборвалась в неполных сорок восемь лет, без одиннадцати недель, при исполнении им своего служебного долга...»

Познал огонь и меч, прошел сквозь страх и муку,
В отчаянье стенал над сотнями могил.
Утратил всех родных. Друзей похоронил.
Мне каждый час сулил с любимыми разлуку.
Я до конца постиг страдания науку:
Оболган, оскорблен и оклеветан был.

Так жгучий гнев мои стихи воспламенил.
Мне режущая боль перо вложила в руку!
— Что ж, лайте! — я кричу обидчикам моим.—
Над пламенем свечей всегда витает дым,
И роза злобными окружена шипами.
И дуб был семенем, придавленным землей...
Однажды умерев, вы станете золой.
Но вас переживет все попранное вами!

(Андреас Грифиус, «Последний сонет»)

Колесо фортуны

1

Главу эту следует, пожалуй, с самой Фортуны и начинать.

Фортуна помещена в центр своего колеса, в руках держит свитки, где все уже и предначертано,— судьбы.

На вершине колеса в глупом самодовольстве — человек в короне, со скипетром, над ним начертано слово regno — царствую, правлю. Справа от него карабкается к вершине колеса будущий удачник с лицом, исполненным вожделения: regnabo — буду править!.. Слева по ходу вращения колеса уже летит вниз тот, к кому относится regnavi — я правил. В самом низу, сброшенная колесом, лежит фигура поверженного: sum sine regno — отцарствовал.

Рисунок «Колесо Фортуны» выполнен цветной тушью, им открывается рукопись сборника поэзии вагантов, который в 1803 году при секуляризации церковных земель обнаружили в баварском монастыре Бенедиктбейерн; пролежала она в тайнике шестьсот лет.

Слезы катятся из глаз,
арфы плачут струны.
Посвящаю сей рассказ
колесу Фортуны.

Над словами невмы — нотные знаки, подобия ударений.

По названию монастыря сборник назвали «Carmina Burana».

Выпала мне судьба: с фортуной, с колесом судьбы встретиться.

Лирику вагантов я начал переводить в 1967 году, внутренне даже этому противясь. Отпугивало меня то, что там в основе латынь, какими-то грамматическими упражнениями отдавало, не мог к немецкому началу пробиться, да и все эти слова — «веселие», «питие», «братия, возрадуемся!»,— которые лезли на меня из комментариев и статей, из обрывочных, для хрестоматий сделанных чужих переводов, угнетали книжностью. Все было пылью присыпано: «обличение папской курии», «земные, плотские радости», «приятие жизни». Какое уж там п р и я т и е, если, например, читал в хрестоматии Шор в переводе Осипа Румера:

Осудивши с горечью жизни путь бесчестный,
Приговор ей вынес я строгий и нелестный.
Создан из материи слабой, легковесной,
Я — как лист, что по полю гонит ветр окрестный...

Нет, мертвое все это было. Не мое. Чужой пир. Книжный.

И вдруг вник в немецкий текст, затем в латинский:

С чувством жгучего стыда
я, чей грех безмерен,
покаяние свое
огласить намерен.

Был я молод, был я глуп,
был я легковерен,
в наслаждениях мирских
часто не умерен...

Предшественник переводил:

Мудрецами строится дом на камне прочном,
Я же легкомыслием заражен порочным.
С чем сравнюсь? С извилистым ручейком проточным,
Облаков изменчивых отраженьем точным...

Я спорил, давал свою версию:

Человеку нужен дом,
словно камень прочный,
а меня судьба несла,
что ручей проточный,

влек меня бродяжий дух,
вольный дух, порочный,
гнал, что гонит ураган
листик одиночный...

Из тьмы в семь веков поманил меня к себе король бродячих поэтов — клириков и школяров — Архипиит Кельнский. В семивековом отдалении, глухой, темный как ночь, виделся мне монастырь Бенедиктбейерн. Узилище, в которое заточили великую рукопись.

Шли, шли ко мне оттуда те песни.

Выходи в привольный мир!
К черту пыльных книжек хлам!
Наша родина — трактир.
Нам пивная — божий храм.

Горланили, ревели:

Ночь проведши за стаканом,
не грешно упиться в дым.
Добродетель — стариканам,
безрассудство — молодым!..

Сначала воспринимал я это как хор.

Именно в ту пору услышал я кантату Карла Орфа «Carmina Burana»: три хора — мужской, женский, детский — вздымали голоса к небу, светло пели солисты, все гремело, било в барабаны, литавры, тарелки, звенели колокольцы и колокола.

О, Фортуна!..

Нет, не только веселье, не только удаль, другое: над весельем, над удалью, над бесшабашностью, над жалобой и плачем, над всем — фортуна. Судьба. Рок. Как еще повернется колесо?

Испытал я на себе
суть его вращенья,
преисполнившись к судьбе
чувством отвращенья.
Мнил я: вверх меня несет!
Ах, как я ошибся,

ибо, сверзшийся с высот,
вдребезги расшибся
и, взлетев под небеса,
до вершин почета,
с поворотом колеса
плюхнулся в болото...

Переводил — не думал, что о себе. Не думал, что упаду, что сбросит меня. Меня-то не сбросит. Других сбрасывает, вот они и лежат внизу на рисунке тушью. А я удержусь...

Были 1967—1968 годы, для меня — время больших удач. Я поехал в Мюнхен, где чудом, как во сне одна за другой удались мне фантастические потусторонние встречи; в архивах, в библиотеках сами как бы шли ко мне в руки редкие тексты вагантов. И дома, в Москве, все было хорошо. Даже трагические стихи хорошо переводить, когда все в порядке. И лишь изредка посматривал я на того, кто в самом низу, под колесом...

Вот уже другого ввысь
колесо возносит.
Эй, приятель! Берегись!
Не спасешься! Сбросит!..

И вдруг вопросец, тайный вопросец в меня закрался. Хитрый вопросец. Корыстный. «А вновь на колесо фортуны тем, кого сбросило, забраться можно? Возможна ли еще одна попытка? Или только раз, один всего раз прокатиться можно?.. Или — еще, еще раз позволят тебе взять билет на колесо фортуны, как на «колесо обозрения» в Парке культуры?..»

Не знал я тогда, что задаю вопрос вопросов. Величайший вопрос...

Перечитывал я в то время Книгу Иова. Бог, который, испытывая праведного Иова, лишил его богатств, стад, родных детей, покрыл проказой, сжалился над ним и дал ему больше, чем было взято: верблюдов, волов, ослиц. И детей дал: семерых сыновей и трех дочерей-красавиц. Но ведь д р у г и х детей дал. Д р у г и х!..

«Ваганты» по-русски означает «бродячие». Этих людей магически тянуло из университетских и монастырских келий плечами ощутить широту, простор мира. Они шли, смотрели, осмысляли увиденное. Пели.

Нет, не бродячими шпильманами-игрецами они были — поэтами. Они отличались высокой ученостью, знали ветхозаветных пророков и античных философов. Кумиром их был Овидий.

Отчего же им не сиделось на месте?..

Неволя начинается с насильственного сужения пространства, по которому человек имеет право передвигаться. Есть границы княжества, подворья, кельи, карцера, каземата, пыточной ямы. Чем выше степень неволи, тем меньше площадь, по которой тебе дана возможность двигаться.

Средневековые поэты-ваганты громче других своих современников выразили неприятие барьеров, границ, оград, отделяющих людей друг от друга, от живой природы, от истины. Они шли по Европе, словно отвоевывая для духа все новые и новые территории. Бездомные, беспутные, вроде бы беззащитные, они противопоставляли трактирный разгул неволе и неподвижности, чувственный жар и тепло харчевни — стальному холоду оружия, свои хвори и немощи — неумолимой силе жестокости, свои книжечки, над которыми сами же потешались,— незнанию и невежеству.

Они пытались выработать формулу свободы: «Жизнь на свете хороша, коль душа свободна».

Мерещилось шествие. Идут, сбросив с себя прожитые жизни, уклады, привязанности, как сбрасывают с себя тряпье. Они свободны от прошлого. Их несет ветер...

Средневековье — понятие зыбкое. Иногда кажется, что эти восемь-девять веков — гигантская яма, провал в истории человечества. Сплошная ночь, озаряемая лишь кострами, на которых сжигают еретиков. Музыка средневековья для нас — вопли, стоны, молитвенные причитания.

Был соблазн: с ы г р а т ь лирику вагантов как буйный, неистовый праздник среди отчаяния. Факел, вспыхнувший в ночном мраке. Вот они — вынырнули откуда-то из мглы, из X века, и снова канули в ночь, оставив гореть свой огонь.

Я читал сборники. Одни стихи были написаны на латинском языке с немецкой подтекстовкой, другие — на средневерхненемецком, иногда с итальянскими вкраплениями. В некоторых песнях латынь грациозно переплеталась с немецким, французским. Были стихи, написанные классическим строгим гекзаметром, и сложенные, как балаганный раек. Восьмистопный хорей имитировал ритм церковных гимнов... То был не сумбур — многоголосие.

Вчитывался.

Песня — призыв к крестовому походу во имя освобождения гроба господня уживалась с богохульной песней пьяниц во славу вина, обжор — во славу обжорства. Покаяние, чуть ли не молитва — и тут же фарс, в наспех сколоченных стихах похабный анекдот про попов-ворюг, попов-бабников. Рев сладострастников, такой, что, кажется, на самом деле всем миром правит похоть, вся земля — ее царство, и вдруг высокий чистый голос девушки: любовь, целомудрие.

Кто они, сочинители этих стихов?

Постепенно из хора стали проступать отдельные голоса, очертания фигур, лица. Явственно увидел ту молодую монахиню, которая за стенами монастыря «всей силой сердца своего» грешно взывала к гос-

поду: «Казни того, из-за кого монахиней я стала...» Увидел стареющего, чахнущего бродягу клирика, склонившегося над своим драным плащом: «Ах ты, проклятый балбес! Ты, как собака, облез. Я — твой несчастный хозяин — нынче ознобом измаян... Как мне с тобой поступить, коль не могу я купить даже простую подкладку?..» И примирительно-горестное: «Дай-ка поставлю заплатку!..» Увидел школяра, который потешается над постылой зубрежкой. Студента, покидающего родную Швабию:

Во французской стороне,
На чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете...

Речь шла, очевидно, о Париже, где кафедральные школы слились в одну ассоциацию — Universitas magistrorum et scolarum Parisensium. Парижский университет стал в XII веке научным и богословским центром Европы, независимым от светского суда и получившим закрепление своих прав со стороны папской власти. Впрочем, подробности средневековой студенческой жизни я узнал уже в ходе работы над книгой, знакомясь со всевозможными источниками, а тогда, набрасывая первые строки перевода песни «Прощание со Швабией», мало задумывался над исторической подоплекой. Меня пронимали непосредственность чувства, наивность, искренность:

Вот стою, держу весло,
через миг отчалю.
Сердце бедное свело
скорбью и печалью.

Тихо плещется вода —
голубая лента...
Вспоминайте иногда
вашего студента!..

Через несколько лет, положенная на музыку композитором Тухмановым, эта песня стала у нас шлягером. В виде танцевального этюда попала она и на экраны телевизоров. В титрах значилось — «слова народные».

Какого народа?

На этот вопрос действительно не так просто ответить. Национальную принадлежность вагантов можно определить лишь с большим трудом, приблизительно, на основании отдельных немногочисленных реалий. Единой для них была латынь — язык средневекового международного общения, единой — католическая религия, как бы они в каждом конкретном случае ни относились к ее догмам. Важнее было другое объединявшее их начало: великодушие, широта воззрений, острая потребность в человеческом братстве. Они брали под свое крыло, под свою защиту людей всех вер, сословий, возрастов, национальностей, индивидуальных свойств и качеств, включали их в единую семью, руководствуясь лишь единственным признаком:

От монарха самого
до бездомной голи —
люди мы, и оттого
все достойны воли,
состраданья и тепла...

Да, утверждали они, все равны перед богом, перед жизнью и смертью. Перед т о й, которая, сидя в центре колеса, держит в руках свои свитки.

О, Фортуна!..

Мог ли я отнестись к их стихам равнодушно? Кем они были мне, я — им? Только ли переводчиком, интерпретатором? Нет, все более меня охватывало чувство странного родства с ними, я и своим читателям хотел внушить, что не чужие они нам, эти скитальцы, затерянные в сумраке средневековья: приблизим их к себе, облечем в плоть их смутные тени, протянем им через века свою руку!..

Все чаще я задумывался над понятием «средневековье». Для нас их время — средневековье. А для них? Для них-то что это было за время? Самое наиновейшее, *их* время. Они *в своем* времени жили, у них *своя* была история, *свои* представления о будущем. Как должны судить о них потомки, те, которые, возможно, не оправдали их чаяний?

Наука давно уже опровергла высокомерные суждения о средневековье как о фатальном отказе от античной цивилизации. Ни научная мысль, ни художественное творчество не стояли на месте — откуда бы взялись тогда известные всем достижения средневековой духовной культуры, поэзия, зодчество? Разве средневековый человек был лишен любви, сострадания, жажды свободы?

Уже после того как вышла моя книжка «Лирика вагантов» (М. 1970) в прекрасном оформлении художника Г. Клодта, издательство «Наука» выпустило в серии «Литературные памятники» куда более скромно оформленный, но объемистый том «Поэзия вагантов» (М. 1975), составленный и почти целиком переведенный М. Л. Гаспаровым. Эти переводы, в которых искусно сохранен аромат латинской старины, должны быть оценены по заслугам, я прочитал их с восторгом: они достоверны, звучны, в них наука встретилась с поэтическим искусством. В послесловии М. Л. Гаспарова я нашел неожиданный термин — «средневековый гуманизм», которым он объясняет самое явление вагантов. И он прав, когда пишет, что «средневековый гуманизм выглядит иначе, чем гуманизм Сократа, Эразма или Гёте... но все они родственны в главном: уважении к человеку и к его месту в мире...».

Девять лет спустя после выхода моей книги, 30 мая 1979 года, попал я наконец в монастырь Бенедиктбейерн, куда меня тянуло с тех пор, как я услышал о рукописи «Carmina Burana».

Ехал из Аугсбурга ослепительно ярким, солнечным, жарким днем. Вдали на фоне Альпийских гор возвышались две белые башни с медными куполами-луковицами. Медвяный был воздух. Медовый. Медно бил колокол. Мед. Медь.

У монастырских ворот в полной тишине застыли машины послушников. Рядом теснились надгробья. Среди травы, среди одуванчиков. Среди тишины.

Монастырь Бенедиктбейерн оказался великолепным строением эпохи барокко: ничего средневекового, мрачного. Снаружи он сиял изумительной белизной, изнутри поражал великолепием, роскошью мраморных алтарей, росписью перекрытий, пышностью залов, скорее похожих на дворцовые, чем на монастырские. Великолепен был и двор: подстриженный ярко-зеленый газон, три могучих дерева — береза, липа, с черно-красными листьями бук. Величественно шуршал водою огромный фонтан.

Чуть поодаль от монастырской церкви стояло, также дворцового типа, здание бывшей библиотеки.

Именно сюда в 1803 году из Мюнхена бодро явилась охваченная французскими революционными веяниями государственная комиссия. Монахов-бенедиктинцев разогнали, монастырь закрыли, библиотеку реквизировали. Рукопись вагантских песен, никем не прочитанная, среди прочих фолиантов попала в мюнхенский городской архив. И только в 1847 году ее изучил, а затем опубликовал Иоганн Андреас Шмеллер. Что же касается монастыря, то на целых сто двадцать семь лет — до 1930 года — он был превращен в казарму, после чего вновь стал обителью, на этот раз монашеского селезианского ордена.

Все это рассказал мне патер Лео Вебер, любезно согласившийся провести меня по залам, аркадам и служебным помещениям Бенедиктбейерна. По его убеждению, рукопись попала в монастырь не случайно: здесь, в Южной Баварии, проходит граница между итальянской и немецкой культурами,

янской и немецкой зонами культуры. Сам же сборник был составлен скорее всего в епископстве Гурк, в Кернтене, близ Клагенфурта.

Патер Лео Вебер в цивильном костюме, галстуке. Волосы зачесаны гладко назад. Лицо простое, пастушеское, чистое. Говорит, широко, простодушно улыбаясь. Иногда, закинув голову, громко смеется. Смеясь, он сказал:

— Эти стихи сочиняли свободные люди. Более свободные, чем мы теперь. Подумайте только: ведь это пели открыто! На площадях! Против папы! Против властей! Против подавления человеческой личности!..

Он повел меня в помещение бывшей библиотеки, где в одном из тайников нашли великую рукопись. Сейчас здесь была трапезная. Белые столы были покрыты белыми скатертями, на них стояли белые фаянсовые тарелки, белые кружки. Кравчий расставлял большие темные бутыли с виноградным соком. Близилось время обеда.

Обед братии состоял из супа с вермишелью, отварного мяса с картофелем и салатом, виноградного сока. По воскресеньям полагалось еще вино и пиво.

Послушники носили цивильное платье, многие были в джинсах, клетчатых рубашках. Девушки-послушницы работали при кухне. Все было земное.

От патера Вебера узнал, что в Бенедиктбейерне каждое лето дается под открытым небом представление. Хор и оркестр исполняют «Carmina Burana» — кантату Орфа,— молодые люди в пестрых одеждах водят хороводы: кружатся как бы живые гирлянды, изображая колесо Фортуны. Очень красочно.

Но музыка вагантов иная.

В келье-радиостудии, опутанной проводами, уставленной приемниками и магнитофонами, я услышал подлинную мелодию песен вагантов. Старинные нотные знаки — невмы — удалось расшифровать. Молодой монах-радиотехник включил проигрыватель...

То были пародийные хоралы, пародийные гимны, пародийные жалобы и причитания. Тексты, которые я когда-то переводил, представали передо мной в своем изначальном, исконном звучании.

На заре пастушка шла
берегом вдоль речки,—

нарочито плаксиво пел тенорок, излагая происшествие, приключившееся с добродетельной пастушкой, встретившей школяра-оборванца.

«Отповедь клеветникам» монотонно исполнял мужской хор:

Хуже всякого разврата —
оболгать родного брата.
Бог! Лиши клеветников
их поганых языков.

«Жалоба на своекорыстие и преступления духовенства» пелась на потешный мотив, лихо и весело:

Нет, не милосердье
пастыри даруют,
а в тройном усердье
грабят и воруют...

Песня «Колесо Фортуны» дышала надеждой, радостью, освобождением от тяжкого, чугунного груза бытия, от нечеловеческой усталости, которая ложится на человеческие плечи, от горя. Верно: страдание обогащает, делает человека выше, чище. Но человеческий дух не может питаться только скорбью, болью и мучениями. Ему нужна и отрада. Ничто так не несет человека вперед, как счастье, как отдохновение, как сладостная надежда.

Итак, в 1967 году я собирался вагантов сыграть. Свой сборник я переводил, составлял, ставил, как режиссер ставит спектакль. У меня был режиссерский замысел, был текст. Был жизненный материал. Нужны были прототипы.

Примерно в это время мне попала в руки книжка «Небо и ад странствующих. Поэзия великих вагантов всех времен и народов», изданная в Штутгарте Мартином Лепельманом. Наряду с собственно вагантами Лепельман включил в свою книгу кельтских бардов и германских скальдов, наших гусляров, а также Гомера, Анакреона, Архилоха, Вальтера фон дер Фогельвейде, Франсуа Вийона, Сервантеса, Саади, Ли Бо — вплоть до Верлена, Артюра Рембо и Рингельнаца. Среди «песен вагантов» были и наши, переведенные на немецкий язык: «Seht über Wolga jagen die kühne Trojka schneebestaubt» («Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой»), «Fuhr einst zum Jahrmarkt ein Kaufmann kühn» («Ехал на ярмарку ухарь-купец») и другие.

Основными признаками поэзии «кочующих» Лепельман назвал «детскую наивность и музыкальность» и непреодолимую тягу к странствиям, возникшую прежде всего из «чувства гнетущей тесноты, которое делает невыносимыми путы оседлой жизни», из чувства «безграничного презрения ко всем ограничениям и канонам житейской упорядоченности».

Есенинское «дух бродяжий».

Сколько их было, кто уходил, бросал родной очаг? Отчего тянуло их вдаль? Отчего не жаль было покидать насиженные места? Во скольких сердцах отмирало вдруг понятие Heimweh — тоска по родине?..

Был богатым, стал я нищим,
стал весь мир моим жилищем...

«Разбитой жизни мне не жаль».

Цыгане.

Был вечер цыганской песни в Доме литераторов, в зимней Москве, среди вьюги. По каким струнам сердца ударили длинные смычки?..

Одна из церковных инвектив, предававшая анафеме безвестного поэта-ваганта, гласила:

«Нет у тебя ничего, ни поля, ни коня, ни денег, ни пищи. Годы проходят для тебя, не принося урожая. Ты враг, ты дьявол. Ты медлителен и ленив. Холодный суровый ветер треплет тебя. Проходит безрадостно твоя юность. Я обхожу молчанием твои пороки — душевные и телесные. Не дают тебе приюта ни город, ни деревня, ни дупло бука, ни морской берег, ни простор моря. Скиталец, ты бродишь по свету, пятнистый, точно леопард. И колючий ты, словно бесплодный чертополох. Без руля устремляется всюду твоя злая песня...»

Они брели под дождем, под ветром. Ваганты, цыгане...

Из Ленинграда в Москву часто приезжала цыганская активистка Рузя, в прошлом организатор цыганских колхозов, а затем и участница партизанского движения на Смоленщине. Приходила ко мне, похожая скорее на грузинку или армянку, смуглая, в строгом черном костюме. Гладко причесанные, с проседью волосы. Бусы из крупного янтаря. Скупой, жесткий жест. Для многих цыган она была непререкаемым авторитетом, что-то было в ней от предводительницы племени: рассудительность, властность.

Я рассказывал ей о своем замысле, о желании понять это состояние, когда приобщаешься к тайне тайн, к фортуне, когда задаешь вопрос, который мучил вещего Олега: «Что сбудется в жизни со мною?». Даже просвещенный человек, увидев цыганку с картами,

приостановится, задумается: не узнать ли, как повернется жизнь? что ждет? дорога ли впереди и казенный дом или нечаянная радость?..

Ваганты и цыгане — воплощение судьбы...

Рузя показывала, как гадали настоящие цыганки в старину, смеялась:

— За карты спасибо не говорят. Карты позолотить нужно. Гадалка — профессия серьезная. Если гадают по зеркалу или по руке — не верьте. Шарлатанство. Только по картам.

Но она же говорила:

— Никому не дано разгадать загадки судьбы. Знаю только: самое страшное — обрыв надежды. И страшно, когда кусают за сердце...

Бывал у меня и Георгий Павлович Лебедев, маленький, бородатый старичок цыган. Приходил всегда чуть пьяненький, пучеглазый, с красными, в прожилках, навыкат белками. Приносил с собой папочку, подсовывал мне старые афиши, ноты, потом долго сидел, курил и все приговаривал:

— Ах, цыгане, цыгане! Это такая чистота, это такие дети!

Георгий Павлович был в театре «Ромэн» чем-то вроде хранителя импровизированного музея. В 1930 году в течение двух месяцев ему пришлось общаться с приехавшим в Москву Рабиндранатом Тагором. Георгий Павлович уверял, что тот прибыл в сопровождении дочери Эйнштейна. На Тагора Георгий Павлович смотрел в буквальном смысле слова как на бога.

— Когда я впервые увидел его,— рассказывал он,— то испытал душевное смятение, ужас. А потом успокоился, понял, что это — Отец и все мы его дети.

Тагор высказал тогда мысль, что цыгане первыми принесли в Европу индийскую культуру. Но чем ответила надменная Европа на бескорыстный сказочный дар?..

Всю свою жизнь Георгий Павлович собирал песни русских цыган, которые страстью, силой чувства при демократизме и простоте выражения влекли к себе и Пушкина, и Толстого, и Аполлона Григорьева, и Полонского, и Апухтина, и Куприна, и Блока. Он считал, что в России цыганская песня есть не что иное, как цыганская интерпретация русских романсов. Многие композиторы мечтали, чтобы их песни исполняли цыгане.

«Яр» и «Стрельня», знаменитые московские рестораны, где купечество устраивало фантастические кутежи, не забытые старыми москвичами, были, с точки зрения Георгия Павловича, очагами песенной цыганской культуры.

— Поймите,— говорил он, и губы его тряслись,— чего только не плетут! Конечно, бывали там и безобразные сцены. Но в них разве главное? Судаков, владелец «Яра», имел русский женский и мужской хор, украинскую капеллу, венгерский оркестр и цыганский хор. Певцы были первоклассные! И знаете ли вы, что цыгане были хранителями полковых песен русской армии?..

Мне эти цыганские встречи давали тогда бесконечно много, больше, чем ощущение судьбы,— ощущение жизни, ее далей, ветра, холода, тепла. Я узнавал нравы кочевых и оседлых цыган, их песни, их сказки, узнавал об их суеверии при полном равнодушии к религии (цыгане исповедуют веру того народа, среди которого живут), узнавал их законы, главными были — милосердие, сострадание к гонимому, к преследуемому, кем бы он ни был.

Милосердье — наш закон
для слепых и зрячих,
для сиятельных персон
и шутов бродячих...

(«Орден вагантов»)

«Я встретил счастливых цыган»... Под таким названием (впрочем, он назывался еще и «Скупщики перьев») осенью 1967 года в Югославии шел фильм режиссера Александра Пе́тровича.

Счастливых цыган я встретил в северо-восточном предместье Белграда Душановце, куда привел меня сербский поэт-цыган Слободан Берберский. Зашли в дом, похожий на мазанку: низкий потолок с ввернутой в него лампочкой, газовая плита, репродукция «Тайной вечери». Сразу набилось много народу, с улицы шли, толпились в дверях. Все ждали какого-то Лацо. Наконец он пришел — в черном костюме, в черной широкополой шляпе, длинные узкие пальцы в кольцах. Лацо взял аккордеон, другой цыган четырехструнную гитару — и они заиграли «Подмосковные вечера» и «Рябину» бойко, дешево, как играют специально для советских туристов.

Я попросил сыграть цыганские песни, и они начали свои, на наши цыганские не похожие: тягуче-восточные, турецкие. Слова были, видимо, исполнены для них серьезного значения, так как все слушали очень сосредоточенно, скорбно... Протяжную, грустную песню сменила веселая, потом ресторанного типа танго, потом зажигательная, которую пели все хором: «Ай, романэ! Ай, чавалэ!» Музыка была у них в крови, переполняла их, и они не то чтобы дарили мне ее от щедрости, а просто выплескивали из себя.

Цыганская песня бескорыстна. Может быть, ее сила в этом почти колдовском, непроизвольном умении вовлекать в сферу своего настроения. Забудь обо всем! Вспомни! Плачь! Радуйся!..

...Квартира могла быть старомосковская, старопетербургская, с потемневшей дореволюционной мебелью и картинами, которые не старые, а как бы постаревшие (стареют вместе с хозяевами), и образок, и обеденный стол, покрытый клеенкой... Сидит, парализованный, в кресле, клинышком неподвижной бородки уставившись в серый, почти петербургский (здесь, в солнечном Белграде) полумрак, Юрий Николаевич Азбукин — бывший присяжный поверенный, бывший пианист-аккомпаниатор. Сидит, левой подвижной рукой листает газету «Политика»...

Длинным надо идти переходом с изразцовыми стенами, через колодезный петербургский дворик, по петербургской подняться лестнице на второй этаж, где на двери табличка: «Ю. Азбукин, О. Янчевецкая — 2 пута, Осетинской Глафире звони 1 пут».

В 20—30-х годах на весь белый Белград звучал голос Ольги Янчевецкой. Была она тогда черноволосая, как цыганка, с дерзким и сильным голосом, и остались от тех лет ноты с ее фотографией: «„Пастух Костя". Исполняется О. П. Янчевецкой с огромным успехом в „Казбеке". Партия фортепиано — Ю. Н. Азбукин». В 1967 году она еще выступала на эстраде, снималась в кино.

Когда я в Белграде, в Союзе писателей, сказал, что хотел бы познакомиться с какой-либо цыганской певицей, мне сразу в один голос назвали Янчевецкую.

Говорит она великолепным книппер-чеховским баском:

— Ну-у, милый друг...

Закуривая, твердым накрашенным ногтем сбивает пепел с сигареты.

Если сравнивать с фотографией, время сильно ее изменило. Старая, очень даже старая женщина. Поредевшие крашеные волосы. Очки. Но — актриса. И весь дом с больным ее мужем — на ней.

— ...Итак, милый друг, что же вас привело ко мне? Ах, вот в чем дело! Я, видите ли, цыганской певицей становиться не собиралась. Училась в Петербурге у Вирджинии Домели. Не думала петь романсы, только так, иногда, для себя пела, для узкого круга друзей. В Петербурге приняли в музыкальную драму: голос у меня тогда был божественный, без хвастовства скажу, настоящее оперное меццо-сопрано...

Да... А оказалась за границей... Много я слез пролила. Думаете, легко мне было совсем девчонкой без родины остаться? Ах, многое что было. Сорок лет прошло. Это не шутка.

Она помяла сигарету, закурила, быстро прошлась по комнате, отпила из чайника, прямо из носика, снова села за стол.

— Да, все это было, милый друг, было: слезы, ностальгия. А теперь — прошло.

Она снова прошлась по комнате. У нее и сейчас еще плотная фигура, полные красивые ноги. И так по-домашнему, по-хорошему уселась против меня: в роговых очках, в красном халате. Сидит, мнет сигарету.

У нее большие серьги, большие бирюзовые кольца на еще молодых, крепких пальцах. Перебирая ноты, поясняет:

— Вот Нина Тарасова... Настя Полякова... Вертинский... Мария Александровна Каринская... Вяльцева...— Позвала: — Юрий, как звали Вяльцеву?

Из соседней комнаты высоким надтреснутым голосом отозвался неподвижный Юрий Николаевич:

— Конечно же, Настасья. Настя!

Мы заговорили с ней о цыганском пении.

— Это пение, это умение тебя захватить!.. Впервые я услышала цыган в Петербурге, в Новой Деревне. Впечатление было колоссальное... Э, подождите! У меня есть кое-что для вас. Вот...

Протянула мне два листочка из отрывного календаря от 22 и 23 января 1967 года. На обороте по-русски, с ятями, с твердыми знаками, было напечатано: «Цыганский хор».

«В наступившей тишине зазвенели гитары и волной хлынула песня. Эта музыка, дикая и нежная, волновала и будила безотчетную, щемящую тоску...»

— Да, милый друг, так оно все и было в Петербурге, когда я их услышала впервые. Вы перепишите, лучше все равно не скажешь... Да, да... Когда русский хор запоет, это действительно нечто! Но мы такие большие, что не надо хвастаться. Хвастаются только те, кто ни черта не имеет.

Пока я переписывал, она достала с полки том Некрасова, стала листать, наконец прочла вслух:

В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решеткой кругом
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом...

— Да, это было время. Жили — не торопились. А сейчас все как сумасшедшие! — весело добавила она.— Я только что вернулась из Вэнэции (она так и произносит: «Вэнэция»), там снимали (она так и говорит: «снимали») меня на пластинку. Дарю вам последнюю. Но ничего, еще выпьют!..

Во время оккупации Белграда к ней пришли немцы. Предложили петь. Она отказалась.

— Не могу, говорю, поймите, рада бы, да не могу. Я из-за бомбежек голос потеряла. Ну что за певица без голоса! А в ту пору весь Белград знал Ольгу Янчевецкую. Ого-го! Когда Янчевецкая, бывало, в «Казбеке» поет, муха не пролетит, кельнеры не служат... Да и теперь любого спросите — все меня знают. Все! Я в политику не лезла, я актриса. Я в политику не вмешивалась, но когда вижу такое дело — против России война, я петь им не стала. А уж как меня упрашивали! Немецкий офицер — он большой был знаток цыганской музыки — из Берлина приезжал ко мне. Это был единственный случай, когда я в политику влезла. А так — нет. Уж увольте, пожалуйста...

Спрашиваю, знает ли она русскую литературу, поэзию. Читает ли.

— О! Без конца читаем! Какой у вас замечательный был писатель Борис Лапин! О Севере писал. Мы его много раз перечитывали. Изумительно! Паустовского, конечно, знаем. А так все больше классиков. Лермонтов — это моя любовь. Некрасов.

Раз у отца в кабинете
Саша портрет увидал.
Изображен на портрете
Был молодой генерал.

Как хорошо! Покой какой исходит!.. Ну, и из поздних, конечно, тоже: Блок, Рукавишников...

Александр Петрович, постановщик фильма «Я встретил счастливых цыган», говорил мне:

— Фильм не о цыганах — о судьбе поэзии в мире. Она трагична, как судьба цыган. Как судьба свободы. Для меня свобода и поэзия — синонимы...

Жизнь на свете хороша,
коль душа свободна,
а свободная душа
господу угодна...

Эти строки «Ордена вагантов» добыты мной не только из подлинника.

3

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока...»

Волхвов было трое, три царя...

Между 1162 и 1164 годами в Кельн были перенесены из Милана останки трех волхвов, увидевших звезду Вифлеема. Со всей Европы в Кельн устремились религиозные процессии, потоки людей.

На гербе города Кельна изображены три короны.

В Кельнском соборе останки трех волхвов покоятся в золотой раке. В 1864 и в 1903 годах раку вскрывали. Изучение останков, завернутых в драгоценную ткань, показало, что один из волхвов — отрок четырнадцати — пятнадцати лет.

В XII веке Кельн стал священным городом. Он соперничал с Римом и мог претендовать на то, чтобы стать резиденцией папы.

Слава Кельна связана с именем Райнальда фон Дасселя, архиканцлера императора Фридриха Барбароссы и архиепископа Кельна.

Он был священник, воин и государственный муж. Это он вывез священные мощи из захваченного императорскими войсками Милана, куда они в свое время попали из Византии.

Архиканцлер и архиепископ умел разрушать, умел строить.

Милан, после двухлетней осады взятый штурмом, он стер с лица земли, распахал рыночную площадь, а борозды посыпал солью в знак того, что здесь навсегда будет пустыня.

Кельн он украсил множеством церковных и епископских зданий. В Гильдесхайме возвел каменный мост, колокольню и госпиталь. В Сесте основал женский монастырь.

Он был остроумен, прозорлив, образован. Одетый в шелка, украшенный русскими мехами, которые по стоимости превосходили золото, с белокурыми вьющимися волосами, он вызывал всеобщее восхищение.

Фридрих Барбаросса испытывал к нему особое расположение.

В те самые годы, а может быть, и в те самые дни, когда религиозный экстаз в связи с перенесением в Кельн мощей трех волхвов достиг своего апогея, когда в город толпы богомольцев со всей Европы текли, чтобы очиститься от земной скверны и приобщиться к высочай-

шим святыням, в Кельне появились стихи, которые при желании можно было бы назвать богохульными:

Я желал бы помереть
не в своей квартире,
а за кружкою вина
где-нибудь в трактире.
Ангелочки надо мной
забренчат на лире:
«Славно этот человек
прожил в грешном мире!

Простодушная овца
из людского стада,
он с достоинством почил
средь хмельного чада.
Но бродяг и выпивох
ждет в раю награда,
ну а трезвенников пусть
гложат муки ада!..»

Кто дерзнул вложить в уста небесным ангелам такой текст? Как следовало отнестись к этим строкам?

«Пусть у дьявола в когтях
корчатся на пытке
те, кто злобно отвергал
крепкие напитки!

Но у господа зато
есть вино в избытке
для пропивших в кабаках
все свои пожитки...»

Стихи были адресованы Райнальду фон Дасселю.

Архиканцлер и архиепископ Кельна не мог не заметить: автор величал себя пародийно опасным, шутовским титулом — Архипиит Кельнский...

До потомков дошло десять стихотворений Архипиита.

Якоб Гримм писал об этих стихах: «Вообще они кажутся мне лучшими из того, что была в состоянии создать латинская поэзия средневековья».

Все десять стихотворений посвящены Райнальду фон Дасселю.

Что связывало этих людей — Архипиита и архиепископа?

Архипиит окутан туманом. Никто не знает его настоящего имени. Да и причудливый его псевдоним сохранился лишь на одной-единственной рукописи — красными чернилами над текстом стихов.

Где он родился? Когда и где умер? Как жил?

Спросите кельнские камни, «Кельна дымные громады». Не скажут. Нет, скажут не сразу.

Сведения о нем надо было собирать по крупицам. Из его стихов-исповедей, стихов-проповедей, стихов — челобитных и жалоб. Не всегда поймешь, говорит он всерьез или ерничает. Так ли уж он хвор, нищ, бесприютен и беспутен, или это всего лишь маска, поза? Позиция? Иногда кажется, что бытие он принимает с чувством горестной иронии, иногда, напротив, с безоглядной беспечностью, упиваясь молодостью и свободой.

Узнаем: он немец. В одном из обращений к Дасселю он говорит: «Ты — немец, помоги и мне, как немец немцу». Это было написано, когда оба находились по ту сторону Альп. Во время итальянских походов Фридриха Барбароссы. В его стане.

Узнаем: он из рода рыцарей, никогда не знался ни с сохой, ни с заступом. Он книжник. Его наставник — Вергилий. Он цитирует Овидия и Горация. Он нашпигован знаниями.

Он музыкант. Он получил музыкальное образование. Он сам сочиняет музыку на свои тексты.

Он медик. Он обучался в салернской школе «у знаменитых ученых, чтоб исцелять обреченных». Потом бросил учение, разуверившись в медицине. Перенес тяжкую болезнь. Вернулся в Кельн.

Его шатало от слабости. И от вина. Ему казалось, что земля не держит его. Он воззвал к Дасселю: «Всем оказавший подмогу, выдели мне хоть немного...»

«Просьба по возвращении из Салерно» была написана не только виртуозно, но и расчетливо. Испрашивая подаяние, он старался разжалобить и одновременно развеселить: только так мог он достичь цели. Шутовством, озорством. Смелостью чуть большей, чем дозволенная. Весь секрет состоял в том, чтобы точно определить степень этого

«чуть». Иначе ты или еретик, смутьян, или очередной проситель, жалкий в своем подобострастии.

Архиепископ внял просьбе: выделил еду, питье. Платье, деньги. Коней. Бродячий школяр стал придворным поэтом.

От него не требовали, чтобы он изменил образ жизни или писал иначе. Пусть бродяжничает, пусть воспевает женщин, вино, азартные игры. Пусть утверждает, что винопитие угодно господу. Плотские радости пора примирить с христианством. Пусть обличает пороки. Пусть даже кощунствует.

Империи нужен свой вагант. Город, которым правит архиепископ, он же архиканцлер, должен иметь и архипиита...

Из Милана везли все новые реликвии. Кожаный хлыст, коим истязали Христа, наконечник копья, коим пронзили его тело. Дассель велел поместить реликвии в собор в Аахене, там, где коронуются германские императоры.

Созерцание священных реликвий побуждало людей к очищению, к исповеди. В Аахен, в Кельн кающиеся грешники стремились не меньше, чем в Рим.

В это время Архипиит выступил со своей пародийной «Исповедью»: перечень школярских добродетелей, перемежаемых нападками то на духовенство, то на унылых праведников из мирян. «Исповедь» звенела сквозными рифмами, словно переливались серебром строчки:

Я унылую тоску
ненавидел сроду,
но зато предпочитал
радость и свободу

и Венере был готов
жизнь отдать в угоду,
потому что для меня
девки — слаще меду!..

Семьсот лет спустя, переводя «Исповедь», я поражался богатству аллитераций, необычайной игре синонимами, анафорами, редкими тогда омонимическими созвучиями.

...Надо исповедь сию
завершать, пожалуй.
Милосердие свое
мне, господь, пожалуй!

Всемогущий, не отринь
просьбы запоздалой!
Снисходительность яви,
добротой побалуй.

Архипиит упивался латынью, грамматические выкидывал коленца: «Fertur in convinium vinis, vina, vinum; masculinum displicet atque femininum, sed in neutro genere vinum est divinum...»

Перевести это дословно немыслимо — получается примерно так: «Ну уж, конечно, на пиру — (мой) вин, (моя) ви́на, (мое) вино — мужской род отличается от женского рода, но в среднем роде вино божественно»...

Подступиться к этим строкам было крайне трудно — как сохранить латинское баловство в русском стихе? Одно было понятно: что латынь должна непременно сверкнуть: даже великого Бюргера, переложившего на немецкий язык отрывок из «Исповеди», упрекали, что он утратил колорит места и времени, изобразив скорее «бунтующего студента» XVIII века, чем веселого, загулявшего средневекового школяра, щеголяющего грамматическими вывертами. Знание латыни имело для школяра или клирика первостепенное значение.

Где-то я вычитал современный Архипииту шванк о бродячем монахе, который, заявившись в чужой монастырь, попросил вина на дурной латыни, перепутав род: «Vinus bonus est, vina bona est» (скажем, «этот вин хорош, эта ви́на хорошая»), за что и был наказан — ему налили плохого вина. И лишь когда он исправил ошибку, употребив правильное «vinum bonum», ему подали хорошее вино со словами: «Какова латынь, таково и вино»...

В своем переложении я не смог сделать ничего иного, как заставить моего автора просклонять vinum — вино — хотя бы в трех падежах:

Ах, винишко, ах, винцо,
Vinum, vini, vino!
Ты сильно, как богатырь,
как дитя, невинно.

Да прославится господь,
сотворивший вина,
повелевший пить до дна —
не до половины!..

Едва появившись, «Исповедь» вызвала множество подражаний. Все стали сочинять исповеди. «Исповедью» зачитывались, ею восхищались, на вагантов началась мода. Самые чопорные, отрешенные от жизни поэты вдруг захотели писать, как ваганты.

Архипиит сделался властителем дум.

Сразу же объявились завистники. Придворные нашептывали Дасселю: Архипиит — певец распутства, он с переизбытком вкушает земные радости, он злоупотребляет снисходительностью архиепископа для богопротивного дела.

В среде вагантов также шушукались: Архипиит чрезмерно подобострастен, он царедворец, он не поэт, он скоморох, шут.

Дассель потребовал, чтобы он сочинил эпическую поэму о великих деяниях Фридриха Барбароссы: об итальянских походах, о завоевании Милана... Архипиит осторожно отклонил просьбу мецената в присущем ему ерническом, полушутливом тоне, ссылаясь на неумение, на незнание, на то, что «недостоин». Дело завершилось сочинением гимна в честь императорской власти безотносительно к личности Фридриха Барбароссы.

На этом следы Архипиита теряются. Но не он ли возникает перед нами в строках «Стареющего ваганта»?

Люди волки, люди звери...
Я, возросший на Гомере,
я, былой избранник муз,
волочу проклятья груз.

Зренье чахнет, дух мой слабнет,
тело немощное зябнет,
еле теплится душа,
а в кармане — ни шиша!

Фортуна с непроницаемым лицом следила за ходом событий...

Кумиром европейских вагантов был Пьер Абеляр.

История его известна. Он был сыном богатого рыцаря, могущественного землевладельца. Его ждали геройские подвиги в духе «Артурова цикла». Он мог стать воином, крестоносцем, грозным феодалом, но предпочел философию, подался в ваганты, в бродячие школяры, странствовал в поисках знаний из школы в школу.

Вскоре у него самого появились ученики. На холме близ Парижа он раскинул свой «школьный стан». О кафедральной школе святой Женевьевы мечтали молодые люди всей Европы.

В жизнь Абеляра вошла Элоиза, племянница парижского каноника Фульбера. Абеляр поселился в доме Фульбера, стал учителем, затем возлюбленным Элоизы, наконец ее мужем.

Эта любовь, этот брак навлекли на него тягчайшие бедствия. Он был подло изувечен нанятыми Фульбером преступниками — оскоплен.

Элоиза ушла в монастырь. Абеляр удалился в пустынь в округ Труа, в долину реки Ардюссона. Из тростника и соломы он выстроил себе молельню. Узнав об этом, его ученики, ваганты, начали стекаться к нему и, покидая города и замки, селиться близ его молельни. Их тянуло к знаниям больше, чем к вину. Вместо просторных домов они строили маленькие хижины, вместо изысканных кушаний питались сухим хлебом, вместо мягких постелей устраивали себе ложе из соломы, вместо столов делали земляные насыпи. Ученики обрабатывали поля, чтобы снабдить учителя всем необходимым. Переписывали и распространяли его книги.

Муж, в науках преуспевший,
безраздельно овладевший
высшей мудростью веков,
силой знания волшебной,—
восприми сей гимн хвалебный
от своих учеников!

Чем он завоевал их сердца, их умы?.. Он внушал: излишни слова, недоступные пониманию; нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял; смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом. Не сам ли господь жаловался, что поводырями слепых были слепцы?

Церковь считала Абеляра опаснейшим из еретиков.

Учеников Абеляра называли бесстыдными, безумными, их образ жизни — развратным и беспорядочным. Их обвиняли в наглости: невежественные школяры смеют рассуждать о святой троице!

Абеляр в своей новой книге «История моих бедствий» подробно описал трагедию Элоизы и Абеляра.

Автобиография Абеляра попала к Элоизе. Она читала ее, уже будучи аббатисою женского монастыря.

Она взялась за перо, чтобы написать письмо, быть может величайшее из всех женских писем:

«Своему господину, а вернее — отцу, своему супругу, а вернее — брату, его служанка, а вернее — дочь, его супруга, а вернее — сестра, Абеляру — Элоиза...»

Тогда в монастырях еще не утрачено было право переписки, не отнято. И Элоиза призывала Абеляра ответить ей, вспоминая при этом Сенеку, писавшего своему другу Люцилию:

«Благодарю тебя за то, что ты часто мне пишешь. Ведь это единственный для тебя способ явиться ко мне. Всякий раз, получая твое письмо, я сейчас же вижу тебя со мной вместе».

Письма могут обладать таким чудодейственным свойством. Мы это знаем.

Она писала:

«Если нам приятно смотреть на портреты отсутствующих друзей, ибо эти портреты оживляют нашу память о них и обманчивым, призрачным видом утоляют тоску по отсутствующим, то еще приятнее письма, в коих мы получаем осязательные приметы отсутствующего друга. Благодарение богу, никакая злоба не помешает тебе общаться с нами хотя бы этим путем, никакие помехи не воспрепятствуют тебе в этом, и, умоляю тебя, пусть не задержит тебя и никакая небрежность».

Вот что писала невольная затворница скопцу. Мужу — жена. Без всякой надежды увидеться. Быть вместе. Но, кажется, ничего на свете нет выше их переписки.

В сборнике «Лирика вагантов» горестные стихи женщин были навеяны мне образом Элоизы.

...Горькие слезы застлали мне взор.
Хмурое утро крадется, как вор,
ночи вослед.
Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя и меня
в серый рассвет.

Судьба разлучила Абеляра и Элоизу, но поставила их имена навсегда рядом.

Абеляр и Элоиза.

Их переписка обычно печатается вместе с «Историей моих бедствий»...

Ваганты продолжали распространять сочинения Абеляра. Из Франции они попали в Италию, Германию, Англию. Их дух, дух воли и разума, живет во всей лирике вагантов.

Правда правд, о истина!
Ты одна лишь истинна!..

...Я возвращался из Аахена в Кельн. За несколько дней до этого, в самом сердце Кельнского собора я видел саркофаг, в котором по-

коится прах Фридриха фон Дасселя. Я видел и раку трех волхвов, украшенную золотыми фигурами Моисея, Аарона, царя Соломона, Иеремии, Ионы, Авдия... Изготовленные аахенскими мастерами в XIII веке, они поражали сходством с античными скульптурами, гармоничностью, естественностью. Это было, выражаясь научным языком, искусство проторенессанса XIII века. В Аахене в древнем соборе я рассматривал мраморный трон Карла Великого и Фридриха Барбароссы, под которым сквозь специальное отверстие проползали вассалы, демонстрируя восседавшему на троне императору свою безграничную покорность и преданность. Император тем временем наблюдал за богослужением.

При въезде в Кельн у здания одного из ведомств стоял молодой человек с большим белым плакатом на спине: «Hungerstreik aus Liebe!» («Голодовка из-за любви!»). Он размахивал какой-то книгой.

Что заставило этого человека написать такие слова, пойти к зданию официального ведомства?

Безучастно смотрели на него, подходя к окнам, чиновники. Шли мимо редкие прохожие. Проносились автомобили...

Я переводил лирику вагантов. Я знал историю Абеляра и Элоизы. Я переводил балладу о графе фон Фалькенштейне: перед любовью расступились стены крепости, смягчилось сердце феодала.

Я переводил «Балладу о вейнсбергских женах»: тронутый любовью и верностью, всемогущий кайзер снял осаду с города Вейнсберга.

Я переводил любовную лирику десяти веков. Поэты, большие и малые, пели о силе любви, о том, что любовь сильнее смерти, о том, что любовь прочнее всех крепостей, о том, что перед любовью бессильны решетки, стены, границы. Но вот здесь передо мной на кельнском асфальте стоял молодой человек и взывал: ГОЛОДОВКА ИЗ-ЗА ЛЮБВИ!

И на это никто не обращал никакого внимания.

Это был XX век. Его последняя четверть.

4

О фортуна!..

Трудно разгадать загадки судьбы, узнать, что будет. А узнать, что было?

Я вспомнил об одном автомобильном путешествии в Прибалтику...

...Это было похоже на двор пожарной команды с сарайными, выкрашенными в зеленый цвет дверьми гаражей, пустынный двор, по которому прохаживался одинокий дежурный солдат. Из-за забора виднелась тюрьма с ржавыми козырьками на окнах.

Сметанина в конторе не оказалось, он уехал обедать.

В это время с улицы вошел молодой человек в штатском, посмотрел на меня с беззлобно-профессиональным вниманием и осведомился, что мне здесь нужно.

Это и был Сметанин. Не выписывая пропуск, он провел меня к себе в прохладный свой кабинет...

Собственно говоря, я сюда заехал по пути к морю, хотя повод уж очень был не курортный: история местного гетто, которую я хотел описать в связи с тем, что в Западной Германии нашли бывшего его начальника и гебитскомиссара, их вроде бы собирались сейчас там судить, даже уцелевших свидетелей будто бы вызывали. Обо всем этом я мельком слышал в редакции «Литературной газеты» в Москве, но подробности мне посоветовали выяснить прямо на месте через Сметанина, который все это дело расследовал.

И все же была у меня еще одна — интимная, можно сказать,— причина посетить этот город, в котором я прежде никогда не бывал, но в котором родилась и вышла замуж за моего отца моя мать и с которым было связано множество семейных преданий. С детских лет я то и дело слышал от матери, от отца, от дедушки с бабушкой об этом городе, где до первой мировой войны (или, как тогда выражались, «в мирное время») они жили на Шильдеровской улице, покуда наступление немцев не заставило их в 1915 году, то есть за шесть лет до моего рождения, перебраться в Москву и осесть в ней уже окончательно.

Странное дело, но в раннем детстве Москва казалась мне намного меньше того провинциального прибалтийского города, бывшего в моем представлении беспредельным, как мир. Да это и был своего рода мир, манящий мир фамильных традиций, легенд, праздников и всевозможных событий, навсегда оставшихся за гранью истории.

И вот летом 1966 года, когда никого из тех, кто некогда обитал на Шильдеровской улице, уже не было в живых, я эту грань переступал, вернее — п е р е е з ж а л, захватив с собой жену и детей, которых тоже хотел приобщить к семейным преданиям. Но детей почему-то все это мало трогало. Отгороженные от всего, что здесь было, благополучной жизнью своей среды и своего поколения, они думали о том, как бы поскорей, проскочив через этот город, попасть на взморье, и, сидя за моей спиной в «Победе», почти не смотрели по сторонам, погрузившись в чтение «Тихого Дона» (сын) и «Прощай, оружие!» (дочь).

Между тем, миновав Смоленск, мы проезжали по тем местам и местечкам, откуда брали свои истоки три наши жизни — моя и моих детей — и где когда-то, лет сто назад, зачинали нашу биографию неведомые нам прабабки и прадеды. Напрягая воображение, я старался представить себе их тени, их смутные образы, но ничего не получалось, и я видел перед собой лишь длинное асфальтированное шоссе, бегущее мимо сосновых лесов, затем возникали похожие друг на друга райцентры с новыми типовыми строениями: прошлое не быльем поросло, его просто не существовало, его застроили, как застраивают пустырь.

На ночлег мы остановились в областном городе, куда привезли однажды учиться в гимназию моего отца, но и здесь ничем интимно родным на меня не пахнуло: город был современный, с институтами, техникумами, с заводами и филармонией, где, как извещали афиши, выступал в этот день столичный симфонический оркестр, и в вестибюле гостиницы я встретил одетого во фрак знаменитого московского дирижера...

Все ближе и ближе подъезжали мы к городу, в котором родилась моя мать и в котором мой дед был директором страхового общества или страхового какого-то банка. В нашей московской квартире, расположенной на первом этаже, окно ванной комнаты заделано было от воров железной вывеской «Страховое общество „Саламандра"», и эта железная вывеска вместе с завалявшимися в ящике письменного стола визитными карточками деда на плотной красивой бумаге и плюшевым альбомом с фотографиями мужчин в сюртуках, с крахмальными стоячими воротничками, с бородками и женщин в широкополых шляпах со страусовыми перьями составляли для меня д о р е в о л ю ц и ю.

Дедушку иногда навещали его земляки и приятели, также переехавшие вместе со своими сыновьями, дочерьми и зятьями в Москву. У одного из этих стариков была шуба на л и р е, то есть на лисьем меху, у другого палка с костяным набалдашником, третий носил пенсне на тесемочке: такими я их запомнил. Они сходились по вечерам, играли в шестьдесят шесть, постепенно их становилось все мень-

ше. Дедушка пережил их всех, он умер последним и, умирая, в полубреду царапая пальцами стену, произнес: «Уходит старая гвардия».

Между тем их дети крепко вросли в московскую почву, один из них даже стал заместителем наркома, и его отец считался в дедушкином кружке самым левым. Он приезжал на служебном автомобиле сына и сердился, когда другие за карточной игрой поругивали нынешние времена и порядки. Словно желая перевоспитать своих сверстников в новом духе, он рассказывал им о пользе индустриализации и о том, какая это замечательная вещь — метро, которое сейчас строят в Москве: «Это чудо, это настоящее чудо!..» Вспыхивал спор, и бывало, что, распалившись, старик уходил, громко хлопая дверью, но через несколько дней вновь появлялся, усаживался за стол, тасовал карты, и все начиналось сначала...

Признаться, мне всех этих стариков было немного жаль и жаль было тот город, который без них казался мне покинутым и осиротевшим. Кто жил сейчас здесь? Кто гулял по дамбе возле крепости, куда они под руку со своими женами ходили по вечерам слушать военную музыку?

Куда это все провалилось?..

Постепенно в нашей семье (особенно после смерти дедушки и бабушки) воспоминания о городе стали стихать, а затем и вовсе угасли, и когда он, считавшийся в течение двадцати лет заграницей, поскольку входил в состав Латвии, вновь стал советским и, следовательно, открытым для беспрепятственного въезда, ни моя мать, ни мой отец и не подумали воспользоваться возможностью навестить некогда столь дорогое сердцу прошлое.

Уже ничего, никаких следов не осталось: ни железной вывески, ни визитных карточек, а за годы войны и эвакуации побилась даже вывезенная «из прошлого» фарфоровая посуда с голубыми цветочками, которую при дедушке ставили на стол в особо торжественных случаях; от нее уцелела одна только суповая тарелка, и теперь ею пользовались каждый день, буднично...

... — Ну так мы вам это устроим,— сказал Сметанин, выслушав суть моей просьбы, и чуть усмехнулся.— У нас здесь есть специалист по всем этим делам, зубной техник Миндлин Симон Абрамович. Я вас сейчас с ними свяжу.

Сметанин, не заглядывая в записную книжку, по памяти набрал номер телефона и вызвал Миндлина. Мы договорились встретиться в гостинице завтра.

Миндлин пришел — старик лет семидесяти, с коричневой от загара пятнистой лысиной, с закатанными по локоть рукавами спортивной рубахи и почерневшими от работы пальцами. Чем-то он был похож на старого американского фермера, и у подъезда гостиницы стоял его «кар» — голубая новая «Волга».

Потом, сидя с ним рядом, я наблюдал, как он уверенно водит машину и говорит, говорит....

Свой город он хорошо знал, и все его в этом городе знали, немного побаивались и уважали по разным, очевидно, причинам. Для одних он был искусный протезист, для других — лицо, связанное с властями, для третьих — официально признанная и как бы узаконенная жертва фашизма, ветеран гетто, которого «по этому поводу» даже за границу посылают и по телевизору он выступал с воспоминаниями...

Он по-хозяйски заглядывал в магазины, перебрасывался одним-двумя словами с директором или продавцом, и ему тут же выносили нужную ему вещь; в центральной гостинице, носившей название «Москва», ему приветливо улыбалась дежурная, а когда он в поисках живых свидетелей привел меня в молитвенный дом, молящиеся тут же смолкли и обступили его, словно ожидая очередного распоряжения.

Везя меня по городу, он то и дело останавливал свой автомобиль, и «на минуту» заскакивал — в суд, в аптеку, на почту: всюду ему было нужно.

Рассказывать он начал с места в карьер, только рванул машину, тут же и пошло без умолку:

— Откровенно сказать, здесь досталось всем. Этих ровно через год взяли в крепость, и они там сапожничали, а потом их убили айсарги. Ну, одного из мерзавцев я в сорок девятом году нашел, это был Рокпелнис, айсарг, я его узнал на улице, побежал за ним, задыхаюсь, но догнал у проходной завода, вызвали милиционера, я звоню в Ригу заместителю министра, при моих связях это сделать было нетрудно, вся Латвия носит мои челюсти, и тогда, при Ульманисе, и потом, а сейчас я начальнику ОБХСС сделал нижнюю челюсть, да, так вот, я немедленно связываюсь с заместителем министра, из Риги выезжают прокурор, следователь, и Рокпелниса берут, судят, ему дают двадцать пять лет... А теперь мы едем по улице Райниса, что вам рассказывать, вы сами видите, это — красота! До войны здесь ничего этого не было, все новостройки, а секретарь горкома у нас замечательный: очень интеллигентный человек, никогда не повысит голоса, никогда не кричит, я был у него на приеме, так он мне подал пальто... Да, так вот, с сорок девятого года я их вылавливаю, у меня заведен целый архив, я имею двести сорок пять карточек, работаю, конечно, в контакте с органами, а началось все с того, что я увидел сон. Мне приснились моя жена и дочь, девочка четырнадцати лет, красавица, я сплю и слышу, как они меня зовут: «Папа, мы приехали, папа, открой!» Я кричу, я падаю с кровати, жена страшно испугалась: «Что с тобой?» Это моя вторая жена, тоже из гетто, мы с ней познакомились после войны, у нее тоже все погибли: дочка, муж... Так вот, моя покойная жена (она, бедная, умерла в прошлом году — столько переживаний, кто это может выдержать?) говорит: «Знаешь что, отправляйся в Польшу, в Штутгоф, они тебя зовут, разыщи их могилу»... И вы знаете, я добился: через того заместителя министра получил паспорт, визу, все в порядке, я еду в Штутгоф и, конечно, никаких следов не нахожу. Какие следы! Памятник, братская могила — и все. Но с тех пор я немного успокоился и начал действовать...

Город, по которому мы ехали, был зеленым, нешумным и опрятным, как все прибалтийские города. Сейчас его перестраивали и расширяли: многие улицы были перекопаны — где прокладывали трамвайную линию, где трамвайную линию снимали,— в зелени цветов стояли застекленные кафе новейшего образца. Но Шильдеровская улица (ныне Юрия Гагарина) сохранила свой прежний облик: здесь все дома были старые, трехэтажные, и я тут же заселил ее в своем воображении людьми из семейного альбома. Я прямо-таки, можно сказать, у в и д е л моего деда, направляющегося к себе в банк, с золотой цепочкой на жилете, в котелке, с палкой и мою мать — маленькую девочку с косичками, с бантом, в гимназическом платье, в высоких зашнурованных ботинках.

Миндлин тем временем подвел меня к красному кирпичному дому и стал рассказывать, что именно из этого дома его вместе с женой и дочерью в августе сорок первого года вывезли в гетто, в крепость, которую нам предстояло теперь осмотреть.

Я уже говорил, что в детстве об этой крепости как об одной из примет и достопримечательностей города слышал неоднократно, и она мне мерещилась в виде какого-то рыцарского замка. Впрочем, упоминали ее и в связи с событиями 1905 года: туда ходили демонстрации с красными флагами и требовали освободить заключенных.

Вообще эта крепость, построенная в начале прошлого века для защиты западных рубежей державы, никогда, собственно, по своему прямому назначению не использовалась. Николай I превратил ее в

тюрьму и содержал там декабристов, позже в крепости сидели участники крестьянских бунтов, затем народовольцы, вслед за ними социал-демократы, потом, в годы первой немецкой оккупации, заложники, во времена буржуазной Латвии — коммунисты, в гитлеровскую оккупацию здесь было гетто....

— ...И вот собрали нас здесь пятнадцать тысяч человек,— рассказывал Миндлин,— мы лежали на дворе, теснота и жара были страшные — август! — к тому же воду отключили, и люди умирали от жажды, под палящим солнцем, можете представить себе, какой стоял гвалт, особенно маленьких детей было жалко. Мы уже и не ждали для себя ничего, думали, что так и умрем здесь, и вдруг — спасение, чудо! Приходит офицер, щеголь: «Прекратить безобразие! Кто желает, сейчас же будет отправлен в Пески (это дачное место, кто не ездил на лето в Пески!) — там мы разместим вас по-человечески». Конечно же, захотели все, началась давка, составляются списки желающих, и каждый норовит в этот список попасть, и уже активисты нашлись, как в любой очереди, чтобы следить за порядком и чтобы кто-нибудь не дай бог не пролез в список раньше него... Словом, что вам тут долго рассказывать, мы в список так и не попали, нас и еще десять — пятнадцать семей оставили в крепости, а «счастливчиков» увезли. Вы знаете, куда их увезли? Вы когда-нибудь бывали в Песках? Там две тысячи пятьсот детей было расстреляно сразу, там кругом косточки, если начать копать, земля закричит от ужаса, мы туда с вами обязательно съездим... Но к чему я вам все это говорю? А к тому, что этот офицер был сам гебитскомиссар Швунг, и в связи с его делом меня в позапрошлом году как свидетеля посылали в Западную Германию. Нет, я действительно считаю, что жизнь полна чудес и что никогда заранее нельзя сказать, как и что куда повернется. Ну, вы представляете себе, что было бы со Швунгом, если бы ему тогда, в августе сорок первого года, кто-нибудь показал на меня, шепнул кто-нибудь, что вот этот несчастный еврей, это страшилище из гетто, этот обреченный, смертник не только не умрет, а через двадцать пять лет как свидетель от Союза Советских Социалистических Республик приедет к ним в Германию, которая, между прочим, будет совсем не Германия, как была, а что-то немножечко другое — З а п а д н а я Германия (Германскую Демократическую Республику я не трогаю),— и он, Швунг, будет дрожать при мысли, что я могу его опознать и закричать: «Вот он!» Но тогда ни он и ни я даже и подумать об этом не могли, такая это была бы фантазия... Меня оставили в гетто, и я два года работал у них по специальности. Не хочу врать: я имел возможность кое-как жить и кормить свою семью, и даже из Риги ко мне приезжали немцы-заказчики... Вам, наверно, это покажется странным, но в гетто тоже была своя жизнь, и люди, которые все были обречены на обязательную смерть, занимали различное положение, как в жизни. Были низы и верха, а некоторые были даже засекречены, находились у немцев на секретной работе. Каждое утро их куда-то увозили, а вечером привозили обратно, никто не знал, в чем состоит их служба, и только я совершенно случайно узнал об одном из них. Это был владелец галантерейного магазина Авербух, мой бывший пациент. Так хотите знать, к е м он работал? Он был у с п о к а и в а ю щ и м. Он, когда прибывали на вокзал эшелоны со смертниками, которых тут же после разгрузки выводили за город и убивали, стоял на перроне хорошо одетый, в хорошем костюме, выбритый и причесанный, встречал приезжающих и вместе с другими, выделенными на эту работу, сопровождал людей до самого места казни, и когда начинались волнения или паника, успокаивал их и говорил: «Ну что вы волнуетесь? Видите, я такой же еврей, как и вы, и ничего со мной плохого не сделали, здесь очень сносные условия, посмотрите на меня и скажите: разве я похож на жертву? Перестаньте валять дурака и успокой-

тесь...» А потом, когда тех доставляли, он сдавал костюм на склад, переодевался в свои лохмотья с желтой звездой и ехал назад, в крепость. И так каждый день, пока до него самого не дошла очередь. И вы знаете, этот Авербух не считал, что он поступает плохо, он считал, что делает хорошо, потому что люди нуждаются в моральной поддержке, а гебитскомиссар Швунг и комендант гетто Тауберг радовались, что избегают паники... Да, так я отвлекся, а вас, наверно, интересует, что было со мной в Западной Германии, потому что вы пишете о реваншизме... Мы приехали в Дортмунд — семь человек. Ну что вам говорить: город шикарный и приняли нас роскошно. Когда мы стали рассказывать, секретарша плакала, а следователь взялся за голову: «Боже мой, какие канальи!» Я говорю: «Зачем вы хватаетесь за голову? Вы лучше скажите, что будет с этими разбойниками, где они, дайте мне на них посмотреть, я их узнаю в лицо, а если вы задержали Тауберга или Швунга, то у Швунга мои зубы, а уж если я делал зубы, то можете быть уверены, что он носит их до сих пор, а я свою работу узнаю!» «Nein, nein,— говорят.— Нельзя. Это может помешать следствию». «Warum? Почему помешать?» Ну, понятно, это одна компания, зачем им нужно, чтобы я их опознавал, достаточно, что они нас вызвали, допросили и кормили как на убой: пятьдесят марок суточных, это громадные деньги, помножьте пятьдесят на семь — триста пятьдесят марок! Мы оделись с головы до ног... «Ну так как с нашим делом?» — спрашиваем. Следователь делает серьезное лицо: «Kommt Zeit, kommt Rat», то есть со временем все будет в порядке... Вот уже два года, как мы ждем, никакого суда, конечно, нет. Я им написал, наверно, тысячи писем, я и в Нью-Йорк писал, в ООН, ответ только один: следствие продолжается. С каких это пор, спрашивается, они стали такими законниками? Какое еще нужно следствие? Или они хотят их всех подвести под амнистию? Или ждут, пока их на нервной почве хватит инфаркт и тогда их нельзя уже будет судить как больных?! Вот о чем вы должны написать, вот о чем надо бить во все колокола! Может быть, обратиться к Сергею Сергеевичу Смирнову? К Эренбургу? А может быть, Евтушенко может написать об этом стихотворение?..

Я и не заметил, как вокруг нас собралось несколько слушателей: лейтенант, два солдата. Когда Миндлин перевел наконец дух и стал утирать платком свою лысину, они посмотрели на него с сочувствием, а лейтенант спросил, не согласится ли Миндлин выступить перед личным составом на политзанятиях, поскольку в плане у них есть тема про неонацизм...

В Пески мы ехали по той самой дамбе, по которой любили гулять мои дедушка с бабушкой, да и теперь было много гуляющих, главным образом молодежи. Километрах в пятнадцати от города начинался дачный поселок, тоже известный мне по рассказам: я и об этих Песках слышал в детстве.

— Да, здесь все были дачи, все дачи,— сказал Миндлин.— И ваши, наверно, тоже сюда выезжали... Здесь жил инженер Глинтерник, здесь — доктор Лурье, здесь — адвокат Ратнер... Это вообще золотые места, особенно для гипертоников, я вам рекомендую как-нибудь приехать сюда отдохнуть всей семьей... Так вот, вы видите этот памятник?

За поселком в лесу виднелась скульптурная группа. Миндлин заглушил мотор и, тяжело наклонившись вперед, словно его подталкивали, подошел к ней. Впервые я подумал о том, как он все-таки стар.

— Вот куда их привезли.

Он замолчал, переживая все заново.

— В пятьдесят четвертом году я добился, чтобы поставили памятник, это стоило немалых хлопот, работали архитекторы, мест-

ный скульптор, комиссия принимала, но памятник мне не нравится. Это что-то не то, это какие-то богатыри, видите?

Теперь он внимательно оглядывал местность, поросшую густой зеленой травой, присматривался к бугоркам, к холмикам и свой разговор вел с ними, одним им понятный...

Походив между холмиками, Миндлин вернулся к машине. Он был чуть подавлен, потерял прежнее расположение духа, но усевшись за руль, отдышался и, когда мы вновь проезжали через дачный поселок, снова принялся рассказывать.

— Видите эту дачу? — спросил он, вертя головой.— Это была моя дача, я ее сам построил до войны для жены, для дочки, но потом, чувствую, не могу сюда возвращаться, хотя дача осталась целехонькой и у меня были все документы и свидетели сохранились. И я мог ее получить назад в любую минуту... Нет, это было невыносимо, слишком много было горьких воспоминаний...

Он снова вернулся к своей одиссее времен оккупации, как жил в гетто, и как однажды ценой невероятных усилий и огромного подкупа перебрался с семьей в город, справедливо полагая, что гетто вскоре будет ликвидировано, потому что фронт приближался и всем было совершенно ясно, что немцы уйдут...

— И вот уже спасение было совсем рядом, мы уже думали, что спасены, как нас заметила одна негодяйка, наша бывшая соседка, я не знаю, что мы ей плохого сделали. Она увидела нас на улице и тут же стала во весь голос орать, звать полицию. Я ее потом нашел, разоблачил, она отсидела лет пять, а сейчас вернулась и живет, что ей сделается? Это бык, а не женщина... Да, она живет, а нас тогда схватили — и никаких разговоров, погнали на вокзал, там формировался эшелон в Штутгоф, в лагерь смерти. Нас разлучили, растолкали, и вот в этой толчее я затерялся, вышмыгнул из толпы, сорвал с себя желтые латки и окраинными улицами — никто меня не задерживал, не до меня им было, уже артиллерия была слышна совсем близко — выбрался за город...

Миндлин спросил, что бы мы хотели еще осмотреть: достопримечательных мест много, за один раз все не успеть, можно, конечно, посетить музей, или пойти отдохнуть в парк, или на старое кладбище, где у Миндлина похоронена вторая его жена и где он поставил ей лучший на всем кладбище памятник. С этим кладбищем у него связано одно воспоминание о том времени, когда он выбрался из гетто и долго не мог найти убежища в городе. Тогда он пришел сюда к старику сторожу с просьбой помочь ему спрятаться или дать какой-нибудь совет...

— Так вот этот старичок говорит: «Знаешь, Симон, у меня есть яд, все равно тебя убьют, прими яд, и я тебя похороню как человека, а ты мне отдашь за это свой костюмчик. Зачем он тебе, если ты все равно будешь покойник?» Я тогда подумал: может быть, действительно стоит так сделать? Но потом все-таки не согласился. Умереть человек всегда успеет. Всего один раз дается человеку жизнь, но сколько раз хотят ее у него отобрать! На каждом шагу! Это ужас!

Кладбище, по которому мы шли, было очень старым, со множеством заброшенных и запущенных могил: осколки старинных надгробий со стершимися письменами, вросшие в землю, напоминали надолбы. Очевидно, под одним из таких камней лежал мой прадед, и от прикосновения к этой земле меня словно током ударило: впервые в жизни я так реально, физически ощутил связь поколений, величайшее таинство бытия, связующее предков со мной, а меня через моих детей с неведомыми мне потомками...

Угадав мои чувства, Миндлин принялся подробно и обстоятельно, как экскурсовод, излагать историю здешних фамилий, обращаясь то ко мне, то к моим детям. А они стояли, усталые от дороги, от рас-

сказов Миндлина, разомлевшие от солнца, которое припекало все жарче, и, дергая меня за рукав, тихонько просили:

— Едем к морю...

Прожита длинная, далекая жизнь.

5

О фортуна! Сжалься!..

На кого наваливалась чугунная тяжесть молчания? Кому ведомо это понятие н е т, за которым зияет огромная пустота? Кто ощущал прикосновение кончика отточенного меча к самому сердцу?

Ложь и злоба миром правят.
Совесть душат, правду травят,
мертв закон, убита честь,
непотребных дел не счесть...

Карл Орф, положивший на музыку песни, найденные в монастыре Бенедиктбейерн, был прежде всего ч и т а т е л е м. Не композитор овладел текстом, скорее наоборот: текст завладел композитором, заворожил ритмом, музыкальностью. Он слышал текст. Видел.

«Carmina Burana» Орфа — сценическая кантата, музыкальное действо. Вот описание одной из постановок.

В центре колеса, вставленного в огромное готическое круглое окно, восседает на троне Фортуна. Хор в монашеских одеяниях ржаво-кирпичного цвета поет песни вагантов. Сцену заполняют бродячие музыканты, школяры, бурши, миннезингеры, сельские девушки. В таверне горланят пьяницы. На зеленом лугу кружатся в хороводе влюбленные.

Потом Фортуна выходит из своего колеса, производит странные мистические движения: искушает. Все погружается в нереальный сумеречный свет, как внутри церкви. Девичьи хороводы становятся плясками смерти, сцена в таверне — оргией демонов.

В апофеозе молодые влюбленные пары воссоединяются: мистическая, призрачная свадьба.

Фигура богини любви сменяется фигурой Фортуны.

В мощном финале — то ли скрытая угроза, то ли торжество радости...

Шквал оваций. Дирижер Герберт Караян поднимает оркестр.

Критика называет кантату гимном радости жизни, хвалебной песнью миру. Дело происходит в Берлине в 1941 году. Отныне кантате неизменно будет сопутствовать успех, ее назовут бестселлером музыки XX века.

Сам Карл Орф признается: «С «Carmina Burana» начинается собрание моих сочинений».

Рихард Штраус в письме к Орфу писал о «Carmina Burana», что его потрясла «чистота стиля этого произведения, его безыскусный язык, лишенный какой-либо позы и какой-либо оглядки налево и направо...».

Изменчивая, как и сама фортуна, кантата в разное время принимала облик то старинной придворной пасторали, то простонародного действа в духе баварского крестьянского театра, то аллегорической мистерии. В 1975 году в связи с восьмидесятилетием Орфа в ФРГ показали цветной телефильм: колесо фортуны с одной стороны крутил ангел с белыми крыльями, с другой — весь в черном, черт. Игра между небом и адом...

Приступая к переводу лирики вагантов, я думал о Карле Орфе. Этот загадочный старик пережил третий рейх, не став ни его барабанщиком, ни борцом сопротивления, ни эмигрантом (даже внутренним).

Об Орфе я знал не так уж много. Не знал, что он живет в Диссене-на-Аммерзее, совсем близко от Гаутинга, где я столько раз бывал и столько раз имел возможность с ним встретиться.

Главное, я не знал, что с ним будет связана моя судьба.

Фортуна...

Был путаный, липкий, дождливо-душный день в Лихтенфельзе, когда ко мне явилась С у д ь б а и протянула в белом конверте небольшое письмо. Оно касалось простейших литературных вопросов. Откуда это: «Эх, без креста!» — из какого стихотворения Пушкина взяты строки: «Я стал доступен утешенью, За что на бога мне роптать»? Кому принадлежат слова: «Рожденный ползать, летать не может»?

В этот день поэтесса Инге Фольденауэр-Лозе и ее муж адвокат Конрад Фольденауэр-Лозе предложили мне поехать в близлежащий Бамберг.

Сначала мы пили кофе у них дома в просторном, уставленном прекрасными книгами и цветами кабинете, слушали Моцарта, Орфа. Музыка звучала мощно, отчетливо, как в концертном зале.

День рыданий, день стенаний,
нет пред богом оправданий...

Моцарт, «Реквием», Lacrimosa... И вдруг я понял, что с у д ь б а пришла, она здесь.

Мировые гении... Создав свои книги, симфонии, картины, стихи, они вручали их человечеству. Дальнейшее, все, что будет с их детищами, зависело уже не от них...

Конрад Фольденауэр-Лозе сказал мне, что Карл Орф живет в Диссене-на-Аммерзее и что встретиться с ним, очевидно, не составит большого труда. А сейчас мы отправимся в Бамберг.

Бамберг знаменит главным образом тем, что в нем на Шиллерплац в узком трехэтажном домишке с 1808 по 1813 год жил Эрнст Теодор Амадей Гофман.

В Бамберге Гофман вел свой дневник, начатый еще в Плоцке, в Польше: лаконичные нервные записи, иногда знаки. Чаще всего изображение рюмки. Неожиданно в дневнике появилось сочетание букв: К т х. Ими стала завершаться каждая запись. Бывало, что К т х повторялось дважды, трижды, словно Гофман заклинал кого-то:

«...К т х — К т х! — К т х!!!! — возбужден до безумия...»

К т х означало К е т х е н, Кетхен из Гейльбронна, героиня одноименной пьесы Генриха фон Клейста. Именем Кетхен Гофман про себя назвал Юлиану Марк, юную певицу, которую обучал музыке.

Он был старше Юльхен на двадцать лет. Ему было тридцать пять, ей пятнадцать. Он был женат.

Любовь сжигала его, на него находили тяжелые приступы отчаяния, тоски. Он мечтал о самоубийстве. В дневнике появилось изображение пистолета.

Это длилось мучительно долго — несколько лет.

Потом появился некий сын коммерсанта.

«...я сознаю, что великая мечта обманула меня...»

Потом была драка с пьяным женихом Юльхен.

Потом она все-таки вышла замуж за «проклятого осла-торгаша».

Потом Гофман нанес новобрачной прощальный визит — молодая чета покидала Бамберг,— и —

«безразличное, отвратительное и опустошенное настроение. Удивительно, что все краски как бы исчезли из жизни, и кажется, что чувство это проникло гораздо глубже, чем я это представлял. Ктх — К т х».

Это писалось сто шестьдесят шесть лет назад здесь, в Бамберге.

Это я переписал сегодня.

За нами стояла судьба. Фортуна, как в представлении «Carmina Burana», вновь вышла из своего колеса, чтобы приблизиться к нам вплотную.

Дул ветер. На берегу Майна лепились друг к другу изогнутые от времени дома. Улыбался каменный святой на Нижнем мосту. В городе было что-то фарфоровое, кукольное: голубые, розовые дома рококо, девочки-куколки в бальных платьицах.

Малая Венеция.

Адвокат Конрад Фольденауэр-Лозе рассуждал о причудах судьбы, о Гофмане. У Гофмана можно найти ключ к Орфу: Крейслер с гитарой; бродячий музыкант мастер Абрахам из «Кота Мурра».

С Карлом Орфом я увиделся 1 июня 1979 года, в день, когда фортуна уже вновь властно вторглась в мою жизнь... Дорога на Диссен из Мюнхена больно напоминала Подмосковье, любимые Бубины места. Придорожные ивы, березы. Тропинка, ведущая в поле. Пыль. Пригорок. Лесок. И запахи летние, подмосковные. И поселок дачный...

Орф был похож на старого садовника, большерукий, с грубыми узловатыми пальцами, земля под ногтями. Стоял, улыбаясь, то ли постариковски блаженно, то ли с лукавством.

Он с женой Лизелоттой только что вернулся с огорода. Большой каменный деревенский дом, в котором они жили, был весь окружен возделанной землей, огородами, мы бы сказали — приусадебным участком.

Чай пили тут же перед домом, на крытой черепицей террасе. Орф был в белой рубашке с короткими рукавами. Чуть всклокоченные седые волосы. Очки. Деревянная трубочка, которую он то и дело раскуривал, шаря рукой по столу в поисках спичек.

Нет, он не выглядел моложе своих лет.

Я сказал, что перевел лирику вагантов, хотел бы понять, чем захватила рукопись «Carmina Burana» его. Он ответил:

— Латынью. Она обладает магической силой выразительности. Латынь — это Европа. Когда писали по-латыни в Германии, вас могли понять и в Париже и в Лондоне.

Он рассказал, что именно из-за латыни кантату отвергали, пытались запретить: тогда насильственно насаждалось, вбивалось в головы все только национальное, чисто немецкое. Кантате помог вырваться из-под запрета и получить официальное признание лишь счастливый случай.

Было над чем подумать.

В далеком XVII веке немецкий язык стонал под гнетом латыни, задыхался, о возрождении национального языка мечтали лучшие умы Германии. В начале 30-х годов XX века Орф искал утешения в латыни, когда на немецком языке стал кричать Гитлер.

О музыке своей кантаты Орф сказал:

— Она проста. На нее поразительно реагируют дети где-то около семи лет. Когда их спрашивают, какая музыка им нравится больше всего, они часто отвечают: Карл Орф, «Кармина Бурана». Хочу вам признаться: все «художественное», «артистическое», «сверхсложное», то, что находит отклик у немногих ценителей, меня не занимает нисколько. Но если какая-то вещь воспринимается детьми, то это уже нечто...

Я спросил о его любимых композиторах. Он назвал Монтеверди и Моцарта. При имени Моцарта приложил ладонь к сердцу. Из русских назвал Стравинского. К любимым писателям причислил прежде всего Шекспира, античных авторов, Гёльдерлина.

Теперь я понял: ваганты — дети, цыгане — дети, дети — Ромео и Джульетта, Офелия — дитя. Гениальное баловство Моцарта...

О, почему ваганты не достались для перевода Пушкину? Если бы он знал их! Какие бы это были переводы! Какое бы счастье!

Простодушие есть высшая форма сложности. В непосредственности таится высшая мудрость... Случайно ли к притче, сказке, детской почти литературе тянуло сложнейших писателей мира, философов?

...на этом свете
все народы — божьи дети...

В мире Орф известен более всего как педагог, подаривший школе и детскому саду универсальную систему художественного воспитания (через песню, танец, игру, поэзию). Он собрал, издал — вместе с музыкой — пятитомную антологию детской и фольклорной поэзии.

Это шло из его собственного детства: от кукольного театра, от уличных представлений, от песен бродячих шарманщиков, от пышных похоронных и свадебных процессий на улицах старого Мюнхена, от баварских осенних праздников, от баварского наречия.

Сейчас, поднимаясь со мной в кабинет на второй этаж своего дома, Орф говорил о незамутненном народном начале, об отвращении к моде.

— Я внушаю молодым композиторам: не старайтесь быть слишком современными, иначе вы быстро устареете...

Незамутненность, наивность в искусстве, примитив — зона особой опасности. Идешь как по канату. Если сорвешься — рухнешь в пошлость, в дешевку. Подлинно великое, высочайшее всегда на грани, на волоске от дешевки и пошлости. Но как трудно этой грани достичь!

В кабинете Орфа все было из грубого дерева, все ненарочито простое, даже большой черный рояль, за которым сочинялась «Carmina Burana», был неполированным. Множество книг, нот... Картина, подаренная Орфу Кандинским...

Некогда встречались два друга: Карл Орф и выдающийся фольклорист профессор Курт Хубер. Они работали вместе: отбирали народные песни, пытались восстановить их исконное звучание. Иногда они садились за роль — то Орф, то Хубер,— играли баварские танцы. За дверью, затаив дыхание, стояла прислуга, слушала. Она была родом из Баварии, это были звуки ее родины.

Профессор Курт Хубер стоял во главе тайной антифашистской группы в Мюнхенском университете, его перу принадлежат листовки «Белой Розы», его казнили на эшафоте. Карл Орф был официально признанным композитором, во всяком случае его не трогали, позволяли работать. Памяти друга Орф посвятил свою музыкальную драму «Бернауэрин»: бесчеловечной силе несправедливости противостоят любовь, скорбь, упование на высшее милосердие...

Сейчас, в этом кабинете, мне хотелось задать Орфу вопрос, который непрестанно занимал меня с тех пор, как я соприкоснулся с явлением Орфа, да и не только Орфа, с вагантами: может ли человек творить, создавать мелодии радости, когда кругом свирепствует террор, в царстве неволи?

Что такое сопротивление? Есть разные виды сопротивления. Сила сопротивления — сопротивление силой. Но было в нацистской Германии и сопротивление слабостью: неспособностью, невозможностью участвовать в насилии. Самой попыткой выжить, когда полагается умереть. Невозможностью не думать, когда думать не полагается. Попыткой знать, когда обязывают к незнанию. Попыткой протащить радость и просветление в зону отчаяния и смерти. Так ли это?

Я спрашивал, Орф, чуть печально улыбаясь, кивал то ли из вежливости, то ли в ответ своим собственным мыслям.

Я, разумеется, без труда ответил на простые вопросы, поставленные мне в письме в белом конверте: «Эх, без креста!» взято из «Двенадцати» Блока; «Рожденный ползать летать не может» — из «Песни

о Соколе» Горького, строки Пушкина — отрывок из стихотворения «Птичка».

Письмо прислала какая-то переводчица из Нюрнберга: ей нужны были цитаты к роману.

6

В Нюрнберге я поселился в отеле «Вердехоф» на улице Рам.

Она пришла в «Вердехоф», высокая, чуть грузная; поднималась по лестнице в белых, вышедших из моды сабо на пробковой толстой подошве, в толстых шерстяных носках.

Она переводила с русского прозу, была русского происхождения, родилась, однако, в Германии, в глухом, ночном Нюрнберге, когда 1945 год уже уперся в декабрь.

У нее было большое округлое русское лицо, только гримаска немецкая: линия рта, измененная немецким произношением. Пухлые бледные губы. По-русски говорила слегка шепелявя, пришепетывая, негромко. Звали ее Наташа.

В зале Высшей народной школы я читал своих вагантов и «Мужицкую серенаду» Шиллера, поднял глаза: в самом верхнем ряду озорной улыбкой вспыхнуло молодое женское лицо.

И вот теперь она была здесь.

В тесном гостиничном номере стояло всего одно кресло. Она присела на кровать в длинной, до пола, красной юбке. Мы собирались говорить о том, как переводить цитаты к роману, о технике перевода.

Я смотрел на нее.

У нее были прямые стриженые волосы. Серьезное, тронутое печалью лицо. Держа в красивых полных пальцах черный мундштук, она курила ровными медленными затяжками и вся олицетворяла собой спокойствие, неторопливость.

Она рассказала, что живет с другом, студентом-социологом, который вскоре собирается уехать на три месяца в Новую Гвинею. Это ее страшит. Более всего ее страшит незащищенность.

Я запомнил: несколько раз она произнесла слово «страх».

В то время я еще был обложен пустотой, утром, просыпаясь, выходил из сна в пустоту, плыл в невесомости. Мне показалось, что нас что-то роднит; я протянул ей свои записи...

Минувший 1978 год, год, который начался болезнью Бубы, а затем в своем зените, в июне, рухнул в небытие, в ее смерть, когда она лежала в гробу, повязанная коричневой косынкой, которую когда-то накидывала себе на плечи, этот год обвала завершался необычайными для Москвы морозами: минус сорок два градуса. В кабинете моем было и днем темно от намерзшего на стекла в два пальца толщиной серого льда. Все вымерло, вымерзло, улицы Москвы были пустынны. На кухне синими венчиками горели, грели все четыре газовые конфорки, шло искусственное тепло, я жался к плите, писал про Грифиуса. Затем наступил 1979 год. В квартиру входили, выходили женские фигуры — сейчас почти не помню их лиц. Потом были истерические письма, лихорадочные ожидания на аэродромах, проводы, была беспомощность, была слабость. Была безобразная, оскорбительная для нормального человека суета. Испытание смертью я выдерживал не самым достойным образом. Убегал от нее, спасался, хотел юркнуть в жизнь. Но жизнь не принимала меня, отталкивала, возвращала за тот порог, за 19 июня 1978 года.

Чем дольше шло время, тем сильнее охватывал меня дикий страх перед жизнью, перед всесильной и неумолимой отрезанностью от всего, именуемой одиночеством. И тяжело, грузно, грустно оседал на дно души, истерзанной смертью, образ Бубы...

Я наблюдал за тем, как Наташа рассеянно, видимо не совсем понимая что к чему, читает мои записи, и привычно, чтобы как-то заполнить окружавшую меня пустоту, потянулся к ней — обреченный

на безнадежность, я жил маленькими надеждами: на минутное утоление боли, на лучик света. Она смотрела на меня с досадой и состраданием, которым можно было воспользоваться. Я усвоил и это...

Мы расстались в шестом часу утра.

— Что ты скажешь другу?

— Скажу, что была у тебя.

— Зачем? Не лучше ли придумать что-нибудь?

Она покачала головой:

— За все надо платить...

Я недоумевал. Едва ли нам предстояло когда-либо снова встретиться. Завтра я должен был уехать в Эрланген, оттуда в Аугсбург и в Мюнхен, затем вернуться в Москву. Поспешная откровенность могла бы только огорчить близкого ей человека, причинить неприятности ей самой.

— Иногда,— убеждал я ее,— мы вынуждены прибегать к святой лжи. Мог ли я, например, открыть своей жене, что у нее рак, что она обречена? Конечно же, я все скрыл...

Глядя мне строго в глаза, она сказала:

— Зачем ты это сделал? Человек имеет право знать правду, в том числе и о собственной смерти. Зачем ты лишил ее этой возможности?..

Я проводил ее к выходу. Мы попрощались.

Она села в свое крохотное серое студенческое «рено». Махнула рукой. Еще одно прощание...

В девять утра я звонил ей по телефону — успел записать номер. Звонил и из Эрлангена. И из Аугсбурга.

Выступая на вечерах поэзии, я теперь непременно включал в свой репертуар «Колесо Фортуны»: впервые за много месяцев ощутил в себе какое-то движение.

Наконец она позвонила сама: в Мюнхене мы можем провести три дня вместе в квартире ее подруги, которая уехала в отпуск.

...Трое суток я прожил на ничьей земле. Не было для меня Мюнхена, изнывавшего от июньской жары, окна были закрыты снаружи плотными жалюзи, солнце не проникало в дом, и только на башне соседней церкви то и дело бил, бил колокол: первый день, второй день, третий...

Были эти три дня как долгая совместная жизнь: с острой влюбленностью, с узнаванием, с отталкиванием, со своим бытом, с привязанностью, наконец с разлукой...

На ее жизнь легло много слоев. В самом начале было гетто для перемещенных лиц в захолустном Форхгейме, раннее русское детство среди ненавистных и ненавидящих. Отец пел в эмигрантском казачьем хоре. Мать... Что она могла сказать о своей матери? Это была красивая черноволосая молодая женщина с глазами, горящими безумным огнем. Запомнились и пылкие материнские ласки, запомнилось и другое: как мать волокла ее в темные комнаты, запирала, больно стегала прыгалкой, иногда пыталась душить. Наташе не исполнилось и десяти лет, когда мать покончила с собой: осенью, в октябре, ночью утопилась в реке.

На этом русское детство кончилось, началось немецкое: вместе с младшей сестрой отец отдал ее в католический монастырский пансион.

Распоряжением архиепископа Бамбергского ей, православной, было разрешено причащаться и исповедоваться по католическому обряду. Считалось, что это большая удача: ее как бы уравнивали с детьми-немцами. Она переставала быть изгоем. Жадно, доверчиво потянулась к католическому немецкому богослужению.

В пансионе Наташа провела шесть лет, испытав жестокое разочарование. Она так и осталась чужой для воспитанниц, для учите-

лей, для монахинь. Когда у девочек что-либо пропадало, подозрение в краже неизменно падало на нее. Во время потасовок ей доставалось больше других.

Она вернулась в Форхгейм к отцу, перевелась в тамошнюю гимназию, в восьмой класс.

Отец был мрачный, нелюдимый человек. Со своими дочерьми он почти не общался. Наташа так и не узнала, каким образом ее родители очутились во время войны в Германии, как жили в России. Теперь ему семьдесят девять лет, он доживает свой век в доме для престарелых. Наташа навещает его раз в неделю...

Когда ей исполнилось шестнадцать лет, она ушла из дома, бросила гимназию, поступила телефонисткой на бумажную фабрику. Жила в крайней бедности, иногда голодала.

Через два года она вышла замуж.

Роберт, высокий плотный австриец, был на десять лет старше ее. Он возглавлял на американской фирме отдел продажи компьютеров для текстильных предприятий. Его, многоопытного, изощренного мужчину, привлекла в ней монастырская наивность, детскость. В течение всей их совместной жизни он подавлял ее своим превосходством — до физического отвращения, до рвоты.

Роберт ввел ее в дом своих родителей, где все дышало приторным, кондитерским венским уютом. Отец, бывший гаулейтер крупного австрийского города, был теперь художник, искусно рисовал лошадей. Мать была чем-то вроде целительницы, к ней приходили пациенты, которых она лечила с помощью божьего слова. Семья принадлежала к религиозному обществу «Кристьен сайнс» («Христианская наука»). Они не признавали медицины. Материя — всего лишь греховное воображение духа. Всякая болезнь есть болезнь воображения. Если исцелить впавшее в грех воображение, исцелится и плоть... Они были фанатично религиозны. Точно так же как в прошлом фанатично преданы нацистской идее.

Нет, это была не просто семья: целый клан, множество родственников. С недоумением смотрели они на органически чуждое им существо. Мать говорила отцу:

— Мезальянсная ситуация. Впрочем, если Роберт так настаивает, что ж...

Приходили гости. Отец Роберта целовал дамам ручки, шутил:

— Целую ручку, целую ножку, готов поцеловать весь ансамбль!..

Кем были для нее эти люди? Ее отвращали их мелочность, узость, тупой фанатизм. Но вновь перед ней открылась возможность выйти из числа отверженных. Стать, как она сама выразилась, легальным человеком, законным членом общества, в котором она жила, получить как бы официальное право на существование. Кроме того, замужество давало ей возможность без лишних формальностей приобрести наконец гражданство.

Роберт преуспевал. Они сняли большую дорогую квартиру в Мюнхене. Ездили на двух «мерседесах». Арендовали лесной участок, где Роберт охотился на оленей.

Постепенно она превращалась в молодую немецкую буржуазную даму.

Окончив Институт иностранных языков, она стала дипломированной переводчицей с русского. Это открывало широкие перспективы. Она начала заниматься высокооплачиваемыми техническими переводами, сопровождать важные официальные делегации в Москву... Можно было подумать, что она вся отдается новой, сладостной жизни.

На самом деле она эту жизнь ненавидела. Возможно, оттого, что олицетворением этой жизни был Роберт.

В 1973 году они разошлись...

Именно в ту пору у нее появился друг. Тот студент-социолог. Она вновь резко меняла среду. Молодые идеалисты — так, что ли,

их назвать? — презирали мещанское благополучие, житейскую упорядоченность, сытость. Они жили в коммуне: сообща вели хозяйство, сообща занимались политической небезопасной работой... В коммуне-общежитии попахивало революционной борьбой. И острыми приправами. Впрочем, и на самом деле часто готовили азиатские блюда: китайские, индийские. Наташа получала заказы на перевод от крупных фирм; иногда часть гонорара шла по извилистым путям в Бангладеш, на Цейлон, в Латинскую Америку. Она внушала себе: «Мы процветаем за счет того, что грабим их».

В коммуне она поверила, что наконец-то нашла себя. Впервые ее принимали не как чужую, а как товарища. Она была среди ровесников, среди своих. Жить было просто и весело. Так могло продолжаться долго... Но вскоре в нее стало вползать неясное чувство тревоги. Неуверенности. Беспричинного страха. Почва уходила из-под ног. Казалось, она теряет способность ходить, видеть, слышать, дышать. Потом как из небытия выплыло лицо психиатра...

Наташа показала мне записи, сделанные ею в те дни:

«Рушится все, и только я еще живу. Болезнь моя в том, что я не могу умереть», «Быть чужестранцем — это как быть инвалидом. Люди смотрят на тебя то ли как на выродка, то ли как на экзотическую диковину».

Психоанализ занял три года.

Считалось, что теперь она здорова: может работать, жить. Она успешно перевела два романа, стала писать свою прозу. Может быть, в ее жизни начинается новая полоса?..

Я слушал Наташу, и у меня перехватывало дыхание от необычности ее судьбы, от присутствия фортуны. Нет, я знаю, что делать! Она станет моей женой! Мы вместе уедем в Москву! Преодолеем все трудности, сдвинем чугунные горы! Нас связывает работа, любовь. Все создано для нашей муки и для нашего счастья, все вело нас друг к другу: ее судьба, моя судьба...

Я выпалил ей все это, она, подумав, ответила:

— Ты спешишь... Научись сперва жить один. Потом тебе станет легче...

Я представил себе свое возвращение в свой дом, где за год все стало мертвым: мебель, книги, где умерла на кухне посуда.

Медленно, безнадежно тащился поезд. По Франконии. По Швабии. Вдоль равнодушного, сейчас мне совершенно чужого водного простора, именуемого Рейном.

Пыхтел, работал Рур.

Кончался день.

Наконец поезд приполз на раскаленный от июльского зноя московский перрон.

В летней пустынной Москве вновь обволакивала меня пустота. И те же, как после смерти Бубы, утренние пробуждения: из сна — в пустоту. И — сухие, бессмысленные, мучительные дни-километры. Жизнь во мне отмирала. Я терял ощущение ее вкуса, цвета.

Что страшнее: осознание безнадежности или пытка надеждой?..

Высоко в небе между домами ясно светила луна. Я повторял слова Маяковского из его предсмертной записки: «Это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет». Повторял Есенина:

В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь...

От осознания этой возможности вдруг стало чуть легче...

Лунный лик фортуны изменчив. На этот раз она обитала по соседству с Наташей, в одном с ней доме, в Нюрнберге, на улице Нибелунгов. Фортуна была изображена на листе фанеры: увеличенная копия рисунка, которым открывается сборник песен вагантов

«Carmina Burana» — слепая судьба с непроницаемым лицом. Сейчас ей было угодно, чтобы я из Москвы вновь почти неожиданно перенесся в Нюрнберг...

В одном доме с Наташей, прямо под ней, на первом этаже обосновались молодые музыканты, группа «Раввива» — два молодых человека и девушка.

Они исполняли песни вагантов на первозданный мотив. Музыка Орфа казалась им слишком изысканной. Они стремились к естеству; изготовили старинные инструменты: колокольцы, колесную лиру, портатив, трумшейт — длинную, несуразную предшественницу скрипки.

Впервые я узнал, что ваганты представляли собой некое подобие музыкальных групп. В музыке отчетливо услышал восточные мелодии, занесенные в Европу из арабских земель крестоносцами.

Я встретился с озорной песней, которую когда-то переводил: так называемый макаронический стих, где строки, написанные на средневерхненемецком языке, потешно перемежались латинскими.

Девушка надела на голову венок, один из молодых людей — серую шляпу с пером, другой — малиновую магистерскую шапочку, укрепил на колене ремешок с бубенчиками.

Я скромной девушкой была,—

начала девушка по-немецки.

Вирго дум флоребам,—

подтвердил по-латыни юноша в серой шляпе.

Нежна, приветлива, мила,—

с вызовом пропела девушка.

Омнибус плацебам,—

важно добавил юноша.

Все это было удивительно.

Удивительней всего было то, что рядом со мной сидела Наташа...

Сейчас я осваивался в ее квартире на улице Нибелунгов.

Странная это была квартира: коленчатый длинный коридор, ведущий в комнаты-тупики. Темень. На полу в спальне — постель, плоские подушки, плоские негреющие одеяла. Из темноты проступали очертания предметов: нелепый комод, на котором стояла огромная, сгоревшая наполовину свеча, громадный сундук. По обе стороны широкого поролонового матраца стояли две лампы: металлические конструкции с движущимися металлическими абажурами.

Великое множество плакатов, афиш украшало стены. В этом чувствовалась ирония: как бы демонстрация мировой глупости и несбывшихся всемирных надежд — от первой, в стиле модерн рекламы кока-колы до немецких политических лубочных плакатов начала 20-х годов... Но чувствовалось и иное — следы политических привязанностей. И следы путешествий: матрешки из Москвы, маски, привезенные с Цейлона. В кабинете на гвозде висело замысловатое мучное изделие в виде серпа и молота, купленное в булочной в глухой греческой деревушке.

Вообще дом отличался бесчисленным количеством предметов, которые в беспорядке громоздились повсюду. Здесь как бы мстили вещам за их назойливое всевластие. Однажды я, к своему удивлению, ощутил, как на меня наседают, наваливаются предметы: бутыли, бутылки, пластиковые пакеты, тюбики. Каждый день почта приносила горы макулатуры в виде сорокаполосных газет, рекламных приложений, информационных бюллетеней, проспектов. Могло показаться, что гигантское число множительных аппаратов, практически доступ-

ных каждому человеку, только затем и выбрасывает из себя тысячи тонн печатной продукции, чтобы подчинить человека себе...

Как-то у подъезда остановился черный, с темно-лиловыми полосами, похожий на катафалк Наташин микроавтобус: из путешествия в Алжир возвратились ее соседи — студенты-социологи. Попросить на два-три месяца машину было в этих кругах делом настолько простым, как если бы речь шла, допустим, о пишущей машинке. Даже незнакомый человек, если он *свой*, мог бы попросить о такой же примерно услуге. Ему бы ответили неизменным «о'кей». Это была рационально обоснованная форма протеста, преодоление замкнутости, изоляции людей друг от друга, собственничества...

На неубранной темной кухне сидели, в два часа дня завтракали юноша с шевелюрой и бородой Карла Маркса, в линялых голубых джинсах, босой, и его подруга, глазастая, неказистая, в мятой пижаме, поджав под себя ноги. Увидев меня, они мотнули головами, не выказав ни малейшего удивления, и молча подвинули мне чашку кофе. Здесь бывало много полузнакомых людей...

Я стал присматриваться к жизни молодых левых.

Пожалуй, основным их стремлением было все осмыслить, разложить на составные части, найти для всего четкое научное определение, в том числе и для собственных поступков. Может быть, поэтому социология, политическая экономия, психология занимали их куда больше, чем «неточная» художественная литература. Здесь почти не читали и не знали поэтов, в разговорах редко возникали имена писателей, названия книг. Классики, мировые и немецкие, для них почти не существовали. Зато часами обсуждались заранее, за два, за три месяца, намеченные темы: «Страх при капитализме», «Университетская политика с точки зрения неомарксизма», «Загрязнение среды и потребительское общество».

Они бились в крайностях, отвергали пошлые условности мещанской жизни, например «узы брака», подменив их своими, новыми стереотипами. Они не признавали ни авторитета церкви, ни авторитета государства, но зачастую оказывались под властью какой-либо политической фигуры, а то и врача-психоаналитика, который все чаще заменял им исповедника. Им была ненавистна мещанская чувствительность, но сами они могли предаться необузданной, доходящей до исступления чувственности. Им отвратительны были массовые, мещански-коммерческие с их точки зрения, празднества, все эти карнавалы, народные пивные гульбища, они веселились по-своему, но, как мне казалось, даже на их веселье лежал оттенок обдуманной раскованности, рассчитанного распутства.

Русское лицо Наташи здесь, в Нюрнберге, среди одних только чужих лиц было родным. Более того, ее пребывание в тисках этой жизни казалось мне противоестественным, словно ее силой вырвали когда-то из той природы, которой она изначально принадлежала и справедливо должна была бы принадлежать. Словно ее поместили в некую машину, которая тридцать четыре года насиловала ее психику, ломала ее внутреннюю структуру, пытаясь подчинить ее законам своего движения. И все же не смогла изменить ее до конца. И то, что оставалось в ней русского, было в ней главным. Я понял это, когда она при мне перевела стихи Ахматовой и Есенина. Не зная ни их творчества, ни их биографий, она уловила царскосельскую осанку Ахматовой, отчаянный есенинский жест и все это выразила в немецких стихах, внутренне удивительно русских.

Меня томила потребность *вызволить* ее отсюда, она это понимала и то благодарно шла навстречу моему стремлению, то изощренно ему противилась.

Поначалу она накинулась на мои переводы, слушала рассказы о московской жизни, о литературной московской среде. Однажды сказала:

— Ты открываешь мне ту неизвестную родину, от отсутствия которой я заболела.

Мы нелегко пробивались друг к другу...

Случилось, что нам пришлось разлучиться — всего на четыре дня. Но и этих четырех дней было достаточно, чтобы на ее русской речи резко проступил немецкий акцент. На мгновение я ощутил в себе чуть ли не биологическую ненависть к языку, еще недавно столь мне близкому.

Новыми глазами смотрел я на Нюрнберг, который прежде был для меня всего лишь исторической достопримечательностью: город Дюрера, Ганса Сакса, гитлеровских партайтагов и Международного военного трибунала. Меня не занимали больше ни знаменитая средневековая крепость, ни «Золотой колодец» на рыночной площади. Передо мной были безликие прямые улицы с темными домами в алюминиевых строительных лесах, фабричные здания, сутолока возле бесчисленных магазинов, громыхающие бежевые трамваи, несущие большие белые цифры на черных табличках,— большой мрачный город, в котором была заточена ее жизнь.

Изредка мы совершали прогулки. Взявшись за руки, блаженно бродили по парку. Нет, чувство неприкаянности не оставляло меня: можно ли, прожив жизнь, вернуться в юность, восстановить прервавшуюся навсегда связь времен? Можно ли повернуть реку жизни вспять, к своим истокам?..

Надвигалась глубокая осень, ветер швырял в спину охапки листьев. Брел по дорогам, кутаясь в дырявый плащ, старый вагант:

До чего ж мне, братцы, худо!
Скоро я уйду отсюда
и покину здешний мир,
что столь злобен, глуп и сир...

Потом осень сгорела, леса пожаров стали пепелищами, потом кидало нас на край отчаяния, с края отчаяния — на край надежды, бросало друг к другу, потом оттаскивало в разные стороны, сводило вновь. Никакого решения на будущее мы принять не могли. Оно то приближалось к нам вплотную, то отодвигалось в недоступную ни глазу, ни разуму даль...

28 декабря 1979 года дома, в Москве, я дописывал эту главу. Наташа сидела в столовой, наигрывала на пианино немецкие рождественские песни. Я писал о том, как осенью мы поехали с ней в Форхгейм, в город, в котором она провела свое детство. Писал о том, как молодая немка с русским лицом, сидя за штурвалом своего серого студенческого «рено», гонит машину по ускользающей от меня ночной дороге.

Встречи с Шиллером

1

Шиллер для меня часть жизни, начало моего пути.

В Марбахе в домике Шиллера видел я под стеклом большое торжественное послание «духовным и светским властям Марбаха» от Юбилейного комитета, созданного в 1859 году в Москве по случаю шиллеровского столетия. Вся, как принято было говорить, читающая и мыслящая Россия этот юбилей отмечала...

Именно в Марбахе и пришла мне в голову мысль вспомнить, что значил Шиллер для России, почему жарче, доверчивей, что ли, чем к другим мировым классикам, прильнули к нему русские люди. Почему, говоря словами Достоевского, Шиллер «в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил!..».

Стал перебирать в памяти.

Баллады Жуковского. Мальчик Лермонтов, увлеченный переводом «Перчатки». И у Лермонтова же — «Встреча» («Над морем красавица дева сидит...»). Пушкинское послание лицейским друзьям: «Поговорим о буйных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви». Шестая глава «Онегина», где в ночь перед дуэлью Ленский «при свечке Шиллера открыл» и в подражание Шиллеру написал свое «Куда, куда вы удалились...».

Декабристы. Рылеев, слушающий «Гектора и Андромаху». Кюхельбекер, который с Шиллером не расставался даже в крепости, даже в злосчастном Тобольске. Ну не перед ликом ли Шиллера, не здесь ли, в его доме, прочитать хотя бы про себя отчаянные строки последнего стихотворения Кюхельбекера: «Тяжка судьба поэтов всех земель, но горше всех — певцов моей России... Бог дал огонь их сердцу и уму. Да! чувства в них восторженны и пылки; что ж? их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежной ссылки...»

К кому же как не к Шиллеру взывать? Адвокатом человечества назвал его Белинский.

Помню, помню...

«Шиллер! Благословляю тебя, тебе я обязан святыми минутами начальной молодости» — Герцен.

«Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им...» — Достоевский.

Тургенев ставил Шиллера как человека и гражданина выше Гёте.

Некрасов в обращении к Шиллеру заклинал: «Наш падший дух взнеси на высоту!» И у Некрасова в «Подражании Шиллеру» известная всем формула: «Строго, отчетливо, честно правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, мыслям — просторно».

Фет в стихотворении «Шиллеру» («Орел могучих, светлых песен») восклицал почти по-некрасовски: «Никто так гордо в свет не верил, никто так страстно не любил!..»

Блок в дневнике: «Вершина гуманизма и его кульминационный пункт — Шиллер...»

В этом узкогрудом, болезненном, пылком молодом человеке видели одновременно борца и страдальца. Это он в воображении русских, обнажив шпагу, бросался на обидчиков «In tyrannos!», и вот уже Несчастливцев в «Лесе» Островского пугает помещицу Гурмыжскую монологом Карла Моора.

Нужны, нужны высокие слова. Нужен пафос. Кто-то же должен возопить в припадке невыносимой обиды: «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь!» Кто-то же должен восплакать: «Горе, горе мне! Никто не хочет поддержать мою томящуюся душу. Ни сыновей, ни дочери, ни друга! Только чужие!» Кто-то же должен воззвать: «О, возгорись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий ягненок!» — и повторить слова Гиппократа: «Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо; чего не исцеляет железо, исцеляет огонь».

Писал о «Разбойниках» Лев Толстой:

«Räuber'ы Шиллера оттого мне так нравились, что они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий, как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно; а тот, кто отнимает этот труд, признаваемый обществом, законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин несравненно хуже, ниже разбойника...»

Выходила на сцену Малого театра Ермолова — Мария Стюарт. То была, как вспоминает одна из мемуаристок, несомненно шиллеровская Мария: воплощенная красота страдания, героическая смерть, величие сердца, прощающего в смертный час своих врагов. Южин потрясал публику в «Дон Карлосе». Слова маркиза Позы: «Свободу мыслить дайте, государь!» — покрывались шквалом оваций.

Общество нуждалось в проповедях. В восклицаниях. В этом: добро — любовь — свобода — красота — правда...

Постепенно Шиллер стал у нас увядать. Вязнуть в стабильных учебниках, гаснуть в диссертациях. Не припомню в предвоенные годы новых, ошеломивших кого-либо постановок, почти не тянулись к нему и переводчики. Как-то принято было считать, что он чуть ли не целиком навсегда за Жуковским, Тютчевым, Фетом. За каким-нибудь Миллером... Весь он там, в XIX веке, в толстых брокгаузовских томах.

В 1952 году задумали издать первый после войны шиллеровский однотомник. Составитель (Н. Н. Вильмонт) решил некоторые старые переводы заменить, и мне, в частности, было поручено заново перевести стихотворение «Раздел земли». Это было моим первым приобщением к немецкой поэтической классике, и я тщательно готовился к ответственному делу. Однако первое же четверостишие показало мою полнейшую беспомощность. По-немецки оно звучало так:

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen
Den Menschen zu. Nehmt, sie soll euer sein!
Euch schenk ich sie zum Erb und ew'gen Lehen —
Doch teilt euch brüder lich darein.

В самом тексте как будто бы не таилось подвохов, каждая строка была понятна:

«Возьмите землю (мир)! — воскликнул Зевс со своих высот
Людям.— Возьмите, да будет она вашей!
Ее дарю вам в наследство и вечное пользование,
Но поделите ее между собой по-братски».

«Nehmt hin die Welt!» соблазнительно укладывалось в русское: «Возьмите мир!» Правда, оставалось еще семь слогов, в которые нужно было вместить остальную часть строки: «...воскликнул Зевс со своих высот». Получалось что-то вроде этого:

«Возьмите мир! — Зевес с высот воскликнул...

Но тут-то и начались мучения. Строка очень плоха, отвратителен мертво-архаичный «Зевес» вместо «Зевс», да и «воскликнул» ни с чем не зарифмуешь. Стал перестраивать:

«Возьмите мир! — Зевс как-то молвил людям...

Тоже очень плохо, тем более что «людям» неизбежно потянет за собой «будем», которое в данном случае никак с текстом не вяжется.

Часами сидел я над злополучным четверостишием в непреодолимом унынии.

«Возьмите землю! — молвил Зевс однажды...
«Возьмите землю! — рек Зевс могучий...
Зевс людям говорит: — Возьмите землю!..

Вопреки добрым советам и предостережениям я не устоял перед соблазном и в библиотеке отыскал все ранее существовавшие переводы этого стихотворения. В первом томе издания Брокгауза и Ефрона перевод Фофанова:

«Возьмите мир! — сказал с высот далеких
Людям Зевс.— Он должен вашим быть.
Владейте им во всех странах широких,
Но только все по-братски разделите».

Нет, это не Шиллер. Людя́м, страна́х, «далеких — широких»...

Еще хуже перевод безымянного поэта, опубликованный в академическом, с вырванным предисловием собрании 1936 года:

«Возьмите мир! — воззвал в благоволенье
С высот Зевес.— Я вам его дарю;
Он ваш из поколенья в поколенье,
На вашу братскую семью».

В сборнике Гослитиздата (1936) помещен перевод А. Кочеткова:

«Возьмите мир! — с величьем неизменным
Рек людям Зевс.— Его дарю я вам.
Пусть будет он наследством вам и леном,
Но братски поделитесь там».

Почему «с величьем неизменным»? У Шиллера этого нет, и А. Кочетков, видимо, подобно мне не знал, чем заполнить оставшиеся семь слогов после сакраментального восклицания «возьмите мир!».

Уходя дальше в прошлое, стал я листать старые журналы XIX века. В «Русской беседе» за 1841 год — перевод А. Струговщикова. Тот отказался от рифмы. Да и слова вялые.

Зевес вещал: возьмите землю, люди,
Возьмите, вам на вечны времена
Я отдаю сокровища земные,
Делитеся, как братья и друзья.

В «Маяке» за 1842 год нашел перевод И. Крешева. Здесь уже есть кое-что, но ритм нарушен, первоначальная энергия стиха утрачена:

«Возьмите мир! — так к людям Зевс гремел
С высот небес.— Он ва штеперь, возьмите!
Дарю его в последственный удел;
Но братски лишь его вы разделите!»

Б. Алмазов в журнале «Развлечение» (1859) предложил такую трактовку:

«Возьмите мир! — он мне не нужен боле,—
Воскликнул Зевс с заоблачных высот.—
Пусть каждый в нем возьмет себе по доле,
Владеет ей из рода в род».

Начитавшись старых переводов, я вновь принялся за работу, но теперь к прежним трудностям прибавилась еще одна. Неотвязно преследовали меня чужие строки, чужие решения: «Возьмите мир! — с величьем неизменным», «Возьмите мир! — сказал с высот далеких», «Возьмите мир! — воззвал в благоволенье»... В полном отчаянии снова и снова вчитывался я в немецкий непробиваемый текст... Потом самый текст стал как бы отбрасывать, представлять себе картину, восстанавливать происшествие.

Великодушный Зевс раздает людям землю. Услышав о щедром подарке, все от мала до велика спешат захватить свою долю: земледелец — ниву, охотник — леса, купец — товары, аббат — сладкое вино, король — мосты и проезжие дороги, и только поэту ничего не достается. Он опоздал. Пока делили землю, он, погруженный в раздумья, слушал «гармонию неба», разговаривал с божеством и забыл о суетных делах. И Зевс, добродушно улыбаясь, ворчит: «Что делать? Мир роздан. Уж не мои отныне осень, охота, рынок». Но выход, оказывается, есть. Зевс предлагает поэту небо: «Когда б ты ни пришел, оно всегда открыто для тебя»...

Дивные стихи! Гуманные. Сочетание высокого и «низкого», простой разговорной интонации и торжественной приподнятости. Да и сам Зевс у Шиллера не далекое холодное божество, а веселый хозяин вселенной, щедро раздаривающий людям свои богатства:

Nehmt hin die Welt!

Эти слова он, очевидно, сопровождает широким жестом — берите землю, забирайте!.. Что-что? Конечно же, не «берите», а з а б и-

райте. Как я этого раньше не заметил! Ведь Шиллер пишет не просто «Nehmt die Welt» (берите, возьмите мир), а «Nehmt hin», что придает выражению особый оттенок щедрости, широты, великодушия.

Зевс молвил людям: «Забирайте землю!»

И сразу же оформилась строфа:

Зевс молвил людям: «Забирайте землю!
Ее дарю вам в щедрости своей,
Чтоб вы, в наследство высший дар приемля,
Как братья, стали жить на ней».

Благодаря одному верно угаданному слову определилась интонация всего стихотворения, и я, как радист, нащупавший в сумятице эфира нужную волну, уже сам перешел «на передачу»:

Тут все засуетилось торопливо,
И стар и млад поспешно поднялся.
Взял земледелец золотую ниву,
Охотник — темные леса,
Аббат — вино, купец — товар в продажу,
Король забрал торговые пути,
Закрыл мосты, везде расставил стражу:
«Торгуешь — пошлину плати!»
А в поздний час издалека явился,
Потупив взор, задумчивый поэт.
Все роздано. Раздел земли свершился,
А для поэта — места нет...

С этого началось мое приобщение к Шиллеру. Я вдруг ощутил биение его энергичного, живого стиха, которому в переводе холод и выспренность прямо-таки противопоказаны.

Однажды мне пришлось вступить в состязание с самим Жуковским. Речь шла о балладе «Хождение на железный завод», переложенной Жуковским в гекзаметрах. Смел ли я вступать в такое соперничество? Я читал у Кюхельбекера: «Истинно не знаю, что об этом сказать, однако не подлежит никакому сомнению, что с изменением формы прелестной баллады немецкого поэта и характер ее, несмотря на близость перевода, совершенно изменился». И он же пояснял: «Рифма и романтический размер не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя свыклась с самого младенчества»...

При всем преклонении перед Жуковским, прочитав его «Суд божий», я отважился на восстановление шиллеровского размера. У Жуковского:

...Там непрестанно огонь, как будто в адской пучине,
В горнах пылал, и железо, как лава кипя, клокотало.
День и ночь работники там суетились вкруг горнов,
Пламя питая; взвивались вихрями искры; свистели
Страшно мехи, колесо под водою средь брызжущей пены
Тяжко вертелось; и молот, громко гремя, неумолчно,
Сам как живой поднимался и падал...

В новом переводе граф — персонаж баллады — помчался в рощу,

...где в печи
На жарком плавятся огне
Подковы и мечи.
Там неустанною рукой
Рабы трудились день-деньской.
Клокочет пламя, дуют парни,
Как стеклодувы в стекловарне.
Единство пламени и вод
Увидишь в том лесу.
Поток бушующий дает
Вращенье колесу.
И молоткам немолчным в лад
Бьет по листу огромный млат,
И, размягчаемое жаром,
Железо гнется под ударом.

Возможно, мне и удалось восстановить ритм, строфику, приблизиться к шиллеровской интонации, но в свободном переводе-переложении Жуковского какая мощь слова, какой гул вечности!..

Работая впоследствии над новыми переводами Шиллера, я часто задумывался о судьбе своих далеких предшественников. Многие из них полностью забыты, иногда незаслуженно. Да и немало старых переводов, на которые напластовались последующие, надо бы откопать, прочесть заново. Кто, например, вспоминает перевод «Песни

к Радости» Владимира Бенедиктова, которому так не повезло в русской критике? А ведь его перевод крепче, свежее, да и внутренне ближе к Шиллеру, чем то, что в XIX веке сделал Тютчев, а в XX — Лозинский. Или «Мать-убийца» Михаила Милонова. В 1827 году, когда вышел его перевод, еще не возбранялось заменять ямб хореем, в наше же время такие вольности редки. Мой перевод «Детоубийцы» («Die Kindesmörderin») формально точнее:

Слышишь: полночь в колокол забила,
Кончен стрелок кругооборот.
Значит, с богом!.. Время наступило!
Стражники толпятся у ворот...

Но ведь у Милонова-то монолог детоубийцы ярче, исступленней. Вот она говорит, обезумевшая от ужаса мать, прижимая к груди задушенного ею младенца, в миг перед казнью:

Слышишь? Бьет ужасный час!
Укрепитесь, силы!
Вместе к смерти! ищут нас
Бросить в ров могилы!..

Пишу это и чувствую какой-то внутренний долг перед старыми переводчиками. Что мы о них, собственно, знаем? Скажем, о Владимире Сергеевиче Печерине (1807—1856). Ну чем не выдающаяся личность? Поэт, философ, эллинист, получивший образование в Москве и в Берлине. Его поэму-мистерию «Торжество смерти» использовал Достоевский в «Бесах». В Германии и Швейцарии он объявил себя республиканцем, сен-симонистом, коммунистом, вдруг перешел в католичество, стал монахом, членом иезуитского ордена, в 50-х годах встретился с Герценом, вновь, по собственным словам, обрел веру в «исполинскую демократию». Написал философскую автобиографию «Замогильные записки», революционную по духу трагедию «Вольдемар»... В 1831 году перо Печерина выводило строки перевода шиллеровского «Дифирамба»:

Боги — поверьте —
Всегда к нам нисходят
С Неба толпой.
Бахус едва лишь появится милый,
Входит с усмешкой Амур златокрылый,
Феб величавый с цевницей златой...

В 1860-х годах редактировал «Санкт-Петербургский полицейский листок» Александр Гаврилович Ротчев (1806—1873). Давно уже оставил он стихотворчество, в годы Крымской войны за памфлет «Правда об Англии» получил «высочайшую награду». Но была когда-то молодость, когда он, автор «стихотворений преступного содержания на 14 декабря 1825 года», находился под тайным надзором полиции, была нищета, был Шиллер — «Вильгельм Телль», «Мессинская невеста», упоительные строки «Песни альпийского охотника»:

Чу! гром покатился, утес задрожал;
Отважный охотник проходит меж скал...

Борис Николаевич Алмазов (1827—1876), с которым я состязался в переводе «Раздела земли», хоть и переводил Шиллера и первым открыл для русских «Песню о Роланде», больше прославился своими пародиями на Пушкина, Лермонтова, Панаева и Некрасова, которые печатал под псевдонимом Эраст Благонравов. Был он фигурой заметной, вращался возле Островского, возле актеров Малого театра, все его знали: «А Алмазов Борька и Садовский Пров водки самой горькой выпили полштоф...»

Среди старых переводчиков Шиллера есть фигуры более известные: Гербель, Мей, Мин, Данилевский, не говоря уж об Аксакове,

Михайлове, Аполлоне Григорьеве, Курочкине, чьи переводы печатаются и в наши дни. И уж об одной переводчице Шиллера, Каролине Павловой, надо сказать особо. Ее перевод «Смерти Валленштейна» так и остался непревзойденным.

За строками перевода — судьба. Детство в доме отца, профессора Яниша, блистательное домашнее воспитание, первые переводческие опыты — с русского на немецкий, французский. Перевела Пушкина, Баратынского, Вяземского, Языкова еще при них, при их жизни. Стихи друзей, с которыми встречалась в салоне Зинаиды Волконской. «Я помню чудное мгновенье» —

Ein Augenblick ist mein gewesen
Da stand'st vor mir mit einem Mal,
Ein raschentfliegend Wunderwesen,
Der reinen Schönheit Ideal...

«Пророк» —

Steh' auf, prophet! und schau, und höre!
Mein Wille lenke dich hinfort;
Umwandle Länder du und Meere,
Und zündend fall' ins Herz dein Wort!..

В 1832 году, когда ей было всего двадцать пять лет, ее переводы вышли отдельной книгой в Германии. Их успел прочесть и оценить Гёте, они привели в восторг Александра Гумбольдта. В предисловии она писала: «Я убеждена, что в метрическом переводе нельзя изменить стихотворные размеры подлинника без разрушения характера и физиономии стихотворения... Я льщу себя тем, что я ни в чем не отступила от подлинника и ни одно стихотворение не потеряло своего колорита и своего особого характера...» Урок переводчикам любых эпох.

В салоне Волконской Каролина Яниш влюбилась в Мицкевича. Они посвящали друг другу стихи. У них был общий кумир — Шиллер. Они решили обвенчаться. Были помолвлены. Они расстались, чтобы вскоре вернуться друг к другу. Они не встретились больше никогда... В 1890 году, глубокой, восьмидесятитрехлетней старухой, она писала сыну Мицкевича Владиславу: «Воспоминание об этой любви и доселе является счастьем для меня. Он мой, как и был моим когда-то...»

Она вышла замуж за писателя Николая Филипповича Павлова. Помним ли мы его? Его повести «Ятаган», «Именины» не кто иной, как сам Пушкин назвал первыми замечательными русскими повестями, ради которых можно забыть об обеде и сне. Известна ли нам повесть его собственной жизни?.. Павлов был бедный литератор, выходец из крепостных, сын вольноотпущенника. Когда в 1853 году его сослали в Пермь, Каролина Павлова порвала с мужем, покинула Россию.

В Германии она переводила на русский язык немцев, на немецкий — русских. В частности, «Смерть Иоанна Грозного», «Царя Федора Иоанновича» Алексея Толстого. Ее переводы — чудо. Еще в начале ее переводческой деятельности Белинский призывал: «Подивитесь... этой сжатости, этой мужественной энергии, благородной простоте этих алмазных стихов, алмазных по крепости и по блеску поэтическому».

Каролина Карловна Павлова умерла в 1893 году в Дрездене в нищете, в забвении...

Из гущи, из варева жизни, из страстей, влечений, разрывов, мук, метаний, из политических и литературных привязанностей восстал е е Шиллер.

Чего не переносит человек?
От высших благ, как и от благ ничтожных,
Отвыкнуть он сумеет; верх над ним
Всесильное одерживает время...

В 1793 году студент Московского университета Николай Сандунов первым в России перевел шиллеровских «Разбойников». В «благородном университетском пансионе» в Москве студенты, распаленные событиями времени, разыгрывали пьесу в его переводе. Благодаря переводу Сандунова в университетах и училищах в Петербурге и Москве составлялись «братства освободителей человечества», которые «клялись преследовать злодейство и несправедливость». Впоследствии Сандунов стал сенатором, виднейшим профессором-криминалистом, проповедником духа законности и правосудия. Двери его московской квартиры были открыты для всех ищущих юридической защиты. Его называли оракулом Москвы.

Ни для одного из русских переводчиков встречи с Шиллером не прошли даром.

2

Шиллера я переводил по ночам в ванной комнате — единственном помещении в нашей квартире, где можно было курить. Шел 1952 год, трудное время. Но и в нашей семье и в молодежной нашей компании трудностей старались как бы не замечать, родители от них горьковато отшучивались, Буба же властно стряхивала с меня приступы уныния. У нас было двое еще совсем маленьких, горячо любимых нами детей: смысл жизни, источник счастья. Мы любили друг друга. В доме всегда было многолюдно: родственники, друзья родителей, наши друзья. Сретенка, начало Печатникова переулка, самый центр Москвы, квартира на первом этаже — удобное место, чтобы по пути забежать, даже не снимая пальто, обменяться новостями, мыслями иногда отнюдь не веселыми. Однако никто не хныкал, выручала ирония, еще больше — чувство взаимного доверия, привязанности друг к другу.

Моими ближайшими друзьями в то время были молодые литераторы, уже успевшие выбиться в люди. Более всех преуспел Юрий Трифонов, получивший за первый свой роман («Студенты») Сталинскую премию — честь по тогдашним понятиям огромная. Еще совсем недавно неприкаянный бедный студент, живший на иждивении бабушки, он вдруг купил автомобиль, отстроил загородную квартиру, женился на певице Большого театра...

Все, что писал Трифонов еще в студенческие годы, вызывало во мне уважение. Я был убежден, что он настоящий писатель, то есть владеет тайной письма, ему повинуется слово, предрекал ему большое будущее. И вот он стал знаменитостью. Его роман читали все, самого Трифонова по фотографиям в газетах на улице узнавали прохожие.

Молодой Евгений Винокуров тоже был по-своему знаменит. О нем в журнале «Смена» лестно отозвался Илья Эренбург: «Кажется, одним поэтом стало больше». Первый сборник Винокурова «Стихи о долге» соответствовал своему типичному для тех лет названию. В коротких суровых стихах жило выстраданное за войну ощущение реальности: долг перед истиной, до которой поэт доходил неторопливо, вдумчиво, по нехоженым тропам.

Иосиф Дик прославился книжкой для детей «Золотая рыбка». Он был человек почти легендарный: потерял на войне глаз, кисти рук, но не сдался,— смастерил себе приспособление для письма, для печатания на пишущей машинке, научился водить автомобиль. Он обладал каким-то необычайно напористым, шумным оптимизмом. Иосифа Дика я называл своей золотой рыбкой. Он познакомил меня со своей сестрой, той, которая стала моей Бубой. Но еще до этого он первый подхватил мои переводы, потащил их куда-то в еще неведомые мне издательства, редакции, шумно хвалил, возился чуть ли не с каждой моей строкой.

Чуть позднее к нашему кругу примкнули молодые поэтессы Ирина Снегова и Елена Николаевская, с которыми я сроднился потом на всю жизнь.

Вспоминая то время, я не могу не сказать о моем школьном друге Алексее Светлаеве, молодом враче. Он был типичный московский парень с какой-нибудь Сретенки, Петровки, Малой Бронной, Арбата, красивый, отважный, бесшабашный, остроумный, чуть хулиганистый. Именно такого типа ребята почти все погибли в войну, и когда Винокуров впоследствии написал свое стихотворение «Сережка с Малой Бронной» о погибших московских мальчишках, он, по собственному признанию, видел перед собой Лешку.

Частым посетителем нашего дома был и уличный букинист Блок, как мы его называли, дитя города. Он приносил редкие книги, которые легли в основу наших библиотек. Но не менее ценными были его рассказы о публике, среди которой он вращался: о завсегдатаях ипподрома, бильярдной в Сокольниках, о подпольных дельцах, игроках в «железку», барыгах — никто так хорошо не знал мир московских подъездов и подворотен, как он. Блок обогатил нас множеством словечек и оборотов, которые можно обнаружить в трифоновских московских повестях, например в «Обмене», да и я в некоторые свои переводы, в том числе и в «Лагерь Валленштейна», ухитрился вставить заимствованное у Блока то или иное словцо.

Почти все мы, кто сходился тогда в нашем доме, так или иначе были обожжены своим временем и войной. В нашей среде почти не было людей изнеженных, избалованных домашним благополучием, закормленных. Мы были молоды, но у каждого из нас уже была за плечами жизнь. Испытания не искалечили нас, а сделали взрослее, серьезнее, строже к себе и другим. И в то же время беспечнее.

Мне льстило, что мои друзья меня признают, я любил их, гордился ими, но и сам не хотел от них отставать, тоже хотел преуспеть, пусть в своем жанре. При этом я старался для Бубы: она была по-своему тщеславна и ее огорчило бы, если бы ее муж прослыл заурядностью. То, что мне доверили переводить самого Шиллера, было для нее истинной радостью.

Вот в это-то время я и перевел ранние стихи Шиллера — «Колесницу Венеры», «Мужицкую серенаду», «Вытрезвление Бахуса» (два последних стихотворения были моим литературным открытием, до меня их на русский язык не переводили). Для многих это был какой-то новый, неведомый им прежде Шиллер. Грубоватый, простонародный, сын бедного лейтенанта и дочери владельца маленькой марбахской гостиницы «Золотой лев».

Дура, выгляни в окно!
Ах, тебе не жалко?
Я молил, я плакал, но —
Здесь вернее палка.
Иль я попросту дурак,
Чтоб всю ночь срамиться так
Перед целым светом?
Ноют руки, стынет кровь —
Распроклятая любовь
Виновата в этом!
Дождь и гром, в глазах черно.
Стерва, выгляни в окно!..

Впервые эти переводы были опубликованы в журнале «Новый мир», а потом стали входить во все русские издания Шиллера...

К моему Шиллеру приглядывались поэты Антокольский, Маршак. Винокуров поразился шиллеровскому стремлению и умению с самых разных сторон и под разными углами зрения рассматривать, осмыслять субстанции, предметы, явления, поворачивать их разными гранями. Не без гордости молодой поэт говорил: «На меня повлиял Шиллер!»

Благодаря новым публикациям, среди которых я бы прежде всего назвал переводы Левика и Заболоцкого, Шиллер по-русски вновь зажил, а на сцене МХАТа в переводе Пастернака была поставлена «Мария Стюарт» — яркое событие в московской театральной жизни 50-х годов, особенно благодаря игре Аллы Тарасовой.

Сколько нужно отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.

Эти строки, посвященные Марии Стюарт — Тарасовой, всегда мне приходят на память, когда я думаю о прологе к «Валленштейну», читанном на открытии вновь отстроенного Веймарского театра в октябре 1798 года:

Ведь исчезает сразу, без следа
Чудесное творение актера,
В то время как скульптура или песнь
На сотни лет творцов переживают.
С актером вместе труд его умрет,
Подобно звуку, ускользнет мгновенье,
В котором он являл нам гений свой...
Поэтому он должен дорожить
Минутою, ему принадлежащей,
Всем существом проникнуть в современность,
Сродниться с ней и в благодарных душах
Создать при жизни памятник себе.
Тем самым он в грядущее войдет...

Русские актеры в XIX веке Шиллера играли совсем по-иному, чем немецкие. Те декламировали, холодно, неумолимо, торжественно, строго несли в зал высокую шиллеровскую мысль. Русские же себя наизнанку выворачивали, рыдали в Шиллере, весь мир несправедливости готовы были Шиллером потрясти, весь лед растопить жаркой слезой.

Мы не видели «игравших на века» на русской сцене Мочалова, Яковлева, Каратыгина, Самойлова, Яворскую и Ермолову, Яблочкину, Остужева, мы родились слишком поздно, но и до нас долетают их голоса, их внутренний жар. Они дорожили принадлежавшей им минутой...

«Лагерь Валленштейна» достался мне случайно, как в театре молодому актеру случайно достается ведущая роль ввиду внезапной болезни прославленного исполнителя. В последний момент, незадолго до сдачи однотомника в производство, от работы над «Лагерем...» отказался Михаил Зенкевич. Стали срочно искать замену, никого не нашли, рискнули обратиться ко мне, хотя в моем «перечне произведений» значилось лишь несколько поэтов ГДР и переводы по подстрочнику с татарского языка и с армянского.

Как ни странно, переводы с армянского сослужили мне в работе над «Лагерем Валленштейна» полезную службу. Дело в том, что осенью 1951 года я, совсем еще молодой переводчик, был великодушно включен в бригаду поэтов, которой в Ереване предстояло готовить материалы, то есть книги, циклы стихов и прочее, для очередной Декады армянской литературы и искусства; подобные декады всех союзных республик проводились тогда в Москве с необычайной пышностью.

В нашу поэтическую группу входили Илья Сельвинский, Вера Звягинцева, Татьяна Спендиарова, Сергей Шервинский, Ирина Снегова, потом нагрянула шумная, безалаберная ватага обработчиков подстрочной прозы.

Жили хмельно, весело, сдружились с армянскими поэтами, легко изготовляли из сыроватых подстрочников русские вирши. На мою долю выпали сатирические басни, где нужны были игра слов, каламбуры, сочная лексика. Это была хорошая школа. Сам того не сознавая, я набирался опыта для передачи просторечий, смачного словесного озорства, ритмической раскованности...

«Лагерь Валлентшейна» был известен в переводе Льва Мея — его перевод, сделанный в XIX веке, высоко оцененный тогдашней критикой, считался теперь устаревшим.

В чем же заключалась моя задача?

Передо мной было живописное массовое действо, был полюбившийся мне раешный стих книттельферз, была многоголосица войска: гогот, рев, брань, стон, жалоба... Сам вышедший недавно из солдатской среды, я мог, пожалуй, передать это достаточно живо. В знаменитом монологе капуцина, отмеченном у нас и Толстым и Тургеневым, перемешались пророчества и каламбуры, латынь и похабщина. Сумбурное, вздыбленное барочное время. Я чувствовал, что, опираясь на шиллеровский текст, одолеваю своего предшественника — целомудренного Мея:

То-то не очень-то глотку дери,
Чаще молися: помилуй, Создатель!
Нежели вскрикивай: черт побери!

Я вколачивал:

Ведь как будто ничуть не трудней сказать
«С нами божья матерь!», чем «В бога мать!».

Радовался: у меня крепче!

Главное, однако, состояло в другом. В том, чтобы пробиться к персонажам, различить в гигантской солдатской массе лица, характеры, судьбы. Шиллер внушал: надо всех их понять, не возвышаться над ними. Сочувствовать. Каждый здесь, в этой одичавшей, свирепой толпе, несчастен по-своему. Всем худо. Все неприкаянны. Всех гонит «страшенная сила» — метла войны. Каждый заслуживает снисхождения. «Жаль их, они неплохие ребята»... «Видит бог, горемычная жизнь у нас»... «Не для нас золотые колосья шумят, бесприютен на свете солдат»... Такие реплики были для меня в пьесе дороже всего.

Эх, парень! Дурные пошли времена...

Вот в чем, на мой взгляд, таился ключ к пониманию самочувствия ландскнехтов, которых слепая жажда свободы привела к Валленштейну: вахмистра, кирасир, аркебузиров, стрелков, рекрута. Смягчающие обстоятельства изыскивались и для шулера-крестьянина, в свою очередь обворованного солдатней, и для старого пройдохи, бродячего миссионера-капуцина, да и для самого герцога Валленштейна:

Опутанный приязнью и враждой,
В истории проходит этот образ.
Но долг искусства — к взорам и сердцам
Как человека вновь его приблизить.
Оно, храня во всем и связь и меру,
Все крайности приводит к правде жизни
И в гуще жизни видит человека,
И потому на мрачные созвездья
Оно слагает главную вину...

«Мрачные созвездья», объективный ход истории,— это то, что стоит над осознанными поступками людей, которые «в гуще жизни», в повседневности, разумеется, несут ответственность за свои действия, но оправданы могут быть (то есть поняты, по принципу: понять — простить) одним лишь искусством.

Не смеет повседневность
И не должна глумиться над искусством!

Так шло время, шел к концу год 1952, бедный внешними событиями, полный предощущений перемен. В тишине прокуренной ванной комнаты, в квартире в Печатниковом переулке я чуть ли не круглыми сутками изо дня в день общался с Шиллером.

И однажды на раннем рассвете грянула заключительная песнь всадников:

Друзья! На коней! Покидаем ночлег!
В широкое поле ускачем!
Лишь там не унижен еще человек,
Лишь в поле мы кое-что значим.
И нет там заступников ни у кого,
Там каждый стоит за себя самого...

Я понял, что в моей жизни произошло нечто большее, чем завершение крупной литературной работы: я прошел еще одну школу.

3

В ноябре 1959 года в составе делегации Союза писателей я попал на двухсотлетие Шиллера в Веймар.

Веймар был в гирляндах, флажках, бесчисленных портретах Шиллера, на голубых транспарантах белели даты: 1759—1959. В гостинице «Элефант» кельнеры в белых перчатках подавали меню: на лицевой стороне знаменитый профиль, на обороте перечень блюд... Каждый приехавший в город мог вообразить себя гостем Шиллера. Вечером в глубине его дома, во всех окнах запылали зажженные свечи. Казалось, там идет торжество, стоит только войти. Во дворце герцога заседала Академия искусств. В театре давали «Дон Карлоса». Над городом плыли мелодии: увертюра к «Эгмонту», финал 9-й симфонии — «Обнимитесь, миллионы!». Улицы были запружены народом: на торжество приехали делегаты из шестнадцати стран, из всех округов ГДР. Прибыли члены правительства Германской Демократической Республики. Когда они выходили из своих машин, на них были устремлены обожающие взоры. Все рукоплескали. На улице я услышал, как одна девушка говорила другой: «Как мне повезло! Я оказалась от товарища Ульбрихта всего в двух шагах!»

В театре я посмотрел «Валленштейна» — всю трилогию за один вечер. «Лагерь...» показался мне решенным удивительно верно: натиск, напор, человечность. Безбородый капуцин произносил свой монолог не только темпераментно, но и с горьким сарказмом. В громком солдатском хохоте, которым встречались его каламбуры, звучало скрытое сочувствие.

Финал — «Песнь всадников» — таил в себе трагедийность. Люди, которым уже нечего было терять и не на что надеяться, ставили на кон последнее: жизнь. Сидя верхом на деревянных скамейках, притоптывая сапогами, они скандировали:

Ставь жизнь свою на кон в игре боевой —
И жизнь сохранишь ты, и выигрыш — твой!

Но были ли они убеждены в том, что выиграют?..

Ранним утром 10 ноября к площади перед Веймарским театром, которым некогда руководил Гёте, для которого писал Шиллер и в котором в 1918 году провозгласили Веймарскую республику, потянулись, обнажив головы, делегации с венками.

Пахло торфом, сигарами, химией — то был запах Германии; Гёте и Шиллер стояли окутанные утренними дымками, взявшись за руки, в бронзовых позеленевших камзолах, в позеленевших тупоносых бронзовых туфлях с большими пряжками. Я смотрел на них, и меня охватывало странное чувство причастности к ним — через стихи, через кровь, которая переливается из строк в строки, пугающее чувство о б щ н о с т и с чем-то беспредельным.

Уже на склоне лет я понял, из чего возникло это чувство. Оно возникло из ощущения всевластия перевода, его, только ему присущей способности раздвигать или передвигать время. Попробуйте по-русски написать поэму в манере «Медного всадника», точно имитирующую пушкинскую образность, лексику, мелодию его стиха,— и вы не создадите ничего, кроме эпигонского мертвого сочинения или па-

родии. Но переведите того же «Медного всадника» на другой язык — и слово оживет в своей первозданной силе. Архаизмы придадут поэме свежесть и новизну, устаревшая форма — благородную прочность, и то, что на языке подлинника удручало бы подражательностью, в переводе блеснет как первооткрытие. Можно ли по-немецки создать роман в стиле «Вертера» или пьесу, р а в н у ю (не по силе, а по словесному и драматургическому материалу) трагедиям Шиллера? Но «Мария Стюарт» волей переводчика несет вам достовернейший потрясающий шиллеровский текст, а в «Вильгельме Мейстере» и «Вертере», переведенном в наши дни Касаткиной, благоухает живой XVIII век!..

На ступеньках перед памятником школьники пели хорал, невидимый оркестр играл Баха. Затем процессия двинулась на городское кладбище. По обе стороны аллеи, ведущей к часовне, в подземелье которой важно покоятся в своих саркофагах Гёте и Шиллер, склонив факелы, стояли факельщики. Бил колокол — кто бы мог не вспомнить сейчас «Песню о колоколе»?

Впервые я приобщался к немецкому церемониалу.

В тот же день в театре состоялось торжественное заседание. Помню, меня поразило отсутствие так называемого президиума. На сцене, утопая в цветах, стоял огромный бюст Шиллера, чуть поодаль от него — трибуна.

Один за другим поднимались ораторы. Директор Института мировой литературы в Москве. Болгарский ученый. Профессор Сорбонны. Писатель-коммунист из Нидерландов. Румынская переводчица. Итальянский исследователь. Польский драматург. Председатель Союза писателей Чехословакии.

Все говорили примерно одно и то же: Шиллер — певец свободы, Шиллер и социализм, Шиллер и мы, Шиллер жив, его ставят, издают, переводят, массовые тиражи...

Молодой китайский профессор рассказывал, что в Китае популярны «Разбойники», «Коварство и любовь» и что «Валленштейна» перевел Го Можо.

С того шиллеровского юбилея пролетел двадцать один год. Пути истории, людей, самого Шиллера оказались неисповедимыми...

Торжества заканчивались большим правительственным приемом. Играл оркестр. Кельнеры, одетые поварами, в высоких поварских колпаках, разносили изысканные блюда. Произносились тосты. За бессмертие Шиллера. За братство.

Меня подтолкнули под локоть, я оказался перед советским послом Первухиным. Я знал его по портретам, он был членом Президиума ЦК. Мне надлежало вручить ему сборник немецких народных баллад с дарственной надписью. Первухин полистал книжку, взглянул на гравюры: «Хорошо подано...» Потом подвел меня к Вальтеру Ульбрихту, который в эту минуту о чем-то говорил с австрийским поэтом и переводчиком Гуппертом. К Ульбрихту тот обращался на «ты»... Ульбрихт взял мой подарок, поблагодарил и, пожав мне руку, сказал низким хрипловатым голосом:

— В Веймаре жизнь не изучишь. Поезжайте в село, на стройки социалистических городов. Дух Шиллера — там...

С тех пор я много раз бывал в Веймаре, однажды в связи с переводом стихотворения Гёте «На смерть Мидинга», декоратора Веймарского театра, которого Гёте уравнял в праве на бессмертие с самыми выдающимися мастерами сцены: «Он ремесло с искусством примирил...»

Словно предвосхищая изречение Станиславского или Немировича-Данченко: «Театр начинается с вешалки», Гёте показал скрытую от зрительских глаз внутреннюю жизнь «Дома Талии» с его всегда праздничной дневной суетой, где все — от театрального плотника и костюмера до актеров и драматурга — вовлечены в единую игру-работу, поддерживая и вдохновляя друг друга.

Сумев с в о и м искусством овладеть,
Служитель сцены должен все уметь.
Случается: сам автор до зари
Тайком от прочих чистит фонари...

Кончина Мидинга, видимо, повергла в подлинную скорбь если не веймарское общество, то, во всяком случае, Веймарский театр. Из стихотворения Гёте встает образ Мидинга — труженика сцены, бескорыстно преданного искусству, неутомимого в своей изобретательности и трудолюбии. Мы так и видим его, этого терзаемого постоянным кашлем, коликами и прочими недугами человека, то возводящим декорации, то измышляющим диковинные звуковые эффекты, технические новшества, то застаем его в хлопотах в последнюю минуту перед поднятием занавеса:

Партер уж полон... Вот смолкает гул.
Вот дирижер уж палочкой взмахнул,
А он там где-то на колосниках
Еще хлопочет с молотком в руках,
Чтоб что-то прикрепить и подтянуть,
И не страшится сверзнуться ничуть...

С трепетным чувством держал я переписанный от руки, с завитушками и виньетками текст гётевского стихотворения. Это было факсимиле из распространяемого в одиннадцати—двенадцати экземплярах рукописного альманаха, о котором его создатели сообщали: «...составилось общество ученых, художников, поэтов и государственных деятелей обоего пола, и оно вознамерилось представить в периодическом издании на обозрение заинтересованной публики все примечательное по части политики, острословия, таланта и ума, что рождает наше столь диковинное время...»

Виланд, Гёте, Гердер. Повеса герцог. Первое блистательное веймарское десятилетие...

Мидинг умер в 1782 году.

По захолустной, одноэтажной, горбатой Якобсштрассе я направился на кладбище. За низким забором виднелась пышная кладбищенская зелень: громадные могучие каштаны. Это было старинное кладбище Якобсфридхоф — несколько уцелевших могил. Неподалеку от выложенной белой брусчаткой центральной аллеи я отыскал невысокий, из светло-серого камня памятник Иоганну-Мартину Мидингу.

Значит, вот где это было. Вот где теснились в тот февральский день 1782 года люди, пришедшие проводить бедного Мидинга. Гёте описал церемонию погребения Мидинга во всех подробностях, как бы напоминая, что и похороны — часть размеренного человеческого бытия, а посему и в самой печальной этой процедуре есть нечто примиряющее нас с ходом жизни.

А потом, много лет спустя, в беззвездную майскую ночь 1805 года на это же кладбище по вымершим улицам Веймара, по эспланаде, через рыночную площадь несколько усталых людей несли дешевый, грубо сколоченный гроб с останками Шиллера. На другой день состоялось торжественное отпевание. Гёте на нем не было: болезнь приковала его к постели. По крайней мере сутки от него скрывали смерть друга.

В герцогский склеп на главном городском кладбище прах Шиллера поместили в 1827 году.

4

Почему же мысли кладбищенские, почему печаль, почему не пуншевая песня?.. Пунш изготовляют из вина, чая, лимонного сока и сахара. Кажется, она добавила еще толченую гвоздику. Она сварила пунш, мы зажгли свечи, и я читал ей «Пуншевую песню...» Шиллера, где рецепт приготовления пунша дан настолько точный, что его мож-

но было бы напечатать в поваренной книге. Но Шиллер писал о «четырех элементах», внутренней связью которых держится мир, а в «Пуншевой песне для севера» объяснил, что человек силой своей воли, то есть искусством, способен сотворять то, в чем ему отказала природа...

Итак, она варила пунш и из чайника разливала его по маленьким чашечкам. Мы были наконец вместе, я смотрел на нее и с ужасом думал о том, как я сейчас счастлив. Давно уже и не раз испытывал я то самое чувство страха перед счастьем, которое внушил еще шиллеровскому Поликрату его многоопытный и предусмотрительный гость:

Судьба и в милостях мздоимец:
Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?

Но еще раньше об этом узнал на себе Бедный Генрих — герой одноименной средневековой поэмы Гартмана фон Ауэ. Моя собственная жизнь оказалась связанной с ним необъяснимо страшно. Было это в 1971 году, когда я начал переводить «Бедного Генриха» — поэму о молодом, удачливом и процветающем швабском рыцаре, внезапно заболевшем проказой. Помню, как меня поразила тогда самая мысль о внезапности несчастья, которое подло врывается на самый пир жизни, в лучшие часы, посреди удачи и благополучия. Вцепившись в жертву, злой рок уже и не отпускает ее, а все ниже пригибает к земле, словно испытывая крепость нашего духа. Покориться судьбе или противиться? А если противиться, то какою ценой? Какой способ считать дозволенным?.. Рассуждать об этом вчуже и переводить прекрасную поэму было приятным занятием, но когда на строчке «Средь жизни мы в лапах у смерти» внезапно умер близкий мне человек, я содрогнулся. Что-то оборвалось, что-то кончилось.

Образ Бедного Генриха преследовал меня. В чем нравственная вина этого человека, который был наделен всеми мыслимыми добродетелями, красотой, талантом? Не в том ли, что свое благополучие, успехи, наконец, возможность весело и безо всякого для себя ущерба делать добро он счел нормой, своим естественным правом?..

В мой еще недавно шумный, обжитой дом, опустошая его, одна за другой врывались утраты. Не осталось ничего, кроме страниц этой книги. Кроме дороги к Шиллеру...

Осенью 1979 года мне предоставилась возможность посетить его родину — Марбах.

Мы выехали из Нюрнберга, спускаясь к Марбаху по виноградным дорогам Франконии и Швабии, через Ансбах, через Швебиш-Халль. В окружении рыжих лесов высился на горе белый замок. Примерно в этих местах развертывалось действие «Бедного Генриха», и я представил себе, как, заболев, Генрих выполз из своего замка.

Вид его, как и у всех прокаженных, был, наверное, ужасен. Волосы выпали, одутловатое бугристое лицо, квадратный подбородок. Быть может, он был в одежде, которую в средние века заставляли носить больных проказой: черный плащ с белыми нашивками на груди, шляпа с белой тесьмой. В руках трещотка, с помощью которой он должен извещать о своем приближении.

Была, возможно, такая же осень. Среди тишины пылали деревья. Перекатываясь, шуршали опавшие листья. Он шел пустынной дорогой, без оруженосцев, без свиты.

Многие помнят сюжет поэмы: Бедного Генриха решилась спасти простая крестьянская девочка ценой собственной жизни, отдав ему свою кровь. Генрих устоял перед искушением. Он заслонил девочку от занесенного над ней ножа. Он успел привязаться к ней и к ее несчастным родителям, в доме которых нашел приют. В этот миг к нему пришло исцеление, господь явил чудо — «проказа с Генриха сползла».

Выше собственного страдания — долг перед другими. Обретение высшей нравственной красоты и есть очищение от проказы. Для Генриха путь к исцелению начался с той минуты, когда он, выйдя за пределы своего замка, соприкоснулся со множеством неведомых ему прежде жизней.

Но исцеления ждала и девочка. От влечения к смерти, от страха перед жизнью, который толкал ее под нож. Об этом почему-то никогда не пишут исследователи. Их умиляет ее самоотверженность. Но как для Генриха, так и для девочки исцеление от страха внутри себя также состояло в познании чужой беды, в стремлении и готовности взять чужую беду на себя...

Мы въезжали в Марбах. Дорога круто шла в гору. Улицы носили имена классиков: Уланда, Мерике, Гёльдерлина. Мы решили, что дом Шиллера находится наверху, на Холме Шиллера, куда сейчас, в этот воскресный вечер, вереницей тянулись машины и группами шли празднично одетые люди. Но на Холме Шиллера стоял не его дом, а современное, клубного типа строение, где сегодня должны были торжественно вручать свидетельства выпускникам ремесленных училищ Марбаха, и все эти встречаемые нами люди были автомеханики, слесари, кузнецы, столяры — мастера.

Так начинался для меня Марбах, и я вновь вспомнил «Песню о колоколе», где каждый этап литья колокола, каждая ступень мастерства соответствует этапу человеческой жизни.

Нет, Марбах не показался мне захолустьем. Тихий, чинный, ремесленный, он производил самое отрадное впечатление. Может быть, как раз такой город и должен был дать Шиллера с его изначально народными представлениями о порядочности, трудолюбии, набожности, с отвращением к хаосу и беспутству.

Фахверковый дом с мезонином в старой части города терялся среди других подобных домов, но именно здесь, а не в другом каком-либо доме родился Шиллер. Именно отсюда двинулось в жизнь явление Шиллера.

Откуда он взялся? Каким был? Что вынес в мир из этих теперь пустых комнат, которые были когда-то спальней, детской, гостиной? Что могут подсказать эти бедные, с превеликими, наверно, усилиями собранные экспонаты: косынка матери, обручальное кольцо, атласные панталоны Шиллера, жилет, трость, кожаная шапка, его белесый локон?

Наверно, он говорил на швабском диалекте, у него, очевидно, было отчетливое швабское произношение, как и у всех здесь, в Марбахе. Он был настоящий шваб и гордился этим, как гордился своим швабством Гартман фон Ауэ. «Щит и опора слабым — недаром был он швабом» («Бедный Генрих»). «Немало их у нас в краю, кто в мире добр и тверд в бою, кто в Швабии возрос» (Шиллер).

Он выходил из дома, поднимался чуть в гору, к церкви.

Быт впитывался в него...

Мы прошлись по главной улице, где, разумеется, был ресторан «Шиллерхоф», мимо сувенирных лавок, где, разумеется, продавали гипсовые бюсты Шиллера, Гёте, а также Баха и Элвиса Пресли, и остановились на ночлег в пансионе госпожи Эльзы Бек на улице Мюльвег, в комнате с видом на Некар.

Незадолго до этого в доме Шиллера мы, быть может, непроизвольно, совершили некую церемонию, некий обряд. После того как я в книге для посетителей расписался — «...переводчик Шиллера из Москвы», она то ли из озорства, то ли повинуясь внезапному порыву, строкой ниже написала свое имя, приставив к нему мою фамилию.

На следующий день мы уезжали из Марбаха. В рыжей Швабии все дышало осенним изобилием. Чуть ли не каждая деревня выносила яблоки, крупные, как маленькие дыни, молодое вино, горячие пироги с луком. По обочинам дороги стояли деревья, на них, круглые, литые,

будто отполированные, пылали ярко-красные яблоки. Казалось, не видел я красивей мест, чем эти. Не видел столь пышной, щедрой в своем великолепии осени. На всем лежал к тому же еще какой-то декоративный оранжевый свет вечернего солнца. Словно кто-то специально устроил это представление, этот Осенний Праздник.

Мы ехали, идиллически настроенные, по той же дороге, по которой, встречаемый ликующими поселянами, возвращался в Швабию из своих скитаний бедный счастливый Генрих.

Явился в каждый швабский дом
Желанный праздник...

Генрих был вознагражден за все им пережитые муки. Он вновь обрел здоровье, почет, богатство, но жить стал иначе — «достойней, чище, строже». Разумеется, он обручился со своей юной спасительницей. Счастливейший из финалов!

Священники их обвенчали.
И до старости без печали,
В согласье свои они прожили дни,
И в небесное царство вступили они...

Как не вздохнуть:

Пусть и нам дарует господь эту участь,
Мирно жить, умирать не мучась...

То было состояние духа, которое выше самого счастья: всеобъемлющая, всесвязующая, всепримиряющая радость...

Стихотворение «К радости» Шиллер написал в Лейпциге в 1785 году: он все больше сближался с кружком Кёрнера, обретал друзей и, предавшись радужному настроению, сочинил длинные стихи, которые сам потом счел настолько неудачными, что не включил их даже в первое собрание своих стихотворений. В письме тому же Кёрнеру в 1790 году он иронизировал: «...«Радость», на мой нынешний взгляд, совсем плоха... Но так как я сделал ею уступку дурному вкусу... то она и удостоилась чести стать некоторым образом *народным стихотворением*».

Между тем Бетховен в течение тридцати лет мечтал «положить на музыку песнь бессмертного Шиллера», что ему в конце концов и удалось: гимн «К радости», став финалом 9-й симфонии, сделался как бы общепризнанным гимном человечества.

Обнимитесь, миллионы!..

Дивная искра божества, дочь Элизиума, Радость сплачивает людей в единую семью братьев, знаменует собой любовь, мир и прощение.

Семнадцать раз, начиная с Карамзина, переводили на русский язык этот гимн, однако полностью слиться с Шиллером не удалось никому.

Пытался переводить песнь «К радости» и я. Не смог.

А ее имя из книги посетителей дома Шиллера вычеркнул через полгода ее друг.

Возвращение в современность

1

В 1955 году я переводил стихи к роману Фейхтвангера «Гойя» — намечалось его издание...

В 1957 году в связи с празднованием сорокалетия Октябрьской революции редакция журнала «Иностранная литература» обратилась к зарубежным писателям с просьбой высказаться о великой дате.

Фейхтвангер прислал стихотворение «Песня павших», сопроводив его следующими строками:

«Эти стихи я написал и обнародовал во время первой мировой войны, за два года до Октябрьской революции. Ныне, когда революция уже победила и доказала сорокалетием своего существования, что она изменила облик мира на века, строки эти кажутся мне глубоко обоснованными: мертвые пали не зря и ожидания их были не напрасны».

«Песню павших» я переводил по машинописному, присланному Фейхтвангером тексту:

Мы здесь лежим, желты, как воск.
Нам черви высосали мозг...

Каким-то образом моя жизнь оказалась связанной и с Фейхтвангером...

Книга Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» была первым немецким романом, прочитанным мною в подлиннике. В школе, в старших классах, на уроках немецкого мы пробовали читать выходивший в Москве журнал «Дас ворт». Его редакторами значились Фейхтвангер, Бредель и Брехт. От журнала шли на нас волны немецкого языка: стихи Бехера, Вайнерта, проза Стефана Цвейга. Однажды я увидел в нем стихотворение со странным названием «Мышиная баллада», странно подписанное: «Куба»...

Волны немецкого языка шли и от песен молодого певца-ротфронтовца Эрнста Буша — он пел их в Москве, перед тем как отправиться в Испанию, в интербригады, на фронт. Немецкий язык был тогда в Москве популярен. Это был как бы язык антифашизма, язык Коминтерна, язык Красного Веддинга и Флориедорфа. В школах его изучали больше, чем какой-либо другой иностранный язык.

Примечательно, что тогда мало кто из нас думал о том, что на этом же языке произносит свои речи Гитлер...

Но впервые живой разговорный немецкий язык (не домашний, не школьный, а «прямо из Германии») я услышал в кинофильмах «Петер», «Маленькая мама» и «Катерина», в которых играла артистка Франческа Гааль.

Тогда я и не подозревал, что говорит она по-немецки с венгерским, а еще точнее — с пештским акцентом, что артистка она вовсе не немецкая, а венгерская и в будапештском «Веселом театре» успешно выступила в ролях Элизы Дулитл в «Пигмалионе», Полли в «Трехгрошовой опере» и Ани в «Вишневом саде». В начале же 30-х годов благодаря фильму «Паприка» Франческа стала звездой экрана.

Ничего я этого, конечно, не знал, когда на фасаде кинотеатра «Форум» вдруг увидел ослепившую меня из кусков зеркальных стекол рекламу, а потом, попав в зал, обмер — на экране появилась переодетая мальчиком девочка и запела: «Хорошо, когда удач не счесть, хорошо, когда работа есть»...

«Петер» ошеломил Москву. В течение ближайших пяти-шести лет миллионы зрителей «Петера» и «Маленькой мамы» рухнули в бездонные пропасти, погибли в муках, в огне, во мгле. Но это было потом, а в 1935—1936 годах светилась на экране маленькая фигурка и люди напевали танго из «Петера» и наслаждались полуторачасовой негой.

Европа двигалась к пропасти в ритме танго...

В детстве, в школьные годы у меня были тайные от всех игры. Сначала я сам с собой или сам для себя играл в суд, печатал на пишущей машинке грозные определения, приговоры, обвинительные заключения с беспощадной до замирания сердца подписью: «Верховный прокурор СССР» — дальше шел росчерк: какая-нибудь выдуманная фамилия.

Один из таких «секретных документов» я случайно обронил в

школе. Бумагу нашли, отнесли к перепуганному директору, он тут же вызвал моего отца. Они разговаривали долго, при закрытых дверях: дело могло принять серьезный оборот, попахивало «политическим хулиганством», «дискредитацией», чем-то еще... Отец рассказывал, что защищал меня так: «Дети врачей играют во врачей, дети юристов — в юристов. Это ведь так понятно». Вероятно, директор согласился с этим, все обошлось, но случай с «документом» запомнился.

Другой тайной игрой была игра в отметки. Все предметы: литература, история, химия, алгебра — считались участками фронта. Каждый участок имел своего командующего. Я придумывал для них фамилии, имена, рисовал их. Самым выдающимся командующим был некто Васильев, с пышными усами, с густой, расчесанной надвое седой шевелюрой — нечто вроде наркома из старых питерских рабочих. Он отличался успехами в литературе, добиваясь побед в виде «отлов», поэтому я перебрасывал его на самые трудные участки. Если погибала химия, он возглавлял химический фронт, если геометрия — геометрический, и он, как ни странно, спасал, вытягивал хотя бы на «уд». Помню еще одного, с какой-то нелепой фамилией Меерверт — спокойное холодное лицо. Он ведал в меру сложной ботаникой, завоевывал неизменное «хор», на большее и не претендовал. Я его так и не повышал в должности и лишь однажды поставил на слабый участок — на черчение. Он и там принес мне «хор», после чего вернулся на свою ботанику.

Недавно я просмотрел подшивки газет за те годы: фотографии снятых при ярком солнце танкистов в шлемах, пограничников, летчиков, мужественные лица наркомов и командармов...

Мать моя купила пишущую машинку «Монарх», на двери дома появилась вывеска: «Переписка на пишущей машинке». В дом повалили посетители, клиенты, главным образом люди, посылавшиеся из расположенной неподалеку юридической консультации. Приходили жалобщики, адвокаты. Один, откинув голову с львиной гривой, расхаживал широкими шагами по кабинету, певуче диктовал: «Кассационная жалоба». Еще помню поэта-графомана, белокурого молодого человека. Он писал лирические поэмы. Болезненно влюбленный в Пушкина, знавший все его стихи наизусть, считавший Пушкина самым гениальным человеком всех времен и народов, он диктовал такие запомнившиеся мне строки для стенной газеты к 8 Марта: «Раньше женщина в загоне жила целый век, а теперь она с мужчиной — равноправный человек...»

Мои родители не принадлежали ни к числу лиц, как-либо пострадавших от революции, ни к тем, кто принимал в ней участие. Они были рядовые граждане. Среди их близких знакомых были и коммунисты с подпольным стажем, и люди иных, старых взглядов. Одно время отец занимал видное положение, но оставался беспартийным. Вокруг меня, однако, были дети партийцев, они гордились боевым прошлым своих отцов, их орденами, их оружием, их персональными машинами, их властью.

Я ощущал известный комплекс неполноценности. Случалось, я врал, что и мой отец — крупный начальник и у него в столе лежит именной браунинг. И его тоже подвозят на машине...

Все это относится к классам пятому—шестому. Отчасти седьмому.

Когда я учился в восьмом классе, мы уже перестали придумывать своим отцам высокие посты.

1939 памятный год наш десятый выпускной класс встречал в кинотеатре «Уран». Играл джаз под управлением Самойлова. Потом показали «Катерину». Рассказывали, будто бы конец этой картины обрезан. Острили по этому поводу.

«Маленькая мама» — маленькое сретенское счастье оборвалось в сентябре, когда под ружье ушло поколение, оставив свои Кисельные, Печатниковы, Колокольниковы переулки, свои Петровские линии.

Еще ничего не началось, но все уже кончилось. Уже пахло сырой кожей, шинельным сукном, расставанием. Мы еще только начали осознавать, что значит родной дом, первая любовь, первое прикосновение к радости, первая печаль, как вдруг были получены повестки, военком поздравлял, тряс руку, все штемпелевалось, нумеровалось... Время сладостных фильмов кончилось. Начиналось другое. В бане на военном пересыльном пункте я увидел большое объявление: «ПОЛУЧЕНИЕ МОЧАЛ». Я срифмовал невольно: «Получение мочал есть начало всех начал». Пожалуй, так оно и было...

«Маленькая мама», проводив нас в эшелоны, возвращалась домой. Но 1939 год перерезал судьбу Франчески Гааль. В Европе было страшно. Некуда было сунуться, некуда податься. В большом европейском доме все квартиры были объяты пламенем.

И среди этого огня пыталась сохранить свою жизнь Франческа, или, вернее, Ф р а н ц и ш к а, Гааль.

2

В Венгрию ехал я из Берлина через ЧССР. Поезд опаздывал, был серый прохладный день, за окном тянулись поля. Все это было когда-то территорией войн, боев, потрясений. Декорации «театра военных действий» выглядят порой отнюдь не эффектно: бесконечные унылые поля, тоскливые деревушки...

Около двух недель провел я в Ростоке, по деталям восстанавливая жизнь Кубы, того самого поэта, чью «Мышиную балладу» я когда-то увидел в брехтовско-фейхтвангеровском «Дас ворте».

С Кубой я дружил, переводил его стихи и драматическую балладу «Клаус Штертебекер». Теперь «Штертебекера» готовили к переизданию, мне предстояло предисловие, к тому же еще главу о Кубе для «Истории немецкой литературы», выпускаемой в Москве ИМЛИ.

Это был человек-огонь с огненными, рыжими волосами, всю жизнь горевший. Как поэта его сравнивали с Маяковским, но шел он скорее от Мюнцера. Среди немецких поэтов я не знал человека, более фанатично преданного идее мировой революции. Он рвался на баррикады, в пекло классовых битв. Выходец из самых низов, воспитанный в семье деда, деревенского кладбищенского сторожа, потомственный социалист, он не признавал никаких компромиссов и обрушивался на тех, кого подчас незаслуженно считал оппортунистами, пасующими перед классовым врагом. Спорить с ним было невозможно: на все у него имелись незыблемые формулы.

Пьеса «Клаус Штертебекер» была поставлена летом 1959 года на острове Рюген. Участвовало две тысячи человек — вся округа. Зрительным залом служил гигантский амфитеатр под открытым небом, сценической площадкой — прибрежная полоса и само море.

Вздымая песок, неслись всадники. Гремело морское сражение. Далеко в море пылали подожженные корабли.

Штертебекер был пират, действовавший в XIII веке, «гроза богачей, надежда угнетенных»,— морской Робин Гуд. Больше всего Кубу занимали исторические персонажи «не первого ранга». Им не воздвигали памятников, не называли их именами улиц и площадей, но они оставили свой след в истории, в чьем-то сердце и жили не зря...

Постановка «Штертебекера» стала событием. Впрочем, кое-кто ворчал: не слишком ли все это расточительно — каждый вечер жечь в море два корабля? Не слишком ли пышно?

Осенью 1967 года он был одержим новой идеей. Несмотря на тяжелую болезнь сердца, настоял, чтобы Ростокский народный театр, возглавляемый им и режиссером Гансом Ансельмом Пертеном, выехал в Западную Германию. Составленная Кубой к пятидесятилетию Октября программа «Пятьдесят красных гвоздик» должна была представить западному зрителю грандиозное действо: историю революции

в стихах, песнях, пантомимах. Куба задумал дать бой реваншистским зубрам, неонацистам, буржуазии!..

10 ноября 1967 года он умер во Франкфурте-на-Майне, в зрительном зале, во время премьеры, освистанный «справа», но еще более «слева». Молодым левым, подражателям китайских хунвейбинов, виделись на сцене рутина, застой, мещанство, повторение пройденного, они кричали. «Д о л о й!» Для правых же это — «Варшавянка», стихи о мире, «Казачок» — был «культурбольшевизм».

О его смерти много писали, думали: символика, зловещий сарказм.

Я ехал перегруженный биографическими сведениями о Кубе, ожившими воспоминаниями, видел его во множестве ситуаций. Во мне звучал его стих.

Но сейчас почему-то, на подъезде к Франческе Гааль, из всех его лет высвечивался более всего тридцать девятый год, конец августа, когда он в Англии, в Уэльсе, писал отчаянное и нежное письмо Ренке, своей невесте, оставленной им в Праге.

То, что должно было случиться через несколько дней, было хуже понятия «война», за которым обычно встают в воображении батальные сцены. То, что случилось в Европе 1 сентября 1939 года, опрокидывало нечто большее, чем мирную жизнь. Каждый человек вдруг с особою остротой осознал истину, что он несвободен, что все зависит не от него самого, а от воли других людей: любой шаг, любой самый незначительный поступок. Не я определяю, что мне сейчас делать, куда идти, что мне есть. И это внезапное осознание своей несвободы было страшнее всех предстоящих тягот войны. И, возможно, страшнее смерти.

Но огненный, рыжий Куба, Курт Бартель, он, железный немецкий подпольщик, он, перехитривший ищеек гестапо в Германии, Австрии, Югославии, Чехословакии, Польше, он верил в себя, и в свою победу, и во встречу со своей Ренкой. В мою записную книжку рукой вдовы Кубы Рут было переписано то письмо, которое уже после смерти Кубы ей в Праге отдала Ренка. Ренка умирала, сходила в могилу. Жизнь истлела, не оставив ей ничего, кроме ненависти к бесконечным обидчикам, впрочем, уже и на ненависть не оставалось сил, и, умирая, она отдала Рут письмо, полученное ею из Лондона от Эгона Давида (подпольная кличка Кубы) 27 августа 1939 года:

«Моя дорогая! У людей есть все: красота, любовь, тепло, у них есть это все, и поэтому им нужно только тепло, любовь, доброта, внимание, чтоб полностью раскрыться. Глупо сокрушаться из-за гнусности этого мира!..

Я отыщу тебя. Когда я чувствую себя одиноким, я думаю о твоих губах, о твоей близости и о твоей недоступности. Никогда не печалься, смейся в годину опасности. Мы живем в бурное время, но постарайся быть достойным его. Что бы ни случилось, знай: я всегда с тобой. Как всегда со всеми, кто в беде. Будь очень храброй, будь очень доброй...»

Я перечитывал эти строки, и вновь передо мной вставал живой Куба: непрошибаемый, твердолобый упрямец с горячим, верным и добрым сердцем...

Итак, поезд полз по Чехословакии, и я думал о Кубе, о пражском периоде его жизни, когда он, беженец из нацистской Германии, ночевал под мостом, а днем разносил газеты. Именно тогда его заметил поэт Луи Фюрнберг, поддержал, стал его литературным наставником и ближайшим другом на всю жизнь. И я вспомнил, как встретил Луи Фюрнберга, единственный раз, в марте 1956 года в Веймаре, где Фюрнберг, в недавнем прошлом первый секретарь посольства ЧССР в Германской Демократической Республике, возглавлял Мемориальный институт классической немецкой литературы.

Был какой-то светлый — п р о с в е т л е н н ы й — послеполуденный час, я только что вернулся из Бухенвальда и испытывал то состояние, которое, наверное, испытывает всякий, кто после бухенвальдского

музея смерти вновь возвращается в Веймар с его умиротворенностью и гётевской невозмутимостью.

В комнату тихо вошел бледный человек в очках, со слуховым аппаратом: Фюрнберг выглядел намного старше своих сорока семи лет, он был тяжело болен, но на его лице лежала печать той же просветленности, которая лежала сейчас на всем Веймаре. И в этой просветленности рядом с бледностью, осторожностью в движениях, болезнью было что-то от фатального соседства Веймара и Бухенвальда.

Фюрнберг рассказал, что когда в Чехословакию вошли немцы, в Праге его арестовали одним из первых. Его поставили на грузовик, подвозили к зданиям библиотек и из окон сбрасывали ему на голову «подлежащие изъятию» книги. Он очнулся в камере заваленный тяжелыми томами, полуживой, оглохший.

— Но книги,— улыбаясь, сказал Фюрнберг,— обладают свойством отвечать взаимностью тем, кто их любит. Из книг я соорудил себе нечто вроде лежака и читал неотрывно. Запрещенную литературу в тюремной камере!

В 1957 году он умер за письменным столом, уронив голову на лист бумаги...

Нет, никогда так остро не чувствовал я единства наших судеб, как в эти часы, когда поезд медленно шел из ГДР через Чехословакию в Венгрию. Мы дети своего времени. Не так уж намного отличаются у нас даты рождения, ненамного, наверно, отличатся и даты смерти.

Накануне моего отъезда в Берлине, в отеле «Беролина», душной ночью при открытом окне в одном из номеров в течение часа на весь город отчаянно кричал ребенок: «Mut-ti! Mut-ti!» Но это был крик уже нового, неведомого мне поколения.

Я же ехал в Будапешт, чтобы узнать о судьбе «маленькой мамы».

Я знал: в сорок третьем—сорок четвертом годах Франческа Гааль пряталась от гестапо, а в дни боев за Будапешт была спасена советским танкистом.

3

В будапештском киноархиве от Франчески Гааль осталась копия фильма «Маленькая мама» почему-то с русскими субтитрами. В картотеке было помечено, что родилась она в 1904, умерла в 1956 году в Голливуде. Краткая справка гласила: «Ее непосредственность, обаяние наилучшим образом проявлялись в наивных ролях». В тоненькой папке лежали фотография Франчески Гааль в роли Петера, реклама фильма «Медовый месяц в Париже», несколько газетных вырезок: полускандальная хроника начала 30-х годов, путаные извещения о смерти. Одни относились к 1956 году, другие к 1973-му. Так и непонятно было, когда она умерла...

«Маленькую маму» я смотрел, обливаясь слезами: что-то было в этом фильме чаплинское, щемящая тема наивного маленького человека, который смешон, беззащитен, добр. Фильм при всей устарелости приемов не показался слабым. Может быть, во мне говорила ностальгия — встреча с самим собой.

Потом показали клочки из немого фильма «Мышь» — ничего больше не было. Все остальные картины сгорели во время войны.

О Франческе Гааль сотрудники архива не могли сообщить никаких подробностей: сами они едва слышали о ней, я был первым, кто за долгие годы проявил к ней интерес.

Я понял, что историю жизни Франчески Гааль придется восстанавливать почти из ничего: лента прокручена, отмелькали последние кадры, публика покинула зал... Прошло сорок лет...

Позже в Берлине, в Москве я смог отыскать и просмотреть ленты с ее участием: «Паприка», «Весенний парад», «Привет и поцелуй, Вероника!», «Медовый месяц в Париже», «Корсар». Она была обворожи-

тельна, музыкальна, хотя кое-где и повторяла себя: жест, мимику и манеру сердито-кокетливо понижать иногда голос до этакого басочка... Строптивая бедняжка с характерным взмахом руки («Ах, бог с вами!» — досада, вспышка обиды, прощение) отдаленно напоминала Джульетту Мазину — Кабирию.

В свое время она была на вершине славы, ее приглашали сниматься в Соединенные Штаты Америки, еще чаще в Германию, где с особым успехом шли ее фильмы. До тех пор, пока в газете «Франкише тагесцейтунг» 12 марта 1934 года не появилась заметка: «Еще одна киноеврейка должна исчезнуть с экрана».

«Петер», «Маленькая мама», «Катерина» были поставлены на немецком языке уже в Венгрии. Киностудия «Немецкий Юниверсал» стала именоваться «Юниверсал — Гунния».

Перед самым началом второй мировой войны Франческа Гааль успела сняться в Голливуде в фильме «Катерина Последняя». Это и был, собственно, ее последний фильм. Вернувшись в хортистскую Венгрию, она узнала, что ни играть на сцене, ни сниматься в кино ей уже не придется.

В городе Дьере тогдашний премьер-министр Кальман Дарани призвал готовиться к войне. Вводились запреты на профессии, на замещение ряда должностей. Составлялись списки неугодных: либералы, коммунисты, люди, проанглийски настроенные, всех оттенков левые, евреи.

В 1938—1939 годах была создана Палата актеров: от актеров (так же, как, впрочем, и от представителей многих других профессий) требовали документы с развернутым доказательством чистоты расы. Знаменитый артист Дюла Чортош вместо справки о чистоте расы послал властям свою визитную карточку. Вы хотите знать, кто я? Извольте! Я — Дюла Чортош!.. Это был благородный жест, но заплатил за него Дюла Чортош дорого: он умер от дистрофии в тот самый день, когда Будапешт наконец взяли советские войска.

Франческа Гааль свое арийское происхождение ничем доказать не могла. Подлинное ее имя было Фанни, фамилия Зильберштейн или Зильбершпиц. Ее артистическая карьера обрывалась...

Я ходил по будапештским музеям, библиотекам, листал подшивки старых газет. Изредка натыкался на рецензии. Писали о неповторимом очаровании ее игры, об ошеломительном успехе в «Мальчике Ности». Спектакль «Маленький мальчик в больших ботинках» с ее участием беспрерывно показывали 125 раз. За ней охотились директора горящих театров: знали, что спасти может только она. Она спасала: выходила на сцену наивная, маленькая, звонким голосом пела. В кассу театра текли деньги.

Критик Деже Костолани по поводу премьеры «Матики, которая хотела стать актрисой» писал:

«Главную роль играет Франциш Гааль. Роль была написана для нее. Или о ней? У нас нет актрисы более артистичной. Сколько тонкой самоиронии, сколько едкого знания жизни открывается в каждом ее хитроватом движении... Она колышется на волнах игры, словно приманка для рыб, то исчезая, то вновь появляясь...»

Да, это была целая эпоха — Франческа Гааль, но когда я специально ради нее приехал в Будапешт, оказалось, что о ней уже почти никто не помнит. В «Веселом театре», украшением и ведущей актрисой которого она являлась, имя ее не знали ни режиссер, ни заведующая литературной частью... Может быть, ее смутный образ живет лишь в душе, в памяти сердца москвичей и ленинградцев, оставшихся от 30-х годов?

Тогда же, в 30-е годы, репортерские заметки извещали жадную до сенсации будапештскую публику об ее частной жизни.

Первым ее мужем был модный либеральный журналист Шандор Лештян, которого сменил модный адвокат доктор Ференц Данковиц,

серб из Баната. Мне повезло: в музее истории театра я случайно нашел фотографию — Франческа Гааль и Дайковиц перед зданием нотариальной конторы 8-го района Будапешта. На Франческе меховой палантин, длинное темное платье, в руках она держит большой букет белых роз. Доктор Дайковиц — громадного роста мужчина в цилиндре, во фраке, в гамашах. Их окружает группа радостно-возбужденных людей. Что с ними стало потом, когда, поздравив новобрачных, они разошлись по своим жизням?..

В почтовом музее из старых телефонных книг я выписал адрес адвоката Ференца Дайковица. Они жили в доме № 13/15 по улице Шомоди Бела. Я никак не мог найти дом под этим номером, обращался к прохожим. Подошел старик в белом мятом плаще, в тяжелых ботинках. Спросил, чего я ищу. Долго слушал, силился вспомнить. Потом сказал:

— Да, да... Кажется, такая была... Кажется, она снималась в американских фильмах и одну песенку пела по-венгерски. Но это было очень давно. И дом, где они жили, снесли очень давно. Это было вот здесь, рядом, где сейчас школа...

Я нашел еще один адрес. Последнее их место жительства перед войной — улица Хунади Яноша, 23.

Я поехал на окраину Буды. Все было в осеннем золоте и, несмотря на конец октября, очень тепло. Раздался колокольный звон, означавший, что наступил полдень. Каждый день в это время бьют колокола в напоминание о победе над турками в 1498 году. Подо мной были рыже-зеленые холмы, вдали белел Рыбачий бастион, неподалеку от Цепного моста — отель «Хилтон», церковь святого Матиаша.

В 1943 году над этим районом день и ночь висели бомбардировщики. Улица Хунади Яноша стала почти сельской местностью. Дома 23 на ней больше не было. Остался номер телефона: 153-293. Можете позвонить.

Я навел справки в Доме ветеранов сцены, оказалось, что там живут несколько человек, знавших Франческу Гааль, даже выступавших с ней вместе в спектаклях.

В Доме ветеранов некогда помещался известный бордель фрау Фриды, у которой бывали дипломаты, министры, высшая венгерская знать. Я очутился в шикарной буржуазной вилле конца XIX века: дубовая лестница, роскошная мебель, картины в золотых багетах, стены, обитые шелком. На одной из лестничных площадок стояла обнаженная кариатида с непомерно большим бюстом. В нижнем холле старые люди смотрели старинный фильм.

Растормошили трех стариков, трех опереточных актеров. В зал, в который выходили к гостям дамы фрау Фриды, ко мне вышли старичок с лицом старушки, красивая, еще моложавая на вид примадонна, скрюченная подагрой, угрюмый старик, бывший комик. Разговор шел долгий, бессвязный, и все же они вызволили из небытия какую-то тень. На мгновение часть лица ее осветилась, Францишка, или, как они ее называли, Ф р а н ц и, рассмеялась, произнесла несколько слов, сказала какую-то дерзость режиссеру, заплакала, обняла подругу, что-то шепнула ей на ухо, сноп света упал на ее рыжеватые волосы, потом все вновь ушло в темноту...

В 1944 году навязанное Берлином «окончательное решение еврейского вопроса» все более распространялось на Венгрию. Ограничения, которые сперва казались не такими уж страшными, постепенно нарастали и вели теперь к гибели сотен тысяч людей. В сорок втором — сорок третьем годах еще возможны были всякие комбинации, можно было еще откупиться. Богатые люди за большие деньги могли выехать в комфортабельных вагонах в Швейцарию. За еще большие деньги можно было вылететь на немецком самолете непосредственно в Португалию, в Лиссабон.

В 1944 году одну из улиц Будапешта перегородили невысоким за-

бором. Со всего города сюда с чемоданами, с домашним скарбом потянулись те, кто обречен был погибнуть.

Франческа Гааль в гетто не пошла. Вместе с мужем она бежала из Будапешта. Дайковиц укрыл ее на озере Балатон, в специально оборудованном бункере. Служанка, давняя обожательница ее таланта, осталась с ней. Могли ли они предположить, что их спасут советские воины, те, кто когда-то доверчиво смотрел «Петера» и «Маленькую маму»...

Поиски следов Франчески Гааль были не сладостным отдыхом. Иногда мне начинало казаться, что все, что я узнаю,— фантасмагория.

Последний диктатор Венгрии, главарь партии нилашистов («Скрещенные стрелы») Ференц Салаши в 30-е годы был излюбленной мишенью для карикатуристов и авторов политических фельетонов. Появляясь на массовых митингах, он пудрил щеки и красил губы. Он был кадровый военный, майор, но вышел в отставку, чтобы целиком отдаться политике. Даже Хорти сажал его в тюрьму как опасного авантюриста.

15 октября 1944 года его привели к власти Гиммлер и немецкие эсэсовцы. Салаши составил «правительство» из таких отбросов, что не нашлось ни одной более или менее подходящей фигуры на пост министра иностранных дел. Начался открытый нилашистский террор: убивали на улицах даже детей, стреляли, волокли в тюрьмы. За несколько месяцев Венгрия потеряла людей больше, чем за все годы войны на фронтах.

Придя к власти, Салаши завершил свой «теоретический» труд с диковинным названием «Карпатско-Дунайская великая Венгрия». Он был одержим манией венгерской национальной исключительности.

Советская Армия уже вплотную подошла к Будапешту, когда «совет министров» принял решение, что каждая новая венгерская семья будет отныне получать в дар от правительства экземпляр «Карпатско-Дунайской великой Венгрии» — труд «вождя нации».

Бедные маленькие мамы! Миллионы человеческих судеб оказываются в руках безумцев!..

Салаши бежал к американцам, прихватив с собой корону Иштвана I, на которой в присутствии кардинала присягал на верность отечеству, а также несколько ящиков с золотом и драгоценностями из Национального банка.

Переданный венгерским властям, находясь в тюрьме, он соблюдал в своей камере образцовый порядок, койку заправлял по уставу, каждый день до блеска начищал сапоги. Когда однажды не оказалось ваксы, он пришел в отчаяние.

Ему решили показать разрушенный Будапешт, повезли мимо страшных развалин. Они не произвели на него ни малейшего впечатления...

Далеко отнесло меня от Франчески Гааль, от саксофонной истомы, иная слышалась музыка. Каким непрочным оказался мир ее фильмов!

Был осенний день в Вышеграде, в тишине раздавался холодный стук голых ветвей. Мы шли по аллее примыкающего к санаторию парка с известным комическим актером Комлошем. Я надеялся, что он расскажет мне о Франческе Гааль, но он рассказал о Салаши, потому что в конце 1945 — в начале 1946 года он был не актером, а следователем Народной прокуратуры и первые свои показания Салаши давал ему...

Машина зла не в состоянии остановиться сама по себе, даже несмотря на явную абсурдность своей кровавой работы. Сломать ее может только сила.

Освобождение Будапешта далось нелегко, и если ни его население, ни даже немецкие солдаты не могли понять, зачем же льется столько крови и такой полыхает огонь, когда исход войны все равно

ясен, высшее немецкое руководство полагало, что опирается на тонкий стратегический расчет: в Будапеште защитить Вену, предотвратить удар на Берлин с юга. Но и этот расчет был всего лишь погоней за временем, попыткой оттянуть тот час, который все-таки наступил. Все равно наступил тот день и тот час, когда Вильденбраух Пфеффер, генерал-полковник СС, возглавлявший оборону Будапешта, седой, небритый, с воспаленными выпученными глазами, с лохматыми седыми бровями, в мятой пилотке с эсэсовской кокардой, подняв кверху руки, вылез из канализационного люка.

В один из таких дней советский майор-танкист Агибалов, проносившийся на своем «виллисе», услышал крик женщины. Звали на помощь. Из подвала горящего дома он вытащил маленькую рыжеволосую женщину в брюках и лыжной куртке. Лицо ее было черно от копоти. Она что-то говорила, пыталась что-то объяснить, Агибалов не мог понять ни слова. Тогда она вдруг запела песенку из «Петера»: «Хорошо, когда удач не счесть...» Агибалов всмотрелся в нее, узнал кинозвездочку своей юности.

Танкисты, смеясь, называли ее Петро и Катюша... Через некоторое время в кабинете советского коменданта Будапешта генерала Замерцева появилась, как он об этом пишет в своих записках, «пожилая дама в простеньком платье... На голове у нее была коричневая шляпка».

В бункере от неподвижной жизни она сильно располнела — для актрисы это трагедия,— никто из старых друзей не смог ее сначала узнать... Но стояла ослепительная весна 1945 года, она вновь почувствовала себя женщиной, артисткой, готовой отстаивать свое достоинство, как это делали когда-то ее маленькие героини. К Замерцеву она пришла требовать возвращения каких-то урезанных земельных наделов Дайковица.

Дальнейшее — словно свершившаяся киногреза: ее пригласили в дом к маршалу.

Маршалом был Климент Ефремович Ворошилов, председатель союзной контрольной комиссии по Венгрии. Он и его жена Екатерина Давыдовна поддерживали оголодавшую, растерянную венгерскую художественную интеллигенцию: известных артистов, скульпторов, живописцев. К Франческе Гааль они отнеслись с особой сердечностью: ведь «Петер», «Маленькая мама» и для них были частицей тех лет, которые забыть и от которых уйти невозможно.

Она стала блистать на банкетах, на приемах, ей подавали автомобиль, за ней заезжал порученец в высоком звании.

Ворошилов предложил ей провести несколько недель в Советском Союзе в качестве его гостьи. Это было сказочное приглашение! Самое фантастическое!.. Ей смутно виделась великая северная страна с двумя столицами, с неслыханной роскошью, с раздольными степями, со звоном бубенчиков на тройках, с женщинами в соболях, с красавцами — гвардейскими офицерами...

К длинному воинскому составу, который шел из Будапешта в Москву, прицепили обшитый желтым деревом пульмановский салон-вагон с ярко начищенными медными поручнями... Франческа ехала в сопровождении горничной, камеристки и переводчицы.

Она прибыла в Москву, которую нельзя было назвать даже послевоенной: еще шли военные действия против Японии. Венгерской киноактрисе устроили официальный прием в ВОКСе. Среди тех, кто ее принимал, были Эйзенштейн, советские кинозвезды Орлова, Серова, Окуневская, писатель Горбатов, критик Караганов, артист Крючков. Избранное, что ни говори, общество. Франческа кокетничала с мужчинами — избалованная, изнеженная.

Между тем у нее было изможденное страдальческое лицо. По утрам без косметики, без грима она выглядела страшно. Она без конца курила и очень много пила. Франческа Гааль давно уже не была ни

маленькой мамой, ни Петером, но не сознавала этого и в сорок лет считала себя девочкой-озорницей.

На «Лебединое озеро» в Большом театре она сочла нужным явиться с опозданием на пятнадцать минут. Для нее открыли центральную, «царскую» ложу. Она сидела, позевывала, скучала.

Она жаждала поклонников, экстравагантных, неожиданных встреч, но кругом все ужасно устали, ведь на всех еще лежал груз войны, эвакуации, страшных утрат, разлаженного дикого быта.

Ей собирались показать достопримечательности Москвы, но у нее было мало времени: через американское посольство она надеялась получить возмещение за какие-то ценности, сданные ею на хранение в Голливуде, кроме того она вела переговоры с целью заключения контрактов.

После Москвы предстояла поездка в Ленинград. Сопровождать ее поручили молодому военному переводчику из добродетельных и в высшей степени эрудированных ифлийских мальчиков — Сереже Л. Он тщательно подготовился к поездке, перечитал историю города, описания архитектурных памятников, в запасе у него было несколько тем: Петербург Гоголя, Петербург Достоевского, Петербург Блока.

Старания его оказались напрасными. Ее не занимали ни Достоевский, ни Гоголь, о существовании Блока она даже не слышала. Сережа пытался заинтересовать ее чудесами Растрелли (грандиозный пространственный размах, прихотливая орнаментика) и Монферрана (переход от ампира к эклектизму), она слушала его объяснения, когда же показался Аничков мост, кивая, обреченно сказала: «Мост, господин учитель. Мост... Начинайте»...

Город был тихий, огромный, еще только начавший подниматься с одра после блокады. Ее повезли в Музей обороны Ленинграда, показали дневник Тани Савичевой, пайку блокадного хлеба... Что ж... Разве и она сама не была на волосок от гибели?

В интервью корреспонденту ЛенТАСС она заявила: «Ленинград прекрасен и велик, как доблесть и мужество его замечательных граждан».

В тот же вечер в ресторане гостиницы «Астория» она шумно высказала недовольство паюсной икрой: требовала зернистой.

О войне, о том, что пришлось ей пережить, она вспоминать не желала, да и разговоры о ленинградской блокаде выдерживала с трудом: зачем вспоминать мрачные времена?

Она побывала в Пушкине. А потом ее принимали военные летчики. В ее честь показывали фигуры высшего пилотажа, устроили пышный банкет, она вновь ожила, зажглась, без конца танцевала, пела. Вернувшись в гостиницу, всю ночь прорыдала: безумно влюбилась в командира части Героя Советского Союза гвардии майора... Сережа не знал, как быть, звонил в штаб округа.

Все же ее удалось как-то отвлечь: гитарист Сорокин разучивал с нею цыганские песни...

С ней было ужасно много возни, с этой кинозвездой нашего детства и юности, прогрессивной венгерской актрисой и гостьей маршала. Сережа от усталости чуть ли не падал с ног. И только однажды горько ей посочувствовал: на «Ленфильме» по ее просьбе ей прокрутили старую копию «Петера». Она плакала от встречи и прощания с молодостью.

В конце концов Сережа облегченно вздохнул. Знатная гостья отбывала на родину.

В Венгрии Франческа Гааль прожила недолго, начала сниматься на частной киностудии в румыно-венгеро-американском фильме «Рене XIV, или Король бастует», вместе с мужем отправилась в Голливуд, там и осталась.

Газеты похоронили ее в 1956 году («Закатилась звезда...»), а когда она действительно умерла в 1973-м («Из Нью-Йорка пришло печальное

известие...»), писать было уже не о чем, все прощальные слова уже были сказаны семнадцать лет назад. Лишь в каком-то киножурнале вычитал я пышную метафору: «В фимиаме славы восседала она на троне из папье-маше...»

Прощай!

4

...Бедный, бедный мой друг, я потерял твое колечко, оно разлетелось пополам, я это предвидел, когда мы ехали с тобой в поезде и я списывал с пейзажей за окном строки перевода Эйхендорфа о лопнувшем кольце — символе разлуки. В стихах была старая мельница, слышался стук мельничного колеса, и, сидя на берегу ручья, с котомкой за плечами, отложив в сторону посох, закрыв лицо руками, горько рыдал юноша: «Не ты ль свое колечко дала мне в час ночной? Зачем твое сердечко смеялось надо мной?» Ты еще успела прочесть этот перевод, а в самый канун нашей разлуки я дал тебе посмотреть всю рукопись моей книги «Из немецкой поэзии. Век X — век XX», ты видела ее всю такой, как она потом вышла в свет: макет обложки, иллюстрации, вступительную статью — все, кроме скорбного посвящения... Бедный, бедный мой друг, ты являешься ко мне во множестве образов, обликов, чем я могу утешить тебя? Ведь я потерял не только колечко, я потерял те стихи, которые перевел тогда же, и по рассеянности забыл включить в книгу, «Введение» Брентано, хотя, может быть, это самые нужные нам обоим стихи: ты, конечно, сразу же поймешь их смысл, это стихи о л ю б в и, не отягощенной ничем, о любви н а ш е й, потому что кто же сейчас из любящих на всем свете б е д н е е н а с?..

Что зреет в недрах этих строк,
Произрастет, поспеет в срок,
Взойдет без промедленья.
Посев, согретый добротой,
Взлелеян кротостью святой
Сердечного томленья.
Колосья с поля соберут.
Но чем окупится наш труд?
Вдруг — бедностью, не боле?..
Тогда любовь ищите в них,
В последних колосках родных
На опустевшем поле.
Любовь для бедных создана.
Любовь без бедности бедна,
Любовь, о нас в заботе,
В ночной не дремлет черноте...
Вы при дороге, на кресте,
Ее слова прочтете:
«Дух, время, вечность, плоть и кровь,
Свет, мир, страдание, любовь».

Стихи к «Гойе» я начал переводить, еще не испытав утрат, главных жизненных потрясений: я был еще сыном живых родителей, мужем живой жены. Между тем в романе только и говорилось о потерях и потрясениях. Гойя был первым в ряду «моих» персонажей, которые к истине шли, балансируя на краю пропасти, преодолевая бедствия, внутренние катастрофы, крушения надежд. Роман так и называется: «Гойя, или Тяжкий путь познания». Думаю, и для самого Фейхтвангера этот роман был подведением итогов. Горестно прищурившись, озирал он длинный тяжкий путь.

Обрюзгший, старый, глухой Гойя, великий художник, напоминал мне Бетховена. Его одолевали демоны — душевные терзания, бесчисленные несчастья, призраки инквизиции. Они теснились в нем, и он исступленно изгонял их из себя на листы своих «Капричос»...

Стихи, которыми завершалась каждая глава, плавно вытекали из прозы, вернее проза плавно, как бы сама по себе переходила в стихи, в безрифменные испанские романсеро. Между прозой и стихами не должно было быть никаких швов. Задача нелегкая.

Прозаическую часть романа, или, вернее сказать, весь роман за исключением стихов, переводили Ирина Сергеевна Татаринова и Наталья Григорьевна Касаткина, виртуозы русского перевода, в полном смысле слова кудесницы. Работать в содружестве с ними было честью и радостью. Я приходил к Наталье Григорьевне в ее старомосковский дом на Басманной и всякий раз испытывал некоторую робость: окажутся ли мои стихи достойными их прозы?

В доме Натальи Григорьевны я постигал еще неизвестные мне секреты мастерства. И она и Ирина Сергеевна учили меня, так сказать, правилам хорошего литературного тона. Старшее поколение московских переводчиков донесло до нас культуру русской речи, благородную осанку фразы, несуетливый и несуетный стиль. В их переводах Диккенса, Флобера, Мопассана, Бальзака, Теккерея, прозы Гёте и Гейне русская литература сохранила, не засушив его, не законсервировав, живой слог русской классики. И русские писатели нового поколения, вскоре вступившие в жизнь, должны бы помнить о них с благодарностью. Авторы известных романов и повестей 60—70-х годов росли на русской классике и на мировой литературе, которую они читали по-русски в переводах Калашниковой, Волжиной, Касаткиной, Татариновой, Лорие, Дарузес, Веры Топер, Станевич, Горбовой, Жарковой, Горкиной, Лана и Кривцовой, Немчиновой... Все в целом, они, возможно, представляют собой литературное явление, которого не знала мировая культура. Они были хранителями огня. Со многими из них мне приходилось общаться, бывать в их заваленных книгами, словарями, справочниками тесных квартирках. Все они отличались одним: влюбленностью в слово. Они млели над ним, их натренированный слух мгновенно улавливал малейшую фальшь, любая словесная неряшливость причиняла им чуть ли не физическую боль.

Н. Г. Касаткина и И. С. Татаринова помогли мне понять смысл найденного Фейхтвангером приема: талантом художника проза жизни с ее тоской и потерями претворяется в терпкую поэзию жизни.

...Внезапно заболел мой отец. Ему постелили в комнате, которая когда-то была его кабинетом, на черном кожаном диване. Болезнь оказалась смертельной. Вначале, видимо, не осознавая свою обреченность, отец еще мерил утреннюю и вечернюю температуру, записывал на листке бумаги показатели градусника, старался не нарушить диету. Силы все больше оставляли его, он таял, стал безразличен к предписаниям врачей, но жадно читал: Бальзак, десятый том, «Бедные родственники». Потом попросил у меня рукопись «Гойи».

Целыми днями мы с Бубой метались по городу — нужен был березовый гриб, чага, мать пропускала кору через мясорубку, варила тот бесполезный чай. По ночам я переводил стихи к «Гойе» — искал для себя в работе спасение,— утром приносил отцу очередную главу. Он успел прочитать роман до середины...

Отца хоронили 31 мая 1955 года.

В газете «Вечерняя Москва», в которой было напечатано извещение о его смерти, сообщались новости: коммюнике о переговорах между правительственными делегациями Советского Союза и Югославии, информация о строительстве крупнейшего стадиона в еще не ведомых никому Лужниках, репортаж о последних приготовлениях к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — впервые после войны...

Татарка-дворничиха, подметая наш узкий двор, сокрушалась:

— Чаловек — как часы. Ходил-ходил, потом перестал — и бросили на помойка.

«Гойя продолжал жить... Он был еще не стар годами, но обременен знанием и видением. Он принудил призраков служить себе, но они каждый миг готовы были взбунтоваться...»

В рабочей блузе он спустился в столовую. Уселся перед голой стеной. Ему виделась фигура великана, гиганта-людоеда, пожирающего даже собственных детей. Но на этот раз он не испугался всепожирающего Сатурна, который под конец пожрет его самого... «Все живущее пожирает и пожирается...» Так уж положено, и он хочет иметь это перед глазами. Он должен пригвоздить колосса к стене!

«Хорошо сознавать свое превосходство над тупым великаном на стене. Хорошо понимать, что он всесилен и бессилен, угрожающе-злобен и жалко-смешон...»

Всех он потерял, глухой, старый, обрюзгший Франсиско Гойя, который сидел теперь, руками тяжело опершись на колени, перед голой стеной в своей опустевшей столовой.

Августин пришел. Увидев
Друга вновь в рабочей блузе,
Удивился... Гойя с хитрой,
Но веселою ухмылкой
Пояснил: «Ну вот, как видишь,
Я работаю...»

20 апреля 1980.

В ИНТЕРЕСАХ СБЛИЖЕНИЯ КУЛЬТУР

В свое время, читая в переводе Льва Гинзбурга антологию «Из немецкой поэзии. Век X — век XX», одну из самых ярких и значительных работ советского писателя и переводчика, я невольно подумал: а ведь в том, что делает Лев Гинзбург, он поистине первопроходчик. И еще я подумал: да в состоянии ли один человек органично перевоплотиться в столь непохожих художников, чье творчество принадлежит к самым различным эпохам? Такие перевоплощения были бы совершенно невозможны, не обладай переводчик тем даром духовной отзывчивости на живое явление иноязычной культуры, той разносторонней эрудицией и, конечно, литературным талантом, какие отличали Л. Гинзбурга. Недаром авторы и эпохи без видимого противодействия переводчику сходились у него в единый круг. Хорошо сказал однажды Вильгельм Левик: «Гинзбург умеет создать на основе оригинала свою собственную поэтическую версию, которой мы безусловно верим, не ощущая никакой фальши. И только при внимательном сличении с подлинником мы видим, с каким тонким искусством играет нашей доверчивостью переводчик».

Как поэтическая личность Гинзбург переполнен беспрерывно рождающимися, рвущимися из него, требующими немедленного осуществления словесными идеями. Он по натуре своей вулканичен. Живя в кипучем состоянии, трудно удержаться и не вдвинуть в обрабатываемый текст что-то свое, что возникло как озарение. Но, конечно, вулкан вулканом, а извержение его все же можно было бы поставить под сомнение, если бы оно ограничивалось лишь импровизациями по поводу. Но переводчик живет не одними слововзрывами. Он кипит и мыслями. У него большие задачи. В частности, задача, не насилуя чужой поэтический текст, выявить его непреходящую новизну и современность.

Известно, что Михаил Лозинский, переводя Данте, приучал себя «мыслить терцинами». У Гинзбурга наоборот: он идентифицирует не себя с автором, а автора с собой, не успокаивается, пока не сделает переводимое произведение пригодным для выполнения своей развернутой программы. Потому-то каждая книга его переводов есть и его личная книга.

В книге «Слово скорби и утешения», вышедшей в 1963 году, где были собраны переводы стихов периода Тридцатилетней войны, Гинзбург ставил вопрос так: «О ком и о чем эти стихи? О сожженном в 1637 году Фрейштадте или о современном Дрездене, сгоревшем в ночь на 13 февраля 1945 года?» Сталкивая в собственной аранжировке времена, расставляя по своему произволу ударения, Гинзбург стремится вынести из прошлого доказательства взаимоузнаваемости времен.

Известно, что Маяковский с его резкой неприязнью ко всему, что хоть отдаленно пахло «словесами», наотрез отказывавшийся принимать существовавшую до него поэтику, положил громадный труд на то, чтобы «словеса» опять становились словами. Он знал секрет обращения с «пресволочнейшей штуковиной», с той «поэтичностью», которую, по собственному свидетельству, ненавидел еще с детства («скалы» вместо нормального человеческого «ска́лы»). Зная, что поэтическое слово существует не само по себе, а только в нашем отношении к нему, он брал залежавшиеся лексические слои с дистанции, соединял слова не фронтально, а в преломлении смысловых и звуковых пространств. В строчку не могло попасть ничего, не пройдя контроля некоего «так сказать», контроля иронией. И Маяковский часто как бы бравировал этим; раскрывая механику своей работы, он так прямо и говорил: «Впрочем, что ж болтанье! Спиритизма вроде. Так сказать, невольник чести... пулею сражен...»

Вот и у Гинзбурга переводы не подделка, не музейный экспонат, они также построены на дистанциях, на всевозможных «так сказать». К примеру, у Гёльдерлина

среди возвышенных возгласов и нескончаемых восклицательных знаков обнаруживается несколько мест, впечатляющих авторской сдержанностью, скрытой экспрессией. Хотя бы одно из них: «Так слепой раб приучался дрожать, выполнял подневольный труд и умирал в ужасе своего ничтожества». У Гинзбурга это место переведено почти буквально, но с едва заметным усилием стиля, снижающим и сжимающим пафос до состояния едва ли не конкретного образа.

При помощи привычных для русского читателя категорий Гинзбург вскрывает в явлении иноязычной культуры зерно факта, который в буквальном переводе, без учета условного времени и пространства оставался бы для него, читателя, немым. А так почти физически ощущается и вызванная из молчания фигура самого иноязычного поэта, ощущаются обстоятельства, стоящие за строкой, и, конечно же, личность переводчика.

Юрий Тынянов, сблизив однажды рассуждение Гёте о прозе и поэзии с интересным замечанием Киреевского: «...хорошо сказанное слово имеет цену хорошей мысли», пришел к выводу, что так называемые бессодержательные слова могут в стихе получать «кажущуюся семантику».

Воспринимая живую информацию о каком-нибудь событии, человек относится к слову по-деловому. Для него важно увидеть сообщаемое во всех подробностях.

Поэтическому слову свойственна и иная роль: вызывать переживание. Хлебникову принадлежит термин «самовитое слово»... Кажется, однако, что сам народ еще ближе подошел к смыслу явления, говоря о красном словце.

Виктор Шкловский указал как-то на интересно разложенное в одном стихотворении Блока слово «железнодорожный» — на два составных, долженствующих обозначать характер тоски: она, мол, «дорожная», «железная». От себя приведем родственный пример из «Слова о полку Игореве». Всеволод, представляя брату Игорю свое войско, восхваляет его боевые достоинства: «...сами скачють, акы сѣрыи влъци въ полѣ, ищучи себе чти, а князю славѣ».

Сложившееся понятие «честь и слава» уже и тогда произносилось автоматически. Поэт заставляет почувствовать его наново тем, что разрывает ряд и каждой освободившейся части сообщает самостоятельную жизнь. Как и «дорожная», «железная» тоска, они обрели теперь объем, вес, стали пластичны.

На работу Гинзбурга можно взглянуть и под этим углом зрения.

В знаменитой средневековой песне «Колесо Фортуны», переведенной Гинзбургом, есть такое место: «И, взлетев под небеса, до вершин почета, с поворотом колеса плюхнулся в болото». Разберемся, в чем тут дело.

Если вы захотите вникнуть в происшедшее «прозаическим» путем, вам это не удастся. Убедившись, что «вершины почета» —такой же зрительно ни с чем не ассоциируемый шаблон, как «честь и слава», вы постараетесь увидеть хотя бы момент падения в болото. Но вы не успеете, потому что умозрительный процесс перебьется неожиданным словом, которое сразу поглотит все ваше внимание. Трагикомический герой не упал, а плюхнулся. Зато благодаря воздействию этого слова начнут внезапно осязаться и «небеса», и «вершины почета», осязаться чисто поэтически, как величины, приведенные в движение установившимися между ними новыми отношениями. Вы смеетесь, будто слушая анекдот с пуантой, состоящей из игры слов: не столько уже ситуация смешна, сколько слова, которыми она преподана.

Поэзия, помимо всего — игра слов. Об этом следует говорить без опаски. Игра далеко не только для развлеченья и уж отнюдь не для отвлеченья. Ни «честь», ни «слава» сами по себе не превращаются от этого в игру. Но игра останавливает на словах внимание. Она приучает вчувствоваться в них, осознавать их. Осознанное слово дает чувство обновленного соприкосновения с действительностью.

На эту цель направлен труд, талант, умение Льва Гинзбурга.

Переводчик обогащает национальную культуру своего народа, приводя ее в активное, диалектическое взаимодействие с иноязычной культурой. В этом интернационалистское призвание переводчика-художника. И Лев Гинзбург оставил нам замечательный пример осуществления этой высокой миссии.

Игорь КОСТЕЦКИЙ.

Штутгарт, ФРГ.

ЧАРЛЬЗ СНОУ

★

ЛАКИРОВКА *

Роман

41

В кабинете по убийству все эти последние ноябрьские дни оперативники говорили, обсуждали, взвешивали. Все знали, что очень скоро Брайерс вызовет доктора для новых допросов. В воздухе чувствовалось возбуждение, хотя некоторые и пытались его охладить. Впрочем, в метеорологическом смысле воздух был достаточно холодным и к тому же сырым: улицу перед участком затягивал мутный сумрак, тучи висели много ниже взлетных коридоров реактивных лайнеров, а дождь, хотя и мелкий, казалось, будет сеяться без конца. За углом, на Элизабет-стрит, под пологом унылой измороси текли потоки зонтиков. Магазины — дичь, рыба, бакалея, вино — уже ярко сияли, возвещая приближение рождества. Полицейские, направляясь через улицу к пивной, вдыхали запахи сыра и фруктов, словно вновь шли по родному городку в рыночный день.

Брайерс все это время занимался тем, что выслушивал всех, кто хотел что-нибудь сказать. Теперь, когда конец был близок, он пробуждал в подчиненных своего рода безотчетную веру. Они верили, что он сумеет найти пробойный ход. Когда они заметили, что у него подолгу сидит Морган, патологоанатом, их вера окрепла еще больше. Кое-кто из них знал, что Морган — самый надежный союзник в скверную погоду, но они не знали, что он вынужден был предупредить Брайерса, чтобы он не рассчитывал в обозримом будущем извлечь дополнительные сведения из судебно-медицинских данных: они исчерпаны. Он сообщил, что в студенческие годы Перримен всегда и во всем старался добиться совершенства, но Брайерс ответил: «Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю».

Оперативники приходили и уходили, но Брайерс сидел в кабинете час за часом. Он вызывал их, но трое, присутствовавшие на прошлых допросах,— Бейл, Флэмсон, Шинглер — обычно сидели с ним. Брайерс обдумывал заключительную атаку.

— Я не люблю точно разработанных планов,— не раз повторял он.— В подобных случаях надо играть по слуху. Планы, детально рассчитанные заранее, обязательно срываются.

Но говорил он совсем не то, что думал. У него были планы — планы, учитывающие непредвиденные неожиданности и далеко не все словесно оформленные. Он слушал своих сотрудников, как слушал Хамфри и Моргана. И высказывал им свое мнение. Он был откровенен — и скрытен. Даже Бейлу, на которого он полностью полагался, который не блестяще соображал, но блестяще действовал, он не сказал всего.

Все это мало напоминало разработанную во всех деталях операцию того типа, когда какой-нибудь министерский руководитель советуется со своими подчиненными о том, как им взять верх над другим департаментом. Скорее тут проглядывало сходство с кинорежиссером, человеком творческим, привыкшим к существованию, в котором ничто не определенно и слова не означают ничего или же, наоборот, означают все, когда он нащупывает возможные подходы перед свиданием с кинопромышленником, влиятельным, упрямым и не внушающим ему доверия.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 5, 6, 7 с. г.

Снова пригласить доктора Перримена в полицейский участок утром 2 декабря было поручено Бейлу. Все велось в крайне вежливых тонах. Бейл объяснил, что они все понимают, какие причиняют ему неудобства, отрывая от пациентов. Особую вежливость можно было усмотреть и в том, что за ним прислали этого пожилого и солидного суперинтенданта.

Когда Бейл вернулся с доктором в участок, он доложил, что был встречен взрывом возмущения. В предыдущий раз Перримен, пригласив полицейских к себе в гостиную, держался с высокомерной снисходительностью и небрежностью.

На этот раз он разразился протестами и спросил, кто, собственно, возместит уважаемому члену общества напрасно потерянное время и сопряженные с этим убытки. Тем не менее, позвонив другому врачу (Бейл заметил, что звонок был только один и своему поверенному он не звонил), Перримен отправился в участок без дальнейших возражений. По дороге он почти ничего не говорил — только ворчал на погоду. Утро было отвратительное, витрины магазинов и окна верхних этажей отбрасывали полосы света в мутную мглу.

Перримена проводили в комнату, где его допрашивали в предыдущий раз, принесли ему чашку чая и оставили одного. В кабинете по убийству оперативники слушали сообщение Бейла. Раздавались одобрительные возгласы.

— Похоже, он вот-вот расколется,— сказал кто-то.

А один из самых молодых добавил:

— Сегодня он вам, шеф, больших хлопот не доставит.

Они все стояли, и молодой человек обращался к Брайерсу из-за чьего-то плеча.

— Держу пари, он уже доспел.

Брайерс хмуро улыбнулся, но сказал спокойно:

— Увидим, увидим.

Молодой оперативник добавил:

— Он сегодня выйдет в открытую.

Этот идиоматический оборот означал «скажет все», «сознается». Студенты-филологи предыдущего поколения пользовались им при протестах, заявляя свое мнение; затем оно вошло в жаргон преступного мира. И тогда же бойкие молодые полицейские не устояли перед соблазном и приспособили его для своих целей. На этот раз Брайерс пропустил его мимо ушей.

Брайерс не торопился, но это был чистый расчет. Только около одиннадцати он кивнул Шинглеру и направился в заднюю комнату.

— Доброе утро, доктор,— сказал он, возвращаясь к официально-вежливому тону.

— Доброе утро, старший суперинтендент.— Перримен не встал, а только слегка наклонил голову.

— С инспектором Шинглером вы, кажется, знакомы.

Перримен еще раз наклонил голову.

Небольшая комната выглядела уютно. За окном густел сумрак, словно начиналось солнечное затмение. Посверкивали копья дождевых струй. А в комнате было светло и тепло — не жарко, а по-приятному тепло. Как только Брайерс и Шинглер вошли, следом за ними внесли поднос с чайными чашками. Начищенная пепельница ждала перед стулом Брайерса, а рядом лежали наготове две пачки сигарет.

В физическом смысле все было очень комфортабельно. Перримен откинул голову — движение, которое всегда действовало Брайерсу на нервы,— и сказал:

— Прежде всего я хотел бы сделать заявление.

— Я запишу,— поспешно сказал Шинглер.

— Нет-нет. Заявление не в вашем смысле. Я хочу заметить вам, старший суперинтендент, что, естественно, я охотно готов оказывать вам помощь в разумных пределах...

— Я в этом не сомневаюсь.— Тон Брайерса был абсолютно бесцветным.

— Но я считаю нужным напомнить вам, что у меня есть моя работа. Это очень серьезное ее нарушение, а если меня снова оторвут от дела без заблаговременного предупреждения, последствия для некоторых пациентов могут оказаться более чем серьезными. Поступаться другими людьми и собой я могу лишь до известной степени. Это само собой разумеется. Сегодня я в вашем распоряжении, но, если вы пожелаете повторить свое приглашение, я вынужден буду прибегнуть к юридической помощи.

— Это ваше право, доктор.

— Вы понимаете, что в прошлый раз, когда я был здесь, я пошел вам навстречу в гораздо большей мере, чем вы могли бы рассчитывать...

— Это ведь зависит от точки зрения, не правда ли?

Брайерс подумал, что у Перримена можно учиться тому, как владеть собой. Мало кто способен на подобный самоконтроль, подумал он позднее. От этого ему самому становилось труднее владеть собой.

Теперь было не время начинать с обиняков. Он сказал:

— Я хочу вернуться к болезни леди Эшбрук. То есть к ее предполагавшемуся раку.

— Об этом я уже сказал все что мог.

— Я хочу уточнить. Вы ведь говорили мне, что считали, что результаты анализов будут положительными?

— Я говорил вам, что считал это возможным.

— Вы считали это более чем возможным? — спросил Шинглер.

Перримен даже не посмотрел на него, но ответил:

— Я уже говорил старшему суперинтенденту...

— Что считали это вполне вероятным? Следовательно,— продолжал Брайерс,— вы имели дело с пациенткой, которая могла быть смертельно больна. Так?

— Безусловно.

— И не просто с пациенткой? Вы знали ее близко. Она доверяла вам свои финансовые дела.

— Мы обо всем этом уже говорили. Подробно и утомительно. И вам следовало бы уже понять, что эта тема бесплодна.

— Мы будем терпеливы.

— И вынуждаете быть терпеливым меня.

Брайерс словно не услышал.

— Мы все согласны в том, не так ли, что вы были очень внимательны к своей близкой знакомой и пациентке. И у вас имелись основания полагать, что скоро придется сообщить ей самое худшее. Она ждала этого. И конечно, говорила о своей смерти — с вами, доктор. Несомненно, вы были первым, с кем она стала бы об этом говорить.

— Конечно, она об этом говорила. Она не закрывала глаза на положение.

— Если бы выяснилось самое худшее, ей пришлось бы всецело положиться на вас, не так ли? Вы могли бы облегчить ей смерть. Она и об этом с вами говорила?

Перримен ответил со снисходительной улыбкой:

— Вас эта тема просто загипнотизировала. То, о чем пациент разговаривает с врачом, является врачебной тайной, и я не собираюсь ее нарушать.

— Вы ведь великий сторонник соблюдения всех правил? — Впервые голос Брайерса стал едким.

— Если вы подразумеваете, что я не нарушаю оказанного мне доверия, то безусловно.

— Суть в том, что она была целиком в ваших руках. День за днем. Она думала, что смерть подкрадывается все ближе. И ей не на кого было опереться, кроме вас Верно?

— В подобной ситуации мне приходилось бывать неоднократно.

— И когда тревога оказалась ложной, у вас обоих это должно было вызвать странное чувство. Ей больше не требовалось рассчитывать на вас. Для избавления от страданий, если бы до этого дошло.

— Вы можете и дальше строить предположения, старший суперинтендент Как я уже пытался вам втолковать, любые разговоры с моими пациентами являются врачебной тайной. И тайной они останутся. Ее положение казалось критическим. Затем она узнала результаты анализов. Ее положение перестало быть критическим. Только и всего

— И она перестала на вас полагаться?

— Я уже мог не навещать ее каждый день. Но, если вы помните, я по-прежнему оставался ее врачом.

Эта линия, которую Брайерс избрал после намека Хамфри, ничего не давала. Но они с Шинглером выработали еще одну. До этого Шинглер молчал и только вел записи как корректный секретарь. Теперь он внезапно сказал своим резким голосом:

— Но вы же были отнюдь не только врачом, верно?

Перримен, который все это время полностью его игнорировал, вынужден был посмотреть на него. Но тут же откинул голову и уставился в потолок, как будто недоумевая, с какой стати подчиненный позволяет себе лишнее.

— Вы так думаете? — сказал он, словно отмахиваясь.

Но если Перримен подчеркнуто не замечал Шинглера, Шинглер так в него и вце-

пился. Его красивое, хотя и лисье лицо было напряженно-сосредоточенным. Глянцевитые каштановые волосы поблескивали в свете ламп над столом. Поблескивали и большие карие глаза. Отрывисто, почти не шевеля губами, он бросил:

— Вы были отнюдь не только врачом. Далеко не каждый врач ведет денежные дела своих пациентов, верно?

— Разве мы с этим еще не покончили? — Перримен смотрел на Брайерса.

Но Шинглер продолжал идти напролом.

— Вы сказали, что вам приходилось бывать в такой ситуации неоднократно. А не оказывались ли вы в ситуации, когда в случае смерти вашей пациентки вам предстояло стать распорядителем утаенных денежных сумм? Вы же не станете нас уверять, будто не думали об этом. Стоило ей умереть — и эти суммы поступили бы под ваш контроль. Как и произошло, когда она умерла, хотя и другой смертью.— Шинглер продолжал: — Когда вы узнали, что ей не грозит близкая смерть, о чем вы тогда подумали? Составили другой план? Относительно этих сумм? Как ими завладеть?

Брайерс заметил, что Перримен не покраснел от гнева, но его ноздри побелели и сузились. Он сказал пронзительным голосом:

— Это невыносимо. Невыносимо!

Затем, словно выполняя заученное движение, он скрестил руки на груди, напрягся и неторопливо объявил Брайерсу:

— Я не намерен отвечать на вопросы этого вашего инспектора.

Брайерс сказал спокойно и неумолимо:

— Вы здесь, чтобы помочь нам, доктор. Отвечать вы не обязаны. Но в этом случае мы сделаем свои выводы.

По-прежнему неторопливо и величественно, сохраняя полную неподвижность, Перримен произнес:

— Я буду сам решать, какие вопросы заслуживают ответа.

— Вы думали о том, как завладеть этими суммами? — повторил Шинглер резко и настойчиво.

— Не заслуживает ответа.

Еще вопросы о том, поступали ли деньги после того, как рака у леди Эшбрук обнаружено не было. Тот же неторопливый стандартный ответ. Брайерс понял, как вскоре понял и Шинглер, что Перримен все заранее отрепетировал, чтобы не потерять власти над собой, если его начнут провоцировать вопросами о деньгах. Не только полиция заранее готовится к допросам. По-видимому, Перримен не доверял своей выдержке и прибегнул к этой каменной невозмутимости, чтобы не дать себе сорваться.

Деньги в Нью-Йорке, провоцировал его Шинглер.

— Вы понимаете, что нам теперь все о них известно?

— Неужели?

— И конечно, мы знаем, какой остаток капитала оказался бы в вашем распоряжении.

— Значит, вы лучше осведомлены, чем я.

— Но вы же это знали, верно?

Руки скрещиваются на груди. Стандартный ответ.

— Вы знали, что он очень мал, верно? Жалкие крохи за все ваши хлопоты.

— Не заслуживает ответа.

— Нет, но это правда поразительно. Какие-то жалкие тысячи — и столько хлопот. Убить старуху. Ждать, когда же мы разберемся. Нам это кажется фантастикой. А вам?

Перримен не дрогнул. Он ничего не сказал и только изобразил легкий намек на равнодушную улыбку.

Перримен хорошо подготовился к таким атакам Шинглера, решил Брайерс. И чтобы переменить тактику, попробовал еще одну линию, ничего от нее не ожидая, но в надежде, что Перримен немного расслабится. Бывает ли так — это было сказано задумчиво,— чтобы человек полностью забыл то, что делал? Что-либо важное? Забывает ли врач, если выбрал неверное лечение, возможно, даже с летальным исходом? Перримен полагал, что нет. Он сам допускал роковые ошибки — в одном случае несомненно, и не исключено, что дважды. Он все еще ежится, стоит ему о них вспомнить.

У всех так, сказал Брайерс и согласился, что он тоже не слишком верит в забывчивость. Люди преступлений не забывают, хотя иногда и делают вид, будто забыли. Ближе к истине другое: человек сделает что-то — напишет подсудное шантажное письмо,

подделает чек, ударит ножом,— а потом прекрасно все помнит, но так, словно это ни малейшего значения не имеет. С полным ощущением своей правоты, если угодно. Несомненно, Перримен тоже сталкивался с подобным? О да. Он и сейчас помнит, как в юности написал письмо. Некто обошелся с ним очень скверно. И письмо писалось в отместку. Он все еще видит эти написанные тогда слова. И по-прежнему они ему кажутся самыми обыкновенными словами, какие можно прочесть в любом письме.

— А не может ли то же,— Брайерс задал вопрос так, словно он только что пришел ему в голову,— относиться и к вечеру убийства?

Перримен окаменел и вновь равнодушно улыбнулся.

— Я же сообщил вам, что я делал в тот вечер, не так ли?

— Разве? — сказал Брайерс, словно без всякого интереса. Но он знал, что пока следует остановиться: Перримен прекрасно умел подготавливаться к возможным продолжениям. И для отвлечения Брайерс взглянул на Шинглера, давая ему знак вновь пустить в ход деньги, денежный мотив — все то, против чего Перримен выковал себе броню. Вопросы, новое перечисление установленных фактов, инсинуации, насмешки над крохоборством — весь арсенал нахрапистого молодого человека. Те же ответы, отрепетированные, ничего не значащие, ледяное достоинство, ни малейших признаков раздражения или любого другого чувства.

Внесли подносы. Привычные чашки с чаем. И менее привычные пирожки с мясом вместо бутербродов. Как и на первом допросе, Перримен ел медленно и методично. Брайерс откусил несколько кусочков. Шинглер все еще задавал вопросы про деньги, но тут Брайерс вмешался.

— Может быть, пока оставим эту тему, Норман,— сказал он с добродушной улыбкой.— По-моему, доктору Перримену она порядочно надоела.

Перримен, по-видимому, растерялся. Холодная улыбка исчезла с его губ. Брайерс спросил его через стол:

— Вы ведь человек незаурядный, правда?

42

Брайерс спросил Перримена через стол:

— Вы ведь человек очень незаурядный, правда?

Но Перримен ответил с величавым спокойствием, устремив взгляд больших глаз мимо Брайерса:

— Не мне об этом судить.

— Ну послушайте! Себе же вы это говорили, так?

— Сколько людей говорят себе подобные вещи?

— Не так уж мало, если судить по моему опыту. Но с таким правом на это, как у вас,— немного. Разумеется, вы незаурядный человек.— Сильное лицо Брайерса оставалось спокойным. Он продолжал словно в задумчивости:— Но знаете, вы вызываете у меня недоумение. От нескольких человек я слышал, что вы словно бы ничего особенного не достигли. Хотя у вас все как будто должно было бы получаться. И вот я задумался. Вы умны, это несомненно. Вы производите впечатление. И должны были производить его в молодости. Смелости и выдержки у вас хоть отбавляй — в моей профессии мы умеем распознавать эти качества. Так что же произошло со всем этим? Почему вы удовлетворились тем, что стали еще одним приятным доктором с приличной практикой?

— На этот вопрос ответить следует только себе самому,— сказал Перримен с тем же величавым спокойствием.

— Разве? Может быть, вас это не удовлетворяло?

— Остановитесь-ка на чем-нибудь одном,— сказал Перримен снисходительным, добродушным, почти дружеским тоном.

— Да, наверное, у вас было ощущение, что вы стоите выше всех нас. Жалкие букашки, суетятся, схватываются между собой, чтобы как-то просуществовать. Серая безликая толпа. А себя вы никогда частью толпы не считали, ведь так? Серые люди, влачащие серую жизнь. Вроде ваших пациентов. Вроде окружающих вас почтенных обывателей. Вроде меня.

— Вы мне особенно серым не кажетесь, если мне будет позволено это сказать.

— Напрасно. Я не сделал ничего такого, чего не делали бы тысячи и тысячи людей,— во всяком случае, почти ничего. Я был верен своей жене. Я отдавал долги в срок. Я платил налоги. Нет, я, конечно, часть толпы. Я всегда вел себя как почтенный обыва-

тель. Но пусть. Любопытно другое, доктор: что вы вели себя так же, как мы, все прочие. До недавнего времени. Ну, конечно, были эти финансовые махинации. Они показали, какой вы прекрасный организатор. Но оставим это. Для вас они были слишком просты. Они не подняли вас над толпой. А в остальном вы ничем не отличались от окружающих. Никаких женщин в вашей жизни нам обнаружить не удалось. И не из-за недостатка старания, поверьте. Возможностей у вас было множество. Но, насколько нам известно — теперь это можно считать установленным,— вы вели самую целомудренную жизнь. Не исключено, конечно, что вы не сталкивались с достаточно сильным соблазном. Однако я убежден, что для вас существовал соблазн где-то выйти за рамки. Вам всегда хотелось показать, что вы не такой, как обычные люди. Обычные человеческие правила созданы не для вас, правда?

— Что такое обычные человеческие правила?

— Если бы вы их не знали, это было бы любопытно. Но, конечно, вы их знаете. Такому, как вы, интересно другое: что заставляет людей следовать им?

— Это я, по-моему, знаю. А вы? Может быть, вы мне объясните?

Брайерс ответил:

— Мне бы хотелось сказать: какое-то нравственное чувство или нравственный инстинкт. Но теперь я в этом уже не так уверен, как в те дни, когда был наивным молодым полицейским. Боюсь, ответ проще и грубее — воздаяние. Но оно все больше утрачивает свою роль. Воздаяние в религиозном смысле для нас — для большинства из нас — потеряло действенность. Оно ведь подразумевало страх перед судом божьим и загробной жизнью, верно? Вы неверующий, не так ли? Да, мы и этим поинтересовались. Теперь мало кто боится божьего суда. Однако существуют другие разновидности страха. Страх перед тем, что подумают люди, например. Но в конечном счете это главным образом страх понести наказание за нарушение закона. Не будь закона, от нравственных правил мало что осталось бы. Я был бы рад верить во что-то другое, но теперь больше уже не могу. Беда в том, доктор, что вы поразительно бесстрашный человек.

— Несколько неожиданная характеристика, вам не кажется?

— Но вы согласны с ней?

— Я уже говорил вам, что у вас очень сильное воображение. Слишком сильное для вашей профессии, как я склонен думать. Но я безусловно согласен, что соблюдать нормы поведения людей чаще всего вынуждает страх. Не будь страха, как все вели бы себя?

— Ужасающе.— И тут же Брайерс упрямо поправился: — Нет, не все, разумеется, не все. Но и остальных хватило бы, чтобы мир превратился в хаос.

— Вы предпочитаете, чтобы люди подчинялись правилам, как хорошо выдрессированные звери?

— Конечно.

Перримен широко улыбнулся, словно они были близкими друзьями.

— Я так и думал, что между нами есть что-то общее. Но мне кажется, я смотрю на людей более оптимистично, чем вы.

— И ваша нравственная позиция достаточно сильна, чтобы вы могли это утверждать?

— Вы потратили немало времени, давая понять, что у меня вообще нет никакой нравственной позиции.

— Очень скоро я стану более конкретен.

Брайерс не знал, насколько глубоко ему удалось проникнуть, но прятать дальше свой козырь он не мог. Тем не менее он не оборвал их словно бы зашифрованный диалог.

— Скажите,— спросил он,— вы высоко цените человеческую жизнь? Как все мы?

— Я врач.

— Но, кроме того, вы незаурядный человек. Мы ведь в этом согласны? Чувствуете ли вы себя выше обычного отношения заурядных людей к жизни и смерти или вообще считаете все эти вопросы ерундой?

Несколько секунд Перримен не находил что ответить. Затем он сказал:

— Я врач. Врачи живут в близком соседстве со смертью.

— Не в таком близком, как мы. В отделе по расследованию убийств. Занимаясь своей работой, вы видите живые тела. Занимаясь своей работой, мы видим только мертвые. Как леди Эшбрук. Вот почему мы сейчас тут.

Это был один из тех взрывов, когда воля и сила Брайерса прорывались наружу.

И тут же он вернулся к тону, который выдерживал на протяжении всего допроса: почти небрежный, не осуждающий, не сочувственный, но понимающий.

— Вы знаете это не хуже нас,— сказал он.— Вы видели ее мертвое тело раньше, чем мы. Мне хотелось бы точно разобраться в том, почему вы ее убили. Действительно ли вы хотели сделать что-то, чего не мог бы сделать никто другой? Этому мало кто поверит. Слишком вычурно. Но выяснить я хочу другое. Я хочу узнать — от вас — кое-какие факты, касающиеся этого вечера и ночи. Мне следует предупредить вас, что часть их мы установили сами.

Лицо Перримена помолодело, как уже случилось один раз прежде. Складки разгладились — так бывает у людей с чеканными лицами, когда они узнают неожиданную новость, хорошую или дурную. Перримен, по-видимому, не ожидал этого хода, который Брайерс готовил так незаметно и так долго откладывал. Он невнятно пробормотал что-то вроде «как интересно», словно рассеянно слушал в гостях болтовню, которую считал не стоящей внимания.

Его взгляд был уже устремлен не в пустоту, а на Брайерса. Брайерс и Шинглер оба подумали, что Перримен собирается с мыслями, взвешивая, блеф ли это или им действительно что-то известно, а в таком случае — что именно.

— Да,— сказал Брайерс, словно продолжая разговор,— мы теперь знаем, как вы провели этот вечер и эту ночь. Не скрою от вас, нам пришлось поломать голову. И довольно долго. Слишком долго. В начале вечера вас обязательно кто-нибудь да увидел бы — вокруг много людей, а вы достаточно заметны. Затем позднее Сьюзен Теркилл, теперь жена Лоузби...

— Эта девка, эта шлюха! — Вспышка возмущения, морального негодования, неожиданно непосредственная и искренняя.

Брайерс моргнул, скривил губы и продолжал:

— Она несколько часов бродила в проходном дворе около дома, дожидаясь кого-то.

— Что она вам сказала?

— Это было очень интересно. Ведь она же хорошо вас знает.

— Что бы она вам ни сказала, это все сплошные выдумки. Что она сказала?

— Она вас не видела. Даже мельком.

Лицо Перримена было непроницаемым, но он втянул воздух, словно ему было трудно дышать.

— Должен заметить, старший суперинтендент,— сказал он с намеком на улыбку,— что это не самое сенсационное сообщение из всех когда-либо сделанных.

— Оно помогло нам решить, где вы находились в этот вечер.

— Я вам сказал.

— Да, вы нам сказали. Но это ведь не соответствует истине?

— Я не стану повторять одно и то же.

— И незачем. Вы были в доме леди Эшбрук. Вы пробыли там со второй половины дня до глубокой ночи. Вы убили ее около девяти часов, не позднее чем в половине десятого, а потом еще долго там оставались. Несколько часов. Не так уж много людей способно на подобное. Мы полагаем, хотя и не абсолютно уверены, что вы, после того как убили ее, почти все время тихо сидели в ее спальне наверху.

— Я был у нее в спальне утром. Осматривал ее. Обычный профилактический осмотр.

— Да. Вы нам это говорили. Вы очень многое предусмотрели. Вы стараетесь добиться совершенства — это в вашей натуре, как нам говорили. Вы знали, что почти невозможно пробыть некоторое время в помещении и не оставить там каких-то следов. Да, утром вы оставили там ворсинку со своего твидового костюма — все вполне объяснимо, все согласуется с вашими утверждениями. Но вечером вы снова вернулись в эту комнату после того, как убили леди Эшбрук, и предположительно расположились там ждать. Если вы и оставили какие-нибудь новые следы — не важно. Их можно объяснить утренним визитом. Вы устроились удобно и спокойно, так? Вы, несомненно, знали, что на это мало у кого хватило бы духу.

Тут Брайерс впервые перешел границы реального. У них не было никаких данных, которые позволили бы отличить следы, оставленные утром, от оставленных вечером. Собственно говоря, все их находки исчерпывались твидовой ворсинкой. Морган Оуэн провел тщательнейшие исследования, но больше ничего обнаружить не удалось. Однако Брайерс наталкивал Перримена на мысль, что они нашли еще какую-то улику.

Перримен не возмутился и не отрицал. Он вообще не произнес ни слова. Теперь

он сидел расслабившись, даже ссутулившись и смотрел не на Брайерса, на стол,— тому, кто вошел бы сейчас в комнату, ничего не зная, показалось бы, что он не растерян и не подавлен, а скорее уверен в себе и посмеивается. В эту минуту Брайерс, как он сказал позднее, не сомневался, что Перримен смирился с поражением. Брайерсу довольно часто приходилось видеть, как подозреваемые вот так уступали под давлением улик, но на этот раз возникало и другое ощущение: словно Перримена не загнали в угол, не сломили, а убедили, даже упросили — его высокомерие не исчезло, а скорее даже возросло.

Шинглер потом рассказывал об этом иначе. У него не было прямоты Брайерса, его внутренней честности. Он сказал, что не верил, будто наступил переломный момент. Но признал, что с минуты на минуту ожидал какого-то решительного поворота.

Брайерс продолжал:

— И еще одно. Тут я так и не могу прийти к окончательному выводу. Не исключено, что и вы не можете. Когда вы ее убили — что, естественно, особых затруднений не составило,— вы поднялись в спальню, чтобы устроиться там поудобнее и выждать. Блестящая идея. Вы, конечно, сообразили, что мы с ног собьемся, разыскивая свидетелей, которые могли бы заметить кого-то около дома сразу после убийства. Вы были совершенно правы: именно этим мы и занялись. И разыскали, вероятно, всех, кто был неподалеку от ее дома между девятью часами и полуночью. А вы все это время сидели у нее в спальне. Но перед тем, как подняться туда, вы, хотя она была уже мертва, разбили ей голову. Я вас об этом уже спрашивал. Зачем?

Тело Перримена все еще оставалось расслабленным, губы все еще чуть улыбались.

— Возможно,— сказал Брайерс,— вы рассчитывали запутать нас. Чтобы мы бросились искать среди уголовников и всяких подонков. Я уже говорил вам: тут вы нас недооценили. Нам, конечно, пришлось провести обычные розыски — в такого рода делах бывают всякие неожиданности,— но это нас и на полчаса не обмануло. Однако я с самого начала не был убежден, что вы размозжили ей голову ради этого. Я думаю, вы просто потеряли власть над собой. Я думаю, вы просто повели себя как самый обыкновенный убийца. Вы вовсе не так уникальны, как вам хотелось бы думать. Вам следовало бы это предвидеть, доктор. Бесспорно, вы очень быстро взяли себя в руки, больше к трупу не подходили и поднялись в спальню.— Брайерс продолжал: — Вам очень повезло. Я думаю, вы это понимаете. Кровь. Приняли ли вы какие-нибудь меры... мы пока еще ничего на вашей одежде не обнаружили. Мы не знаем, переоделись ли вы, и если да, то где. Мы не знаем точно, сколько времени вы оставались в спальне. Думаем, что вы ушли, когда еще было темно, но перед самым рассветом. Часов около четырех по летнему времени. Утро, вероятно, было очень приятное, свежее.— Брайерс посмотрел через стол и сказал: — Вы теперь готовы говорить со мной?

Наступило молчание. Сколько времени оно длилось, никто из них сказать не мог бы. Перримен пошевелился, расправил плечи и сел прямо, высоко держа голову. Очень медленно он снова скрестил руки на груди.

— О да, старший суперинтендент, я готов с вами говорить.

Шинглер разгладил свой блокнот, хотя это еще не было прямым признанием.

— Да...— сказал Перримен с неожиданным благодушием.— Полагаю, в такой ситуации я говорю с вами в последний раз. Мы ведь прошли дорогу до конца, не так ли? Вы не можете меня упрекнуть, что я вас торопил. Я внимательно выслушал все ваши анализы моего характера. Любопытные и порой даже лестные, если согласиться с вашей точкой зрения на мою нравственную позицию. Кроме того, я выслушал ваши предположения относительно некоторых моих действий. Я позволю себе процитировать вас, старший суперинтендент, и сказать вам, что вы незаурядный человек. Но ведь следует разобраться с нашим делом, не так ли? Должен вам сказать, что оно мне более чем надоело. Давно пора с ним покончить. Иногда я говорю умному больному, что собираюсь обходиться с ним как с клиническим материалом, который мы исследуем вдвоем. Я довольно подробно обдумал ваше обвинительное заключение, если это можно так назвать. Я совершенно не касаюсь вопроса о том, есть ли какие-либо основания для ваших умозрительных построений. К вашей практической цели они имеют не больше отношения, чем ваши мысли о добре и зле. Я не могу отнестись к ним серьезно. Как и к вашим обвинениям. Я пришел к выводу, что от них, если рассмотреть их трезво, не останется, собственно, ничего.

Даже еще до того, как Перримен заговорил, Брайерс понял, что дальнейшее будет демонстрацией умения владеть собой. И все-таки он был удивлен. На первом допросе Перримена выбили из колеи — даже ошеломили — вопросы о денежном мотиве. И казалось, он вот-вот сломается. Однако на второй допрос он явился в прежней непробиваемой броне. У него был запас внутренней силы — Брайерс больше не сомневался в этом,— не только помогавшей ему противостоять противникам, но и укреплявшей его веру в себя. Когда Брайерс сказал Перримену, где он был в ночь убийства, тот, казалось, растерялся и даже не стал разыгрывать возмущение, как в прошлый раз, когда речь зашла о деньгах. И все же через несколько минут, не более чем через четверть часа, он вновь овладел собой.

— Вы, как разумный человек, согласитесь, что в длительных обсуждениях нет никакой нужды,— сказал Перримен, застыв в высокомерной неподвижности. Его тон был одновременно и мягким и презрительным.— Рассмотрите свое обвинительное заключение как клинический материал. Вам следует забыть про мою личность и про ваши творческие экскурсы в область психологии. Вы должны придерживаться фактов. Меня удивляет, что я вынужден напомнить вам об этом. Взгляните на ваш материал ясным взглядом. У вас ведь почти ничего нет. Да, я был связан с леди Эшбрук. Это было известно с самого начала. Да, я выполнял определенные ее поручения. Да, отчасти в обход некоторых второстепенных правил налогового обложения. Что из этого следует? Да, после ее смерти я стал чем-то вроде ее душеприказчика. Да, у меня была возможность получить незначительную денежную сумму. Как поспешил указать этот ваш молодой человек, сумму крайне незначительную. Вот и все реальные факты, которые у вас есть.

Шинглер покраснел при этой презрительной реплике по его адресу, произнесенной так, словно его присутствия не замечали, словно он был официантом.

— Старший суперинтендент сказал вам, что мы знаем все про то, что вы делали в ту ночь.

— Да, он мне это сказал. У него очень сильное воображение. Кроме того, его интересуют факты. Я могу только отдать ему должное и в том и в другом отношении. Но и меня интересуют факты. Я очень внимательно обдумал его версию о том, где я был и что делал в ту ночь. Весьма внушительные логические построения.

— Ну так что же? — Шинглер был сбит с толку и рассержен.

Брайерс сидел не шевелясь, с неподвижным лицом. Его глаза ярко блестели.

— Внушительные, но бесполезные.— Перримен расслабил руку и величественно провел ею по воздуху.— Каких-нибудь наивных простаков они могли бы и обмануть. Но фактов у вас нет никаких. Ничего весомого. Вы это знаете. И я это знаю. А потому, старший суперинтендент, продолжать наш диалог нет никакого смысла. С вашего разрешения я вернусь к моим пациентам.

Он с трудом поднялся на ноги и ухватился за край стола.

— Еще два второстепенных момента,— сказал он.— Я считаю, что оказал вам всю помощь, какую можно требовать в разумных пределах. Как я уже сказал утром, у меня больше нет желания тратить время на бесплодные разговоры. Если вы снова меня вызовете, мне придется обратиться к адвокату. У меня нет ни лишнего времени, ни досуга. Я думаю, вы это понимаете.

Брайерс молчал.

— И еще одно, старший суперинтендент. У меня легкое обострение фиброзита, и мне трудно ходить. У вас его не было? Я буду очень признателен, если вы предоставите мне машину.

Брайерс молча посмотрел на Шинглера, и тот вышел с Перрименом из комнаты.

Когда Шинглер вернулся, Брайерс сидел все в той же позе.

— Конечно, вам пришлось его отпустить...— заметил Шинглер.

— Конечно,— ответил Брайерс обычным твердым тоном.

— Ну так что же, сэр?

— Полная неудача,— сказал Брайерс, не меняя тона.— И только по моей вине. Мне очень жаль, что я всех подвел.

43

Никто, кроме Брайерса и ближайших его сотрудников, не знал точно подоплеки того, что произошло с Перрименом. Прессе официально было сообщено только одно: доктор Ральф Перримен, врач леди Эшбрук, некоторое время оказывал помощь полиции в связи с ведущимся следствием, а теперь вернулся к исполнению своих профес-

сиональных обязанностей. Многие — и даже те, кого самих допрашивали,— недоумевали. По-видимому, полиция допустила очередной промах. Пациенты Перримена поговаривали о том, чтобы обратиться с протестом к комиссару лондонской полиции.

Хамфри, читая газету, извлек из этого сообщения больше смысла. Что-то пошло не так — это было очевидно. Фрэнку Брайерсу, конечно, пришлось нелегко, мимоходом подумал Хамфри, но он явно сумел сохранить хладнокровие. Раз Перримена сломить не удалось, Брайерс должен был его отпустить: другого выбора у него не было. Хамфри испытывал разочарование, грызущую досаду: значит, Перримен все-таки вывернулся. Это было скверно, это было возмутительно, а кроме того, оставался осадок неизрасходованного возбуждения — не произошло кульминации, после которой можно спокойно перевести дух. Справедливость не восторжествовала и не возникло блаженного ощущения, что воздаяние свершилось в полной мере. Хамфри не скрывал своих чувств. И Кейт тоже. У нее были библейские понятия о воздаянии, но, кроме того, она — как и Хамфри, когда он узнал, что рака у леди Эшбрук нет,— испытывала чисто физическое облегчение.

Теперь Хамфри понял еще одно. Ему была известна дата последнего допроса, и он ждал звонка. Но Брайерс не позвонил. Шли дни, а Хамфри ничего не знал и не видел Брайерса. Казалось, тот прятался. Это Хамфри мог понять. Так бывало и с ним: продолжаешь работать, делаешь свое дело так, словно ничего не произошло, но стараешься избегать тех, кто знает, что у тебя беда, и особенно тех, с кем ты близок.

Через неделю после этого первого официального сообщения в прессе появилось еще одно: документы, имеющие отношение к наследству покойной леди Эшбрук, переданы главному прокурору и в налоговое управление.

Едва Кейт в этот вечер вошла к нему в гостиную, жмурясь после непроглядного мрака снаружи, Хамфри протянул ей газеты.

— Ну что же,— сказал он.— Все началось с денег и, видимо, кончится деньгами.— Он добавил: — Фрэнк как будто пытается хоть в чем-то взять реванш.

Он еще раньше все ей рассказал. К финансовым махинациям Кейт относилась куда более терпимо, чем ко многим другим грехам. Теперь она сморщила нос.

— До чего все это мелко, правда? — сказала она.

Однако даже она, несмотря на свойственную ей упрямую верность, все больше убеждалась, что память у людей действия действительно короткая, и чувствовала себя виноватой, так как у нее уже было такое ощущение, будто убийство леди Эшбрук произошло давным-давно. Другие признавались ей, что и они испытывают такое же чувство. И как-то вечером она покаялась в этом Алеку Лурии, который на рождество вернулся в Лондон.

— Не ворчите. Это вам явно идет на пользу: вы прекрасно выглядите,— сказал Лурия тем голосом (Хамфри доводилось слышать его и раньше), какой он обычно пускал в ход, разговаривая с привлекательной женщиной,— отеческим, строгим, но не рассчитанным на то, чтобы обмануть собеседницу.

Кейт исподтишка бросила на Хамфри веселый взгляд. Но Алеку Лурии пришла в голову новая мысль.

— Вы все забыли, какими вы были летом.

— Что мы забыли?

— Я, собственно, имею в виду не конкретно вас. И не бедную леди Эшбрук. Но общее настроение было очень скверным — гораздо хуже того, какое мне приходилось наблюдать здесь прежде. Почти все, с кем я разговаривал, считали, что вот-вот произойдет крах. Деньги ничего не стоят. Впереди — полное банкротство, хотя никто как будто толком не знал, что стоит за этими словами.

Так ли уж много людей, размышлял Хамфри, по-настоящему тревожатся из-за положения страны, если оно прямо их не касается? Во всяком случае, дольше нескольких минут. Даже во время войны. Правда, Алек Лурия вращается среди богатых, которые, возможно, опасаются, что богатыми им оставаться недолго. Да, летом действительно можно было видеть встревоженные лица.

Лурия тем временем продолжал говорить. Его знакомые в Уайтхолле признавались, что не спали по ночам.

— И еще эта погода! — сказал Лурия.— Вы не должны допускать у себя в Лондоне такую погоду. Жаркие ночи. Слепящие дни. Солнце такое же неожиданное, как в дни, когда оно впервые рассеяло первозданную мглу. И все измучены тревогой до полусмерти.— Лурия посмотрел на них обоих.— А теперь у вас ужасная погода даже по вашим

меркам. Таких темных зимних дней мне еще видеть не приходилось. И все веселы и бодры. В ближайшие два-три года катастрофа вам как будто не угрожает. А в этом нашем мире два-три года — долгий срок.

Лурия с веселым пессимизмом предрек мрачное будущее и Западу в целом и своей стране в частности. Затем от вселенских прорицаний он перешел к сплетням.

Он провел в Лондоне уже три дня. И рассказал им последние новости об их знакомых. Как обычно, почти все, что он сообщил им, потом подтвердилось. О да, Том Теркилл получит то, что ему причитается,— с будущего года он член кабинета. И на его условиях: независимость от министерства финансов, собственная сфера ответственности. Но и ему пришлось кое-чем поступиться. Эта его милая женщина...

— Стелла,— сказала Кейт.

— Да-да. Ей придется прекратить свою политическую деятельность.

— Бог знает что! — перебила Кейт.— Ведь она его создала. Она столько лет всем ему жертвовала.

— Милая Кейт! — сказал Лурия.— Вы же знаете, что такое политики.

— Нет уж! И знать не желаю. А этот подонок, конечно, ни на секунду не задумался!

По словам Лурии, это было уступкой заднескамеечникам собственной партии Теркилла: то, что он живет со Стеллой, их особенно не трогало, но терпеть, чтобы женщина пользовалась таким влиянием, они не желали.

— А потому этот сукин сын за нее даже не вступился,— гневно сказала Кейт.— Может, теперь у нее откроются глаза. Да нет, где там! Она подыщет ему оправдание. И позволит себя и дальше эксплуатировать.

И Хамфри и Лурия, который в общих чертах знал историю замужества самой Кейт, сочли за благо промолчать. За три дня в Лондоне Лурия успел побывать не только на трех званых обедах, но и — перед самым рождественским перерывом между парламентскими сессиями — в буфетах как палаты лордов, так и палаты общин. В буфете палаты лордов с какими-то друзьями сидел Лоузби. Но Лурия слышал, что скоро Лоузби сможет бывать там уже с полным правом как член палаты лордов: его отец в алкогольной коме. Кроме того, Лурия слышал, что Лоузби могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Хамфри покачал головой.

— Нет,— сказал он.

Возможно, налоговое управление сдерет с него порядочные штрафы, но ничего хуже ему не угрожает. А штрафы за него сразу же уплатит тесть. Финансовые дела Лоузби достоянием гласности не станут. Том Теркилл об этом позаботится. Кто-то сказал, что Лоузби только потому на его дочке и женился,— кто-то в гостиной палаты лордов, добавил Лурия. Он засмеялся своим гогочущим смехом — на этот раз не по собственному адресу,— а потом сказал:

— В любом случае сердце у меня от жалости к этому молодому человеку разрываться не будет. Он выберется из всех неприятностей без единой царапины. Так он сам объявил своим приятелям — кстати, очень неглупым и приятным людям. Лоузби сказал им, что попал в небольшую переделку. Так он это определил. Но каким-то образом он умудряется из всех переделок выходить целым и невредимым. Или кто-нибудь его вытаскивает.

Кейт сказала:

— Я его не переваривaю. И всегда терпеть не могла. Он до того неуязвим, что просто не верится. Как он держался?

— Сиял по-прежнему, насколько я могу судить. Предался небольшому самоанализу. Сказал, что в пятнадцать лет, как ему помнится, он не был безупречно честен. А если человек не был безупречно честен в пятнадцать лет, то неразумно ждать, что он станет честнее в тридцать. Очевидно, это, по его мнению, исчерпывало вопрос.

После этого вечера Хамфри не виделся с Лурией до самого рождества. Но 25 декабря они отправились пообедать вместе, такие неприкаянные в огромной, замкнувшейся в своем празднике столице, словно вернулась их студенческая молодость. Дня за два до этого Кейт виновато, почти в слезах, что с ней случалось редко, сердясь на судьбу, на себя и на Хамфри, предупредила, что не сможет провести с ним рождество. Ее муж всегда особенно любил этот праздник. Она попыталась отправить его в гости к друзьям, но он, казалось, готов был расплакаться, как ребенок. А потому в этот день Хамфри нечем было заняться и некуда пойти. Потом позвонил Лурия. Могучий бас осведомился,

не выберется ли у Хамфри каким-нибудь чудом свободный часок-другой. Узнав ситуацию, Лурия предложил пообедать вместе в лучшем китайском ресторане Лондона. Китайские рестораны особенно хороши для рождества, сказал он.

— Если бы вы родились в моей семье,— добавил Лурия,— вы вспоминали бы рождественские праздники без особой нежности.

В результате они, точно чудаковатые одинокие холостяки, неторопливо приступили к долгому китайскому обеду. Но чувствовал ли себя Лурия одиноким или нет и какие бы воспоминания о тяжелых днях детства ни всплывали в его памяти, он пребывал в не менее благодушном настроении, чем тогда у Хамфри, недели за две до этого. Он принес большую бутылку кларета, который особенно нравился Хамфри: Лурия был счастлив и хотел, чтобы Хамфри тоже чувствовал себя счастливым. Он явно ожидал какой-то приятной перемены в своей жизни. По-видимому, речь шла о новом браке, но Лурия смаковал свой секрет про себя. Впрочем, если он и решил не открывать этой тайны, удержаться от намеков он не сумел. А потому Хамфри без особого труда догадался, что Лурия, когда роман с Селией у него так и не завязался, нашел другую избранницу, гораздо моложе его и принадлежащую к высшему английскому обществу. Не богатую — этого Лурия испробовал более чем достаточно. Вероятно, со средневековыми предками. Возможно, из очень знатной фамилии. Пусть родовитость стала чем-то вроде музейного чучела, для Алека Лурии это была старина, это был мир, о котором он некогда грезил. А к тому же, думал Хамфри, почему бы Лурии и не полюбить ее по-настоящему? Хамфри питал к нему искреннюю дружбу, но тем не менее насмешливый голос шепнул ему, что в смысле любви Лурии нужно не так уж много, лишь бы все остальное соответствовало его требованиям.

— Я рад, что сообразил позвонить вам,— сказал Лурия, ловко орудуя палочками, зажатыми в длинных гибких пальцах.— В вашем возрасте мало с кем можно поговорить.— Такие замечания казались странными в устах человека, который привык вещать перед почтительными слушателями на двух континентах, но он говорил с какой-то робкой доверительностью. Немного погодя он продолжал словно без всякой связи с предыдущим: — Когда-то я терпеть не мог рождества. Хотя рождество было еще не самым худшим. Хуже всего была страстная пятница. Вот вас в детстве не травили обитатели соседней улицы по совершенно непонятной для вас причине?

— Нет,— сказал Хамфри.

Лурия ел со вкусом — счастливый и благодушный. Он сказал:

— Христианство, мой милый, выглядит совсем по-другому, когда видишь его под этим углом.— Внезапно Лурия бросил воспоминания своего еврейского детства и сказал: — У вас с Кейт все хорошо? Впрочем, незачем спрашивать. Я своими глазами видел в тот вечер.

— Удивительно хорошо.

На мгновение Хамфри оставил обычную иронию, а Лурия в ответ — свою жреческую величавость. Их знакомые были бы очень удивлены, увидев, что они разговаривают точно юноши и даже выглядят помолодевшими.

— Я помню, как из самых лучших намерений пытался вас расхолодить. Мне не верилось, что она сумеет освободиться от этого пустозвона.— Алек Лурия разразился тем громовым хохотом, который приберегал для своих ошибок.— Я был на сто процентов не прав.

— Ну, не на все сто.— Хамфри улыбнулся просто и доверчиво.— Она ведь по-прежнему его пестует. Иначе я не сидел бы сейчас здесь с вами.

— Пустяки. Радуйтесь тому, что у вас есть. Вы счастливчик.

— По-вашему, я сам не знаю?

Лурия сказал словно между прочим:

— С Селией, как вы, возможно, догадались, у меня ничего не вышло. Мне казалось, что я ей подхожу. И по-моему, она сама вначале так думала. А потом отшатнулась. Вероятно, к лучшему для нас обоих. Она, по-видимому, нашла то, что ей нужно по-настоящему. И мне тоже не на что пожаловаться.

Казалось, он готов был рассказать все, но потом улыбнулся (пристыженно? виновато? победоносно?) и опять заговорил о Селии:

— Да, она нашла себе школьного учителя. Они будут вести самую обычную жизнь, сказала она мне. Не стараясь приносить общественной пользы даже по мелкому счету. Они поселятся в Уокинге. А уже это предел мелкобуржуазности, не так ли?

Хамфри ухмыльнулся:

— Ну, вам бы это не подошло.

— А странно! У нее есть все. Красота. Ум. Приятный характер. Сильная воля. Плоть от плоти существующей системы, если это хоть что-нибудь значит. Но хочет она только одного — не привлекать к себе внимания. Ухаживать за маленьким сыном, ну и за мужем. Делать все, что в ее силах, для близких. Все очень мило и скромно. Но когда такие личности уклоняются даже от попытки борьбы, меня охватывает страшноватое предчувствие, что для мира это ничего хорошего не предвещает. Верный признак, что и они потерпят поражение.

— Селия мне очень симпатична,— сказал Хамфри.— Если она нашла то, что ей нужно, я рад за нее.

— Она хорошая девочка,— заметил Лурия серьезно, словно светская дама былых времен, когда ей хвалили красоту ее дочери.— Кстати, она сказала кое-что, возможно, интересное для вас.— Лурия вновь переменил тему: его разговор утратил обычную стройность — из-за того ли, что он ликовал, из-за того ли, что выпил больше обычного, или из-за того и другого вместе.— Полиция пришла к выводу, что со старушкой разделался доктор, не так ли? По-видимому, это ни для кого не секрет. Доказать они не могут, но сомнений у них нет. Вы близки с этим неглупым сыщиком. Вы тоже так считаете?

— Безусловно.

— А Селия — нет.

— Но ей ведь неизвестны все обстоятельства.

— И Поль так не считает. Мы с ним разговаривали в Вашингтоне за рюмкой. У них с Селией своя теория. Они убеждены, что эта парочка...

— Какая парочка?

— Сьюзен и ее папаша. Убила Сьюзен, а Том Теркилл потом замел следы.

Хамфри задал вопрос. Да, Поль упомянул, что изменил свое первоначальное мнение.

Хамфри припомнил рапорт о передвижениях Тома Теркилла в ту ночь. На секунду перед ним замелькал калейдоскоп подозрений. Да, у Теркилла как раз хватило бы времени инсценировать попытку ограбления, ударить молотком — простой способ замести следы. Но тут же его мысли обрели обычную ясность.

— Чепуха,— сказал он.— Поль меня удивил. Правда, умные люди способны поверить во что угодно.

— Я так и подумал.— Губы Лурии сложились в злокозненную ухмылку, никак не вязавшуюся с мраморной внушительностью его лица.— И даже сказал это Селии. Вероятно, последний образчик мужской логики, который услышала от меня эта прелестная молодая женщина.

Они предавались неторопливому течению долгого спокойного вечера. Но упоминание о Селии и ее теории разбудило сосущее чувство бессильного разочарования. Хамфри не играл в этом следствии сколько-нибудь заметной роли, и все-таки его кольнула досада. Потом, когда он остался один, тревожное ощущение начало расти. Он не мог избавиться от мыслей о Селии. Значит, убийство леди Эшбрук войдет в число тех, которые именуются загадочными и над которыми люди, далекие от криминалистики, любят поломать голову, считая себя умнее всех тех, кто вел следствие. Такая удобная тема, чтобы поупражняться в изобретательности! Все, чему он был свидетелем, так и не обретет завершения.

44

Хамфри не собирался делиться с Фрэнком Брайерсом досадой, которую испытал за рождественским обедом. Брайерс ничего другого и не ждет. Он прекрасно понимает, что немало людей — и знакомых и посторонних — будут упиваться приятным сознанием своего превосходства над ним в полном убеждении, что они видят истину, до которой он не сумел додуматься. Какой смысл лишний раз вызывать у него бессильное раздражение? А Брайерс по-прежнему не давал о себе знать. Шли дни — они не виделись уже почти полтора месяца.

В середине января Брайерс позвонил. Его голос, как обычно, был твердым и более звучным, чем при личных разговорах, и не слишком сердечным.

— Мне надо бы обсудить с вами один небольшой вопрос. Много времени это не займет.

— Когда вам будет удобно.

— Завтра утром. Я заеду к вам. К эшбруковскому делу это, разумеется, никакого отношения не имеет.

Брайерс приехал рано, около половины девятого. Хотя он выглядел очень подтянутым — волосы только что подстрижены, лицо только что побрито,— веселым он не выглядел. И с первой же минуты между ними возникла новая неловкость. Хамфри не пришлось особенно анализировать — он с первой же минуты распознал ее суть. В прошлом он не раз сталкивался с подобной неловкостью: ее испытывают союзники, потерпев поражение. Поражение разъедает союзы — и даже дружбу — не меньше, чем соперничество. Ему очень хотелось подбодрить Брайерса, но его сковывала неловкость.

— Может быть, пройдемся до дома? — сказал Брайерс своим бодрым тоном.

Хамфри растерялся, но сразу понял: Брайерс говорил о доме леди Эшбрук.

— Наденьте меховое пальто,— сказал Брайерс, словно он думал только о том, чтобы Хамфри не озяб.— На улице холодновато.

Они вышли на площадь. Ветер доносил из сквера слабый, но резкий запах зимы. Оба молчали. Потом Хамфри спросил:

— Что Бетти?

— Как в прошлый раз. Только хуже.

Хамфри выругался, а потом спросил:

— Сколько длятся эти периоды?

— Никто не знает. С тех пор как вы ее видели, ей стало еще труднее двигаться.— Брайерс добавил: — Держится она молодцом.

— Она вообще молодец.

— Она просила передать вам привет,— сказал Брайерс.— Я ей говорил, что увижусь с вами сегодня.

Хамфри подумал, что Фрэнк, пожалуй, позвонил ему по ее настоянию. Он, в свою очередь, попросил передать ей привет. Они молчали, пока не подошли к дому.

— Вы не против, если мы войдем? — спросил Фрэнк.— Поговорить можно и там.

Хамфри заметил на тротуаре молодого человека в макинтоше. Брайерс перехватил его взгляд.

— Да, он из моих ребят,— сказал он.— На этой неделе я его отсюда забираю. Душеприказчики хотят продать дом. А у нас нет причин тянуть. Нам тут больше делать нечего.

Брайерс достал кольцо с ключами и отпер два замка. Они были поставлены на другой день после убийства. Хамфри вспомнилось, как Брайерс упомянул, что у Перримена был свой ключ. Очень удобно, сказал тогда Брайерс.

— Не снимайте пальто,— предупредил Брайерс, когда они вошли. Таким вниманием к физическому самочувствию Хамфри он словно подменял обычную симпатию.— Тут так и обдает холодом.

Их действительно обдало холодом. И сыростью. И запахом затхлости. Краска на стенах коридора лупилась, а в дальнем его конце по ней расползлись пятна, несомненно влажные на ощупь. Они поднялись на второй этаж, и Брайерс еще одним ключом отпер дверь гостиной леди Эшбрук.

В этой комнате, прежде так хорошо ему знакомой, Хамфри был в последний раз, когда его провели сюда, чтобы показать труп. Брайерс сохранил тут все точно на прежних местах. Только мертвая леди Эшбрук больше не прислонялась к своему креслу и из-под него был убран ковер. Осколки фарфора и безделушки все еще валялись на полу. Все здесь фотографировалось по многу раз, но тем не менее сцена убийства сохранялась строго в прежнем виде. Грушевидные капли крови на стенах давно почернели, и неосведомленный человек мог бы принять их за оригинальное нововведение в стенной росписи.

Хамфри стоял посреди гостиной и не испытывал никаких чувств. Они были бы лишними: унылая, захламленная, заброшенная комната — и больше ничего. Запротестовало только его обоняние: прежде тут всегда веяло ароматом сухих цветочных лепестков, который особенно любила леди Эшбрук. Теперь он исчез и сменился запахом, от которого чесалось в носу и першило в горле,— запахом пыли. Пыль покрывала все вокруг.

О пыли заговорил Брайерс. Он подошел к окну, выходившему на площадь, и прочертил пальцем на стекле несколько полосок.

— Накапливается, не успеешь оглянуться.— Затем деловито и в то же время как-то отрывисто он продолжал:— У меня есть к вам предложение. Может быть, сядем? — И добавил: — Теперь тут можно двигать что угодно. Я с этой комнатой покончил.

Он отнес два стула с высокими спинками к дальнему окну и тщательно вытер сиденья носовым платком. Когда Хамфри сел, Брайерс сказал:

— Меня предупредили, чтобы я готовился к переводу. Где-нибудь ближе к лету.

В первый момент Хамфри решил, что у Брайерса начались неприятности. Он огорчился, рассердился и не сумел этого скрыть. Фрэнк, как всегда наблюдательный, улыбнулся — в первый раз за все утро.

— Нет-нет. Это повышение. Они хотят, чтобы я занялся борьбой с терроризмом.

Значит, это повышение. Возможно, скотленд-ярдовское начальство, подумал Хамфри, позаботилось, чтобы неудача не слишком обескуражила человека с таким высоким нервным накалом. А возможно, этот перевод планировался еще до фиаско с Перрименом и они просто подобрали для такой работы наиболее подходящую кандидатуру. Но как бы то ни было — шаг вверх по служебной лестнице. В этом есть свои теневые стороны, сказал Брайерс: почти все время ему придется проводить за письменным столом, не принимая непосредственного участия в оперативной работе. Тем не менее он к этому приготовился, а должность все равно не из спокойных: любой промах у всех на виду.

— Насколько я могу судить,— сказал Брайерс,— в ближайшие несколько лет терроризм достигнет черт знает какого размаха.

— Согласен.

— Слишком уж это легко. Все преимущества на их стороне. И инициатива.

Оба представляли себе возможности современного оружия.

— Я все думаю...— Брайерс снова говорил неловко и почти агрессивно.— Может быть, вы присоединились бы к нам и помогли? Вам нашлось бы применение.

— Я слишком стар.

— Молоды вы, а не стары — слишком молоды, чтобы бесцельно убивать время. Я знаю, в прошлый раз у нас не задалось. Но тут вы найдете себе применение. У вас есть опыт. И в людях вы разбираетесь. Мне было бы спокойнее, если бы я знал, что вы под рукой.

Хамфри понимал, чего добивается Брайерс. Он думал, как бы подбодрить Брайерса, а вместо этого Брайерс старается подбодрить его. Это было подтверждение дружбы, но не дружеский порыв, а усилие воли. Брайерс все еще испытывал злую досаду из-за того, что их совместные усилия ничего не дали: союзника всегда винят не только за его ошибки, но и за свои собственные или даже за неудачное стечение обстоятельств. И его активно не хочется видеть. Нужен очень сильный характер, чтобы поступать так, словно этого чувства не существует. Как нужен сильный характер — Хамфри на мгновение вспомнил Шинглера — и для того, чтобы простить человека, которому ты многим обязан. Хамфри был тронут — главную роль сыграло не возвращение прежней дружеской теплоты (у него тоже была своя гордость, хотя и не такая колючая, как у Фрэнка), но уважение. Возможно, им еще долго будет неловко друг с другом, но много ли нашлось бы людей, да еще обремененных таким количеством забот, как Фрэнк, которые заставили бы себя поступить подобным образом?

Хамфри сказал:

— Как хорошо, что вы об этом подумали. Я крайне благодарен.— Иногда он позволял себе быть искренним и непосредственным. Потом он с легкой усмешкой добавил:— В последний раз мне предлагали работу лет двадцать назад.

— Так вы согласны?

— Да, я был бы рад. Но удастся ли вам согласовать это с вашим начальством?

— Ничего трудного. У нас уже есть два-три внештатных. Именуются консультантами. Как и все мы, легкая дичь для террористических групп. Конечно, мы постараемся сохранить их личность в секрете, но особенно на это рассчитывать нельзя. Очень вероятно, что возле любого из нас в самый неожиданный момент начнут рваться бомбы.

Хамфри давно уже не слышал мрачных шуточек Брайерса. А Брайерс продолжал:

— Собственно говоря, я уже предложил вашу кандидатуру. Полный восторг. Конечно, ваша прежняя деятельность оказалась не такой уж большой помехой.

— Вы, значит, не сомневались, что я скажу «да»? — Хамфри вернулся к прежнему приятельскому тону.

— Я не сомневался, что Кейт сумеет вас убедить. В нашей группе от нее будет больше толку, чем от всех нас, вместе взятых.

Наступило молчание, и они оглянулись на унылую комнату, тщательно сохранявшуюся, точно исторический памятник. Брайерс сказал:

— Ну, мы пришли сюда, собственно, ради этого.

Но он не встал. Опять наступило молчание, оно стало напряженным. Потом Брайерс снова заговорил:

— Я всегда думал, как интересно было бы получить собственный отдел. И получить его еще молодым. Но вот что: если бы я мог променять это назначение на возможность изобличить Перримена, я бы ни секунды не колебался. Черт, не могу забыть. Полицейский следователь должен в первую очередь научиться сбрасывать неудачу со счета. И, значит, никакой я не следователь.

— Чепуха! Это значит, что вы первоклассный следователь. Конечно, у вас это иногда почти переходит в одержимость. Но первоклассная работа делается только так.— Хамфри говорил, как в те дни, когда они только познакомились и Фрэнк слушал советы человека на двадцать лет его старше.— Все это вы должны забыть...— Он указал на кресло леди Эшбрук.

— Легче сказать, что сделать! — Брайерс вдруг сорвался и заговорил так, словно на зубах у него скрипел песок: — Ведь с ума можно сойти. Я знаю все. Я знаю все, кроме одного — как доказать, что это он. Я знаю, как он это сделал. Я знаю, почему он это сделал. Во всяком случае, отчасти — в этом до конца разобраться вообще невозможно. И все без толку. Я опять и опять приходил в эту комнату. Все надеялся вдруг обнаружить то, что мы упустили. Теперь я убежден, что обнаруживать было нечего. Оуэн Морган без конца мне повторяет, что на этот раз мы столкнулись с человеком, который не допустил ни единой ошибки. И помочь нам могла бы только сумасшедшая удача. Может быть, его и прижмут за махинации с ее деньгами. Но это плохое утешение. У нас не было выбора: только ждать, что нам вдруг повезет. Но везло не тем, кому следовало бы.— Его голос, все еще скрипучий, стал спокойнее.— Ему поразительно везло. Он думает, будто предусмотрел все. Но были три момента— по меньшей мере три,— когда дело могло обернуться против него. И не обернулось.

После еще одной паузы Брайерс сказал:

— Скажите мне... Я же должен был с ним справиться. Что я сделал не так?

— Я, естественно, об этом думал. Задним числом. Но я все-таки не могу найти ни единого промаха. У вас почти не было материала. Ваши сотрудники сумели найти для вас очень мало. Но, по-видимому, больше найти было вообще невозможно.

— Мне следовало бы выждать подольше?

— Но ведь больше вы ничего не нашли бы, **верно?**

— Я неправильно строил допросы?

— Не думаю.

— А вы бы провели их умнее? — Это было сказано без всякого вызова: Брайерс действительно хотел знать правду.

— Не умнее. Но, наверное, немного по-другому.

— Расскажите как.

Хамфри сказал бережно, но твердо:

— Послушайте, Фрэнк, пользы от такого копания в прошлом нет никакой. С этим кончено. И лучше выбросить все из головы.

Брайерс кивнул как-то по-мальчишески, не сгибая шеи, точно немецкий бурш.

— Конечно, лучше. Конечно. Беда в том, что я все еще думаю: а вдруг что-нибудь выяснится. Вдруг позвонят. Или сообщат еще как-нибудь. Вскрываю утреннюю почту и думаю: а вдруг? И весь день так, чем бы я ни занимался. Что-то вроде сумасшествия, оно вторгается в мою жизнь, отравляет ее. Но я положу этому конец. Выкину из головы. Дело не закрыто, но это все.

Они по-прежнему сидели на стульях с высокими спинками, словно были гостями на званом чае у леди Эшбрук и уединились от остального общества.

— Ну, возьмите другое расследование.

— Уже веду. Там все в порядке. Никаких неясностей. Но поймите же: можно сойти с ума. Я знаю о Перримене все. Я знаю — убил он. Я знаю, что он бессердечный зверь, а не человек. И я бессилен. Что ж тут удивительного, если полицейские иногда фабрикуют недостающие улики? Чтобы уличить такого вот человека, который по справедливости должен быть уличен.

— А вы когда-нибудь это делали?— Хамфри задал вопрос просто, самым будничным тоном.

И таким же тоном Брайерс ответил:

— Да. Один раз.— Он продолжал: — Очень грязное дело. Женщина убила своего насыпка. И полностью замела следы. Доказать мы ничего не могли. Да, я сфабриковал улику. И она получила то, что ей причиталось.

— А теперь вы бы так поступили?

Брайерс задумался. Потом сказал:

— Пожалуй, нет. Теперь я уже не так уверен в своей позиции, как десять лет назад. Я больше не чувствую, что имею право все приводить в порядок. Но поймите меня правильно: я нисколько не жалею о том, что сделал тогда, и не стал бы жалеть, если бы таким же образом поймали Перримена.— И снова Брайерс заговорил решительным тоном:— Ну ладно, я ведь вам уже несколько раз сказал, что покончил с Перрименом и с эшбруковским делом. Дом теперь поступает в распоряжение душеприказчиков. Я же вам это уже сказал, так? Привести его в жилой вид обойдется недешево, верно? Ну, это уж их забота. Пусть забирают. Еще они желают получить труп. Он долго у нас пролежал. Пусть и его забирают. Старуха распорядилась, чтобы ее кремировали, но, конечно, от этого им придется отказаться. Но если хотят, то могут получить труп для погребения.

Тут наконец Фрэнк Брайерс поднялся на ноги.

— Идемте? — предложил он и поглядел вокруг — на стену, на пол.— Ну что же,— сказал он,— вы, конечно, слышали о том, как преступники возвращаются на место преступления, хотя, по правде говоря, мне пока еще ни одного такого встретить не довелось. На этот раз на место преступления возвращался сыщик. Вот про это никто никогда вам не рассказывал. Но этот сыщик приходил сюда слишком уж часто и больше не придет.

Он вышел из комнаты впереди Хамфри, подождал его и запер дверь.

— Вот так,— сказал он.

После промозглости дома утренний январский воздух словно дохнул на них теплом. Когда они вышли из двери, Брайерс, энергичный, деловой, уже не такой доверительно близкий, как эти последние полчаса, сказал, что Хамфри получит официальное письмо о своей новой работе. Хамфри спросил, будет ли приятно Бетти, если он ее навестит.

— Только предупредите заранее,— сказал Брайерс.— Ей нужна помощь, чтобы убрать дом. Сама она не может.

Очень по-деловому, подумал Хамфри, более по-деловому, чем о делах. И тем же тоном, очень вежливо, Брайерс отказался вернуться с Хамфри к нему. Он направился к машине своей обычной упругой походкой спортсмена, словно человек, который торопится на поезд, а вернее, словно человек, который в последний раз уходит от женщины, твердо решив вернуть себе свободу.

45

Похороны были тихие. При жизни леди Эшбрук ни одно значительное событие, центральной фигурой которого она была, не обставлялось так скромно. Ни пения, ни органа — самая сухая из протестантских служб. В определенной мере — дань ее памяти: панихида происходила в церкви, которую она посещала, считая ее достаточно евангелической.

Присутствовали всего восемь человек: Лоузби и Сьюзен, Селия Хоторн, Хамфри, кроме того, ее поверенный и глубокая старуха в элегантном трауре — вдовствующая герцогиня, ровесница леди Эшбрук,— и, наконец, Кейт с мужем, который, как объяснила Кейт, вынужденная снова извиняться, настоял на том, чтобы прийти. Хамфри решил, что это даже отвечает случаю: леди Эшбрук, соблюдая приличия, в свое время, несомненно, точно так же присутствовала на разных других похоронах.

Оповещение о похоронах было даже скромнее, чем сама служба. Некоторые обстоятельства, известные им всем, кроме вдовствующей герцогини, действовали кое-кому из них на нервы. Как Брайерс сказал Хамфри, леди Эшбрук действительно оставила распоряжение, чтобы ее кремировали. Далее она распорядилась, чтобы ее пепел был поручен заботам священника этой церкви. Но, как упомянул Брайерс, это действительно было запрещено. Запрещено предусмотрительными правилами судебной медицины. Человек, которому предъявлено обвинение в убийстве, имеет право требовать,

чтобы труп был предоставлен для исследования приглашенному им патологоанатому. А потому тело жертвы, пока убийца не найден, сожжению не подлежит. Следовательно, некогда столь желанному для многих мужчин телу леди Эшбрук, которое было вскрыто, разъято, собрано вновь, заперто в холодильнике, а теперь лежало в гробу, грозила возможность вновь подвергнуться тому же процессу.

Кейт, которая так просто и чисто уживалась с потребностями плоти, пришла от этой мысли в уныние. Хамфри заверил ее, что такая возможность остается чисто теоретической. Обвинение никому предъявлено не будет. Но ей не стало легче. В больнице ее не раз приглашали присутствовать при вскрытии, однако она даже подумать об этом не могла.

А вот Сьюзен, которая уживалась с потребностями плоти далеко не так просто и чисто, искала возможности присутствовать при вскрытиях, а также при приведении трупов в положенный вид. Относительно последнего она решила — с не очень чистым удовлетворением,— что помощники прозектора отлично выполняют свою задачу, особенно когда дело идет о телах правоверных евреев, для которых правила особенно строги.

Величественные слова заупокойной службы звучали негромко, но ясно. Они были хорошо знакомы всем присутствующим. Селия много раз слышала их в церкви своего отца — столько раз, что уже перестала их слышать.

— Я есмь воскресение и жизнь... Сеется в тлении, восстает в нетлении...

В памяти Хамфри всплыли некоторые рассуждения Алека Лурии. Иисус был прекрасным учителем закона. Но основателем христианства был Павел, любил повторять Лурия. Воскресение из мертвых — изумительный лозунг. Да, изумительный. Люди уверовали в него со всем простодушием и конкретностью. В нем был ответ на трагедию человека. Высшее утешение для смертных. Много ли людей верят в него теперь?

Служба скоро кончилась. Они вышли из церкви на солнечный свет, в зябкий, но безветренный день. Гроб подняли на катафалк, гробовщик собрал венки — их было шесть, но один, из великолепных орхидей, затмевал все остальные. Кортеж двинулся по Честер-роу на юг. Провожающие ехали в своих машинах — все, кроме вдовствующей герцогини, которая сказала, что ей пора домой.

Они ехали на Старое Фулемское кладбище. Поскольку леди Эшбрук пожелала, чтобы ее кремировали, никаких распоряжений о могиле она не оставила, и это вызвало дополнительные трудности. С ними разделался посредник, участие которого сама леди Эшбрук еще прошлым летом сочла бы кощунственной профанацией. Посредником этим был Том Теркилл. Она до глубины души возмутилась бы, что подобный человек распоряжается ее похоронами. Тем не менее все устроил он. Он же настоял на самых тихих похоронах. Не исключено, что махинации его зятя могут выйти наружу. А потому — никакой публичности. Сам он на похоронах присутствовать не сможет: члены кабинета всегда на виду. Пышный венок прислал он, но без карточки. В газетах о похоронах не сообщалось: Лоузби получил все необходимые инструкции. Теркилл уплатил его долги, спасая его от суда. Его мнения об устройстве похорон даже не спросили: ему положено исполнять то, что ему велят. Тут Сьюзен была полностью согласна с отцом.

Это они — отец и дочь — выбрали место для погребения. Кладбище в Певенси не подходило: оно было слишком связано с отвергнутым первым мужем, с отвергнутым домашним очагом. Увезти ее туда они все-таки не могли. При всей своей беспощадности на это Сьюзен не решилась. Но она унаследовала дотошность отца и раскопала необходимые сведения о другой семье — семье второго мужа леди Эшбрук. Его фамилия до того, как он вышел на политическую арену и в свой срок сделался лордом Эшбруком, была Джонс. Джонсы от отца к сыну становились все более преуспевающими владельцами типографии в лондонском Сити. Когда-то они купили семейный участок на Фулемском кладбище. На этом кладбище давно уже никого не хоронили, но леди Эшбрук в какой-то мере имела право упокоиться там, а ни Теркилл, ни Сьюзен не были настолько горды, чтобы проявить щепетильность. Влиятельное положение открывает много возможностей. И потому в это утро горстка людей, собравшихся проводить леди Эшбрук в последний путь, окружила аккуратно выкопанную могилу.

Кладбище застыло в полной неподвижности, словно на фотографии. Ни одна травинка не трепетала. Погода была исполнена умиротворенности. После воющих ветров наступили часы антициклонного затишья: в бледном небе — ни единого облачка, в воздухе — ни единого дуновения.

Они стояли вокруг могилы и поглядывали по сторонам, слушая и не слыша обкатанные временем слова. В глубине могилы поблескивала металлическая дощечка на крышке гроба. Вокруг на садовых скамейках безмятежно сидели пары—пожилые пары. Ближе к реке в плоское небо гармонично вписывались вертикали новой огромной больницы. Благостный мягкий голос ронял и ронял слова:

—...краток срок жизни и исполнен горести... Среди жизни мы в смерти...

Помощник гробовщика взял горсть земли из кучи поблизости и приготовился.

— ....не дай нам в наш последний час... в муках смерти отпасть от тебя...

Земля застучала по гробу. Все они слышали этот звук на других похоронах. Это был звук, означающий абсолютный конец, а может быть, последнее соприкосновение. Иногда его абсолютность бывала непереносимой. Но не в это утро. Смерть отодвинулась слишком далеко. Те, кто стоял у могилы в неподвижности утра, уже не ощущали ее.

Величаво падали слова:

— Возлюбленная наша сестра Александрина-Маргарет (это имя вдруг выделилось из слов молитвы)... в чаянии и уповании...

Это был тихий конец. Это был тихий конец, более тихий, чем ее жизнь, и, подобно всем нам, думал Хамфри, в одиночестве возвращаясь домой, она скоро будет забыта.

Жизнь, жизнь любого человека печально похожа на погоду в этот день — судорога света между мраком и мраком. Но действительно ли она будет совершенно забыта? Действительно ли это абсолютный конец? Может быть, нет. Как ни парадоксально, нет. Однако помнить ее будут не по тем причинам, какие выбрала бы она сама. Никого не заинтересует, что когда-то она была видной фигурой маленького мирка. Никого не заинтересует ее личность. Призраков человеческих личностей не существует. Нет, о ней будут помнить из-за того, что смерть ее была насильственной и страшной.

Некоторое время еще будут строиться догадки о том, как это произошло, кто ее убил и почему. Они составят главы в книгах о сенсационных преступлениях. Будут возникать теории, остроумные и сложные, вроде той, которую придумали Селия и Поль,— Хамфри вспомнил, как Лурия рассказывал ему о ней во время рождественского обеда. А раз уж, думал он, эти двое, знавшие всех участников, умеющие ясно мыслить, пришли к неверному выводу, то каких же поразительных заключений можно ждать в будущем! Такого рода бессмертие, несомненно, не обрадовало бы леди Эшбрук.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ

★

РАСКОЛОТЫЙ ОСТРОВ

Ирландские репортажи

В тюремном госпитале умирал человек. Он лежал на железной койке, похожий на живые мощи. Ввалившиеся глаза его были полузакрыты, еще недавно каштановые волосы истончились и обесцветились, серый пергамент кожи обтягивал остро выступившие скулы. Казалось, ему лет девяносто. Он был так худ, что обычный матрац пришлось заменить водяным — иначе кости человека проткнули бы его плоть и кожу.

Более шестидесяти дней человек с какой-то непостижимой решимостью продолжал голодную забастовку. Тюремную пищу, которую регулярно ставили на тумбочку у кровати, он столь же неизменно не трогал. Пил только воду и глотал солевые таблетки.

Человек неотвратимо приближался к трагической черте. Сам он отказывался проглотить хотя бы крошку хлеба, а принудительное внутривенное питание, к которому прибегали раньше в тюрьмах этой страны, было отменено. Ревнители свободы личности решили, что это было бы недопустимым вмешательством в право человека распоряжаться собой и своей жизнью.

Своим молчанием, все более и более вынужденным — ему уже трудно было произнести даже слово,— человек хотел сказать что-то очень важное всей стране. И его услышали. Громкое эхо молчания разнеслось по стране, перекинулось за ее пределы. Оно материализовалось в бурных демонстрациях на улицах городов, нескончаемых статьях в газетах и журналах, в парламентских запросах, в попытках политических, общественных и религиозных деятелей предпринять хоть что-то. Потому что вслед за вожаком эстафету смертельного марафона приняли еще трое узников, и еще 70 заявили, что они могут сделать то же самое, если их товарищи погибнут.

Его посетил в тюрьме прилетевший из Рима специальный посланник папы. Долго уговаривал прекратить голодовку. Слабым движением руки человек дал понять, что он отклоняет просьбу. Не больше преуспели в попытке переубедить человека и три члена парламента. Когда он стал надолго терять сознание, к нему допустили мать. Встретившим ее у тюремных ворот журналистам, потрясенная виденным, оглушенная шумом голосов и ослепленная лучами юпитеров, она тихо, но ясно сказала: «Я знаю моего сына и поэтому даже не просила его передумать. Он умирает. Прошу всех сохранять спокойствие».

Последнее замечание было нелишним. На улицах и площадях кипели бурные демонстрации, разгорались стычки жителей с полицией и войсками. Переворачивая автомашины, нагромождая в кучу столбы, доски, все, что подвернется под руку, люди сооружали баррикады. Снова полыхали зарева пожарищ, небо заволакивали клубы черного дыма.

Умирающего человека звали Роберт Джерард Сэндс. Ему было двадцать семь лет. События разворачивались в военной тюрьме Мейз близ Белфаста, где британские власти содержат отбывающих длительные сроки заключения участников республиканского

движения — ирландцев, добивающихся равноправия для своих собратьев-католиков и конечного воссоединения страны. Активным республиканцем был и Бобби Сэндс. Во всяком случае, последние девять лет жизни, из которых восемь с половиной он провел за колючей проволокой и высокими кирпичными стенами.

За два месяца до той финишной черты, к которой он неотвратимо приближался, к его типичному для молодого человека, выходца из католической общины, послужному списку (школьник, подмастерье на заводе, безработный, участник республиканского движения) прибавилось новое громкое звание — член британского парламента. На внеочередных выборах (внезапно скончался старый депутат) избиратели североирландского округа Фермана и Южный Тирон, опровергнув все официальные прогнозы, к вящему неудовольствию Лондона, уполномочили представлять их в Вестминстерском дворце начавшего в английской тюрьме голодную забастовку ирландского республиканца.

Ирландия! Маленькая страна с большой и нелегкой историей, страна сильных страстей, ярких характеров, неожиданных поворотов человеческих судеб. Страна сложных, уходящих корнями в глубь веков конфликтов, которые, соприкоснувшись с ними вплотную, так трудно разбирать спокойно, так непросто раскладывать по полочкам добра и зла.

С точки зрения властей, Бобби Сэндс был всего лишь «террористом»— нехитрый юридический прием, с помощью которого политический противник режима переводится в разряд уголовных преступников. Для того чтобы объявить человека террористом и признать его виновным, на севере Ирландии не требуется многого. Достаточно того, чтобы вы не скрывали своих республиканских, антибританских убеждений. А если у вас еще обнаружат и оружие, имеющееся чуть ли не в каждом доме Белфаста, Дерри или Арма, где годами живут в страхе за свою жизнь, то больше доказательств и не требуется. В Ольстере, где действуют «чрезвычайные законы», суд скор на расправу. Долгого разбирательства не бывает, свидетелями выступают те же полицейские из числа протестантов, присяжных заседателей нет. А целая система отработанных английской армией методов «физического воздействия» на допрашиваемого помогает получить нужное «признание».

Человек умирал. А ведь его можно было спасти. И для этого, казалось бы, надо было сделать немногое. Он был готов прекратить голодовку при условии, если пойдут навстречу его требованиям. Он хотел вроде бы малого: права заключенных республиканцев носить в тюрьме свою одежду и неучастия в принудительных работах. Не так давно этими правами, отделявшими их от уголовников, арестованные республиканцы в Ольстере пользовались. Потом, сочтя эти привилегии недопустимой поблажкой, их отменили.

Противоборство развернулось, казалось бы, вокруг не очень важных вопросов. Но согласись с требованиями Сэндса и его товарищей, правительство, как растолковывали всезнающие комментаторы, расписалось бы в том, что в Великобритании имеются политические заключенные. Признавать это Лондону так не хотелось, что консерваторы предпочли пойти на серьезные политические осложнения, связанные с неизбежной смертью члена парламента — республиканца.

«Сколько бы заключенных ни грозили уморить себя голодом, мы не отступим»,— цитировали газеты слова премьер-министра Англии Маргарет Тэтчер. Перед лицом человеческой трагедии, когда вопрос жизни или смерти человека зависел от нее лично, Тэтчер более чем когда-либо подтвердила прозвище железной леди. Холодная невозмутимость премьерши, видно, задела за живое даже ко всему привыкших газетчиков с Флит-стрит. На тех же самых полосах, где сообщалось, как день за днем слабеет Сэндс, теряет слух, зрение, впадает в беспамятство, они как бы невзначай помещали фотоснимки улыбающейся политической примадонны. То за рулем самолета, то верхом на лошади — со школьных лет честолюбивая дочь лавочника Маргарет отличалась не только стремлением быть первой по успеваемости в классе, но и пристрастием к спорту.

Конечно, если разобраться, «противоборство характеров», «столкновение воль», как изображала дело пресса, развернулось не только по вопросу о статусе политических заключенных в ольстерских тюрьмах. Речь шла о гораздо большем. Решив «стоять насмерть»— до смерти объявивших голодную забастовку республиканцев,— правительство тори давало недвусмысленно понять: реформ в Северной Ирландии, которых требуют полмиллиона католиков и многие из разумных протестантов, не ждите, при нашем правительстве, во всяком случае, этого не произойдет.

...Человек умирал, когда зрелая, полнокровная жизнь обычно только начинается. Двадцатисемилетний Роберт Сэндс, по словам одного знавшего его журналиста, при-

надлежал к числу «тех ребят, которые в другом обществе были бы хорошими аспирантами». Железной логикой ольстерской жизни колледж молодому человеку заменил печально известный Эйч-блок — самая суровая часть тюрьмы Мейз. Но и там, в отнюдь не университетских условиях, Сэндс проявил завидные качества несостоявшегося аспиранта. Он много читал и потом пересказывал содержание книг узникам в соседних камерах; для этого приходилось кричать, что вызывало гнев тюремщиков и навлекало побои. Он изучил гэльский язык — древний язык Ирландии, почти полностью выкорчеванный колонизаторами.

В тюрьме он писал стихи. Одно из них, нацарапанное на листках туалетной бумаги, оказалось на воле и было опубликовано газетой в Ирландской Республике:

Говорят, мы живем в новые времена,
В цивилизованном технотронном веке.
Но, оглядевшись вокруг, я вижу —
Пытки, боль и лицемерие.

В эти новые времена
Дети умирают от голода.
И никто даже не осмелится спросить:
Почему?

В этом цивилизованном мире
Падают бомбы, и рвутся снаряды,
И нагая девочка бежит, обожженная напалмом,
Через пылающую ночь.

Вряд ли можно сказать, что Ирландия теряла нового Йитса или не успевшего раскрыться Конноли. А кем бы он мог стать, теперь уже сказать невозможно. Сэндс был простым белфастским парнем из рабочей католической семьи. Как участник республиканского движения, он отдал дань тем заблуждениям и ошибкам, которые питает сама ольстерская жизнь, где насилие рождает контрнасилие, террор — контртеррор. Где механизм политического режима действует так, чтобы направить классовый гнев североирландцев в русло разрушительных и безысходных междоусобиц. Но в очень важном ему нельзя было отказать — в обостренном чувстве справедливости, в решимости бороться за интересы своих сограждан, в готовности к самопожертвованию. «Все, за что он брался,— говорит один из бывших узников тюрьмы Мейз,— Бобби доводил до конца». До конца довел он и последнее дело своей жизни — голодную забастовку.

В детстве, вспоминает школьный учитель Сэндса, Бобби был покладистым, ничем особенно не выделявшимся учеником. Он происходил из спокойной трудовой семьи и производил впечатление счастливого ребенка. Во всяком случае, он не причинял никаких неприятностей начальству.

Как, почему покладистый мальчик из спокойной белфастской семьи стал непреклонным бунтарем, «опасным врагом британской короны»?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно попытаться по крупицам воссоздать жизнь человека. Вспомнить о том, как однажды семья католиков Сэндсов, собрав детей и скарб, вынуждена была бежать из той части Белфаста, где она прожила двадцать один год. Произошло это в 1972 году, когда начались налеты вооруженных протестантских экстремистов и домик Сэндсов, находившийся в «смешанном районе» города, несколько раз прошивали пули. Или привести рассказ самого Сэндса о том, как под наведенными на него дулами пистолетов ему пришлось оставить свою первую в жизни работу — подмастерья на вагоностроительном заводе. Можно, наконец, процитировать строки из его избирательного манифеста, который друзьям Сэндса удалось вынести из тюрьмы: «Я видел слишком много превращенных в руины домов, арестованных отцов и сыновей, изувеченных соседей, убитых друзей. Я видел слишком много газа, стрельбы и крови».

А можно поступить и по-другому — рассказать об Ирландии, о прекрасной и многострадальной стране. Потому что в каждом человеке, хрупком и недолговечном, живет вся страна со всей ее многовековой историей. Живет для того, чтобы продлиться в детях, внуках, правнуках.

Тянет в иллюминатор сыростью. Поскрипывает трущееся железо. Доносятся всплески воды. Мы в трюме парома. Лежим на узких нарах. Где-то ниже, в самом брюхе судна, наша автомашина. За стеной — море. Мы плывем в Ирландию.

За годы корреспондентской работы в Лондоне я не раз бывал на соседнем с Англией острове. Всегда летал самолетом. Не успеешь пристегнуться в аэропорту Хитроу, про-

бежать глазами первые страницы утренних газет, а уже пора высаживаться — ты в Белфасте. На этот раз решили добираться по суше и морю. И не пожалели.

Ровно работает двигатель, наполняя тело парома мелкой дрожью. Волны покачивают судно с боку на бок, как заботливая мать люльку. Приятно лежать на полке, вытянув онемевшие от сидения в машине ноги. Хорошо знать, что спешить некуда, что впереди — целая ночь морского путешествия.

И хорошо думается. Сами собой встают перед мысленным взором образы тех, кто сто, двести, тысячу лет назад плыл по этим же волнам на колесных пароходах, парусниках, длинных многовесельных ладьях.

Море. Оно извечно лежало на пути тех, кто устремлялся к Зеленому острову, оно было благодатью и проклятьем ирландцев. Море несло стране ровный влажный климат и приносило полчища завоевателей. Щедро дарило рыбакам свои богатства и, разбушевавшись, разбивало вдребезги и заглатывало их суденышки. Сколько раз море вторгалось в судьбы людей и в ход истории этой страны.

Если посмотреть на карту, к северу от массива континентальной Европы увидишь остров, изогнувшийся, как свирепый вепрь,— это Великобритания. Перед самой пастью «вепря»— убегающий от него живой клочок. Это Ирландия. От преследователя беглянку отделяет узкая полоса воды. Впереди, куда она пытается вырваться,— просторы Атлантического океана. Оттуда, с запада, веками нес Гольфстрим теплые воды, смягчая климат страны, орошая ирландскую землю обильными дождями. С востока и севера издавна налетали на Зеленый остров холодные ветры и отряды завоевателей. Сначала были норвежские и датские викинги. С ними ирландцы управились неплохо — кое-кого из варяжских гостей перебили в сражениях, других, осевших в прибрежных районах, ассимилировали, пираты и воины превратились в мирных торговцев.

Хуже пришлось, когда со второй половины XII века на Изумрудный остров стали наседать полчища англо-норманнов. История последующих восьми столетий — сплошная цепь войн, восстаний, постепенного распространения власти завоевателей, история разорения ими ирландской экономики, подавления кельтской культуры и гэльского языка, насаждения английских и шотландских переселенцев. Особенно тяжело стало ирландцам начиная с XVI—XVII веков, когда Англия вступила на путь колониализма. Беда Ирландии заключалась в том, что она расположена ближе всех к настырному соседу.

«Железнобокие» Кромвеля, огнем и мечом утверждавшие английское господство в Ирландии, выступали под знаменами реформации. Завоеватели были протестантами, коренные жители — католиками. Эта случайность истории на века вперед определила важные особенности общественного самосознания ирландцев. Католицизм для многих из них стал не столько религией, сколько оплотом национальной индивидуальности. Ведь непрошеные гости стремились выкорчевать ирландцев с родной земли, и не только в физическом, но и в духовном смысле. Они искореняли кельтские обычаи, гэльский язык, в законодательном порядке преследовали католиков. Но если в сфере материальной они преуспели, то в духовной попытки ассимиляции ирландцев в основном не удались. И это яркое свидетельство удивительной жизнестойкости, талантливости ирландцев, их глубокого патриотизма. Даже чужой язык, навязанный пришельцами, они наполнили национальным ароматом — гэльскими словечками, образами богатейшего кельтского фольклора.

Ирландцы, писал Энгельс, принимавший близко к сердцу судьбы многострадального народа, «чем больше усваивали английский язык и забывали свой собственный, тем больше становились ирландцами».

«Две нации, разделенные общим языком»,— заметил с присущей ему склонностью к парадоксам великий сын Зеленого острова Джордж Бернард Шоу.

...Поскрипывают корабельные снасти, все сильнее завывает ветер в иллюминаторе. И чудится, что в шуме моря слышатся вздохи. И кажется, что ты на палубе утлого суденышка, где, сгрудившись, тяжелым, беспокойным сном спят вповалку мужчины, женщины, дети. Худые, с запавшими глазами лица, замызганные, пропахшие потом зипуны, узлы с домашним скарбом вместо матрацев и подушек. Одни плывут в Ливерпуль, другие, чтобы, пересев там на следующий «плавающий гроб», направиться дальше, за океан. Ирландские крестьяне, лишившиеся земли, люди, доведенные до отчаяния голодом и лишениями. Сколько из них не доплывут до новых берегов! Сколько пойдут на дно, скошенные болезнями, заживо выброшенные в кипящую стихию бурями!

Есть у ирландцев афоризм: «Наш главный экспорт — люди». Горькая сентенция подтверждается кричащей статистикой. Сегодня население Изумрудного острова, вклю-

чая Ольстер,— 4,5 миллиона человек. На чужбине же, ставшей для них новообретенной родиной, проживает около 20. миллионов ирландцев, в том числе свыше 15 миллионов в Северной Америке.

Когда свирепствует ветер и высокие волны яростно налетают на гранитные скалы, кажется, что перед тобой душа народа, поднявшегося во гневе. А он часто восставал, шел грудью на поработителей. Много героических страниц вписали ирландские патриоты в летопись борьбы за независимость своей страны. И нет среди них более славной и трагической, чем история Пасхального восстания.

24 апреля 1916 года выдалось ясным и солнечным. Был нерабочий день. И дублинцы, заполнившие тротуары центральной О'Коннел-стрит, поначалу считали, что стали свидетелями праздничной демонстрации, когда по улице прошествовала колонна людей в зеленой полувоенной форме и широкополых шляпах, с ружьями на плечах. В городе хорошо знали добровольцев Ирландской гражданской армии, созданной боевым профсоюзным деятелем Джеймсом Конноли. За ними в серо-зеленых френчах шли участники другой патриотической организации — Ирландские волонтеры. Сходство с праздничной демонстрацией резко оборвалось, когда люди в полувоенной форме, остановившись перед фронтоном главного почтамта, примкнули штыки и бросились на штурм здания. Началось знаменитое Пасхальное восстание, одна из самых славных и трагических глав в истории освободительной борьбы ирландского народа.

Не прошло и получаса, как почтамт был очищен от публики, чиновников и над тяжелыми серыми колоннами взвились три флага: в центре зеленый с изображением золотой арфы и надписью по-гэльски «Ирландская Республика» и зелено-бело-оранжевые по краям. На ступенях с бумагой в руке появился Патрик Пирс, школьный учитель и поэт. Президент временного правительства, он зачитал декларацию, провозглашавшую Ирландию независимой республикой. Первый документ революционного правительства гарантировал всем гражданам религиозные и гражданские свободы, равенство прав, возможностей.

Но, как уже не раз бывало в истории этой многострадальной страны, в развитие событий вмешалась цепь фатальных случайностей, ошибок, недоработок. Предательство одного из лидеров Ирландских волонтеров деморализовало значительную часть этой довольно массовой организации. Выступления на местах, на которые рассчитывали руководители восстания, либо не состоялись, либо произошли слишком поздно. Отчаянно не хватало оружия и боеприпасов.

Около недели держались восставшие. Тысяче республиканцев — рабочих, служащих, студентов,— забаррикадировавшихся в центре Дублина, противостояли 12 тысяч солдат и офицеров регулярной английской армии. В ход были пущены пулеметы, пушки, броневики. С реки Лиффи через крыши домов артобстрел вела канонерка. Даже массивные стены каменного здания не могли укрыть от такого огня. Разбомбленный почтамт пылал. В субботу оставшиеся в живых участники восстания сдались.

Победители жестоко расправились с побежденными. Многие из них были казнены. Еще больше брошены в тюрьмы или депортированы. Одиннадцать дней, с 3 по 13 мая, во дворе мрачной тюрьмы Килмейнем слышались ружейные выстрелы. Это палачи добивали знаменосцев Пасхального восстания. Среди них были профсоюзный деятель, профессор, поэты, музыкант. Последним казнили любимца ирландских рабочих марксиста Джеймса Конноли. Во двор его внесли на носилках. Отражая натиск английских солдат, Конноли был тяжело ранен, незадолго перед казнью ему ампутировали ногу. Его подняли с носилок и посадили в кресло. Теряющий сознание человек крепко сжал подлокотники, выпрямился. Раздался залп.

Благонамеренные обыватели поспешили осудить героев. Восстание было бесплодным, твердили они, жертвы напрасны. Но это был тот случай истории, когда из поражения рождается победа. Залпы в тюрьме Килмейнем разбудили страну. Зеленый остров запылал, охваченный массовым повстанческим движением. Лавируя, Англия вынуждена была пойти на попятный. В 1921 году Лондон предоставил Ирландии статус доминиона. Но при этом сохранил под своей властью шесть графств северной, наиболее развитой части страны — Ольстера. Так, отступая, англичане оставляли позади мины замедленного действия. Те, что рвутся и по сей день.

Над сутолокой людской в гулком зале центрального почтамта Дублина вы увидите бронзовую скульптуру умирающего воина. Могучий юноша с литой мускулатурой обвис на постромках, привязанный к скале. Кудлатая голова упала на грудь, левая рука еще придерживает опустившийся на землю щит. Правой нет, она отрублена в бою.

И на плечо рядом с зияющей раной садится птица, похожая на возрождающегося из пепла сказочного Феникса. Это Кухулин, легендарный герой древних ирландских саг. Не было во всей Эмайн-Махе равных ему. Всех превосходил Кухулин умом, силой, смелостью, ловкостью, красотой. Семь зрачков было в королевских глазах его — четыре в одном глазу и три в другом. По семь пальцев было на каждой руке его, по семь на каждой ноге. Многими дарами обладал он: прежде всего даром мудрости (пока не овладевал им боевой пыл), далее даром подвигов, даром игры в разные игры на доске, даром счета, даром пророчества, даром проницательности. Три недостатка было у Кухулина: то, что он был слишком молод; то, что он был слишком смел; то, что он был слишком прекрасен.

Так повествует кельтская легенда, которую на Зеленом острове передают из уст в уста, от поколения к поколению. Много подвигов совершил Кухулин, защищая свой народ от нападавших со всех сторон врагов. И погиб он не оттого, что кто-то превзошел его мужеством, храбростью, умом. А потому, что подорвали его силы злые волшебницы-старухи, накормившие героя перед боем собачьим мясом, приправленным ядом и наговором, и заколдовал его разящее копье вражеский заклинатель. Он отправился на последнюю битву, зная, что не вернется домой. Трижды пятьдесят женщин королевского рода из Эмайн-Махи провожали Кухулина горькими причитаниями, умоляя его не покидать их.

Но Кухулин сказал, обращаясь к своему товарищу: «Двигайся в путь, Лойг. Вознице подобает править конями, воину — защищать слабых, мудрому — давать советы, женщинам — сетовать. Вези меня в бой. Стоны ничему не служат, они не защитят от врага».

Подобно грому небесному обрушился он на врагов, носился на колеснице под развевающимся зеленым знаменем по вражескому войску из конца в конец. И сколько есть в море песчинок, в небе звезд, у мая — капелек росы, у зимы — хлопьев снега, в бурю — градин, в лесу — листьев, на равнине Брега — колосьев золотой ржи и под копытами ирландских коней — травинок в летний день, столько же половин голов, половин черепов, половин рук, половин ног и всяких красных костей покрыло всю широкую равнину Муртемне.

А когда, сраженный заколдованным копьем, почувствовал Кухулин, что силы оставляют его, подошел к высокому камню, что был на равнине. И прислонился к нему, и привязал себя к нему поясом, ибо он не хотел умереть ни сидя, ни лежа, но хотел умереть стоя.

...Серым утром мы съехали с парома на улицу Белфаста, хмуроватого, озабоченного, напряженного.

БОМБЫ БЕЛФАСТА

Управляющий гостиницей «Ройял-авеню» мистер Джонсон посоветовал сразу же загнать наш «триумф» во внутренний двор отеля и ни в коем случае не оставлять его на улице.

— Не успеете глазом моргнуть, как взорвут ваш симпатичный кар,— сказал белфастский старожил.— Пользуйтесь такси, ходите пешком — как хотите. Но машина лучше пусть стоит на приколе.

Весьма скоро мы убедились, что предостережения мистера Джонсона не излишни, этот приветливый человек действительно желал нам добра.

...За стеной отеля что-то могуче ухнуло, задрожал пол, зазвенели стекла. Проявив неожиданную шустрость и сноровку, гости, коротавшие вечер за столиками в фойе гостиницы, молниеносно растянулись на полу. Мы с коллегой-журналистом, еще неопытные и не обстрелянные, успели только пригнуться. Нырять под стол было уже поздно. Взрыв, потрясший стены гостиницы, гулким эхом затихал вдали. Сквозь наступившую тишину прорезался голос улицы: кто-то кричал, хрустели стекла и истошно, словно обезумев от страха, надрывался сигнальный звонок сорванной где-то магазинной двери.

Мы поспешили на улицу. Ночная Ройял-авеню была темна, широка, пустынна. Справа метрах в пятидесяти от подъезда гостиницы на нашей стороне улицы еще не растаял подсвеченный витринами сизоватый дым. Там кто-то суетился, кого-то вели под руки. Остро сверкали осколки стекла, усеявшие проезжую часть авеню, жались к подъездам темные фигуры солдат. А по самой середине улицы как ни в чем не бывало нетвердой походкой шел подзагулявший прохожий, настолько углубленный в свои мысли, что взрыв, казалось, не произвел на него никакого впечатления.

Надрывно завывая сиренами, сверкая синим огнем на крыше, промчалась «скорая помощь». С шумом вылетели на улицу бронетранспортеры. Спрыгивая на ходу, с автоматами наготове, солдаты вступали в действие. Но неприятеля не было видно. Никого, кроме подзагулявшего прохожего. На него-то и набросились, как борзые на дичь. Молодой солдатик, подскочив к человеку, сбил его с ног, занес приклад автомата.

— Что он делает? За что? — вскричали высыпавшие на тротуар лондонские журналисты.

Но к нам уже подбегали рослые ольстерские полицейские. Зловещего вида люди в черных плащах и высоких фуражках.

— Немедленно обратно! — командовал констебль, заталкивая людей в подъезд гостиницы.— Немедленно! Могут быть новые взрывы.

И как подтверждение этих слов снова что-то грозно ухнуло. Теперь слева от нашего отеля, немного подальше. А минут через двадцать донесся еще один удар, дальний, глухой, смягченный расстоянием.

Я посмотрел на часы. Было двадцать минут первого. Значит, первый взрыв произошел ровно в полночь. Теперь уже не приходилось сомневаться — 12 июня, день оранжистских парадов, вступил в свои права.

Жители Белфаста не то чтобы привыкли к бомбам, но как-то свыклись с ними. Почти ежедневные взрывы самодельных зарядов, порой весьма мощных, изготовленных из гелигнита, применяемого в каменоломнях, стали таким же неотъемлемым компонентом городского быта, как военные патрули на тротуарах, блиндажи из мешков с песком на площадях, мотки колючей проволоки, перегородившие улицы. Почти каждую ночь здесь что-то взрывается. Полицейское управление, электротрансформаторная будка, магазины. Кто рвет бомбы? Газеты винят во всем Ирландскую республиканскую армию — нелегальную организацию, ставящую своей целью освобождение Ольстера от британского господства и воссоединение страны. По временам авантюристическое крыло ИРА, так называемые провижнлс (временные), сами объявляют, что взрывы — дело рук ее людей, отвечающих на вооруженный террор английских солдат. Чаще всего бомбистов обнаружить не удается. И многие знатоки ольстерской ситуации говорят, что большинство взрывов — провокации ультраправых из числа воинствующих протестантов, стремящихся взвинтить напряженность и развязать репрессии.

Как бы то ни было, бомбы не причина, а следствие незатухающих волнений в Северной Ирландии. Неисчислимое количество бомб замедленного действия — социальных, политических, экономических — заложено британским империализмом на земле Ольстера.

С утра над Белфастом гремели оркестры, бухали барабаны, звонко заливались аккордеоны, посвистывали флейты. По улицам шли демонстранты. Голубые небеса, сверкание медных труб, яркие камзолы оркестрантов — обстановка самая что ни на есть праздничная.

Трам-там-та-та-там — задают тон барабаны. И в такт им шагают люди в темных парадных костюмах. Солидные люди. Жарит солнце, а они во всем черном, да еще черные котелки на головах. На груди у каждого широкая оранжевая лента — знак принадлежности к ордену оранжистов.

Трам-там-та-та-там — бьют барабаны. Левой-правой, левой-правой — по-военному вышагивают оранжисты. Шагают как-то странно: широко расставляя ноги, становясь похожими на больших пингвинов. Во главе колонн идут киты местного общества. Вот этот детина с самодовольной красной физиономией — кто он? То ли крупный лавочник, то ли мясник. Рядом благообразный господин с седыми височками. Фабрикант, а может быть, юрист. Он только что подкатил сюда на «роллс-ройсе», махнул шоферу ручкой в белой перчатке и примкнул к массам. А вот этот, похоже, доктор: старенький, дунь — и повалится. А тоже идет в лидерах. Еле бредет, сжимая костлявой рукой набалдашник зонта.

За китами дефилирует рыбешка поменьше. Оранжистская плотва или ерши: свободные от дежурства полицейские, служивый люд, рабочий народ.

Над улицей вознеслась праздничая арка. «Бойся бога, чти короля »— начертано на ярко размалеванной фанере. Рядом с лозунгом символические знаки: ворота в виде буквы «П», число «1690», гроб. Спрашиваем парадно наглаженного мужчину на тротуаре, что означают сии иероглифы.

— Ворота,— охотно растолковывает мужчина,— это значит, что дверь ордена открыта для новых братьев. Тысяча шестьсот девяностый — год, когда мы задали им жару на реке Бойн. Кому? Конечно, католикам. А гроб? Ну как вы не понимаете, джентльмены! Конечно, все для тех же католиков, будь им неладно.

Трам-там-та-та-там, левой-правой, левой-правой — идут и идут люди в черном. Рябит в глазах от оранжевых лент. Развеваются над колоннами ольстерские флаги — белые полотнища с красной кистью руки посредине, словно кто-то приложил к ним окровавленную пятерню. А на каждом углу, «обеспечивая порядок»,— бронетранспортеры, «джипы», солдаты с автоматами. Улыбается офицер, взирающий на процессию из люка броневика:

— Хорошие ребята, свои люди!

По Белфасту маршируют оранжисты. Сколько их здесь сегодня? 10 тысяч, 30, 50? Их много в Ольстере. Членами лож являются и лавочники, и полицейские, и служивый народ, и немало рабочих-протестантов, одурманенных шовинистическими речами лидеров, купленных мелкими подачками, подбрасываемыми трудовому «роялисту». Формально орден оранжистов считается тайным религиозным обществом. Но какая тут тайность и при чем здесь религия, если активные оранжисты — это и полицейские, и фабриканты, и даже министры местной администрации. Они шагают, демонстрируя силу, бросая вызов тем, кто требует перемен. Эти люди в черном — олицетворение стабильности и незыблемости «освященных веками» порядков полуколониального Ольстера. Они подойдут к католическим гетто, начнут задираться, оскорблять жителей. Вот-вот замелькают кулаки, полетят камни. Киты общества, предводители демонстрации, к тому времени будут уже дома, в своих поместьях и виллах. Отшагав по нескольку кварталов вместе с народом, они нырнут в поджидающие их «ягуары», «роллс-ройсы» и «роуверы» и укатят подальше от грязных шумных улиц. А там долго еще будут кипеть страсти, подогретые начавшимися еще с утра обильными возлияниями. Разгорятся драки, чего доброго, начнутся погромы «враждебных» католических кварталов, пойдет в ход оружие.

...К вечеру от хмельного разгула оранжистов остались лишь мусор, обрывки флагов да бутылки, покрывавшие асфальт. Тоска закрадывается в сердце, когда попадаешь на улицы рабочего Белфаста. Ни деревца, ни травинки. Только грязный асфальт да бурый кирпич домов. А тут еще и голые пустыри с обуглившимися развалинами — следы недавних разрушений. Мотки колючей проволоки, перегородившие выходы из улиц, блиндажи, сложенные из мешков с песком, около которых несут дозор солдаты в камуфляжных костюмах.

И слева унылые, закопченные стены. И справа. Но справа плясало на ветру разноцветие ярких флажков на протянутых через улицу бечевках. Пылали на асфальте костры, вокруг которых весело носились дети. Справа были кварталы, населенные ирландцами-протестантами, слева — ирландцами-католиками.

Свернули направо. Прямо посреди улицы полыхал огромный костер, сложенный из отслужившей свой век хозяйственной рухляди, сломанных стульев, досок, палок. Около костра, подбрасывая в огонь все, что попадется под руку, прыгали ребятишки. Им помогал щуплый сухонький старичок.

— Скажите,— спрашиваем у старика,— что означают эти костры?

— Празднуем,— отвечает ирландец,— годовщину битвы на Бойне. Слышали, конечно, про такую?

— А из-за чего сейчас люди дерутся, почему вашу улицу отгораживают от соседней клубки колючей проволоки?

— Все из-за того,— говорит старичок,— что когда-то католики воевали с протестантами. Они хотели распространить на нас власть римского папы, но получили по зубам...

Человек задумывается над своим собственным объяснением и, видимо почувствовав его неубедительность, добавляет миролюбиво:

— А вообще-то во всем этом много чепухи.

Мы проехали несколько кварталов, и праздничное оживление как отсекло: никаких костров, флагов, только грязноватый асфальт, пыльные витрины совсем не лондонских магазинчиков и лавочек, чумазые ребятишки на тротуаре. Ирландцы — народ общительный, непосредственный. В закусочной, куда мы заглянули, к нам подсела семейная пара. Пожилые люди простецкой внешности.

Беседа началась как-то сама собой. Обычный вопрос: откуда вы? Сначала недоумение, не ослышались ли. Из Москвы, из России? В первый раз встречаем русских. Говорят, у вас там все безбожники?

Видим, что люди настроены к нам дружественно, хотят побольше узнать о нашей жизни и сами охотно отвечают на вопросы.

— В чем причина волнений? — переспрашивает мужчина.— Главное — что нас, католиков, притесняют. Прежде всего нет работы. Как только узнают, кто ты,— получаешь отказ. Слышали о судостроительных верфях «Харленд энд Вулф» в Белфасте? Одни из крупнейших в Европе. На них занято десять тысяч человек. Так вот католиков из них не больше трехсот, да и те на подсобных работах... Нам отказывают в работе, в приличном жилье, притесняют в судах.

— Нашего сына,— вступает в разговор женщина,— недавно избили только за то, что он зашел в протестантский квартал...

Нет, корни нынешних бедствий Северной Ирландии не в битве на Бойне, не в Вильгельме Оранском и не в религиозном фанатизме, какое бы это ни имело отношение к сегодняшним делам. В основе лежат причины более реальные, более конкретные: дискриминация тех 33 процентов населения Ольстера, что имели несчастье родиться в католических семьях, безработица, судебно-полицейский произвол.

Трагедия Ирландии, расколотой в 1921 году, усугубляется тем, что северная часть острова выкроена так, что примерно треть населения — 500 тысяч человек — составляют ирландцы-католики, духовно и политически тяготеющие к Ирландской Республике, остальные жители, около миллиона человек,— протестанты, враждебность которых к Дублину объясняется не столько историческим прошлым тех, кто является правнуками иностранных переселенцев, сколько всей системой дискриминации искусственно созданного «меньшинства» и подкормки тех, кто оказался в большинстве.

Странная жизнь в Ирландии. Прошлое здесь так плотно переплелось с настоящим, так не хочет выпустить сегодняшний день из своих цепких лап, что хочешь не хочешь, а чтобы понять происходящее, надо все время совершать путешествия в историю на сотни лет назад.

Вспомнилась первая поездка в Ольстер. Самолет шел на посадку. В салоне вкрадчиво засветились надписи, предлагающие перестать курить и пристегнуться ремнями. Над головой раздался уверенный, с нотками здоровой иронии голос командира корабля: «Леди и джентльмены! Через несколько минут наш самолет приземлится в белфастском аэропорту. Вы прибываете в Ольстер. Переведите ваши часы на триста лет назад».

СОЛДАТ НА УЛИЦЕ

Журналисту, оказавшемуся в Северной Ирландии, скучать не приходится. Сюжеты для оживления корреспонденций придумывать не надо. Жизнь подбрасывает их на каждом шагу. Только увертывайся, чтобы острый сюжет не припечатал тебя тут же на месте, не обжег кусками раскаленного железа.

После обеда мы вышли из гостиницы и, взяв в сторону от не потерявшей еще, несмотря на все разрушения, величавости Ройял-авеню, оказались вскоре на одной из типичных улиц трудового Белфаста, буровато-серой, унылой, с черными глазницами выбитых окон и похожими на декорации обломками кирпичных стен.

Чуть ли не с утра шел дождь. Вода струилась по темным морщинам стен, заливала сизоватым глянцем асфальт, хлюпала под ногами. И от этого настроение печали, зябкости, какой-то неприкаянности, витавшее в воздухе, становилось физически ощутимым. Улица была почти пустынной, притихшей, настороженной. Таким бывает Белфаст под вечер, особенно в пятницу — день обостряющихся к уик-энду стычек, перестрелок, взрывов. Тишина. Только мягкий шелест дождя, мелко бьющего по асфальту. Вдруг откуда-то издали донесся гул голосов, шум движения. Завернув за угол, на такую же уныло-кирпичную улицу, мы увидели вдали у перекрестка баррикаду из деревянных строительных щитов. Из-за нее выскакивали какие-то дергающиеся, размахивающие руками фигурки и снова прятались за щитами. Щупленькие люди — приглядевшись, я понял, что это подростки,— швыряли камнями на ту сторону улицы. Оттуда, выдвигаясь темно-зеленой тупой мордой, выполз броневик. Прижимаясь к стальным бокам, прикрываясь прозрачными щитами, вместе с ним двигались солдаты в касках. Вот один из них поднял короткоствольное ружье. Хлопок, как от пробки шампанского. Облако дыма у дула. То же делает второй, третий.

— Стреляют резиновыми пулями,— комментирует мой спутник, уже бывший в таких переделках.

Потом я видел эти пули, держал их в руках. Размером с коллекционную бутылочку, увесистые, отлитые из твердой черной резины, они похожи на небольшие снаряды. Попадет такая в грудь — собьет с ног, искалечит. В голову — контузит, выбьет глаз, а то и убьет. Карательное оружие британской армии, опробованное в Ольстере. Как и газ «си эс». Как броневики «феррет», «саладин», «пиг». Как водяная пушка, бьющая окрашенной струей. Могучая струя не только валит с ног, но и метит бунтовщиков краской, выделяя их для ареста.

Между тем странное сражение солдат с подростками продолжалось. Солдаты палили из похожих на ракетницы ружей, ребята швырялись камнями.

— Изверги, свиньи! Житья от них нет!

Это сказал человек в потертой куртке и грубошерстной кепке, оказавшийся впереди нас. К этому времени на углу улицы, где мы остановились, образовалась небольшая группа невесть откуда высыпавших людей. Бросилась в глаза странная женщина — седая, с растрепанными космами и невидящими глазами древнегреческой пифии.

Хлопки выстрелов сменились резким стаккато очереди.

— Стреляют из автомата,— сказал знаток ольстерской жизни.

Впрочем, объяснений и не требовалось. Всю нашу компанию словно могучим пылесосом втянуло в ближайший подъезд.

Я вынул фотоаппарат, прицелился, прислонившись к кирпичному краю стены. Сделать снимок уличного сражения в Белфасте совсем нелишне. Ах, как жаль, что у меня нет телеобъектива!

Я переводил затвор «Киева», когда седая женщина, вдруг повернувшись к нам, заверещала пренеприятнейшим голосом:

— Шпионы! Английские шпионы!

Только сейчас до меня дошло, что мы с моим спутником в своих плащах фирмы «Лондон фог», короткополых шляпах и при фотоаппаратах явно выпадали из ансамбля пешеходов на трудовой белфастской улице. Попросту говоря, должны были казаться подозрительными. Ведь не зря, наверное, по городу ходили слухи об агентах английской секретной службы, занимающихся темными делишками под прикрытием цивильной одежды. Поговаривали о том, что туристами и корреспондентами прикидываются порой и протестантские террористы из ультраправых военизированных организаций.

— Что вы здесь делаете? — повернулся к нам человек в куртке.

— Шпионы, они — шпионы! — продолжала голосить седая женщина. Глаза ее сфокусировались на мне, став злыми, пронизывающими. Почти белые волосы слипшимися космами падали на плечи. Она казалась безумной.

— Мы журналисты,— сказал я.

— Откуда?

Можно было бы, конечно, потемнить, сказать, что мы с континента, как здесь определяют местонахождение всех прочих стран Европы. Но надо ли это делать? Не раз корреспондентская жизнь убеждала меня, что правда лучше самой хитрой уловки. Во всяком случае, прямой разговор всегда продуктивнее с чисто профессиональной точки зрения. Я сказал:

— Мы из Советского Союза.

— Из России?

Все, кто сгрудился в подъезде, повернулись к нам. На нас смотрели, как на марсиан: откуда здесь могли взяться русские?

— С подводной лодки! Они с подводной лодки! — запричитала женщина. В ее скрипучем голосе слышались нотки восхищения.

Отогреваясь теплым кофе в гостинице, мы развернули нечитаные утренние газеты. И сразу стало ясно, откуда седая женщина взяла эту странную идею о подводной лодке.

«Красная подлодка близ ирландских берегов» — объявлял заголовок на первой странице «Белфаст телеграф». Заголовок был набран самым крупным шрифтом, который нашелся в типографии. А сообщение под ним — мелкими буковками — короткое и невразумительное. Дескать, кто-то где-то заметил на воде что-то. Решил, что это перископ. В «информированных кругах Лондона» разъяснили, что это, должно быть, со-

ветская подводная лодка и что красные, конечно же, приплыли, чтобы снабдить оружием террористов из Ирландской республиканской армии.

Обывателя запугивают. Для того чтобы оправдать и отнюдь не джентльменское поведение английских солдат в Ольстере, и «закручивание гаек» на Британских островах. Но вот парадокс, не предусмотренный досужими пропагандистами: на белфастской улице весть о мифической подводной лодке воспринимается не как символ угрозы, а как призрак надежды.

Кстати сказать, ружья, автоматы, даже фаустпатроны действительно поступают в Ольстер. Кроме того, что им удается похитить со складов английской армии, волонтеры ИРА получают кое-что от друзей с территории Ирландской Республики, как бы власти ни старались пресечь контрабанду, от сочувствующих ирландцев из США, закупают у международных торговцев горячим товаром.

Английский солдат на белфастской улице. Черный берет шотландского стрелка, пулезащитный жилет поверх пятнистого камуфляжного комбинезона. Парню не позавидуешь. Пригнувшись, перебежками перемещается он от дома к дому, от стены к стене. Вобрал голову в плечи, автомат наготове. Остро, настороженно вглядывается в лица прохожих, в окна.

Откуда прогремит роковой выстрел? С чердака полуразрушенного дома? Из-за кирпичной стены? Не раздастся ли вот-вот взрыв бомбы? Вот потрепанная легковая автомашина, запаркованная у обочины тротуара. Кто знает, может быть, в ее багажнике заряд гелигнита с часовым механизмом? Посылка, которую несет в руках человек в кепке. Не взрывное ли это устройство? Или детская колясочка, которую катит молодая мать. Ребенок в ней или кулек, укутывающий заряд? Бывало уже такое, не раз бывало.

Зябко, неуютно английскому солдату на белфастской улице. Вроде бы и не война, а война. Да и в чем-то похуже «нормальной» войны. Нет линии фронта, нет ясности, где свой, а где враг.

Лондонским политикам не занимать опыта колониального усмирения. Но и они попали в сложное положение. Ольстер засасывает, как бездонная топь. Уйти из Северной Ирландии — такого английский истэблишмент позволить себе не может. Избрать путь демократических реформ не хочет. А когда пытается пойти хоть на какие-то уступки дискриминируемому меньшинству, встречает яростное сопротивление своих союзников — предводителей реакционных, оранжистских, юнионистских сил.

В некотором роде британский империализм попал в свою собственную ловушку. Столетия политики колониальной эксплуатации и угнетения в Ирландии, превращения северной части страны в английскую плантацию, политики «разделяй и властвуй» создали в Ольстере такой запутанный клубок социальных, политических, экономических проблем, что распутать его не дано сменяющим друг друга у власти в Вестминстере консерваторам и лейбористам.

...На экране телевизора полыхало пламя. Догорал, обнажая черный остов, двухэтажный автобус. В отсветах огня глянцем отливали стальные бока броневиков, поблескивали каски. Прикрываясь прозрачными пластмассовыми щитами, вовсю орудуя дубинками, солдаты разгоняли жителей. Слышались крики боли, стоны.

— Солдаты королевского полка шотландских стрелков,— комментировал диктор,— приняли решительные меры, чтобы нормализовать положение в Дерри.

По темным улицам, сверкая сигнальными фонарями, неслись полицейские машины, катили бронетранспортеры.

— Прошедшей ночью,— сообщал диктор,— войска и полиция вели массовые обыски и аресты в Белфасте, Ньюри, Лургане, Портадауне, Арма.

Всю ночь за окнами отеля гудели моторы броневиков, хрустело битое стекло, небо над куполами старых зданий клубилось розовыми отсветами — то ли праздничные костры и фейерверки, то ли огонь пожаров.

ОЛЬСТЕРСКИЕ ТУПИКИ

По Фоллз-роуд двигалась похоронная процессия. Восемь молодых мужчин несли накрытый зеленым знаменем гроб. За гробом вели ослепших от беды женщин. Молодую, обмякшую, с закрытым вуалью лицом, упавшим на грудь, почти несли под руки. Пожилая, сухонькая и прямая, шла без посторонней помощи, словно замороженная горем. В темных костюмах, с непокрытыми головами, несмотря на накрапывающий

дождь, шли знакомые и друзья. А вслед за ними колонной по два человека в ряд шагали какие-то люди в полувоенных цвета хаки куртках и черных беретах.

Хоронили молодого парня, католика, погибшего в прошедший уик-энд. В субботу и воскресенье банды протестантских экстремистов разгулялись вовсю. Они врывались в дома католиков, школы, церкви, переворачивали все вверх дном, избивали подвернувшихся под руку людей, бросали в окна зажигательные бомбы, пускали в ход огнестрельное оружие. Пять убитых, восемь раненых, в том числе одиннадцатилетний мальчик,— таков был итог двух дней «отдыха», когда не надо идти на работу, когда уйма свободного времени и руки истинного оранжиста чешутся по «настоящему делу».

Печальная демонстрация шествовала по мостовой. Тротуары были заполнены людьми — остановившимися прохожими, высыпавшими из домов жильцами. На углу улицы над головами зевак и сочувствующих возвышалась башенка броневика. Из открытого люка торчал вояка в камуфляжном жилете. В бинокль он разглядывал участников траурной процессии. Мое внимание привлекли парни в полувоенных куртках, что печатали шаг вслед за гробом.

— Кто это? — спросил я своего провожатого, одного из активистов Североирландской ассоциации защиты гражданских прав.

— ИРА, — ответил Дэйв.

— Но ведь их могут арестовать.

— Сейчас это невозможно,— сказал Дэйв.— На защиту ребят поднимется вся улица. Максимум, на что могут рассчитывать эти,— Дэйв кивнул в сторону английского офицера на броневике,— это опознать ировцев или, если удастся, сфотографировать их, чтобы попытаться арестовать потом.

ИРА — Ирландская республиканская армия. Этими буквами пестрят страницы газет и стены домов в Белфасте и Дерри. Это сокращенное название произносят на митингах и в стенах парламента. Английская пресса называет добровольцев этой подпольной военизированной организации террористами, обвиняя их во всех смертных грехах, доказывая, что их вооруженные вылазки — первопричина бед «автономной провинции». Для оранжистов ИРА — исчадие ада, дьявол, худший, чем сам папа римский. Нет таких ругательств, какие бы не обрушивали лоялисты на головы иравцев,— «подлые убийцы», «паразиты», «крысы». В католических гетто Севера, на всем юге Ирландии республиканцев чтут как героев, борцов за независимость и единство страны. О волонтерах ИРА, погибших в английских тюрьмах, поют трогательные песни, о них слагают баллады, передают из уст в уста сказания об истории Ирландской республиканской армии и ее лидерах.

Со старого группового снимка смотрят усатые мужчины в пиджаках, перепоясанные ремнями патронташей. У многих на головах шляпы. У всех в руках ружья. Она называлась грозно — армия, а была чем-то вроде стрелковых клубов. Рабочие, служащие, студенты — сугубо штатские люди собрались, однако, не для охоты на лис, которых так любят гонять в своих ирландских поместьях сопровождаемые сворами борзых и егерей английские лорды. ИРА родилась в предгрозовые дни весны 1916 года. Идя навстречу Пасхальному восстанию в Дублине, объединились три самодеятельные организации, ставившие своей целью подготовку ирландцев к вооруженной борьбе за ниспровержение английского колониального господства — Гражданская армия, Республиканское братство и Волонтеры. Во главе первой из них стоял марксист Джеймс Конноли. Две другие были националистическими по своей направленности.

Два этих начала — классовое и националистическое — по сей день противоборствуют в ИРА, причем верх нередко одерживает последнее. Когда идет драка, когда «бьют наших», в католических гетто легче увлечь людей лозунгами контртеррора, чем призывами к единству трудовых людей независимо от их вероисповедания. Проще агитировать за объединение страны, чем за экономические и политические преобразования как непременное условие подлинного возрождения Ирландии. На стороне «чистых националистов» и финансовая благосклонность состоятельных ирландцев юга страны. Патриотически настроенные круги ирландской буржуазии мечтают освободиться от британского засилья, хотят видеть страну единой. Но меньше всего они желают каких-либо социальных потрясений.

Сейчас ИРА запрещена и на севере и на юге и действует как подпольная организация. В то же время политическое крыло республиканского движения, партия Шин фейн (в переводе с гэльского это означает «Мы сами»), на юге страны ведет легальный образ жизни. В Дублине официально функционирует руководство партии, в ее штаб-

квартире проводятся пресс-конференции, издается газета, публикуются брошюры и листовки. Партия ставит своей целью искоренение британского господства на Зеленом острове, воссоединение страны.

Подъем борьбы за гражданские права в Ольстере в конце 60-х — в 70-х годах вдохнул новую жизнь в республиканское движение, обострив в то же время его внутренние противоречия. Вместе с Коммунистической партией Ирландии и левыми силами профсоюзов республиканцы выступили инициаторами создания Североирландской ассоциации защиты гражданских прав. Обороняя от оранжистских погромов пролетарские кварталы Богсайда в Дерри, Ардойна и Фоллз-роуд в Белфасте, волонтеры ИРА — рабочие, безработные, студенты, школьники — показали себя отважными бойцами. Но вместе с тем они сами все чаще прибегали к тому же оружию, которым действовали враги,— террору.

К 1970 году в республиканском движении произошел раскол. С тех пор существуют две ИРА и две Шин фейн: «официальная» и «временная». Обе борются за воссоединение Ирландии, но добиваются этого разными средствами. Первая, не отказываясь от вооруженной борьбы, делает упор на политическую работу в массах, на социальные преобразования в обеих частях страны. Вторая, яростно националистическая, единственным оружием своим считает военные средства.

Но тактика контртеррора лишь разжигает вражду между религиозными общинами, углубляет раскол среди трудовых людей. Тем самым она только отдаляет час воссоединения и социального обновления страны. Это хорошо понимают враги ирландского народа. Вот почему порой, когда приоткрывается завеса тайны, выясняется, что взрывы бомб, ограбления банков, убийства — дело рук агентов британской секретной службы, работающих под иравцев.

...Мирно тикали старинные часы на темно-вишневом буфете, стоявшие рядом с миниатюрным распятием. В камине задумчиво теплились угли. «Протопили, чтобы разогнать сырость». Приятно согревала руки чашечка ирландского кофе — подогретой смеси кофе, виски и сбитых сливок. Мягкий свет похожего на абажур плафона, тепло дружеской беседы, мирный уют семейного очага — все это казалось чудом после кромешной белфастской ночи, из которой мы только что вынырнули, после темных безлюдных улиц, диковато высвеченных луной, полицейских ежей, после атмосферы настороженности, ожидания чего-то страшного.

Ирландцы — люди открытые, эмоциональные, порой горячие. Разговориться с ними много легче, чем со сдержанными англичанами. И это облегчает задачи журналиста, желающего познать чужую жизнь изнутри. Усилиями нашего нового знакомого, управляющего отелем мистера Джонсона, мы уже вскоре после приезда в Белфаст оказались в гостях у его друга школьного учителя Джона Макгвайера.

— Шон Макгвайер,— сказал, пожимая нам руки, хозяин дома, средних лет человек с сухощавым интеллигентным лицом.— Мод,— представил он жену.— А это Брайан, Тео, Роберт, Дениэл, Джеймс, Эрин.

Старшему, Брайану, было лет восемнадцать, младшей, Эрин, около восьми. Дети расположились на ковре у камина, ясноглазые, приветливые, они внимательно слушали разговоры взрослых и совершенно не встревали с вопросами или замечаниями. Бывая потом не раз в трудовых ирландских семьях, я не переставал восхищаться отлаженно дружными отношениями между родителями и детьми, тому, как, не повышая голоса, просто и уважительно они разговаривают друг с другом, как старшие дети занимаются младшими — моют малыша в ванночке, помогают кормить, в то время как мать занята на кухне, а отец отдыхает после работы,— как каждый знает свои обязанности в семейном ансамбле и выполняет их в охотку, с улыбкой на лице.

Шон Макгвайер учитель. Лет сорока пяти. Держится просто, с большим достоинством. То, что в доме иностранцы, да еще такие редкие в здешних краях, для Шона и Мод вроде бы дело привычное. Никакой суеты, стремления произвести впечатление, пустить пыль в глаза нет. Гордая скромность, приветливость, доверительность.

Набив трубку душистым табаком и раскурив ее от уголька, вынутого щипцами из камина, рассказывал Шон о белфастском житье-бытье, о фантастических трудностях учителя в городе, где идет «странная война».

— Представьте себе такую ситуацию. Половина школы — это школа, а другая половина — барак, в котором разместились английские солдаты. На одной половине двора школьники во время перемены гоняют мяч. На другой, отгороженной стеной из рядов

колючей проволоки и мешками с песком, выстраиваются парашютисты, готовясь к вылазке в город. Как тут учить детей, особенно когда обстановка обостряется? Однажды на школьный двор грохнулась настоящая противотанковая ракета. Ее выпустили по армейской дозорной вышке. К счастью, это было в воскресенье, когда детей в школе нет. Да и ракета не сработала, не взорвалась. Но главное все-таки не в этом,— сокрушался Шон.— Главное в том, что у ребят нет стимула учиться, нет перспективы в жизни... Что я могу им сказать, если их отцы и старшие братья годами не имеют работы, если большее, на что они могут рассчитывать, это должность мальчика на побегушках в магазине или место чернорабочего на заводе. Знаете ли вы, что такие профессии, как монтажник, слесарь, токарь, строитель, передаются от отца к сыну, что они являются как бы фамильным наследством протестантских семей? А вся обстановка, в которой вырастают дети,— ночные обыски, погромы, стычки с ребятами с соседней протестантской улицы!

— Дети мистера Макгвайера прекрасно поют,— прошептал мне на ухо наш провожатый, явно желая перевести беседу в более оптимистическое русло (сам мистер Джонсон, как мы уже знали, пел в местной любительской опере — факт весьма любопытный, подсвечивающий с неожиданной стороны и самого управляющего гостиницей и жизнь в «полуфронтовом» Белфасте).

— Действительно, дети,— сказал папа Шон,— спойте что-нибудь нашим русским гостям.

Ребята не заставили себя долго упрашивать. Сдвинувшись потеснее в кружок, они пошептались о чем-то и запели. Неожиданным баском затянул долговязый Тео, братья подхватили, зазвенел голосок Эрин. Ясноглазая, в длинном алом платье, она была похожа на цветок из тех, что розовеют весной на холмах Ирландии.

Дети пели песню о парнишке-республиканце, казненном когда-то англичанами. Это был ирландский вариант нашего «Орленка». Песня героическая, трогательная, с красивой запоминающейся мелодией.

Накручивал кассету репортерский магнитофон. Они продолжали петь. Спели о синеглазой королеве гор, которую уплывающий за океан возлюбленный оставляет на родине, о голубых холмах Донегала, где заброшенный на чужбину ирландец когда-то жил и где его бабушка, сидя за прялкой, на мягком гэльском наречии рассказывала легенды о древних королях и сказочных гномах. Ребята пели удивительно слаженно и чисто, ни единой фальшивой ноты. Звенел серебристый голосок Эрин, и негромким баритоном, словно стесняясь своей сентиментальности, подпевал папа Шон.

Последней исполнили патриотическую песню о зелено-бело-оранжевом флаге Ирландской Республики. Зеленый, объяснили нам,— это цвет католического Юга, оранжевый — протестантского Севера, а белый означает мир между ними.

— Настанет день,— говорил, затягиваясь трубкой, Шон Макгвайер,— когда Ирландия будет единой. Какими бы непреодолимыми ни казались препятствия. Иначе быть не может. Ведь это одна страна, один остров, один народ, одна история. Да и протестанты в Ольстере, откуда бы ни пришли их предки,— ирландцы, они часть общей культуры, общей жизни, совместного труда.

Я поинтересовался, почему наш провожатый назвал хозяина дома Джоном Макгвайером, а сам он представился как Шон. Учитель сказал, что Джоном его назвали не по доброй воле. В то время проводилась политика англизирования ирландцев. Родители вынуждены были дать ему английское имя. Он исправил несправедливость, взял идентичное ирландское имя.

— А знаете, в честь кого названы дети мистера Макгвайера? — включился в беседу мистер Джонсон.— Брайан — в честь собирателя ирландских земель короля Брайана Бору, Тео — в честь лидера восстания «Объединенных ирландцев» Теобальда Уолфа Тона, Роберт, Дениэл и Джеймс — в честь патриотов Роберта Эммета, Дениэла О'Коннела и Джеймса Конноли. А имя Эрин происходит от имени кельтской богини солнца.

На следующий день нам снова пришлось прибегнуть к услугам белфастского такси. Поломавшись и набив цену, водитель согласился отвезти нас куда требовалось. Таксист оказался опытным. Он мастерски лавировал между заградительными барьерами, набирал скорость на ровных местах и снижал ее до черепашьей, когда черный английского образца «кэб» подъезжал к очередному асфальтовому бугру, наросту на мостовой, коих великое множество наварено на улицах Белфаста, чтобы ограничить скорость тех, кто совершает налеты на автомашинах.

Слева потянулись проволочные ежи, а за ними притихшие улицы католического квартала Ардойн, где мы вчера провели вечер у семейного очага Шона Макгвайера. Шофер — перед нами был его крепкий седоватый затылок — пробормотал что-то недоброе об «этих проклятых папистах». В зеркальце над ветровым стеклом я увидел его внимательные глаза пожилого усталого человека. Он, видимо, изучал нас и, заключив по тарабарскому языку, на котором мы изъяснялись, что мы шведы, решил высказаться.

— Возможно, вы, джентльмены, не знаете,— начал он,— но все беды от этих бездельников. Плодятся, как кролики, не любят работать. Предпочитают сидеть дома, благо есть пособие. Да еще подбрасывают бомбы, стреляют из-за угла. Хотят загнать нас в объединенную Ирландию. Но этому не бывать.

— А сам-то вы кто, ирландец?

— Нет, я лоялист.

— А что это значит?

— Это значит, что я лоялен по отношению к британской короне, что я из тех, кто за то, чтобы Ольстер оставался в составе Соединенного королевства.

— Значит, вы англичанин?

— Нет,— уже не так уверенно отвечал таксист,— я и не англичанин...— Видно, вопросы наши озадачивали его.— Я ольстермен, ольстерец,— сказал он после некоторого раздумья.

— Но такой национальности, кажется, нет.

Потом он долго и путано объяснял, что вообще-то не против католиков, был у него в детстве даже друг-католик, но последнее время эти католики обнаглели... А на юге, в Ирландской Республике, он бывал. Хуже там, беднее. Зарабатывают плохо. Пособие по безработице меньше. Бесплатного медобслуживания нет. И вообще «кругом одни паписты».

Да, флаг зелено-бело-оранжевый пока еще в некотором роде мечта, символ будущего Ирландии. Хитра и взрывоопасна ольстерская головоломка. И, может быть, самый печальный ее итог — рожденная годами преднамеренно разжигаемой вражды и выборочных подачек неприязнь значительной части трудовых протестантов к своим собратьям из другой религиозной общины, к идее единой Ирландии.

Мы отшагали не один десяток километров по улицам Белфаста и Дерри, говорили с католиками и протестантами, добровольцами Ирландской республиканской армии и штурмовиками из Ассоциации обороны Ольстера, английскими солдатами и североирландскими политическими деятелями. Попадали в разные переделки, познавая на своей шкуре все прелести беспокойной ольстерской жизни. Постепенно туман, которым, казалось, было окутано все, что связано с Ирландией, когда ты слушал политических витиев на берегах Темзы, редел. Глаз начинал различать не только колоссальные залежи социальной взрывчатки, накопившейся в «автономной провинции», но и пружины взрывного механизма.

Но оставалось чувство незавершенности картины. Ведь Ольстер — только часть страны, притом меньшая. Сколь бы ни был категоричен в своих формулировках акт раздела Ирландии, все же это была одна страна, один остров, одна история. И как бы ни концентрировалось всеобщее внимание на Ольстере с его бурными событиями, к югу от навязанной Зеленому острову границы была независимая страна — Ирландская Республика. Страна малоизвестная, почти таинственная.

Одним словом, надо было ехать на юг.

ВСТРЕЧА С ДЖОНАТАНОМ СВИФТОМ

После нервной качки Белфаста, вылезая из автомашины у дублинской гостиницы «Касл инн», чувствуешь себя моряком, сошедшим с зыбкой палубы на твердую землю. От главного города Ольстера до столицы Ирландской Республики каких-то сто миль. Преодолели мы их за два с половиной часа. Но ощущение такое, будто из мира, охваченного всеобщей войной, попал в нейтральную Швейцарию. Дублин спокоен, деловит, немного скучноват.

Первое впечатление от ирландской столицы — средней руки английский город, затрапезный, будничный. Тот же закопченный кирпич двухэтажных домов с портиками над входом. Тот же английский язык вывесок; правда, собственные имена, начертанные по фасаду магазинов, кафетериев и баров, начинаются здесь преимущественно с «О» или «Мак» — О'Брайан, О'Тул, Маккреккен, Макдед. Такие же, как на берегах Темзы, не-

уклюжие двухэтажные автобусы, здесь они окрашены в зеленый цвет, черные лондонские такси.

Но проходит немного времени — и тобой прочно овладевает ощущение: нет, ты не в Англии. Это нечто совсем иное. Другой дух, другой настрой. Несуетное движение, пешеходы, чувствующие себя хозяевами улицы, атмосфера простоты и интимности в отношениях между людьми, которые, кажется, как в деревне, знают друг друга, и сами люди в помятых костюмах, с простыми «народными» лицами совсем не англичане.

Люди открытые, непосредственные, готовые к дружеской беседе с незнакомцем. Случайный сосед за столом в ресторане приветливо и вежливо начинает разговор. У него румянощекое фермерское лицо. Оказывается, хозяин коневодческого хозяйства из графства Типперэри. Приглашает в гости. Шофер такси, молодой кудлатый парень, по пути начинает рассказывать о городе:

— Это наш знаменитый театр Эбби, это главный почтамт. Вы, конечно, слышали о восстании тысяча девятьсот шестнадцатого года?.. А это собор святого Патрика, где настоятелем был Свифт.

Нет, это не Англия.

Говорят, что каждый великий город — это не только улицы, дома и люди, но и состояние духа. Как это справедливо применительно к Дублину! Может быть, потому, что в сфере духовного творчества этот небольшой по мировым стандартам город проявил себя с завидной силой.

На окраине Дублина, в Килайне, вам обязательно покажут ничем не примечательный коттедж. «Здесь жил Бернард Шоу»,— объяснят со скромной гордостью. В Дан-Лэри, что на побережье к югу от столицы, обратят ваше внимание на круглую башенку: «А это жилище Джеймса Джойса». И посоветуют: «Обязательно побывайте в соборе святого Патрика, где похоронен Джонатан Свифт».

Что ж, последуем этому совету. Направимся в центр Дублина, где на улице имени того же святого — покровителя Ирландии поднялся угрюмоватый готический собор.

В гулком зале сумрачно, тихо, безлюдно. Обоняние щекочет присущий всем старым церквам запах тлена. Тонут в темноте высокие стрельчатые своды. Дневной свет нещедро проникает сквозь узкие щели окон. Он много видел за свои восемьсот лет, этот собор,— горел, был поврежден штормом, служил конюшней для кавалеристов Кромвеля. Свисают со стен полуистлевшие боевые знамена, под которыми сражались некогда ирландцы в английских колониальных войнах. Толпятся мраморные статуи каких-то недолговечных знаменитостей —«лучших людей города» своего времени, богатых адвокатов, купцов, землевладельцев. Кто помнит сегодня их имена? Но все знают: здесь покоится прах Джонатана Свифта. Для нас, как и для будущих поколений, автор «Путешествий Гулливера», «Сказки бочки», «Писем суконщика» был и останется великим сатириком, корифеем мировой литературы. Для дублинцев тех лет (1713—1745) он был священнослужителем, настоятелем этого собора.

Луч солнца пробивается через стрельчатые окна, выхватывая из полутьмы бюст в нише стены. Знакомый по портретам высокий лоб, резкий разлет бровей, упрямый подбородок с мягкой ямочкой посередине. Вот и мемориальная доска. Врезанные в черный мрамор чеканные слова эпитафии, написанной незадолго перед смертью самим Свифтом:

«Джонатан Свифт, бывший в течение 30 лет настоятелем этого собора, покоится здесь, где яростное негодование не может более терзать его сердце. Иди, путник, и, если можешь, подражай тому, кто был мужественным борцом за свободу».

А рядом мемориальная доска той, которую Свифт называл Стелла (звезда), преданной и загадочной возлюбленной великого писателя.

Джонатан Свифт. Кто не запомнил его Гулливера? В детстве мы воспринимали эту книгу как забавную сказку о приключениях в стране лилипутов и великанов. Потом, читая в полном варианте, осознавали действительный смысл этой глубокой, язвительной сатиры на быт и нравы Англии тех дней. А возвращаясь к ней вновь, встречали мудрого собеседника, ведущего вневременной разговор, горький и беспощадный, о человеческом обществе, человеке, созданных им институтах.

Он родился в Ирландии, в англо-ирландской семье. И когда в расцвете творческих сил был вынужден покинуть Англию и снова отправиться в страну своего детства и юношества, чтобы занять дарованный ему церковью спокойный и «хлебный» пост настоятеля главного пресвитерианского собора на покоренном острове, не тешил себя надеждами. Свифт считал, что жизнь уже позади, что впереди его ждет лишь прозябание в «нищем Дублине, в несчастной Ирландии».

Как глубоко заблуждался этот проницательный человек! Именно ирландский период, годы зрелости и накипевшей ярости, ознаменовался наивысшими творческими достижениями. Здесь были написаны «Путешествия Гулливера», отсюда прозвучали разящие памфлеты, известные под названием «Письма суконщика». Окунувшись в жизнь Зеленого острова, нищего, истязаемого, обираемого лендлордами и нечистыми на руку дельцами, Свифт выступил в своей новой, неожиданной для многих современников роли — борца за права Ирландии и ее народа. О чувствах этого потомка английских переселенцев к Лондону говорил его призыв: «Жгите все английское, кроме английского угля!»

Кипящее негодование Свифта изливалось внешне спокойными, холодными, даже бесстрастными фразами. Тем острее была, подобно закаленной стали, разящая сила его сатиры. Кое-кто этого не понимал или не хотел понять. Особенное возмущение добропорядочных филистеров вызвало последнее сочинение Свифта — «Скромное предложение, имеющее целью помешать детям ирландских нищих быть бременем для своих родителей и для страны и указать, каким способом сделать их полезными для общества». Способ, предлагавшийся сатириком, и сегодня вызывает у читателя содрогание, несмотря на понимание метафоричности описываемого. Он рекомендует подавать мясо детей бедняков, составляющих, по его словам, пять шестых всего населения страны, к столу богатых лендлордов.

«Скромное предложение...» вызвало яростные нападки на «безнравственного сочинителя». Его обвиняли в мрачном восприятии жизни, во врожденной желчности, называли мизантропом. Но разве зловещая символика памфлета не отражала жестокой действительности? Разве не поедали Ирландию колонизаторы, превращавшие страдания и смерть сотен тысяч ирландцев в золото, мясо, масло, вывозившиеся с острова?

Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Уильям Батлер Йитс, Джеймс Джойс, Шон О'Кейси — перечисляя всемирно известные имена, ирландцы называют этих писателей своими. Англичане во многих случаях не соглашаются. Но дело ведь не в генетике, не в том, как поделить тех из великих, кто был англо-ирландцами. Удивляет поразительная плодородность литературной почвы Зеленого острова. Маленькая страна, затерявшаяся на перекрестке морских путей в северо-западном уголке Европы, дала миру созвездие блистательных имен.

Объясняя этот феномен, одни ищут ответа в особенностях характера ирландцев, отличающихся вкусом к жизни, эмоциональностью. Другие считают, что отгадка кроется в особенностях кельтского ума, склонного к мечтательности, полету фантазии. Пишут о богатстве и древних традициях ирландского эпоса. Все это так, но главное, думается, в другом.

«Почему ирландцы пишут?» — спрашивает большой знаток этой страны Леон Юрис. И полушутливо отвечает: «Потому, что они нуждаются в оружии. А будучи островом, без военно-морского флота, Ирландия лишена других его видов». В парадоксальной сентенции американского писателя заключено зерно истины. Литература для ирландцев была не занимательным чтивом, но оружием — средством общественного самосознания нации и ее борьбы за свободу. Чудесный источник литературного гения ирландцев — трудная история страны, горькая, трагическая, героическая.

...Сначала казалось, что жизнь Дублина или Корка не имеет никакого отношения к взрывающемуся Белфасту и тревожному Дерри. Другой настрой, другие заботы. Но не надо было обладать особой наблюдательностью, чтобы довольно скоро понять: расколотый Ольстер незримо и неистребимо присутствует на Юге. Присутствует в этих людях, в их беспокойстве за родных по ту сторону границы, в их сопереживании со «своими» там, на Севере, требующими справедливости, в накипающем негодовании против оранжистов и английских карателей.

Карта на стене в кабинете мистера О'Ралли, одного из руководителей Управления индустриального развития Ирландии, изображала Западную Европу, в левом, северо-западном углу которой примостился зеленый островок. Голубые линии — авиационные и пароходные маршруты — вели от острова и к соседней Великобритании, и на европейский континент, и за пределы бумажного мира, в западное полушарие. Железная логика развития вовлекает маленькую страну в круговорот мировых экономических связей и большой политики.

«Мы хотим иметь добрые отношения со всеми странами, как западными, капиталистическими, так и социалистическими, сотрудничать с ними в области экономики, торговли, культуры, мирного решения международных проблем»,— говорили ирландцы.

Те, с кем довелось встречаться, приветствовали расширение советско-ирландских связей, новые возможности для которых открылись после обмена дипломатическими представительствами между СССР и Ирландской Республикой. Об этом говорили мне все — от двух простых женщин, встреченных на шоссе сразу после того, как мы пересекли границу между Севером и Югом, до лидера партии Фине Гэл бывшего министра иностранных дел Ирландской Республики Гэррета Фицджеральда, любезно принявшего меня в последний день пребывания в Дублине. На прощанье я спросил его, как смотрит Дублин на пути решения ольстерской проблемы. Ответ был сдержан:

— Проблема Ольстера может быть решена только мирным путем. Составные части этого решения — разделение власти на Севере, то есть допуск католического меньшинства к политическому управлению, и налаживание сотрудничества между Югом и Севером. Мы разочарованы неудачами на этом пути.

Писатель Лиэм де Пеа, автор известной книги «Расколотый Ольстер», с которым довелось беседовать в Дублине, был определеннее:

— Лет сто пройдет, поколения три сменится, пока все образуется в Ирландии.

За большим окном не по-летнему холодной гостиной дублинца над потемневшими кронами деревьев догорал фиолетовый закат, словно иллюстрация к словам Бернарда Шоу: «Нигде нет таких красок в небе, таких манящих далей, такой печали по вечерам»...

ЭДВИНА, ДЖИММИ, КАК ВЫ ТАМ?

Бог, знать, лишил кельтов разума.
Послушай преданья их устные.
Войны у ирландцев веселые,
А песни — ужасно грустные.

Так сказал Гилберт Честертон. Оставим на совести английского писателя «веселые войны» ирландцев. Но что касается песен Ирландии, то они действительно полны печали и страстного протеста. Да могут ли они быть иными?

Когда я начинал писать эти очерки, в североирландской тюрьме приближался к последней черте начавший голодовку протеста Роберт Сэндс. Сейчас Бобби Сэндса уже нет в живых. Там же, в тюрьме Мейз, скончались и три его товарища, подхватившие эстафету голодной забастовки. Их звали Фрэнсис Хьюз, Раймонд Маккриш и Патрик О'Хара. Так же как и Сэндс, они были республиканцами, поборниками воссоединения страны. Все четверо — молодые люди, не достигшие тридцати лет.

А Даунинг-стрит хранит ледяное спокойствие. Нежелание Лондона искать политического решения проблемы оборачивается гибелью патриотов в тюрьмах, разгорающимися схватками жителей с «силами безопасности» на улицах Белфаста и Дерри, активизацией вооруженных протестантских экстремистов, резким обострением отношений между двумя религиозными общинами. С новой силой раскручиваются пружины дьявольского механизма мести: око за око, зуб за зуб. И кажется — нет исхода этой народной драмы, она тысячекрат трагичней вражды Монтекки и Капулетти.

Но выход существует. И есть люди, которые его видят. Только им трудно.

Ирландия удивительная страна! Уедешь, расстанешься с нею, может быть, навсегда, а она живет в тебе, не выпускает из объятий памяти.

...Белфаст. Поздний вечер. Мы с Джимми и Эдвиной в Старом доме. Он и впрямь очень стар, этот своеобразный клуб, где собираются жители прилегающих католических кварталов, преимущественно те, кто поддерживает республиканцев из «официального» крыла этого движения. Подгнившие, прогнувшиеся полы, низкий потолок — ощущение такое, что ты в трюме много повидавшего на своем веку парусного брига.

В зале становится все теснее и шумнее. Входят люди простецкой внешности. Рассаживаются за столиками, заказывают пиво. На сцене появляется оркестр — трое парней с гитарой, мандолиной и губной гармошкой. Дружеские приветствия, шутки, обмен новостями. И кажется — жизнь весела и безмятежна. И вроде бы не существует ольстерских тревог, забот, постоянного напряжения.

Таков характер ирландцев, людей жизнелюбивых, не унывающих в самых сложных жизненных передрягах. Джимми весел и остроумен. Оживлена и мила Эдвина. А уж кому сегодня по-настоящему трудно в Северной Ирландии, так это им. Ведь они в полном смысле этих слов находятся на передовой народной борьбы. Джеймс Стюарт — заместитель Генерального секретаря Коммунистической партии Ирландии. Эдвина Стюарт — почетный председатель Североирландской ассоциации защиты граж-

данских прав. Жизнь каждодневно требует от них не только личного мужества, но и политической прозорливости, умения найти правильное решение, как бы ни озадачивала новыми загадками ольстерская головоломка.

На нашем столе лежит стопка газет. Свежие номера «Юнити», органа североирландского бюро компартии Ирландии. Джимми захватил их в типографии, где мы до этого побывали и где парнишка-печатник крутил рукоятку ротатора. Газета зовет трудовых людей Ольстера к единству, объясняет, что вражда протестантов и католиков помогает лишь их общим врагам. Обращаясь к английским властям, коммунисты требуют отменить репрессивные «чрезвычайные законы», предоставить Северной Ирландии билль о правах, увести британских солдат с улиц в бараки.

Входящие в зал люди дружески приветствуют Джимми и Эдвину, подходят к нашему столу, берут газеты.

В Старый дом меня привело не праздное любопытство. Я давно просил белфастских друзей познакомить меня с вышедшими на волю узниками тюрьмы Мейз. И вот сижу за столиком, расспрашиваю. Слышу жуткие истории о том, как обученные рукоприкладному мастерству агенты английской «специальной службы» обрабатывают арестованных республиканцев: пытка «распростертый орел», когда человека заставляют наклониться к стене, опираясь о нее руками, и стоять так, пока он не рухнет, допросы с приставленным к затылку пистолетом, дознание в воздухе, когда, добиваясь нужного «признания», человека с завязанными глазами подталкивают к открытой двери вертолета... А вся вина этих людей заключалась в том, что один из них выпускал грампластинки с патриотическими ирландскими песнями, другой активно участвовал в движении за гражданские права, третий не скрывал социалистических убеждений.

— Томми, иди к нам! — кричит кому-то Эдвина. И пока человек пробирается к нашему столику, рассказывает:— Только что вышел из больницы. Чудом уцелел — три пулевых ранения. А невесту, которая шла с ним по улице рядом, убили.

— Кто?

— Думаю, террористы из АОО. Ведь Томми из католической семьи, а его девушка была из протестантской. Такое ультра не прощают.

Он подсаживается к нам, деликатного телосложения молодой человек с вьющимися светло-каштановыми волосами и красным жгутом шрама, изуродовавшего левую половину лица. Весь какой-то напряженный, постоянно выпрямленный, задумчиво-неразговорчивый.

— Ну и что же ты решил делать? — спрашивает Эдвина, продолжая, видимо, ранее начатый разговор.

— Я найду этого негодяя и убью его!

Как ни старается Эдвина убедить юношу, что и имени-то убийцы он не знает и что вообще месть протестантам не тот путь, по которому надо идти, он стоит на своем:

— Я найду и убью его!

Да, старинный механизм розни в Северной Ирландии продолжает действовать с устрашающей эффективностью. Жестокость английских «миротворцев», террор протестантских ультра — вся система притеснений католического меньшинства вызывает стремление пострадавших и униженных к ответным действиям, притом немедленным. Как нелегко в этих условиях Эдвине, Джимми и их единомышленникам! Как трудно тем, кто доказывает, что путь вперед, к новой Ирландии, свободной и счастливой, идет не через междоусобную вражду, а через единство людей труда!

...Белфаст. Старый дом. В чреве сухопутного корабля тепло, светло, уютно. А за его бортами — черные, тревожные воды ольстерской жизни с отзвуками далеких взрывов, стрекотом прошедшего над самыми крышами армейского вертолета, с завыванием полицейских сирен. А напротив — мы это хорошо видели, когда шли сюда,— ощетинившийся пулеметами броневиков, готовый прострочить эти утлые стены отряд английских «сил особого назначения».

К нашему столу все подходят и подходят люди. Просят свежий номер «Юнити». Джимми доволен: газета расходится все лучше. «Юнити» означает «Единство». Но до чего же трудно сделать реальностью этот лозунг на расколотом Зеленом острове!

Белфаст—Дублин—Москва.

К. ДОЛГОВ

★

РЕНЕССАНС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ МАКИАВЕЛЛИ*

III

Идет ли речь непосредственно о политической власти, ее захвате или сохранении или о Государе, каким он должен быть, какими должен обладать свойствами и качествами, чтобы уметь решать проблемы внутренней и внешней политики,— во всех случаях мы встречаемся с живой мыслью Макиавелли, как бы извлекаемой из самой гущи реальных событий, исторического опыта итальянского и других народов. При этом можно лишь условно вычленять рассматриваемую им проблематику, поскольку в рассуждениях о Государе просматриваются проблемы государства, а в размышлениях о государстве и власти проступают какие-то свойства и качества, которыми с необходимостью должен обладать Государь. И все-таки, как это ни парадоксально, генезис и ход Макиавеллиевой мысли концентрируются вокруг проблемы свободы — свободы итальянского народа от самых различных видов внутреннего и чужеземного порабощения. За морфологией народного сознания, размышляющего о самом себе и собственных судьбах, за учением о Государе, формирующем коллективную национальную волю и коллективное национальное сознание, за стремлением создать новое единое итальянское государство — за всем этим стоит проблема свободы, проблема национального освобождения и национального объединения.

Разумеется, проще и легче было бы изложить каждое их этих учений отдельно, но тогда это изложение скорее напоминало бы один из бесчисленных схоластических трактатов, лишенных жизненной основы и жизненной страсти, пафоса, порождаемых мыслительной обработкой реального опыта, теоретическим и политическим осмыслением событий реальной истории.

Сила Макиавелли, сила его мысли, в единстве теории и истории, практического опыта и его теоретического осмысления, логики истории и логики мысли.

В этом смысле и учение о Государе, и учение о государственной власти, и морфология народного сознания представляют собой нечто единое, что спустя несколько столетий, уже в новые времена, получит наименование феноменологии духа и что у самого Макиавелли представляло скорее всего феноменологию свободы, включавшей в себя в своеобразной форме не только учение об автономности политики и политического сознания, но и учение об автономности права, морали, науки и искусства и одновременно об их диалектической взаимосвязи друг с другом, а также о диалектике каждой из них.

Подобная феноменология духа под эгидой политического сознания являла собой своеобразную феноменологию культуры в самом широком смысле этого слова, ибо от степени свободы или рабства народа зависели не только уровень его сознания на том или ином этапе его социально-экономического развития, уровень его развития в той или иной форме общественного сознания и общественного бытия, общественной жиз-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

недеятельности, но и формы институционализации власти, структура государственности, прочность и динамика общественных обычаев и порядков, идеализация народных чаяний и устремлений и даже... воспоминания о прошлом (о свободе, обычаях, учреждениях и т. д.).

Если рассматривать «Государя» с точки зрения подобной феноменологии культуры, то вся его на первый взгляд простая и неприхотливая понятийная структура выстроится в довольно сложную, стройную, многослойную, многообразную и многозначную категориальную систему, имеющую важное значение для самых различных областей человеческого знания. Максимы политики становятся максимами науки, нравственности, права, государства и общества, а те или иные положения других сфер знания приобретают достаточно определенный политический смысл.

Благодаря тесной и органической связи с проблемой свободы политический аспект, политическое измерение не грешит односторонностью и одномерностью, скорее напротив — даже там, где речь идет, казалось бы, лишь о захвате власти или о ее сохранении и упрочении, политическое измерение с необходимостью обрастает гаммой связей с другими сферами жизнедеятельности, порождая многозначность смысла или многозначный смысл. И это на всех вертикальных и горизонтальных уровнях — идет ли речь о княжествах, или о способах стать властителем, или о том, какими качествами должен обладать Государь, или когда рассматривают вопросы создания регулярной армии и т. д. и т. д. Например, весьма показательным в этом отношении является рассуждение о гражданском княжестве (глава IX), где раскрываются взаимоотношения князя, знати, народа между собой, их отношение к власти, их основные цели и интересы.

Макиавелли исходит из того, что власть в гражданском княжестве приобретается благодаря расположению народа или знати: знатные хотят распоряжаться и угнетать народ, а народ не хочет, чтобы им распоряжались и чтобы его угнетали. В зависимости от того, какие интересы побеждают, устанавливается соответствующий тип власти: или знать выделяет из своих рядов князя, или народ делает кого-нибудь князем. Княжескую власть, полученную из рук народа, Макиавелли считает более прочной уже потому, что «цели народа более справедливые, чем у знати, которая хочет угнетать, а народ — не быть угнетенным»[1]. Кроме того, от знати князь может себя обезопасить, но никогда нельзя себя обезопасить от враждебного народа хотя бы потому, что его слишком много. Без знати можно обойтись, а какой же князь без народа!

Макиавелли советует князю привлечь народ на свою сторону, ибо князю всегда необходимо жить с народом в дружбе, иначе в несчастии у него нет спасения. К тому же князь должен иметь в виду, что «народ его никогда не обманет» в отличие от знатных, которые могут в любое удобное для них время не только отнять власть у князя, но и погубить его. Учитывая все это, умный Государь должен измыслить такой порядок, при котором его сограждане во все времена и при всех обстоятельствах будут нуждаться в государстве и в нем самом: тогда они будут ему верны всегда.

Здесь мы видим, как переплетаются политические, классовые интересы народа и знати, как столкновение этих интересов определяет формы власти. Одновременно генезис политической власти предопределяет нравственный, этический характер и лицо как власти, так и носителя этой власти и этих интересов. Расстановка классовых сил, структура политической власти, идеи и взгляды классов и партий формируют политическую стратегию и тактику всех участников политической борьбы. Не сбрасывается со счетов и психология борющихся партий, слоев, групп и даже отдельных индивидуумов. Такова сложнейшая диалектика отношений, стоящая, казалось бы, за весьма простыми и обычными на первый взгляд рассуждениями Макиавелли.

Легче всего обвинить Макиавелли в цинизме, жестокости, аморализме, как это, к сожалению, делали на протяжении многих веков и продолжают делать еще и по сей день. Гораздо труднее, но правильнее попытаться вникнуть в суть его рассуждений, понять всю последовательность и беспощадность его размышлений, направленных на одно — на раскрытие истины, какими бы неприглядными ни представлялись ее лики и проявления. Революционное мировоззрение требует истины, истина — последовательности, беспощадности анализа, железной логики. Именно эти качества демонстрирует нам аналитическо-синтетический ум Макиавелли.

---

[1] Niccolò Machiavelli. Opere scelte. Editori Riuniti, Roma, 1973, p. 44.

Итак, основная забота Макиавелли — свобода. Именно свобода в самых различных ипостасях (свобода Италии, свобода общества, свобода отдельного индивидуума, свобода деятельности, торговли, творчества и т. д.) составляет основу всех его рассуждений. В этом свете становятся понятными не только структура отдельных его произведений, таких, как «Государь», «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия», «О военном искусстве», «История Флоренции», но и сама необходимость их создания и общая структура всей его мысли, всего его мировоззрения.

О «Государе» мы уже говорили. Остается только к этому добавить, что содержание «Государя» составляет основной стержень мировоззрения Макиавелли, ибо именно сознание Государя, сливающееся с сознанием народа, размышляющего о самом себе, о своих судьбах, как раз и есть самый основательный, свободный, всеохватывающий взгляд на положение дел внутри страны и за ее пределами и глубокое проникновение в процессе этого размышления в смысл происходящих событий. А смысл происходящего может быть по-настоящему постигнут лишь в органической связи с рассмотрением и постижением того, что ему предшествовало и что во многом предопределило дальнейший ход событий, то есть в органической взаимосвязи с рассмотрением истории. Не этой ли необходимостью были продиктованы исторические сочинения Макиавелли?

Но история — коварная штука. Она может привести к истине и увести от нее, как всегда это и бывает с теми, кто или недооценивает ее уроки, или слишком переоценивает их. Ведь не без основания великий диалектик Гегель говорил в свое время: «Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего. В этом отношении нет ничего более нелепого, как столь часто повторяемые ссылки на греческие и римские примеры в эпоху французской революции. Нет ничего более различного, как природа этих народов и природа нашего времени» [2]. И в этом с Гегелем трудно спорить, ибо он прав.

Как быть тогда с историческими сочинениями Макиавелли — для чего, для кого и с какой целью он их создавал, потратив на них львиную долю своего времени?

Сразу же можно сказать, что свои исторические сочинения Макиавелли создавал не для себя и, разумеется, не для того, чтобы кого-то удивить своей эрудицией. Отнюдь. Макиавелли слишком велик, слишком гениален. У него были совсем другие намерения, цели и задачи: они касались судеб итальянского и других европейских народов, поэтому-то и требовался всеохватывающий, универсальный взгляд на то, что есть, что было и что будет. Он до боли в сердце и душе чувствовал и понимал то, что четко сформулирует гораздо позже Гегель: «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы,— прогресс, который мы должны познать в его необходимости»[3]. Генеалогия или генезис свободы в ее политическом, практическом и теоретическом смысле — вот что занимало его ум, вот над чем он бился.

В этом свете становятся понятными и заботы самого Макиавелли и заботы, которые им возлагаются на Государя: построение или создание такого общества и государства со всеми его законами и учреждениями, которые в наиболее полной мере осуществили бы свободу человека и при надобности смогли бы ее отстоять и защитить от посягательств внутренних и внешних врагов. В связи с этим у Макиавелли и зарождаются грандиозные замыслы: осмыслить как можно более глубоко и всесторонне человеческую историю, историю человеческого общества в его деяниях и свершениях, законах, установлениях и учреждениях, правах, свободах и обязанностях — словом, осмыслить человеческую историю (которая для итальянца, как, впрочем, для любого европейца того времени, начиналась с Древней Греции и Рима

[2] Гегель. Сочинения. М.—Л. Государственное социально-экономическое издательство, 1935, т. VIII, стр. 7—8.

[3] Там же, стр. 19.

и завершалась историей Европы) как осуществление и осознание становления и прогресса свободы.

Для реализации своего замысла Макиавелли почти одновременно пишет такие важнейшие произведения, как «Государь» и «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия» (1513—1519). Первое, посвященное построению такого государства и общества, а также формированию такого Государя, которые оказались бы способными вывести итальянский народ из состояния тяжелейшего социально-экономического и политического кризиса, хаоса, раздробленности, отсталости и рутины и повести по пути мощного социально-экономического, политического и культурного прогресса. Здесь ум гениального мыслителя и мастера набрасывал контуры будущего, контуры Италии будущего — сильной, мощной, процветающей, объединенной, опирающейся на самые справедливые законы, стоящие на страже завоеваний свободы, и на государственные и общественные учреждения, в максимальной степени способствующие реализации прав и свобод своих граждан, действенному, эффективному функционированию свободы и справедливости.

Что касается «Рассуждений по поводу первой декады Тита Ливия», то в этом произведении, как бы напротив, из рассмотрения прошлого выводится и извлекается для настоящего, а главным образом для будущего все, что было сколько-нибудь полезного в государственном и общественном устройстве, в законах, обычаях, установлениях и вообще в жизни древних народов. Но дело даже не в извлечении полезного и пригодного для настоящего и будущего, дело в гораздо более важном и нужном: аналитическое рассмотрение государственного устройства прошлого является одновременно хорошей основой для формирования и выработки наиболее действенных и эффективных форм государственного и общественного устройства, законодательства, различного рода учреждений и институтов, призванных реализовать, развивать и защищать права, свободы, достоинство граждан, осуществлять контроль за исполнением законов, соблюдением норм, правил и установленных порядков в общественной и государственной жизни.

Таким образом, и «Государь» и «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия» пронизаны глубоким историзмом, вызывающим и пробуждающим к жизни истинные формо- и смыслообразующие силы традиции всей предшествующей и настоящей культуры в созидательной работе над будущим государственным и общественным устройством, над формированием новых общественных отношений и новых форм общественного сознания.

Все произведения Макиавелли тесно связаны между собой, и не просто как творения одного ума, одного человека, но главное — как творения человека, посвятившего жизнь достижению однажды поставленных перед собою целей. В связи с этим необходимо рассматривать каждое из его произведений в определенных взаимоотношениях с другими, выявляя мысли, тенденции, идейную преемственность между ними. Однако самое главное, на наш взгляд, состоит в том, чтобы выявить методологические принципы, которым Макиавелли следовал достаточно строго и последовательно.

Что это именно так, что каждое свое произведение он тщательно обдумывал с заранее выработанной точки зрения, свидетельствует не только то, что он выстраивал свои теоретические положения на огромном эмпирическом материале, но и сам эмпирический материал подавал в определенной последовательности, в определенной логической обработке, в определенной, только ему одному присущей историко-логической композиции.

Вглядимся внимательнее в то, что пишет сам Макиавелли в «Посвящении» и в «Предисловии» к «Истории Флоренции».

Поручение папы Климента VII написать историю Флоренции Макиавелли формулирует как поручение «изложить деяния флорентийского народа», каковое он и постарался «со всем прилежанием и умением, коими наделили меня природа и жизненный опыт», выполнить.

Главный принцип, которому стремился следовать Макиавелли, это принцип объективной истины: не льстить, не приукрашивать события и людей, а изображать их такими, какими они были на самом деле: «...на протяжении всего моего повествования никогда не было у меня стремления ни прикрыть бесчестное дело благовидной личиной, ни навести тень на похвальное деяние под тем предлогом, будто оно преследовало неблаговидную цель. Насколько далек я от лести, свидетельствуют все

разделы моего повествования, особенно же публичные речи или частные суждения как в прямой, так и в косвенной форме, где в выражениях и во всей повадке говорящего самым определенным образом проявляется его натура. Чего я избегаю — так это бранных слов, ибо достоинство и истинность рассказа от них ничего не выиграют. Всякий, кто без предубеждения отнесется к моим писаниям, может убедиться в моей нелицеприятности»[4]. И это действительно так. Были у Макиавелли свои симпатии и антипатии, но заподозрить его в необъективности, в лести или в каких-то других качествах, которыми грешили и еще продолжают грешить буржуазные историки, видимо, нельзя.

Помимо этого, Макиавелли, много лет находясь в центре политической жизни Флорентийской республики, отдавал себе отчет в том, что, «излагая события своего времени, невозможно не задеть весьма многих»[5], что в этом произведении, стараясь, «не приукрашивая истины, угодить всем... может быть, не угодил никому»[6]. И тем не менее, «вооружившись мужеством и уверенностью, не изменявшими мне доселе в моих писаниях, буду я продолжать свое дело, если только не утрачу жизнь...»[7]. И он с достойным удивления и подражания мужеством продолжал свое дело и практически и теоретически, независимо от тяжелых обстоятельств, сопровождавших его политическую деятельность и его жизнь вообще.

И все-таки самое важное во взглядах и в мировоззрении Макиавелли следует видеть в его глубоко диалектическом понимании действительности, общества и общественных отношений. Внутренние взаимосвязи, раскрываемые им в ходе теоретического анализа, между противоречивыми сторонами самой реальности, раздоры и противоречия как движущая сила развития человеческого общества, борьба враждебных классов, столкновение враждебных социальных и политических интересов и взглядов, все более обостряющаяся и ужесточающаяся классовая борьба — то, в чем другие историки и политики видели помеху, зло, каверзу, Макиавелли усматривает в этом закон социального развития и совершенствования.

Изучая труды историков различных времен и народов, в том числе и тех, кто писал историю Флоренции и историю Италии — Леонардо Бруни Аретино и Поджо Браччолини,— Макиавелли замечает, что эти последние проявили «должную обстоятельность... в изложении войн, которые вела Флоренция с чужеземными государями и народами... но в отношении гражданских раздоров и внутренних несогласий и последствий того и другого они многое вовсе замолчали, а прочего лишь поверхностно коснулись»[8]. Подобный подход Макиавелли объясняет субъективными причинами: либо потому, что гражданские раздоры и внутренние несогласия историкам казались маловажными и не заслуживающими сохранения в памяти поколений, либо потому, что опасались нанести обиду потомкам тех, кого по ходу повествования им пришлось бы осудить. Эти причины Макиавелли считал «недостойными великих людей»[9]. Он выставляет положения, которые в зародыше содержат методологически верный подход к исследованию и изложению исторических событий и к истории вообще: «Ибо если в истории что-либо может понравиться или оказаться поучительным, так это подробное изложение событий, а если какой-либо урок полезен гражданам, управляющим республикой, так это познание обстоятельств, порождающих внутренние раздоры и вражду, дабы граждане эти, умудренные пагубным опытом других, научились сохранять единство. И если примеры того, что происходит в любом государстве, могут нас волновать, то примеры нашей собственной республики задевают нас еще больше и являются еще более назидательными. И если в какой-либо республике имели место примечательные раздоры, то самыми примечательными были флорентийские»[10].

В отличие от предшествующих и современных ему историков главными событиями, достойными изучения и изложения, он считает не внешние, каковыми были войны Флоренции с чужеземными государями и народами, а внутренние — познание обстоятельств, порождающих гражданские раздоры и внутренние несогласия, а также познание их последствий, то есть познание внутренних противоречий, внутренней

[4] Никколо Макьявелли. История Флоренции. Л. «Наука», 1973, стр. 8.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Там же, стр. 9.
[9] Там же.
[10] Там же.

диалектики, познание противоречий, определяющих развитие исторических событий, развитие общества.

Макиавелли конкретизирует свои принципы ссылками на то, что потом будет называться классовой борьбой. Он указывает на раздоры между нобилями и плебсом в Римской империи, которые не утихали до самой ее гибели, на подобные раздоры в Афинах и других государствах. Что касается Флоренции, то здесь он указывает на иной характер и развитие противоречий. «Но во Флоренции раздоры возникали сперва среди нобилей, затем между нобилями и пополанами и, наконец, между пополанами и плебсом. И вдобавок очень часто случалось, что даже среди победивших происходил раскол. Раздоры же эти приводили к таким убийствам, изгнаниям, гибели целых семейств, каких не знавал ни один известный в истории город. На мой взгляд, ничто не свидетельствует о величии нашего города так явно, как раздиравшие его распри,— ведь их было вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое великое и могущественное государство. А между тем наша Флоренция от них словно только росла и росла»[11]. Макиавелли наглядно демонстрирует, что флорентийское общество того времени было насквозь пронизано раздорами и противоречиями. И это не удивительно, если принять во внимание социальную структуру флорентийского общества и государства. Достойным удивления представляется то, что Макиавелли, констатируя наличие этих раздоров и противоречий, видит в них источник развития, роста и могущества Флорентийской республики, источник роста и развития вообще.

Историзм Макиавелли был обусловлен многими причинами, главными из которых, может быть, следует считать саму конкретно-историческую реальность, саму действительность, которая постоянно порождала все более резкие, глубокие и острые социальные противоречия и как бы силою заставляла искать их решение и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Обращение к античности и к истории вообще не было чем-то случайным и невероятным, поскольку весь дух эпохи Возрождения был пронизан воскрешением античности, античной культуры (философии, политики, права, морали, литературы и искусства, языков и т. д.). В особой степени это относилось к поискам совершенных форм существования человеческого духа — идеалов истины, добра, справедливости и свободы, этих вечных сфер, где разыгрываются все трагедии и комедии мира, где ирония истории превращает нередко самые серьезные намерения и самые возвышенные стремления и мечты в самый обыкновенный фарс. Спасением могла быть только сама реальность, сама действительность. Но в каком смысле?

Наиболее универсальным измерением связи человека с действительностью является свобода, различные этапы социального, индивидуального раскрепощения человека, то есть в самом общем виде — это принцип свободы. Но самое трудное состоит именно в реальном процессе освобождения человека и человечества от каких бы то ни было форм эксплуатации и отчуждения, хотя не менее трудно применить этот принцип к реальности. Как отмечал еще Гегель, «применение принципа свободы к мирским делам, это внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения является длительным процессом, который составляет самую историю»[12].

Применение принципа свободы к мирским делам, проникновение этого принципа в саму жизнь, во все ее сферы и отношения потребовали тяжелой, продолжительной культурной работы, что лишний раз говорит о трудности соотношения идеалов и действительности даже тогда, когда под идеалами понимается реальное, а значит, историческое движение реальных народных масс.

Историзм Макиавелли был не абстрактным, а реальным, историческим, ибо он учитывал историю развития государства, права, морали, философии, политики, религии, то есть всех форм общественного сознания и соответствующих им учреждений, и связывал их изменение и развитие с изменением и развитием хода вещей. А постановка философских, политических, нравственных, правовых, государственных и религиозных проблем на жизненную основу в соответствии с требованиями и духом времени придала им большую важность, значение и смысл.

Может быть, важнейшей характеристикой мировоззрения Макиавелли является его практический, деятельный характер, прорыв к реализации социально-исторических целей. Взвешенный, тщательный, всесторонний анализ социального опыта, его теоретическое обобщение, применение этого обобщения в реальной общественной и

[11] Никколо Макьявелли. История Флоренции, стр. 10.
[12] Гегель. Сочинения, т. VIII, стр. 18.

политической деятельности — все это, как отмечал Грамши, сближает взгляды Макиавелли со взглядами представителей философии практики, то есть со взглядами классиков марксизма.

Наконец, следует отметить такую важную черту учения Макиавелли, как новый гуманизм, неогуманизм, который, как отметил Грамши, очень близок к марксистскому гуманизму. В отличие от своих гениальных современников (Леонардо да Винчи и других) Макиавелли ищет освобождение человека не на путях его преимущественно индивидуального развития и совершенствования, а на путях выработки и формирования коллективной национальной воли и коллективного национального сознания с целью создать единое национальное государство, то есть он первым идет по пути социальной революции, социального, нравственного и культурного обновления. Это уже не просто формирование отдельного человека, а формирование всего народа, всей нации, творческие усилия которой пробуждаются для достижения общей цели, для создания общенациональных и общечеловеческих ценностей, для того, чтобы активно действовать во всех сферах человеческой жизнедеятельности на общее благо, на благо всего народа. Макиавелли — единственный, пожалуй, из мыслителей эпохи Возрождения, который стремился направить энергию и творческие силы человека не по узкому и в конечном счете весьма ограниченному индивидуалистическому руслу, а по руслу коллективизма: формирования коллективной воли, коллективной, общей цели, коллективного сознания. И средства к достижению поставленных целей он тоже предлагает коллективистские и революционные.

Макиавелли отдавал себе отчет в том, что открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых земель и морей, и, несмотря на это, он твердо решил идти непроторенной дорогой, которая если и не приведет его самого к желанной цели, то все-таки откроет путь кому-нибудь другому, кто, обладая большею силою духа, большим разумом и рассудком, доведет до конца его замысел.

Эти слова великого мыслителя оказались вещими: ему действительно не удалось осуществить свой замысел, зато он проложил пути к научному пониманию истории, к построению политической науки, к научно-критическому освоению культурного наследия прошлого, к подлинному пониманию истории и извлечению из нее сокровенного смысла и практически-политических выводов и уроков.

В своей книге «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия», представляющей попытку трезвого, реалистического, объективного, а следовательно, по тому времени научного понимания и осмысления истории, Макиавелли приводит интересные сравнения: как люди за огромные деньги покупают обломок какой-нибудь античной статуи, чтобы держать его подле себя, украшать им свой дом и выставлять его в качестве образца для подражания,— как эти же и все другие люди проходят мимо всего того, что было действительно великого у древних в государственном устройстве, политике, законодательстве, военном искусстве, философии, культуре, медицине и т. д. Люди лишь восхищаются, но уже не стремятся ни подражать, ни тем более следовать всему лучшему, что было у древних, сознательно сторонятся их великого наследия и сторонятся всего лучшего, что есть у современников. Макиавелли пишет с горечью: «...как только дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится ни Государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних. Я убежден, что проистекает это не столько от слабости, до которой довела мир нынешняя религия, или же от того зла, которое причинила многим христианским городам и странам тщеславная праздность, сколько от недостатка подлинного понимания истории, помогающего, при чтении сочинений историков, получать удовольствие и вместе с тем извлекать из них тот смысл, который они в себе содержат». Сам Макиавелли читает книги Тита Ливия, которые «не разорвала злокозненность времени», таким образом, чтобы извлечь из них все то, что представляется ему необходимым «для наилучшего понимания древних и современных событий», а не ради приятного чтения или праздного любопытства.

В обращении Макиавелли к истории, и в частности к античности, следует видеть и попытку найти там такие формы правления, которые можно было бы использовать в настоящее время, и попытку выявить генезис свободы: источник ее происхождения, формы существования, укрепления, развития, сохранения.

Рассматривая формы государственного правления античности, Макиавелли считает, что все они не лучше чумы. Существование любой из них в отдельности быстро приводит к гибели. Поэтому, например, в Спарте согласно законам Ликурга соответствующая роль отводилась не какой-то одной форме правления, а сразу нескольким: самодержавию, аристократии и народу,— каждая из которых как бы присматривает за другой и все вместе они делают общую форму правления более прочной и устойчивой. Так, Спарта просуществовала более восьмисот лет, в то время как Афины, в которых Солон установил лишь одно народное правление, просуществовали не более ста лет. Что касается Римской республики, то смешение правления царей, оптиматов и народа сделало республику совершенной.

Важно, что Макиавелли понимал ограниченность всех античных форм правления и эту ограниченность связывал с ограниченностью форм существования и проявления свободы. Ни один из слоев и классов античного общества не мог проявить себя в полной мере и не мог установить своего полного господства над другими. Социальные, классовые противоречия гарантировали стабильность и устойчивость существования республики лишь при наличии равновесия сил, под которыми Макиавелли, как диалектик, понимал не гармонию классовых интересов, а их борьбу, или, по его выражению, раздор. Он считал, что раздоры, смуты, борьба свидетельствуют не об отсутствии или слабости свободы в республике, а скорее наоборот: «Я утверждаю, что осуждающие столкновения между знатью и плебсом порицают, по-моему, то самое, что было главной причиной сохранения в Риме свободы; что они обращают больше внимания на ропот и крики, порождавшиеся такими столкновениями, чем на вытекавшие из них благие последствия; и что, наконец, они не учитывают того, что в каждой республике имеются два различных умонастроения — народное и дворянское, и что все законы, принимавшиеся во имя свободы, порождались разногласиями между народом и грандами»[13].

Для подкрепления своих суждений Макиавелли ссылается на более чем трехсотлетнюю историю Рима от Тарквиниев до Гракхов, где смуты, раздоры и борьба редко приводили к изгнаниям и еще реже к кровопролитиям. Поэтому нельзя считать подобные смуты губительными и нельзя утверждать, что в республике отсутствовало внутреннее единство. «И уж вовсе безосновательно объявлять неупорядоченной республику, давшую столько примеров доблести; ибо добрые примеры порождаются хорошим воспитанием, хорошее воспитание — хорошими законами, а хорошие законы — теми самыми смутами, которые многими необдуманно осуждаются. В самом деле. Всякий, кто тщательно исследует исход римских смут, обнаружит, что из них проистекали не изгнания и насилия, наносящие урон общему благу, а законы и постановления, укрепляющие общественную свободу»[14].

Отсюда, естественно, следовал вывод: раз источник свободы в разногласиях и борьбе между народом и грандами, то эта борьба является источником общественного развития и общественного благополучия. Не гармония классовых интересов, а их борьба — источник возникновения, развития и укрепления свободы, добрых законов, ее охраняющих, хороших нравов и хорошего воспитания. В правильности этого вывода Макиавелли не сомневался.

Кому же можно доверить «организацию охраны свободы» в условиях столь ожесточенной классовой борьбы — благородным нобилям или худородному плебсу? Этому вопросу Макиавелли придавал достаточно большое значение и возвращался к его обсуждению в своих произведениях не раз.

По его мнению, охрану какой-либо вещи следует поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ею. Поскольку благородные изо всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть порабощенными, любят свою свободную жизнь и имеют меньше надежд узурпировать общественную свободу, то охрану свободы следует вверить именно народу — он печется о ней больше и, не имея возможности сам узурпировать свободу, не позволяет этого и другим. Симпатии Макиавелли на стороне народа, а не нобилей. «Чаще всего, однако, смуты вызываются людьми имущими, потому что страх потерять богатство порождает у них те же самые страсти, которые свойственны неимущим, ибо никто не считает, что он надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая еще. В большинстве же случаев более богатые люди

[13] Niccolò Machiavelli. Opere scelte, p. 143.
[14] Ibid., p. 144.

имеют большие возможности и средства для учинения пагубных перемен. Кроме того, нередко случается, что их наглое и заносчивое поведение зажигает в сердцах людей неимущих желание обладать властью либо для того, чтобы отомстить обидчикам, ограбив их, либо для того, чтобы самим получить богатство и почести, которыми те злоупотребляют»[15].

Отсюда ясно, что Макиавелли не симпатизировал плебеям и даже презирал их, но грандов или знать он просто ненавидел. Ведь жадность и надменное честолюбие грандов, писал он, столь велики, что если город не обуздает их любыми путями и способами, они быстро доведут этот город до погибели. С этой точки зрения особенно интересны взгляды Макиавелли на борьбу плебса и знати вокруг аграрного закона.

Известно, что этот закон имел две статьи: одна указывала, что никто из граждан не может владеть больше чем определенным количеством югеров земли, а вторая статья предписывала, чтобы поля, отнятые у врагов, делились между всем римским народом. Этот закон, по существу, был направлен против знати, поскольку он предписывал изымать у нее все излишки земли, а распределение отнятых у врагов земель между плебеями закрывало путь к дальнейшему обогащению знати. Поэтому знать терпеливо и хитро оттягивала применение аграрного закона, который находился под спудом вплоть до Гракхов. Гракхи извлекли его на свет и тем согласно Макиавелли погубили римскую свободу.

Плебеи защищали аграрный закон, а знать выступала против этого закона. Плебеи поддерживали Мария, а знать — Суллу. Гражданская война кончилась победой знати. Во времена Цезаря и Помпея возникла та же борьба. На этот раз победу одержал Цезарь как глава партии Мария. Распрям вокруг аграрного закона понадобилось триста лет для того, чтобы сделать Рим рабским, но Рим был бы порабощен много скорее, если бы плебеи с помощью аграрного закона и других своих требований постоянно не сдерживали жадность и честолюбие нобилей. Но все-таки для Макиавелли установленное Ликургом в Спарте имущественное равенство и неравенство общественных положений представлялось самым приемлемым, ибо в этом случае плебс не испытывал страха и не стремился к государственной власти, следовательно, не возникало соперничества между плебсом и знатью, отпадала причина для смут, плебс и знать могли долгое время сохранять единство. И Макиавелли снова подтверждает свой вывод о том, что «вражда между Сенатом и плебсом поддерживала в Риме свободу, ибо из вражды сей рождались законы, благоприятные свободе»[16].

Интерес Макиавелли к Риму республиканского и имперского периодов, особенно к периоду перехода от республики к империи, закономерен — именно этот период вырабатывает общие контуры некоторых идеологических тенденций будущей итальянской нации. Вспомним, что писал по этому поводу Грамши: «Кажется, что до сих пор не показано со всей ясностью, что в действительности именно Цезарь и Август радикальным образом изменяют положение Рима и полуострова в равновесии сил внутри классического мира, лишая Италию «территориальной» гегемонии и передавая функции руководства «имперскому», то есть наднациональному классу. Если верно, что Цезарь продолжает и завершает демократическое движение Гракхов, Мария и Катилины, то также верно и то, что Цезарь побеждает, поскольку проблема, которую Гракхам, Марию и Катилине предстояло разрешить на полуострове, в Риме, перед Цезарем встает в рамках целой Империи, и в ней полуостров является лишь частью, а Рим «бюрократической» столицей, да и то только до определенного момента. Эта историческая связь имеет величайшее значение для истории полуострова и Рима, потому что является началом процесса денационализации Рима и полуострова и его превращения в «космополитическую территорию». Римская аристократия, которая с помощью методов и средств, соответствовавших ее времени, объединила полуостров и создала базу для национального развития, подавляется теперь имперскими силами и теми проблемами, которые она сама же вызвала к жизни: историко-политический узел Цезарь разрушает мечом, и начинается новая эпоха, в течение которой Восток приобретает столь важное значение, что в конце концов превосходит Запад, а это приводит к разрыву между двумя частями Империи»[17]. Не потому ли Макиавелли сетует на то, что Гракхи погубили римскую свободу, а Цезарю вменяет в вину бес-

[15] Ibid., p. 149.
[16] Ibid., p. 218.
[17] Antonio Gramsci. Il Risorgimento. Opere, v. 4. Torino, Giulio Einaudi Editore. 1954, pp. 3—4.

численные гражданские и внешние войны, разрушенные и разграбленные итальянские города, осквернённые опоганенными обрядами храмы, смертельные кары за благородство, прошлые заслуги и доблести, награды клеветникам, доносчикам и все самое ужасное? Не ведет ли Макиавелли отсчет грехопадения Рима и Италии с момента всемирной славы Цезаря? Не потому ли он так клеймит римских императоров и выставляет напоказ весьма красноречивый факт, что из двадцати шести императоров от Цезаря до Максимилиана шестнадцать были убиты? Не потому ли он неоднократно подчеркивает, что как только императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок?

Маркс, рассматривая вопрос об императорской власти в Риме, связывает его с вопросом права частной собственности и указывает на три момента, отличающие содержание этих категорий и их развитие у римлян и германцев:

«1) Власть *императора* была не властью частной собственности, а *суверенитетом эмпирической воли* как таковой, суверенитетом, который отнюдь не рассматривал *частную собственность* как связь между собой и своими подданными, а, напротив, распоряжался произвольно частной собственностью, как и всеми остальными социальными благами. Императорская власть была поэтому лишь *фактически наследственной.* Хотя своего высшего развития право частной собственности, частное право, достигло в императорский период, но развитие этой частной собственности явилось, скорее, следствием политического разложения, а не политическое разложение явилось следствием развития права частной собственности. К тому же в Риме государственное право, находившееся в процессе разложения, было упразднено как раз к тому моменту, когда частное право достигло своего высшего расцвета. В Германии же дело обстояло наоборот.

2) Государственные чины никогда не являлись в Риме наследственными, т. е. частная собственность не являлась господствующей государственной категорией.

3) В противоположность германскому майорату и т. д. в Риме *свобода завещания* является результатом частной собственности. В этой последней противоположности заключается *все* различие между римским и германским типом развития частной собственности»[18].

Здесь сама собой напрашивается параллель между тем, что происходило в Древнем Риме, и тем, свидетелем чему был Макиавелли.

Кризис и падение флорентийской Коммуны имели в своей основе примерно тот же самый социально-экономический механизм, хотя, разумеется, в совершенно изменившихся условиях и в совершенно другие времена. А механизм этот, или по крайней мере его модель, состоял в том, что борьба между социальными классами развернулась не вокруг аграрного закона, как это было у древних римлян, а вокруг налоговой системы и государственного долга. Система прямого обложения как главный источник доходов противоречила интересам господствующего класса, который, будучи главным обладателем богатства, стремится переложить тяжесть налогов на широкие слои населения с помощью пошлин на продовольствие. Тогда же возникает первая форма государственного долга в виде займов или антиципаций, которые имущие слои представляют для нужд казны, гарантируя себе возвращение ссуд посредством пошлин. «Политическая борьба обусловливается колебаниями между «эстимо» и пошлинами на продовольствие. Когда Коммуна подпадает под иностранное господство (герцог Калабрийский и герцог Афинский), появляется «эстимо», между тем как в определенные моменты в городе, наоборот, удается отвергнуть «эстимо» (например, в 1315 году). Синьориальный строй... представляя определенное равновесие социальных классов, благодаря которому народу удавалось ограничивать всемогущество богатых классов, мог проводить принцип справедливого распределения налогов и даже улучшить систему прямого обложения вплоть до 1427 года — до начала принципата Медичи и до заката олигархии, при которой был учрежден кадастр... Коммунальной буржуазии не удалось преодолеть экономико-корпоративную фазу, то есть создать государство, пользующееся «доверием управляемых» и способное к развитию. Государственное развитие могло осуществляться только в форме принципата, а не в форме коммунальной республики... Последствия государственного долга также интересны: имущие классы, которые считали, что в займах они найдут средство для переложения на широкие массы граждан большей части налогового

[18] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, стр. 348.

бремени, были наказаны неплатежеспособностью Коммуны, которая, совпав с экономическим кризисом, содействовала обострению бедствий и поддерживала беспорядок в стране. Эта ситуация принесла консолидацию долга, который перестал подлежать выкупу (бессрочная рента), и понижение величины процента — с основания «Монте» после изгнания герцога Афинского и прихода к власти «мелкого люда»...» [19].

Ожесточенные классовые столкновения в городах-Коммунах, банковские банкротства, вызванные неплатежеспособностью коронованных должников, отсутствие сильного государства, которое защищало бы своих граждан за границей,— все это способствует утрате инициативы и предприимчивости итальянских купцов в XV веке: они предпочитают вкладывать свои средства в земельные владения, чем рисковать ими при поездках и во вложениях за границей, то есть начинается регрессивный процесс превращения купцов в земельных собственников.

В разгар борьбы между экономико-корпоративной фазой истории Флоренции и относительно современным государством, борьбы, которая уже в годы осады Флоренции завершилась тем, что буржуазии Коммун не удалось преодолеть корпоративную фазу и создать государство, поскольку государством были, по существу, Церковь и империя, то можно сказать, что Коммуны так и не вышли за рамки феодального государства.

Макиавелли не только чувствовал это, но видел и глубоко переживал. Может быть, еще и этим объясняется его яростная борьба против феодальных отношений, в чем бы и где бы они ни проявлялись.

В связи с этим весьма странными и анахроничными выглядят концепции, согласно которым Макиавелли генетически зависит от Данте, а некоторые исследователи даже выстраивали отношение между государством и Церковью на основе Дантовой схемы «Креста и Орла». Более правы те ученые, которые полагают, что политические воззрения Макиавелли были противоположны политическим воззрениям Данте и даже всей классической литературе: нельзя установить никакой генетической связи между концепцией политического реализма и политической утопией. Для Данте идеальным политическим деятелем был Юлий Цезарь, а Брут — убийцей, для Макиавелли, наоборот, Юлий Цезарь — лишь гнусный тиран, а Брут — доблестный и благородный человек. Касаясь этого факта, Бертран Рассел иронически заметил: «Контраст между этим взглядом и взглядом Данте свидетельствует о том влиянии, которое на Макиавелли оказала классическая литература» [20]. По этому поводу, конечно, можно иронизировать, если бы за этим фактом не скрывались весьма и весьма серьезные вещи.

Что между Государем Макиавелли и Императором Данте не существует генетической связи, как ее тем более не существует между современным государством и средневековой империей,— это было убедительно доказано Грамши: попытка установить генетическую связь между проявлениями духовной жизни итальянских культурных классов в различные эпохи представляет собой национальную риторику — подлинная история подменяется историческими призраками. «Надо уметь фиксировать великие исторические периоды, которые в их совокупности выдвинули определенные проблемы и наметили элементы разрешения этих проблем с самого начала их возникновения. Так, я бы сказал, что Данте замыкает средневековье (фазу средневековья), в то время как появление Макиавелли означает, что одной фазе нового мира уже удалось с большой ясностью и глубиной поставить свои проблемы, выработать соответствующие методы их разрешения. Думать, что Макиавелли генетически зависит от Данте или связан с ним, значит совершать грубую историческую ошибку» [21].

Грамши ставит под вопрос действенность и убедительность идей и доктрины Данте, сомневаясь в том, чтобы они могли стимулировать и возбуждать национальную политическую мысль благодаря тому значению, которое имел Данте как элемент итальянской культуры. Зато Грамши решительно отвергает прямое генетическое значение подобных теорий в органическом смысле, поскольку характер разрешения определенных проблем в прошлом помогает найти решение подобных же проблем в настоящем лишь благодаря тому критическому навыку, который создается и вырабатывается в области теоретических исследований. И никогда, замечает Грамши, нельзя сказать, что

---

[19] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, pp. 8—9.

[20] Бертран Рассел. История западной философии. М. Издательство иностранной литературы, 1959, стр. 525.

[21] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, p. 6.

характер разрешения проблем в настоящем генетически зависит от разрешения проблем в прошлом — его генезис кроется в современной ситуации и только в ней. С этой точки зрения политическая доктрина Данте никогда не обладала никакой эффективностью и плодотворностью в историко-культурном отношении и имеет значение лишь только как момент в развитии самого Данте после поражения его партии и изгнания его самого из Флоренции, вследствие чего Данте переживает процесс радикального изменения своих политико-гражданских убеждений, своих чувств, своих страстей, своего мировоззрения. Этот процесс имел своим следствием его полную изоляцию. Верно, что его новая ориентация может называться гибеллинством только условно, во всяком случае это было новое гибеллинство, превосходящее старое гибеллинство, а также и гвельфизм. На самом деле речь идет не о политической доктрине, а о политической утопии, которая расцвечивается размышлениями о прошлом, и прежде всего о попытке превратить в доктрину то, что было лишь поэтическим материалом, находившимся в процессе формирования и творческого горения, зарождавшейся поэтической фантазией, которая найдет свое завершение в «Божественной комедии»: или в структуре поэмы — как продолжении попытки (теперь в стихотворной форме) превратить чувства в доктрину, или в поэзии — как страстной инвективе и драматическом действии. «Поднимаясь над внутренними раздорами в Коммунах, которые представляли собой чередование разрушений и истреблений, Данте мечтает об обществе, которое превосходит Коммуну и превосходит Церковь, опирающуюся на «черных», и старую империю, опирающуюся на гибеллинов, он мечтает о такой форме правления, которая предписывала бы законы, стоящие над партиями и т. д. Это человек, побежденный в классовой борьбе и мечтающий о ликвидации этой войны под знаком арбитральной власти. Но этот побежденный человек, со всеми обидами, страстями, чувствами побежденного, является также ученым, который знает теории и историю прошлого. Прошлое открывает ему римскую Августову схему и ее средневековое отражение — «Римскую империю германской нации». Он хочет преодолеть настоящее, но его взоры обращены в прошлое. Взоры Макиавелли также были обращены в прошлое, но совсем иным образом, чем у Данте и т. д.» [22].

Данте написал специальный трактат «Монархия», в котором стремился рассмотреть сущность и цели светской монархии, обосновать ее необходимость для человечества как самой совершенной формы правления. Отвечая на три главных вопроса-сомнения, выдвигаемых по поводу монархии: необходима ли она для благосостояния мира, по праву ли стяжал себе исполнение должности монарха народ римский, зависит ли авторитет монархии непосредственно от бога или же он зависит от служителя бога или его наместника,— Данте из всей совокупности приводимых им аргументов, представляющих собой сложное переплетение, или сложную гамму, человеческих ощущений, представлений, чувств, переживаний, возникающих из них поэтических фантазий, поэтической аранжировки гнева и негодования, кипящих страстей, обид и разочарований, унижений и оскорблений человека, потерпевшего поражение в классовой борьбе, связанных с этим его мечтаний об уничтожении существующего порядка, существующего общества с его войнами, насилием, разрушениями и истреблениями, конструирует схему идеального общественного и государственного устройства, с помощью которого человечество пришло бы к мировому содружеству. Насколько эта идея была смелой, настолько же она была необоснованной, утопической. Поэтому, естественно, основой и стержнем аргументации в пользу светской монархии Данте выдвигает категорию «возможного интеллекта» (intellectus possibilis), всеобщего, универсального, бессмертного интеллекта, присущего лишь всему человечеству в целом: «...специфическим свойством человека является не само бытие как таковое... и не тот или иной состав... и не одушевленность... и не способность представления... таковой является лишь способность представления через посредство «возможного интеллекта»; последняя черта не присуща ничему, отличному от человека,— ни стоящему выше, ни стоящему ниже его... последняя черта потенции самой человеческой природы есть потенция или способность интеллектуальная... размышляющий интеллект путем своего расширения становится интеллектом практическим, целью которого является действие и созидание. Я имею в виду здесь те действия, которые регулируются искусством; и те и другие являются служанками размышляющего интеллекта, как того лучшего, ради которого изначальное

[22] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, p. 7.

добро привело к бытию род человеческий. Отсюда уясняется изречение «Политики»: «Люди, отличающиеся разумом, естественно первенствуют»...»[23].

Опираясь на эту весьма зыбкую основу, требующую доказательств, но абсолютно не доказанную, Данте возводит формально-логическое построение ради обоснования трех наперед заданных постулатов: «...для благополучия мира необходимо должна существовать монархия» [24]; «Римский народ был предназначен природой к тому, чтобы повелевать. Следовательно, Римский народ, покоряя мир, по праву достиг империи» [25]; «...власть (auctoritas) империи вовсе не зависит от Церкви»[26], что «светская власть монарха без всякого посредства нисходит в него из источника власти вселенской» [27].

Попытки Данте вознестись над «проклятым» настоящим не только повернули его в прошлое, но и обусловили идеализацию этого прошлого, ведущую к еще большему отрыву от реальной жизни, в мир фантазии, художественных конструкций, в конечном счете в мир утопии. Этим отчасти объясняется могучее историко-культурное воздействие художественных произведений Данте и полное бессилие его политической доктрины.

Если сопоставить схематично взгляды Данте и Макиавелли, то из этого сопоставления станут очевидны не только их противоположность и непримиримость, но и теоретическая и практическая несовместимость: Данте превращает в политическую доктрину материал поэтической фантазии, Макиавелли — теоретические обобщения реальных политических событий; Данте стремится встать над реальными раздорами, разрушениями, войнами и истреблениями и мечтает об обществе, которое превосходило бы Церковь, опирающуюся на «черных», и старую империю, опирающуюся на гибеллинов,— Макиавелли окунается в самую гущу классовой борьбы и стремится постичь ее законы, находит в ней движущую силу и источник социального развития; Данте мечтает о такой форме правления, которая стояла бы над партиями и вырабатывала бы соответствующие законы, Макиавелли — человек партии и как таковой делает все, чтобы пробудить силы народа, объединить его волю и направить его действия на уничтожение существующих порядков и на построение нового, единого национального государства, которое выработало бы справедливые законы, создало бы свои вооруженные силы, способные в любое время защищать свободу и независимость родины; Данте обращает свои взоры в прошлое, к «Священной Римской империи германской нации»,— Макиавелли отвергает этот унизительный для Италии идеал и направляет все силы на уничтожение всего, что мешает объединению Италии в единое, централизованное национальное государство: и Церковь с ее папством, и старую империю, и всех иностранных захватчиков, посягающих на свободу итальянцев; знание теории и истории прошлого повернуло Данте целиком в прошлое — подобное же знание теории и истории прошлого Макиавелли использует как один из важных инструментов для изменения существующих порядков и для построения будущего общества и государства; Данте — метафизик, Макиавелли — диалектик; Данте в политике — реакционер, Макиавелли — революционер; Данте — аристократ, Макиавелли — демократ и т. д.

Как видно, не может быть и речи о каком бы то ни было генетическом родстве между политическими доктринами Данте и Макиавелли, между Государем Макиавелли и Императором Данте, между подходом каждого из них к прошлому, между методами исследования прошлого и его соотношения с современностью, между методами политической борьбы и политического действия.

Макиавелли можно считать родоначальником социально-политической, а в зародыше и научной критики христианской религии и Церкви.

До него католическую Церковь и папство критиковали практически все выдающиеся поэты, писатели, мыслители Италии: Данте, Петрарка, Боккаччо и другие. Их критика носила резко разоблачительный характер. Они высмеивали пороки духовенства: лесть, тунеядство, моральное разложение, паразитизм, чревоугодие, продажность и т. д. Образцы подобной критики мы находим у Данте в его «Божественной комедии»:

Я бы в речах излился громословных;
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.

---

[23] Данте Алигьери. Малые произведения. М. «Наука». 1968, стр. 307—308.
[24] Там же, стр. 319.
[25] Там же, стр. 332.
[26] Там же, стр. 360.
[27] Там же, стр. 362.

Вас, пастырей, провидел Иоанн
В той, что воссела на водах со славой
И деет блуд с царями многих стран;

В той, что на свет родилась семиглавой,
Десятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.

Сребро и злато — ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз.

О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!

Данте полемизирует с Фомой Аквинским, который считал папу верховным священником, преемником Петра и наместником Христа. Согласно Фоме Аквинскому папе принадлежит вся полнота духовной и светской власти, поэтому все короли христианских народов должны повиноваться ему так же, как они повинуются Иисусу Христу. В противоположность Фоме Аквинскому Данте решительно отрицал за папой претензию на светскую власть: «...верховный первосвященник, наместник Господа нашего Иисуса Христа и преемник Петра, которому мы должны воздавать не все, что должны воздавать Христу, но все, что должны воздавать Петру» [28]. Он решительно отделяет светскую власть от власти духовной и критикует вмешательство Церкви, папы и клира в светские дела.

Однако эта критика папства и католической церкви, как и вся политическая доктрина Данте, была обращена в прошлое, на поиски утраченного идеала. Не случайно Данте полемизирует с Августином, который отрицал божественное происхождение Римской империи, отрицал претензии Рима на мировое господство, обличал Рим в беззаконии, преступлениях, нравственном разложении и т. д. «Пусть же перестанут порочить империю Римскую те,— писал Данте,— кто мнит себя сынами Церкви, видя, что жених ее Христос признал империю в начале и в конце своей миссии» [29].

Критикуя папство, католическую Церковь, Данте возлагал свои надежды на возрождение Священной Римской империи, на создание всемирной универсальной монархии — носительницы высшей справедливости, законности и свободы, обеспечивающей мир и благоденствие всем народам.

Дантовскую критику католической Церкви и папства подхватывает и развивает в своих знаменитых сонетах Петрарка, осуждавший и разоблачавший продажность, жадность, аморализм, распутство, злодейскую, предательскую роль папской курии.

Как Данте проводил четкое разграничение и отделение светской власти и власти духовной, так Петрарка проводит подобное разграничение и разделение божественного и человеческого: божественное он предлагает отдать богу и ангелам, а человеческое — человеку.

Боккаччо развивает идеи Данте и Петрарки и, обращаясь к отражению и анализу человеческих событий и действий [30], то есть к собственной человеческой жизни, к «человеческой комедии», завершает процесс переоценки ценностей: место бога занимает человек. Это вовсе не означало, что гуманисты отказывались от религии и от бога. Они критиковали папство и католическую Церковь преимущественно за то, что они не столько воспитывали духовно народ, сколько его развращали, будучи развращенными сами. Религия и бог критиковались ими косвенно: если на место бога ставился человек, то, естественно, это затрагивало и религию и бога.

Гуманистическая критика папства, католической Церкви и религии носила довольно ограниченный характер. Эта ограниченность сказывалась в ее абстрактности, эмпиричности, в ее обращенности в прошлое. Эта критика оставляла нетронутыми основы и религии, и католической Церкви, и папства, не говоря уж об основах общественного и государственного устройства.

Макиавелли в отличие от Данте, Петрарки, Боккаччо и других гуманистов связывал критику религии и Церкви с решением фундаментальных общественных и государст-

[28] Данте Алигьери. Малые произведения, стр. 343.
[29] Там же, стр. 341.
[30] См. Giovanni Boccaccio. Decameron, v. I. Milano, Buzzoli Editori, 1974, p. 4.

венных проблем, и прежде всего с созданием единого, централизованного государства. Он понимал, что врагами объединения Италии в могучее государство наравне с феодалами являются религия, католическая Церковь, папство. Больше того, Макиавелли отдавал себе отчет в том, что если не освободиться от средневековой космополитической концепции, представленной папой и светскими интеллектуалами-гуманистами, то нельзя будет построить самостоятельное государство. Чтобы осуществить это, необходимо было развенчать, разбить средневековые феодальные и космополитические идеологические и политические концепции, преодолеть корпоративную фазу общественного развития, чтобы войти в фазу политическую. С этих позиций Макиавелли вел критику религии, католической Церкви и папства.

Макиавелли верно схватывает сущность политики католической Церкви, направленной на разъединение Италии, на то, чтобы всеми силами и средствами помешать не только созданию объединенного итальянского государства, но и вообще самостоятельности и укреплению любого государства, то есть всеми силами помешать усилению светской власти. Больше того, римская Церковь ставила своей целью, когда это было возможно, и усиление своей церковной власти, и присвоение функции светской власти.

Макиавелли замечает в «Государе», где он уделяет целую главу рассмотрению церковных княжеств, что до папы Александра VI итальянские властители мало считались с Церковью в светских делах. Но как только Александр VI стал папой, положение резко изменилось: с помощью денег и военной силы Александр VI возвысил и укрепил церковную власть настолько, что перед ней стал дрожать король Франции, а венецианцы были сокрушены, римские бароны, через которых раньше воздействовали на папу, были уничтожены, а две враждовавшие между собой партии Орсини и Колонна под ударами Александра распались. Папа Юлий II продолжил далее укрепление церковной власти, накопление несметных богатств, которые при необходимости также пускали в дело. Так росло величие и мощь церковной власти.

Макиавелли в «Государе» более сдержан в обсуждении церковной власти. По существу, он отказывается обсуждать ее на том основании, что ею управляет высшая сила. Макиавелли считает, что церковные княжества приобретают доблестью или милостью судьбы, а чтобы удержать их, не надо ни того, ни другого, поскольку они опираются на старинные, созданные верою учреждения, настолько мощные и наделенные такими свойствами, что поддерживают власть князей, как бы те ни жили и ни поступали. «Только эти князья владеют государствами, не защищая их, и подданными, не управляя ими; государства, хоть и остаются без защиты, у них не отнимаются, а подданные, хоть ими не управляют, об этом не тревожатся, не помышляют, да и не могут от них отпасть. Таким образом, только этим княжествам обеспечены безопасность и счастье. Но так как ими управляет высшая сила, непостижимая человеческому уму, то я отказываюсь о них говорить; они возвеличены и хранимы богом, и было бы поступком человека самонадеянного и дерзкого о них рассуждать» [31]. И все-таки, как мы знаем, Макиавелли не мог не рассуждать об этом, не мог пройти мимо важнейших вопросов, касавшихся соотношения Церкви и государства, церковной и светской власти, негативной и пагубной роли Церкви и папства в истории Италии и Европы вообще, в истории итальянской, европейской и мировой науки и культуры.

К религии как к социальному институту Макиавелли относится с уважением, так же как и к учредителям религий, которых в социальной иерархии он ставил на первое место. «Из всех прославляемых людей более всего прославляемы главы и учредители религий. Почти сразу же за ними следуют основатели республик или царств. Несколько ниже на лестнице славы стоят те, кто, возглавляя войска, раздвинул пределы собственного царства или же своей родины. Потом идут писатели. А так как они пишут о разных вещах, то каждый из писателей бывает знаменит в соответствии с важностью своего предмета. Всем прочим людям, число которых безмерно, воздается та доля похвал, которую приносит им их искусство и сноровка. Наоборот, гнусны и омерзительны искоренители религий, разрушители республик и царств, враги доблести, литературы и всех прочих искусств, приносящих пользу и честь роду человеческому, иными словами — люди нечестивые, насильники, невежды, недотепы, лентяи и трусы» [32].

[31] Никколо Макиавелли. Сочинения. М.— Л. Academia. 1934, т. I, стр. 259.
[32] Niccolò Machiavelli. Opere scelte, p. 169.

Как политический деятель, Макиавелли отдавал себе отчет в важном значении религии для существования граждан и республик. Например, благочестие римлян, их бóльшая боязнь нарушить клятву, нежели закон, Макиавелли связывает с введенной Нумой религией, которая обусловливала добрые порядки, добрые порядки порождали удачу, а удача приводила к счастливому завершению всякое предприятие. Но особое значение он отводил культу божества: «Подобно тому как соблюдение культа божества является причиной величия государств, точно так же пренебрежение этим культом является причиной их гибели. Ибо там, где отсутствует страх перед Богом, неизбежно случается, что царство либо погибает, либо страх перед Государем восполняет в нем недостаток религии»[33]. Следовательно, согласно Макиавелли религия именно как общественный, социальный институт нужна и для построения и функционирования государства, и для введения хороших законов, и для создания могучей армии. Исходя из этого, Макиавелли настоятельно рекомендует главам республик или царств сохранить основы поддерживающей их религии. Если они будут поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, хотя бы сами и считали все это обманом и ложью, то им легко будет сохранить свое государство религиозным, а значит, добрым и единым.

Таким образом, Макиавелли хорошо видел, чувствовал и сознавал силу религии, ее социальную функцию, ее консерватизм и власть над умами и сердцами верующих и поэтому призывал всемерно использовать эту силу для общего блага, в особенности для объединения и укрепления государства. Будучи свидетелем упадка христианской религии, Макиавелли всю ответственность за этот упадок религии, а следовательно, и за порчу нравственности, несоблюдение порядков и установленных законов, за раздробленность Италии, за невозможность создать единое, могучее итальянское государство и вообще за все беды Италии и итальянского народа возлагал на римскую Церковь, на римскую курию, на папство.

Приведем из его «Рассуждений...» замечательное место, где он подвергает римскую Церковь обоснованной, беспощадной и поразительной по меткости и силе критике: «Если бы князья христианской республики сохраняли религию в соответствии с представлениями, установленными ее основателями, то христианские государства и республики были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они оказались в наше время. Невозможно себе представить большего свидетельства упадка религии, нежели указание на то, что народ, находящийся ближе всех к римской Церкви, являющейся главой нашей религии, наименее религиозен. Тот, кто рассмотрит основы нашей религии и посмотрит, насколько отличны ее нынешние обычаи от стародавних, первоначальных, придет к выводу, что она несомненно близка либо к своей гибели, либо к мучительным испытаниям. Так как многие придерживаются мнения, будто благо городов Италии проистекает от римской Церкви, я хочу выдвинуть против этого мнения ряд необходимых для меня выводов. Приведу два из них, чрезвычайно сложных и, как мне представляется, неотразимых. Первый: дурные примеры папской курии лишили нашу страну всякого благочестия и всякой религии, что повлекло за собой бесчисленные неудобства и бесконечные беспорядки, ибо там, где ее нет, надо ждать обратного. Так вот, мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле. Но мы обязаны им еще и гораздо большим, и сие — вторая причина нашей погибели. Церковь держала и держит нашу страну раздробленной. В самом деле, ни одна страна никогда не была единой и счастливой, если она не подчинялась какой-нибудь одной республике или же какому-нибудь одному Государю, как то случилось во Франции и в Испании. Причина, почему Италия не достигла того же самого, почему в ней нет ни республики, ни Государя, которые бы ею управляли,— одна лишь Церковь. Укоренившись в Италии и присвоив себе светскую власть, римская Церковь не оказалась ни столь сильной, ни столь доблестной, чтобы суметь установить собственную тиранию над всей Италией и сделаться ее Государем; с другой стороны, она не была настолько слаба, чтобы, боясь утратить светскую власть над своими владениями, не быть в состоянии призывать себе на подмогу могущественных союзников, которые защищали бы ее против всякого народа и государства, становящегося в Италии чрезмерно сильным. В давние времена тому бывало немало примеров. Так, при помощи Карла Великого Церковь прогнала лангобардов, бывших чуть ли не королями всей Италии. В наше

[33] Niccolò Machiavelli. Opere scelte, p. 177.

время она подорвала мощь венецианцев с помощью французов, а потом прогнала французов с помощью швейцарцев. Таким образом, не будучи в силах овладеть всей Италией и не позволяя, чтобы ею овладел кто-нибудь другой, Церковь была виновницей того, что Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, но находилась под игом множества господ и Государей. Это породило столь великую ее раздробленность и такую ее слабость, что она сделалась добычей не только могущественных варваров, но всякого, кто только ни желал на нее напасть. Всем этим мы, итальянцы, обязаны Церкви и никому другому» [34].

Макиавелли как политик берет главное, существенное — помогают или мешают религия и Церковь формированию единого и могучего итальянского государства.

Как трезвый политик, Макиавелли понимал, что христианская религия не самое лучшее средство для достижения исторических целей человека и человеческого общества, формирования и культивирования нравственности, гражданских добродетелей, нравов и порядков. С этой точки зрения Макиавелли противопоставляет христианской религии религию языческую; если христианская религия полагает высшее благо в смирении, в презрении к мирскому, в отречении от жизни, то языческая религия полагала его в величии души, в силе тела и во всем, что делает человека могущественным. Христианская религия направляет силы человека на терпение, а не на подвиги. Когда люди, чтобы попасть в рай, предпочитают переносить побои, а не мстить, мерзавцам открывается обширное и безопасное поприще. Христианский образ жизни, говорит Макиавелли, обессилил мир и предал его в жертву мерзавцам.

Направляя дела и помыслы людей на сверхъестественное, потустороннее, заставляя их больше заботиться о мире загробном, христианская религия парализует ум, волю и энергию человека, вместо того чтобы мобилизовать их на достижение общих целей, общих задач и общего блага. Но он понимал и то, что без религии не обойтись, больше того, ее можно и нужно использовать в интересах общества и государства. Может быть, именно поэтому он придавал большое значение соблюдению культа божества, ибо, как свидетельствует история, через культ и посредством культа главы государства и республики добивались культивирования тех качеств среди народа, которые им были нужны: силы, мужества, любви к родине и свободе, ненависти к врагам, стойкости и т. д. Эти функции религии Макиавелли считал необходимым использовать для достижения основных целей.

Что касается католической Церкви и особенно папства, то Макиавелли гневно осуждает этот разложившийся и паразитический социальный институт, давно уже ставший самым большим тормозом в объединении Италии, в создании единого итальянского государства, препятствующий всеми силами этому объединению, и показывает неумолимую логику, согласно которой Церковь и папство будут разлагаться и далее.

Всеми своими бедами Италия и итальянцы обязаны Церкви и папству. Отсюда сам собою напрашивался вывод: чтобы избавиться от всех этих бед, необходимо избавиться от Церкви и папства. И Макиавелли подает пример: он бичует пороки Церкви и церковников в талантливой, едко-сатирической пьесе «Мандрагора», которая и по сей день не сходит со сцен театров многих стран мира. Но главная заслуга Макиавелли в критике Церкви состоит в том, что он видит выход не в изоляции политики от религии и морали. Напротив, преодоление существующих морали и религии с их соответствующими институтами он видит прежде всего в политических преобразованиях, в уничтожении вековой раздробленности Италии, в создании нового современного объединенного итальянского государства, способного одновременно и в кратчайшие исторические сроки решить и все другие проблемы, в том числе и проблемы религии и морали. Именно поэтому Макиавелли все сводит к политике, то есть к искусству управлять людьми, чтобы, опираясь на их волю и согласие, основать великое государство. Он хорошо знал, что пока в Италии существует Церковь, пока существует папство, до тех пор будет оставаться ситуация, враждебная созданию нового государства, и это будет продолжаться до тех пор, пока религия не станет политикой государства, а не политикой папы, мешающей формированию сильных государств в Италии, политикой, преследующей негосударственные, а точнее, антигосударственные интересы.

---

[34] Ibid., pp 180—182.

IV

Макиавелли мечтал о создании централизованного, единого, сильного итальянского государства и делал для этого все, что мог делать человек на его месте,— он указывал пути, по которым следует идти, чтобы достигнуть этой цели, и средства, с помощью которых можно этой цели добиться.

Мы уже говорили о том, что одним из основных условий создания нового государства является формирование и развитие народной, национальной коллективной воли. Но уже тот анализ, который проводился Макиавелли, показывал, что все попытки создать эту национальную коллективную волю, предпринимавшиеся на протяжении веков, кончались провалом. Причину этих провалов Макиавелли ищет в социальных силах, в классах, в сословиях.

Известно, что зарождавшаяся буржуазия Коммун искала себе союзника в крестьянстве против империи и против местного феодализма. Буржуазия искала дешевую рабочую силу, а дворяне стремились закрепить крестьян за землей. В связи с нещадной эксплуатацией и жестоким обращением крестьяне все чаще бегут из деревни в город, который даже в период развития цивилизации Коммун выступает в роли руководящего элемента и элемента, углубляющего внутренние конфликты в деревне, и, следовательно, служит военно-политическим инструментом, постоянно ослабляющим феодализм.

Но было ясно и другое — что подобную реформу милиции, или создание народного ополчения, совершенно невозможно было осуществить без соответствующей демократической политики, которая предоставляла бы широким массам народа, и прежде всего рабочему люду, ремесленникам и особенно крестьянам, составлявшим большую часть населения, определенные, можно сказать, буржуазные права и свободы. Именно поэтому Макиавелли с такой силой обрушивался на дворянство и его привилегии, поскольку оно всячески сопротивлялось и мешало проведению намеченных реформ, и одновременно он, стремясь вовлечь огромные массы крестьянства в политическую жизнь, естественно, вольно или невольно способствовал развитию буржуазной демократии.

Согласно Макиавелли основной причиной гибели государств и уничтожения всякой нравственности и гражданственности является дворянское сословие: «...дворянами именуются те, кто праздно живет на доходы со своих поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных. И теми и другими переполнены Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. Именно из-за них в этих странах никогда не возникало республики и никогда не существовало какой-либо политической жизни: подобная порода людей — решительный враг всякой гражданственности» [35]. Поэтому Макиавелли советует просто искоренить дворян, ибо желающий создать республику там, где имеется большое количество дворян, не сумеет осуществить свой замысел, не уничтожив предварительно всех их до единого. Только после этого можно рассчитывать на построение республиканского строя.

Макиавелли достаточно точно определяет внутреннего врага государственности и гражданственности — дворянство. В более общем смысле традиционно враждебной силой, всегда выступавшей против формирования коллективной национальной воли, а следовательно, и против формирования единого итальянского государства, была земельная аристократия, вся сила которой покоилась на владении земельной собственностью. Из разложения буржуазии городских Коммун как класса досталось паразитическое наследие в виде сельской буржуазии, которая особенно яростно противилась любым видам и формам социального прогресса, и прежде всего национальному объединению. Если к этому добавить реакционные социальные слои, выражавшие космополитическую функцию Италии как престола Церкви и хранительницы традиций Священной Римской империи, которые вели активную борьбу со всеми прогрессивными тенденциями и устремлениями, и особенно ожесточенную борьбу против национального объединения, то станет понятно, что в условиях подобной экономико-корпоративной ситуации, действительно самой худшей из всех форм феодального общества,

[35] Niccolò Machiavelli. Opere scelte, p. 237.

не могла возникнуть, формироваться и развиваться действенная якобинская сила, которая в других странах вызвала к жизни и организовала народную, национальную коллективную волю и основала современные государства.

В связи с назревшей необходимостью построения нового, централизованного государства Макиавелли коренным образом переосмысливает основные функции армии.

В его время вооруженные силы были у каждого феодала, у каждого князя. Они, как правило, состояли из наемников, людей, привыкших к разгульной жизни, легкой наживе, различного рода авантюристов, искателей приключений, а то и просто всякого рода уголовных элементов: жуликов, грабителей, бандитов. Эти «армии», возглавляемые кондотьерами, заботились не столько об интересах государства, сколько о собственном обогащении посредством нападения на соседние города-государства. Эти войска в руках феодалов были своего рода силой, с помощью которой они отстаивали свои местнические интересы, направляя ее всякий раз против каких бы то ни было попыток создания единого национального государства.

Что касается защиты от посягательств иностранных государств на Италию, войска наемников не только были неспособны защитить интересы Италии, но чаще всего они или терпели поражение, или добровольно переходили на сторону врага.

Обобщая исторический опыт ведения государственных и военных дел, Макиавелли предлагает новому Государю отказаться от наемников и создать армию, состоящую из собственных граждан. Такая армия, по глубокому убеждению Макиавелли, не только достойно защищала бы интересы государства от нападения извне, но и была бы верной опорой новому Государю в делах внутренних, в борьбе против феодалов, в подавлении различных смут и в наведении порядка в стране. Создание и существование нового государства Макиавелли не мыслил без создания хорошо организованной, хорошо обученной армии, состоящей полностью из собственных граждан. Вот почему он уделяет столь большое внимание вопросам военного дела.

В своих работах, посвященных вопросам военного искусства, Макиавелли стремится, во-первых, показать полную непригодность наемных войск и, во-вторых, сформулировать основные принципы создания армии нового типа — народного ополчения, или народной милиции.

Что касается развенчания наемников, то здесь Макиавелли опирается и на прошлый и на современный ему опыт бесчисленного количества войн и сражений, в которых участвовали наемные войска. Показать непригодность армий наемников было не так уж трудно, гораздо труднее было предложить им замену.

В этом вопросе Макиавелли, понимая, с какими трудностями новое прокладывает себе дорогу, обращается к богатому военному опыту римлян, армии которых, их военная стратегия и тактика долгое время оставались образцом военного искусства.

Вопросы военного искусства Макиавелли рассматривает во всех своих основных произведениях: в «Государе», «Рассуждениях...», «Истории Флоренции» и в ряде других, включая дипломатические послания и переписку. Однако, видимо, учитывая исключительную важность этих вопросов, он создает труд «О военном искусстве».

В «Государе» он пишет специальную главу (XIV) о том, как надлежит Государю поставить военное дело. «Итак, Государь не должен иметь другой цели, другой мысли, никакого дела, которое стало бы его ремеслом, кроме войны, ее учреждений и правил, ибо это единственное ремесло, подобающее повелителю. В нем такая сила, которая не только держит у власти тех, кто родился князьями, но нередко возводит в это достоинство частных людей. И наоборот, можно видеть, что когда Государи думали больше об утонченной жизни, чем об оружии, они лишались своих владений. Главная причина потери тобой государства — пренебрежение к военному ремеслу, а условие приобретения власти — быть мастером этого дела... если ты безоружен... тебя презирают... между вооруженным и безоружным нет никакого соответствия... Итак, Государь никогда не должен отвлекать свой ум от занятий делами военными (а во время мира ему надо больше упражняться, чем на войне); этого он может достигнуть двумя способами: упражняться на деле или в мыслях»[36].

Макиавелли пытается соединить в военном деле теорию и опыт, теоретические размышления и упражнения мысли с практическими занятиями. Так, он рекомендует Государю обучать солдат, самому изучать свою страну, хорошо знать ее, ориентиро-

[36] Ibid., pp. 65—66.

ваться в любой местности. «Государь, у которого не хватает этой опытности, не имеет первого свойства полководца — того, которое учит настигать врага, располагаться лагерем, вести войска, распоряжаться боем и с пользой для себя осаждать города»[37]. То есть Государь должен обладать опытом ведения боевых операций, опытом ведения войны, сражений. Без такого практического опыта Государь обречен на поражение, и, напротив, обладание подобным опытом обеспечит победу.

Практический опыт военных действий должен обязательно дополняться или идти рука об руку с теоретическими упражнениями. «Что касается упражнений мысли, то Государь должен читать историю и сосредоточиваться в ней на делах замечательных людей, вглядываться в их действия на войне, изучать причины их побед и поражений, чтоб быть в состоянии избежать одних и подражать другим; всего важнее ему поступать, как уже поступал в прежние времена какой-нибудь замечательный человек, взявший за образец кого-либо, до него восхваленного и прославленного, жизнь и дела которого были всегда у него перед глазами. Так, говорят, что Александр Великий подражал Ахиллесу, Цезарь Александру, Сципион Киру... Подобных же путей должен держаться правитель мудрый и никогда не оставаться праздным в мирное время, но усердно накоплять силы, чтобы оказаться крепким в дни неудач, так что, если судьба от него отвернется, она нашла бы его готовым отразить ее удары»[38]. Таким образом, речь идет о скрупулезном изучении военных действий и военных сражений прошлого, изучении опыта выдающихся полководцев прошлого, об изучении побед и поражений, чтобы научиться побеждать и избегать поражений.

Макиавелли придавал столь важное значение военным вопросам, вопросам войны и мира, что в работе «О военном искусстве»[39] развивает основные идеи о военном деле, изложенные в «Государе».

В осмыслении вопросов войны и мира проявляются и реалистическая политика Макиавелли, и его демократизм, и учет современного ему европейского опыта, и основательное изучение опыта древних народов. Но главное, что пронизывает его работу «О военном искусстве», это подчинение народных масс руководящим слоям, чтобы создать народное ополчение, чтобы осуществить реформу народной милиции. В этом он видел одно из важнейших средств достижения поставленной цели — создание единого итальянского государства. «Но самый классический учитель политического искусства итальянских правящих групп — Макиавелли — также поставил эту проблему, естественно в пределах и в связи с заботами его времени; в военно-политических сочинениях Макиавелли достаточно хорошо видна необходимость органически подчинить народные массы руководящим слоям, чтобы создать национальную милицию, способную исключить наемные отряды»[40]. Естественно, даже сама постановка подобной проблемы представляла собой при всей ее конкретно-исторической ограниченности большой шаг вперед, ибо создание подобного ополчения решало ряд важных общественно-политических задач.

Макиавелли был убежден в том, что формирование национальной коллективной воли, создание нового, единого национального государства невозможно без вовлечения в активную политическую жизнь огромных масс крестьян. В этом основной смысл его инвектив против любых видов наемных войск, в этом вся страсть, весь его пафос за создание регулярной народной армии, народного ополчения, в этом суть его организации флорентийской государственной милиции. Вот что писал по этому поводу Грамши: «Любое формирование народно-национальной коллективной воли невозможно, если огромные массы крестьян-земледельцев не вторгнутся одновременно в политическую жизнь. Макиавелли стремился достигнуть этого через реформу милиции, это сделали якобинцы во время французской революции, в этом понимании следует видеть раннее якобинство Макиавелли, зародыш (более или менее плодотворный) его концепции национальной революции. Вся история начиная с 1815 года показывает усилие традиционных классов, чтобы помешать формированию коллективной воли такого рода, чтобы поддержать «корпоративно-экономическую» власть в международной системе пассивного равновесия»[41].

[37] Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 275.

[38] Там же, стр. 276.

[39] См. Niccolò Machiavelli. Opere scelte. Dell'arte della guerra, pp. 321—363. Никколо Макиавелли. О военном искусстве. М. Воениздат. 1939.

[40] Antonio Gramsci. Opere, v. 4, p. 74.

[41] Ibid., v. 5, p. 7.

Макиавелли подчеркивал тесную взаимосвязь и взаимозависимость хороших законов и хороших войск, и одновременно он показывал полную непригодность наемных армий. «Главные основы всех государств, как новых, так и старых или смешанных,— это хорошие законы и сильное войско. И так как не может быть хороших законов там, где нет сильного войска, а где есть сильное войско, конечно будут хорошие законы, то я не стану рассуждать о законах, а скажу о войсках. Итак, я считаю, что военные силы, с помощью которых князь защищает свое государство, являются или его собственными, или наемными, или вспомогательными, или смешанными. Наемные и вспомогательные бесполезны и опасны; и если кто-нибудь правит государством своим, опираясь на наемные отряды, он никогда не будет держаться крепко и прочно, потому что войска эти в разладе между собою, тщеславны и распущенны, неверны, отважны против друзей, жалки против врагов, без страха божия, без чести перед людьми, и гибель с ними отсрочена настолько, насколько отложено нападение; во время мира тебя будут грабить они, а во время войны враги. Причина этого та, что в них нет ни преданности, ни другого побуждения, удерживающего их в строю, кроме ничтожного жалованья, которого недостаточно, чтобы они были готовы за тебя умереть. Они охотно согласны быть твоими солдатами, пока ты не воюешь, но едва наступает война, они бегут или уходят. Убедиться в этом было бы нетрудно потому, что нет иной причины нынешнего разгрома Италии, кроме той, что она в течение многих лет полагалась на наемные войска»[42]. Здесь сказано практически все, что можно сказать о наемниках и наемных войсках вообще. Но Макиавелли на этом не останавливается — для характеристики наемников он не жалеет выражений. Добровольцы из чужеземцев никогда не принадлежат к числу лучших солдат, наоборот, это подонки страны: буяны, ленивые, разнузданные, безбожники, убежавшие из дому, богохульники, игроки — вот что такое эти охотники. Нет ничего более несовместимого с духом настоящего и крепкого войска, чем подобные нравы.

Цель Макиавелли состояла не в том, чтобы развенчать наемные войска, действия и поведение которых в мирное и военное время говорили сами за себя, нет, его цель заключалась в обосновании вывода, основанного на историческом опыте, что «только князья и республики, имеющие собственные войска, добиваются великих успехов, а наемные отряды никогда ничего не приносят, кроме вреда»[43], «все дело в том, что с помощью наемных войск достигаются только медленные, запоздалые и слабые успехи, а потери бывают внезапные и потрясающие»[44], «без собственных войск ни одно княжество не находится в безопасности; наоборот, оно всецело отдано на волю судьбы, не имея той силы, которая защищала бы его в несчастии... Собственные же войска — это те, которые составлены или из подданных, или из сограждан, или из людей, обязанных одному тебе; все остальные — наемные или вспомогательные. Средства образовать свои войска найдутся легко»[45].

Лейтмотив военной мысли Макиавелли — создание собственных войск, опора на собственные силы. Сильное, объединенное новое государство должно иметь новую армию из своих собственных граждан, которые могли бы в любое время встать на защиту свободы и независимости своей родины. Только собственные войска, собственная регулярная армия может соответствовать новому государству, служить ему верой и правдой. Все остальные виды войск изжили себя: наемные войска опасны своей трусостью, вспомогательные — своей доблестью, а смешанные войска (частью наемные, частью собственные) гораздо лучше, чем просто вспомогательные или просто наемные, но много хуже собственных.

Стремление Макиавелли создать новую регулярную армию, которая бы соответствовала новому государству, понятно: речь идет об уничтожении наемных войск вместе с их кондотьерами, которые использовались князьями в своих корыстных интересах. Естественно, подобные кондотьерские войска не только не могли быть опорой и защитой нового государства, но они чаще всего использовались именно как сила, противостоящая объединению мелких государств в единое национальное итальянское государство. Отсюда та неприязнь и ненависть к ним со стороны Макиавелли. Отсюда же и тот пафос, с которым он отстаивает создание собственных войск, собст-

[42] Никколо Макиавелли. Сочинения, т. I, стр. 262—263.
[43] Там же, стр. 264.
[44] Там же, стр. 267.
[45] Там же, стр. 273.

венной регулярной армии, подчиненной только государству и защищающей государственные интересы. Становится понятным и то исключительное внимание, какое Макиавелли уделяет военному делу.

Прежде всего хотелось бы привести одно место, содержание которого свидетельствует о правильных взглядах Макиавелли на войну, о его правильном отношении к войне как ремеслу: «...война — это такого рода ремесло, которым частные люди честно жить не могут, и она должна быть делом только республики или королевства. Государства, если только они благоустроены, никогда не позволят какому бы то ни было своему гражданину или подданному заниматься войной как ремеслом, и ни один достойный человек никогда ремеслом своим войну не сделает. Никогда не сочтут достойным человека, выбравшего себе занятие, которое может приносить ему выгоду, если он превратится в хищника, обманщика и насильника и разовьет в себе качества, которые необходимо должны сделать его дурным. Люди, большие или ничтожные, занимающиеся войной как ремеслом, могут быть только дурными, так как ремесло это в мирное время прокормить их не может. Поэтому они вынуждены или стремиться к тому, чтобы мира не было, или так нажиться во время войны, чтобы они могли быть сыты, когда наступит мир. Ни та, ни другая мысль не может зародиться в душе достойного человека; ведь если хотеть жить войной, надо грабить, насильничать, убивать одинаково друзей и врагов, как это и делают такого рода солдаты. Если не хотеть мира, надо прибегать к обманам, как обманывают военачальники тех, кому они служат, притом с единственной целью — продлить войну. Если мир все же заключается, то главари, лишившиеся жалованья и привольной жизни, часто набирают шайку искателей приключений и бессовестно грабят страну»[46]. Эти слова звучат так, будто они написаны сегодня. Здесь Макиавелли предстает перед нами как человек, глубоко ненавидящий войну, разбои, насилие во всех его видах и формах. Макиавелли предстает здесь как великий гуманист.

На протяжении всего произведения мы видим, как Макиавелли упорно и настойчиво обсуждает римскую организацию военного дела, структуру армии, военное мастерство, мужество, храбрость, закалку, дисциплину, стойкость духа римских легионеров. По существу, разговор молодых людей (Фабрицио Колонны, возвращающегося из Ломбардии, где он долго сражался за короля, Козимо Ручеллаи, в садах которого проходит разговор, и его друзей Заноби Буондельмонти, Баттисты делла Палла, Луиджи Аламанни) представляет собою исследование римского военного дела, его достоинств, его стратегии и тактики и попытку их применения к созданию народного ополчения, народной милиции.

Так, на вопрос о том, что бы он хотел ввести похожего на древние нравы, Фабрицио отвечает: «Почитать и награждать доблесть, не презирать бедность, уважать порядок и строй военной дисциплины, заставить граждан любить друг друга, не образовывать партий, меньше дорожить частными выгодами, чем общественной пользой, и многое другое, вполне сочетаемое с духом нашего времени» [47]. Подобное высказывание выглядит как своеобразная позитивная программа, явно противопоставленная тому, что тогда имело место во всех итальянских государствах, в том числе и во Флоренции.

Положение о том, что ни один достойный человек не изберет себе войну ремеслом и ни одно благоустроенное государство никогда не позволит своим подданным или гражданам превратить войну в ремесло, подкрепляется аргументом о чистоте республиканских нравов и о прочности устоев Древнего Рима.

Согласно Макиавелли известность Помпея, Цезаря и почти всех римских полководцев после Третьей Пунической войны объясняется их храбростью, а не гражданскими доблестями, ибо война для них была ремеслом. Полководцы, которые были до них, прославились и как храбрые воины и как достойные люди, ибо они не делали из войны ремесла. «Пока держалась чистота республиканских нравов, ни один гражданин, даже самый гордый патриций, и не думал о том, чтобы, опираясь на военную силу, в мирное время попирать законы, грабить провинции, захватывать власть и тиранствовать над отечеством; с другой стороны, даже самому темному плебею не приходило в голову нарушать клятву воина, примыкать к частным людям, презирать Сенат или помогать установлению тирании ради того, чтобы кормиться в любое время военным ремеслом. Военачальники удовлетворялись триумфом и с радостью возвращались в частную

[46] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, стр. 30.
[47] Там же, стр. 27—28.

жизнь; солдаты слагали оружие охотнее, чем брались за него, и каждый возвращался к своей работе, избранной как дело жизни; никто и никогда не надеялся жить награбленной добычей и военным ремеслом»[48].

Под чистотой республиканских нравов Макиавелли понимает прежде всего уважение к свободе граждан, уважение к свободе республики, уважение к ее законам. Только когда этой свободе угрожала опасность или когда она попиралась, граждане ее брались за оружие, но как только необходимость в этом отпадала, они с радостью возвращались к своему очагу и к своей мирной профессии; ведь одной из главных привилегий, какую римский народ мог предоставить своему гражданину, была свобода служить в войске по собственной воле, а не по принуждению.

Все мысли и все аргументы Макиавелли направлены на то, чтобы и военное дело поставить на службу государству и сделать его государственным делом. «Пока крепки были устои древнего Рима, т. е. до времен Гракхов, не было солдат, для которых война стала бы ремеслом, а потому в войске было очень мало негодных людей, а если такие обнаруживались, их карали по всей строгости закона. Всякое благоустроенное государство должно поэтому ставить себе целью, чтобы военное дело было в мирное время только упражнением, а во время войны — следствием необходимости и источником славы. Ремеслом оно должно быть только для государства, как это и было в Риме. Всякий, кто, занимаясь военным делом, имеет в виду постороннюю цель, тем самым показывает себя дурным гражданином, а государство, построенное на иных основах, не может считаться благоустроенным» [49]. Учитывая огромную важность военного дела в жизни общества и государства, Макиавелли стремится изъять его из рук мелких тиранов и кондотьеров и передать в ведение Государя и государства, ибо согласно его убеждению только в этом случае военное дело будет применяться с пользой для общества и государства, то есть будет поставлено на службу общему благу.

Здесь возникает вопрос о том, кто и как будет распоряжаться войском, какая власть будет предоставлена тем, кому должны подчиняться вооруженные силы.

Некоторые исследователи полагали, что раз Макиавелли настаивал на объединенном государстве — республике, а затем и монархии,— то, естественно, он требовал неограниченной власти для Государя. С этим мнением трудно согласиться.

Во-первых, сам Макиавелли постоянно обращал внимание на то, что лучшая власть или форма правления — смешанная, включающая в себя правление представителей различных слоев и классов. Так, в «Рассуждениях...» он говорит, что смешение правления царей, оптиматов и народа сделало Римскую республику совершенной.

Во-вторых, Макиавелли словами Фабрицио говорит: «В королевствах, обладающих хорошими учреждениями, у короля нет неограниченной власти, кроме одного только исключения — войска; это единственная область, где необходимо быстрое решение, а следовательно, единая воля. Во всем остальном короли ничего не могут делать без согласия совета» [50]. Отсюда следует, что неограниченная власть представлялась только в виде исключения — тогда, когда монарху надо было принимать быстрое решение, и прежде всего в период военных действий. При этом неограниченная власть монарха распространялась только на войска, а вовсе не на весь общественный и государственный механизм.

В-третьих, опасаясь превращения войска в своеобразное государство в государстве и обращения этой силы против существующей государственной власти по примеру римских императоров Октавиана, Тиберия и других, которые, думая больше о собственном могуществе, чем об общественном благе, начали разоружать римский народ, держать легионы на границах империи и, главное, создали специальные войска (преторианцев) из преданных им людей, которые стали грозой и для сената и для народа,— опасаясь подобного перерождения войска, Макиавелли требовал разделения власти над войском, постоянной смены военачальников, рядового состава, перемещения и перегруппировки воинских подразделений и т. д., что в какой-то мере предотвращало захват власти военачальниками, но безусловно отрицательно сказывалось на боеспособности созданной им милиции, или народного ополчения, поскольку лишение военачальников необходимой им власти, подрыв укоренения их авторитета среди бойцов ополчения исключали строгую воинскую дисциплину, твердый порядок, не говоря уж о неукоснительном исполнении воинского долга. Макиавелли настолько опасался выступлений войск против

[48] Там же, стр. 32.
[49] Там же, стр. 33.
[50] Там же, стр. 34.

существующей власти, что настоятельно рекомендовал: «...когда настает мир, король должен позаботиться о том, чтобы князья вернулись к делу управления своими вассалами, дворяне — к хозяйству в своих владениях, пехотные солдаты — к обычным занятиям, и вообще добиться того, чтобы все они охотно брались за оружие во имя мира, а не старались нарушить мир во имя войны»[51]. Последние слова звучат так, как будто они написаны сегодня. Эти и подобные высказывания Макиавелли («...я должен любить мир и уметь вести войну» [52], «Война родит воров, а мир их вешает» [53] и другие) опровергают расхожие мнения о нем как об апологете войны. Гораздо с большим основанием Макиавелли следует считать защитником мира и согласия между народами, ибо его концепция войны и мира была направлена на укрепление мира, а ведение войны признавалось им лишь в случае необходимости, притом необходимости исторической — создания нового, единого государства или защиты государства от врагов.

Макиавелли без устали повторяет слова, приобретающие уже характер лозунга: «...лучшая армия та, которая составляется из своих же граждан, и только этим путем можно такую армию образовать»[54], «...нельзя опираться ни на какое оружие, кроме своего»[55] — и это говорится после того, как созданное им народное ополчение потерпело поражение и перестало существовать.

Может быть, Макиавелли уже забыл об этом горьком для него уроке? Напротив, именно этот горький урок заставил его с еще большей основательностью и тщательностью разрабатывать свою концепцию народного ополчения, или народной милиции. Помня этот урок, Макиавелли заявляет: «Вообще нельзя создать такое войско, за непобедимость которого можно было бы ручаться. Ваши знатоки не должны судить о негодности милиции по одной неудаче: сражение можно одинаково проиграть и выиграть, но главное — это устранить причины поражения. Если начать доискиваться этих причин, то нетрудно убедиться, что сила здесь не в недостатках принятого у вас порядка, а в том, что он еще не доведен до совершенства. Необходимо, как я уже говорил, не осуждать милицию, а исправлять ее» [56]. И далее Макиавелли предлагает меры по совершенствованию своего детища — милиции.

Он убежден и пытается в этом убедить других, что оружие в руках собственных граждан или воинов, врученное им в силу закона, никогда еще не приносило вреда, наоборот, оно всегда было полезно. Мысль, что жители страны окажутся неспособными защищать ее оружием, еще никогда не приходила в голову ни одному законодателю республики или царства. Для подкрепления своих позиций он приводит следующий аргумент: «...деление на классы представляет не что иное, как всеобщее вооружение народа, дававшее возможность немедленно собрать войско для защиты города»[57]. Эта мысль Макиавелли была обобщением исторического опыта: всеобщее вооружение народа спасло от гибели многие государства и республики.

Основой милиции Макиавелли считал отбор солдат. Опираясь на положительный и отрицательный исторический опыт создания армий, Макиавелли рекомендует набирать бойцов для милиции из крестьян: «...крестьяне, привыкшие обрабатывать землю, предпочтительнее кого бы то ни было другого, ибо из всех существующих это ремесло применимо в войске лучше всего. Затем идут слесаря, плотники, кузнецы, каменщики, которых в войске должно быть много; ремесло их часто может пригодиться, и очень хорошо иметь в войске солдат, от которых бывает двойная польза» [58]. Мы уже обращали внимание на то, что для Макиавелли главная задача состояла в том, чтобы при помощи организации милиции вовлечь в активную политическую деятельность огромные массы крестьянства. Это было основной причиной того, почему Макиавелли рекомендовал формировать милицию из крестьян. Но он понимал и то, что крестьяне оказываются наиболее приспособленными для несения военной службы, поскольку они лучше всех других слоев умеют трудиться, а потому оказываются пригодными практически для любой работы.

Макиавелли не отвергает портрета солдата, описанного военными писателями: живые и веселые глаза, крепкая шея, широкая грудь, мускулистые руки, длинные

[51] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, стр. 36.
[52] Там же, стр. 38.
[53] Там же, стр. 31.
[54] Там же, стр. 43.
[55] Там же, стр. 46.
[56] Там же, стр. 44.
[57] Там же, стр. 46.
[58] Там же, стр. 47.

пальцы, втянутый живот, полные бедра, худые ноги — такой солдат всегда будет ловок и силен. Но сам Макиавелли говорит, что «особенное внимание надо обращать на нравственность: солдат должен быть честен и совестлив; если этого нет, он становится орудием беспорядка и началом разврата, ибо никто не поверит, что дурное воспитание может создать в человеке хотя бы крупицу достохвального воинского мужества»[59]. Вот это положение Макиавелли о личной добродетели солдата, о его нравственных качествах представляло собой в зародыше учение о нравственном факторе армии, ее духовной стойкости. Другое дело, что Макиавелли не удалось привить созданной им милиции ни железной дисциплины, за которую он ратовал, ни той высокой нравственности, которую он хотел видеть у каждого солдата и у всего ополчения.

Численность милиции согласно Макиавелли должна быть большой, ибо она «создается для обучения людей воинскому строю» [60].

Учреждение милиции должно решать по замыслу Макиавелли ряд серьезных задач: она пресекает возможность смут, предупреждает взаимные столкновения; «Если страна, в которой создается милиция, так мало воинственна, что граждане не носят оружия, или настолько едина, что в ней нет главарей партий, то создание милиции сильно ожесточит их против внешних врагов, но никоим образом не разъединит их друг с другом... Наоборот, если страна, в которой учреждается народное войско, воинственна и разъединена, то только такое учреждение, как милиция, способно объединить ее вновь... Учреждение милиции дает оружие, годное для войны, и начальников, которые будут подавлять беспорядки. В такой стране всякий, кто чем-нибудь обижен, обычно идет к главарю своей партии, который, чтобы поддержать свое влияние, склоняет его к мести, а не к миру. Совершенно обратно поступает начальник учреждения государственного; поэтому создание милиции устраняет поводы к раздорам и подготовляет единение граждан. Страны единые и изнеженные излечиваются от слабости и сохраняют единство; страны, разъединенные и склонные к междоусобиям, объединяются, и та отвага, которая обычно проявляется в разнузданности, обращена на пользу общественную» [61]. Таковы основные идеи и аргументы, развиваемые Макиавелли в пользу создания и совершенствования народного ополчения, народного войска, или народной государственной милиции.

Интересны соображения Макиавелли о воспитании рядовых солдат, о требованиях, которые он предъявлял к полководцам (сила воли, твердость, мужество, решительность, большие знания во всех областях военного искусства и т. д.), о средствах, с помощью которых достигают строгой дисциплины, военного мастерства, хорошей военной организации, материального обеспечения и военного снабжения войск, о вопросах пополнения армии молодежью, о роли пехоты и ее соотношении с конницей и артиллерией, о роли огнестрельного оружия, о вопросах соотношения гражданской и военной жизни, о значении военного дела для экономики и многие другие вопросы, не потерявшие своего значения и по сей день. Хотя многое в его учении, естественно, уже устарело.

Свои идеи о военном искусстве Макиавелли стремился воплотить в жизнь. Благодаря его личным усилиям во Флорентийской республике еще в 1506 году было создано народное ополчение, численность которого достигла 20 тысяч человек. В основном это ополчение состояло из пехотинцев. А в 1510 году Макиавелли добился и создания конной милиции. Это народное ополчение, или милиция, созданное Макиавелли, просуществовало около семи лет.

В 1512 году испанцы начали войну против Флоренции, чтобы поставить у власти снова семью Медичи. В этой войне, несмотря на мужественное сопротивление бойцов народного ополчения, победили испанцы. Падение республики, реставрация Медичи означали конец народного ополчения, или милиции, созданного Макиавелли. Сам Макиавелли, заподозренный в заговоре против Медичи, был отстранен от всех постов, посажен в тюрьму, подвергнут пыткам, а затем отправлен в ссылку.

Почему же столь важная, правильная и прогрессивная идея Макиавелли о создании народного ополчения, народной милиции, или народной армии, не смогла до конца реализоваться и просуществовала столь небольшое время?

Во-первых, видимо, практически невозможно было соединить народную армию с идеей государственности, как и вообще невозможно решать проблемы настоящего средствами и методами далекого прошлого.

---

[59] Там же, стр. 48.
[60] Там же, стр. 53.
[61] Там же, стр. 53—54.

Во-вторых, Макиавелли возлагал большие надежды на народную армию, полагая, что она должна была многое сделать в смысле объединения народа и мелких государств в единое, мощное национальное государство, видимо не отдавая себе отчета в том, что подобная армия, как и любая армия, является продуктом и органом государства. Поэтому, чтобы создать народную армию, народную милицию, или народное ополчение, необходимо было прежде всего создать новое государство или по крайней мере создавать их одновременно. Для этого потребовалось еще несколько столетий.

В-третьих, создание подлинно народной армии, или милиции, как и народного государства, в эксплуататорском обществе невозможно.

И тем не менее идеи Макиавелли о народном ополчении, или милиции, пробьют себе дорогу через века: его идеями воспользуются якобинцы, а в критически переработанном виде эти идеи войдут, как подчеркивал Грамши, и в философию практики.

Учение Макиавелли о создании народной милиции, народного ополчения, опережает свою эпоху на несколько столетий, прокладывая новые пути социального и духовного обновления наций, пути национальной революции. В этом смысле учение о народном ополчении входило органической частью в его концепцию национальной революции, предполагающую формирование народной национальной коллективной воли, интеллектуальную и моральную реформу, конституирующую структуру труда, культурную реформу, то есть гражданское возвышение угнетенных слоев общества, основывающееся на конкретной программе экономических преобразований.

Сам Макиавелли отдавал себе отчет в том, что ему уже не удастся увидеть реализацию своих идей. Может быть, поэтому его книга «О военном искусстве» завершается словами, полными элегии и драматизма: «Кто пренебрегает этими мыслями, равнодушен к своей власти, если он князь, и к отечеству, если он гражданин республики. Я считаю себя вправе роптать на судьбу, потому что она должна была либо отказать мне в возможности познания таких истин, либо дать мне средства осуществить их в жизни. Теперь, когда я стар, случая к этому, конечно, больше не представится. Я потому-то и откровенен с вами, что вы молоды, занимаете высокое положение и, если согласитесь со мной, можете в нужный момент воспользоваться благосклонностью к вам князей и быть их советниками в преобразовании военного дела. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо наша страна как бы рождена для воскрешения всего, что исчезло, и мы видели это на примере поэзии, живописи и скульптуры. Возраст мой уже не позволяет питать подобные надежды, но если бы судьба в прошлом дала мне необходимую власть, я в самое короткое время показал бы всему миру непреходящую ценность античных воинских установлений. Верю, что мог бы вознести свою родину на высоты могущества или, по крайней мере, погибнуть без позора» [62]. Такова трагедия этого великого сына и патриота Италии, гениального мыслителя, основоположника политической науки, политической философии и мировоззрения.

Подавляющее количество работ о Макиавелли мало связано с анализом духовной ситуации его времени и с анализом конкретного творчества его выдающихся современников. В равной мере работы, посвященные рассмотрению творчества Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и других мастеров, также почти не касаются политических воззрений Макиавелли. А ведь эти гении жили почти в одно время и бились над решением одних и тех же основных проблем, выдвинутых эпохой, и прежде всего над проблемами, поставленными реальной ситуацией конкретно-исторической жизни Италии того времени.

Самой общей, важной и острой проблемой, которую пытались решить эти выдающиеся мыслители, была проблема свободы, понимаемая широко, универсально: и как свобода от всех пут, сковывавших человека, общество, государство,— политических, нравственных, эстетических, религиозных и т. д.; и как свобода духа во всех его формах — политики, права, морали, философии, искусства, религии; и как свобода творчества, не ограниченная никакими нормами, обычаями, формами, приемами, способами, традициями, установлениями, канонами, догмами и т. д.,— словом, свобода как свобода мысли, действия, творчества.

Проблема истины — столь же общая, важная и острая проблема, как и проблема свободы, и понимаемая столь же широко и универсально: истина вещей, явлений, событий, открытие истины в процессе познания мира, вселенной, человека, макро- и микрокосмоса, явлений природы и человеческого духа.

Наконец, не менее общая и универсальная проблема, которой занимались великие

[62] Никколо Макиавелли. О военном искусстве, стр. 217.

мастера с особым вдохновением,— проблема красоты, или прекрасного, во всех ее проявлениях, измерениях, видах, жанрах, типах, воплощениях. Биение мысли, сердца, кипение страстей, внутренняя борьба духовных сил, поднимающаяся до самых высоких уровней драматизма и трагизма, различные способы осмысления действительности, внешнего, объективного мира и мира внутреннего, субъективного, способы конструирования новой реальности, отражение существующего, его выражение, а также все формы самовыражения и все способы воздействия на людей — все это мыслилось и осуществлялось через прекрасное и посредством прекрасного.

Что касается проблематики итальянской действительности того времени, то независимо от тем, сюжетов, образов, разрабатывавшихся художниками Возрождения, она составляла существо творчества каждого из них, высвечивая его содержание в соответствии с теми силами, которые так или иначе выражали историческую необходимость. Ведь идеи, которыми они были одержимы, концепции, которые они выдвигали, были настолько новы, неожиданны и фундаментальны, что именно в силу этого можно только предполагать и догадываться, каким могучим талантом, историческим чутьем и прозорливостью они обладали, чтобы сквозь толщу религиозно-идеологических и мистико-мифологических наслоений, архаических догматов и предрассудков почувствовать, ощутить, разглядеть, понять и осмыслить те зерна и крупицы будущего, которые благодаря их пластическому воплощению обретут характер открытий и откровений.

История аналитическо-синтетического осмысления и пластического освоения и воплощения проблем свободы, истины и красоты в творчестве мастеров Возрождения, а может быть, и в творчестве вообще, есть история зарождения, становления и развития исторического смысла и смысла истории. И наоборот, ретроспекция исторического смысла и смысла истории, постановка и решение проблем свободы, истины и красоты знаменовали решающие этапы социально-исторического и культурно-художественного прогресса, в соответствии с поступью которого выстраивалась многосложная, многозначная, многообразная и наполненная конкретно-историческим содержанием категориальная система, охватывающая сферы науки, искусства, истории, политики, морали, права, государства, философии,— словом, категориальная система, отражающая законы развития природы, общества, человеческого мышления, развития всего существующего.

Не потому ли творчество каждого из этих великих мастеров и почти каждое отдельное произведение любого из них воспринимались как открытие, как истина, как откровение? Не потому ли каждый из них не просто занимался живописью, скульптурой, или архитектурой, или всеми видами искусства и многими отраслями науки вместе, а ставил перед собой серьезные проблемы, имеющие общечеловеческий характер и значение? Не потому ли каждый из них так глубоко и целенаправленно осваивал историю искусства и историю культуры в целом, чтобы с достигнутого уровня начать исследование современности, плодотворный поиск решения современных проблем и создание новых художественных ценностей?

При рассмотрении творчества Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и других великих художников Возрождения следует иметь в виду, что многовековое господство христианской религии и католической Церкви привело к тому, что все проблемы политики, морали, права, государства и т. д. ставились и решались на основе религиозного мировоззрения, в его свете и в его пределах или, по крайней мере, с оглядкой на него. Эта традиция была настолько привычной, укорененной и всеобъемлющей, что вопрос о выходе за ее пределы почти не возникал, а если и ставился, то в исключительно редких случаях. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что гениальные художники и мыслители эпохи Возрождения ставили и решали важнейшие проблемы в тесной связи с религией, религиозными сюжетами, религиозным культом, религиозными культурными постройками и чаще всего по заказу религиозных и церковных деятелей.

Не потому ли великие мастера обращают взоры к античности, произведения которой представлялись им абсолютно совершенными образцами, превосходящими даже природу, образцами, которым, казалось, можно лишь подражать, но не превзойти? Это обращение к произведениям, а следовательно, к культуре и мировоззрению античности, было выходом за пределы средневековой феодальной системы, средневекового религиозно-догматического мышления и мировоззрения, поскольку античность имманентно включала в себя языческие верования, языческое преклонение перед живой жизнью, непосредственное отношение к ней, уважение к человеку, к истине, к свободе, к законам и государству, к искусству и творчеству, наконец, к прекрасному во всем, что окружает человека,— в природе, в искусстве, в мышлении.

Более чем тысячелетняя традиция христианской религии и католической Церкви, принижавшая человека и человеческий разум, отводившая человеку и его разуму ничтожную, пассивную роль созерцателя происходящих событий как мимолетных, преходящих, суетных, не имеющих никакого значения, отвращавшая человека и его разум от познания реальной действительности и реальной, объективной, абсолютной истины, направлявшая его помыслы и устремления в мир сверхъестественный, потусторонний, на созерцание иллюзорных отражений и отсветов божественной истины и божественного интеллекта,— эта казавшаяся несокрушимой традиция под напором возрождавшейся античной культуры дала первые трещины, а затем мощное и широкое течение культуры эпохи Возрождения начало взламывать, крушить и уносить прочь лед средневековья, чтобы из бурного, стремительного потока возводить гуманистические идеалы свободы, истины, добра и красоты.

«Дерзновение искания истины,— говорил Гегель,— вера в могущество разума есть первое условие философских занятий. Человек должен уважать самого себя и признать себя достойным наивысочайшего. Какого высокого мнения мы ни были бы о величии и могуществе духа, оно все же будет недостаточно высоким. Скрытая сущность вселенной не обладает в себе силой, которая была бы в состоянии оказать сопротивление дерзновению познания, она должна перед ним открыться, развернуть перед его глазами богатства и глубины своей природы и дать ему наслаждаться ими» [63]. Эти слова Гегеля относятся ко всей человеческой деятельности, ко всему человеческому творчеству: поиск истины, добра и красоты нерасторжимо связан с поиском свободы, с освобождением человека от всего, что его унижает, оскорбляет, порабощает, что вводит его в заблуждение или держит в плену иллюзорных представлений, идей, идеалов.

Становится понятной та одержимость, с которой вели свой поиск великие мастера Возрождения, те неистовство и страсть, с которыми они разрушали устоявшиеся нормы, обычаи, традиции и представления и с какими они создавали свое новое искусство. Великие мастера эпохи Возрождения возвращают человека и искусство к природе, но уже не к той природе, которая у греков была населена богами, а к природе, населенной людьми.

Еще Гегель верно заметил, что для греков природа была лишь исходным пунктом, и в этом можно видеть известное принижение или унижение природы, выражающееся в греческом искусстве в теме войны богов с титанами как силами природы, которых боги стремятся лишить власти. Но эти новые боги во главе с Зевсом еще во многом сохраняют в себе природные моменты и, естественно, в самой этой борьбе с титанами, олицетворявшими силы природы, сохраняют и известное отношение к ним. Эти новые боги представлены в облике прекрасных индивидуальностей, выражающих античные представления о гармонии физического и духовного, о единстве нравственного и прекрасного — калокагатии.

Антропоморфизм греческих богов следует рассматривать не как недостаток, а, наоборот, как достоинство, ибо благодаря ему сохранялась связь человека с природой: красота человека экстраполировалась на природу, а красота природы — на человека. Благодаря антропоморфизму мир богов носил во многом человеческий характер — ведь боги обитали среди людей, а человек во многом приближался к божественному, если иметь в виду, что характеры богов были слепком с человеческих характеров. Греки создавали себе совершенных и прекрасных богов, чтобы самим стать более совершенными и более прекрасными. Эта деятельность по созданию и совершенствованию богов была во многом деятельностью по созданию и совершенствованию самих себя, равно как и работа над собой выражалась в создании и совершенствовании богов и божественного.

Поскольку каждый бог имел свою сферу, в которой господствовал, свое назначение и свой характер, то божественное не носило характер абсолютного и универсального. Даже Зевс, как верховный властитель, как бог над богами, или бог богов, не имел абсолютной власти ни над богами, ни над людьми [64] — олицетворением абсолютной

---

[63] Гегель. Логика. Сочинения. М.—Л. Госиздат. 1929, т. I, часть первая, стр. 16.

[64] Вот что пишет об этом Гегель: «Зевс есть отец богов, но у каждого из них есть своя воля; Зевс уважает их, а они его; правда, он иногда бранит их и грозит им, и тогда они или подчиняются его воле, или сердито удаляются, но они не доводят этих разногласий до крайних пределов, и Зевс, дозволяя одному одно, а другому другое, в общем устраивает все так, что они могут быть довольны. Следовательно, и на земле и в мире олимпийцев существует лишь слабая объединяющая связь; царская власть еще не является монархией, так как потребность в ней обнаруживается лишь при дальнейшем развитии общества» (Сочинения, т. VIII, стр. 218).

власти, абсолютно господствующего, безусловно и абсолютно необходимого начала был безымянный, безличный, бесформенный, безразличный, безучастный, неотвратимый рок. Его положительными качествами были лишь необходимость, печаль и равенство всех перед неотвратимым приходом этого рока. Следовательно, антропоморфизм греческих богов был в известной мере выражением их гуманизма — человеческого отношения человека к человеку, человека к самому себе. Почитая своих богов, греки почитали самих себя, наделяя их своими лучшими качествами, они сами становились более человечными, а значит, более божественными, поклоняясь им, они поклонялись лучшему в себе. Не потому ли греки создавали богов по своему образу и подобию, а создав их такими, в высшей степени человечными и прекрасными, стремились во всем походить на своих богов? Не потому ли их боги были в высшей степени индивидуальны, живы и конкретны, что они олицетворяли доброе и прекрасное, а абстрактное, безымянное, бесформенное начало — рок — олицетворяло неизбежную необходимость?

Каковы же судьбы учения Макиавелли и его идей?

Достаточно широко распространено мнение, что значение Макиавелли не в его теории или политической системе. У него-де, собственно, и нет теории или системы в смысле глубоко обдуманного и широко разветвленного учения об обществе или хотя бы о государстве. Он согласно мнению сторонников этой точки зрения был лишен вкуса к философскому углублению вопросов и к широким социологическим обобщениям, поскольку его подлинная сфера — политическая публицистика на материале современных животрепещущих событий или на основе исторических событий, как они были препарированы историками древнего мира. Цель, которую ставил перед собой Макиавелли, они усматривали в прямом, непосредственном воздействии на ход современных ему политических событий. Содержание его «Рассуждений...» и чисто служебных «Донесений» они сводили к записи непосредственных наблюдений человека, стоящего около самого центра борьбы за власть.

Согласно сторонникам этой точки зрения социальное содержание власти, ее социальная характеристика, якобы мало интересовало Макиавелли, поскольку это содержание оставалось приблизительно неизменным. Внимание Макиавелли якобы привлекал сам процесс борьбы за власть. Так, в «Государе» его внимание поглощено не вопросом о смене у власти различных социальных групп, об условиях и смысле этой смены, а механикой самой борьбы за власть в пределах данной узкой социальной группы. Мы уже могли убедиться, насколько далека подобная интерпретация учения Макиавелли от действительной картины.

В самом деле, Макиавелли, как идеолог восходящего класса буржуазии, ставил перед собой цель — уничтожение феодальных порядков, построение нового, централизованного, единого итальянского государства. Следовательно, речь шла о том, чтобы заменить власть огромного количества мелких государств феодалов, тиранов, сеньоров, власть феодальную, ставшую тормозом в социально-экономическом, политическом и культурном развитии Италии и Европы того времени, властью буржуазной, властью, способной дать новые стимулы развитию производительных сил и производственных отношений, преобразовать промышленность, сельское хозяйство, торговлю, развязать инициативу и социальную активность широких народных масс.

В произведениях Макиавелли речь идет именно о том, каким образом достигнуть этой общенациональной и, можно сказать, общеевропейской цели. Если формирование коллективной воли, способной привести народ к объединению в единое национальное государство, если создание новых законов и новой армии как основных опор нового государства считать «техникой», то сам термин «техника» теряет смысл, ибо речь шла не о замене одного тирана или феодала другим или о замене одного князя другим, а о замене феодального строя строем капиталистическим, то есть речь шла о смене одной общественно-экономической формации другой со всеми вытекающими из этой смены последствиями.

Чтобы осуществить этот грандиозный переворот, эту революцию, простой «техники» борьбы за власть было недостаточно. Макиавелли хорошо знал и понимал это. Вот почему он стремился вовлечь в активную политическую жизнь, в борьбу против феодалов широкие народные массы. Вот почему он уделяет столь большое внимание выработке новой политической идеологии, способной воспитать народ в новом духе, предоставив ей предварительно автономию от господствующей морали и идеологии. А чтобы эти идеи не остались идеями, а нашли бы воплощение в жизни, Макиавелли

стремится создать новую армию, состоящую не из наемников, а из собственных граждан, армию, способную подавить внутренних врагов нового государства — феодалов и врагов внешних — иноземных захватчиков.

Макиавелли не был ни «чрезмерным», ни, следовательно, поверхностным и механическим реалистом, интересующимся только тем, что есть, а не тем, что должно быть, а потому и не видящим перспективы, ни холодным, лишенным страсти ученым, исходившим только из реальной действительности, а потому не принимающим активного участия в политической борьбе. «Но Макиавелли не является чистым ученым; он является человеком партии, человеком могучих страстей, политиком в действии, который хочет создать новое соотношение сил, и поэтому он не может не заниматься тем, что «должно быть», которое понимается, конечно, не в моралистическом смысле. Следовательно, вопрос нельзя ставить в этих пределах, он гораздо сложнее: то есть речь идет о том, чтобы видеть, является ли то, что «должно быть», произвольным или необходимым актом, конкретной волей или безнадежной мечтой, желанием, неясным устремлением. Политик в действии есть творец, человек, побуждающий к действию, но и он не создает из ничего и не вращается в туманной пустоте своих желаний и мечтаний. Он основывается на реальной действительности, но какова эта реальная действительность? Может быть, она является чем-то статическим и неподвижным, а не просто соотношением сил, находящихся в постоянном движении и изменении равновесия? Применять волю к созданию нового равновесия реально существующих и действующих сил, основываясь на этой определенной силе, которая остается прогрессивной, и постоянно наращивая ее мощь, чтобы делать ее победоносной,— это и значит всегда двигаться в сфере реальной действительности, но действовать так, чтобы господствовать над ней и превзойти ее (или содействовать этому). Таким образом, «должно быть» есть конкретность, больше того, есть единственная реалистическая и историческая интерпретация действительности, есть единственная история в действии и философия в действии, единственно верная политика» [65]. Эти слова Грамши полностью относятся к Макиавелли как к личности, как к политику и к его методу анализа и методу действования. Не просто вращение в сфере реальной действительности ради сохранения существующего равновесия сил, а активное применение воли к созданию нового равновесия реально существующих и действующих сил, чтобы превзойти реальную действительность и победить. В этом суть учения Макиавелли и макиавеллизма, суть политической и исторической философии, суть политики, призванной решать конкретно-исторические задачи.

Грамши далее дает блестящую и точную оценку метода Макиавелли и метода Савонаролы, разницу между ними и различие ограниченности того и другого. «Противоположность Савонаролы — Макиавелли не есть противоположность между быть (essere) и должно быть (dover essere)... а противоположность между двумя «должно быть» (dover essere), абстрактным и расплывчатым Савонаролы и реалистическим Макиавелли, реалистическим, даже если это «должно быть» и не стало непосредственной реальностью, потому что нельзя ожидать, чтобы индивид или книга изменили действительность, ибо они могут лишь интерпретировать ее и наметить возможную линию действия. Ограниченность и убогость Макиавелли состоят только в том, что в бытии он был «частной личностью», писателем, а не главой государства или войска, который, также являясь частной, отдельной личностью, имеет, однако, в своем распоряжении силы государства или войска, а не только войска слов. Поэтому нельзя говорить, что Макиавелли был «безоружным пророком» («profeto disarmato»): это означало бы преуменьшить его духовное значение. Макиавелли никогда не говорит, что он думает или намерен сам изменить реальность, он только стремится конкретно показать, как должны были бы действовать исторические силы, чтобы быть эффективными» [66].

Двойственная природа макиавеллиевского кентавра, звериная и человеческая, теоретически может быть сведена к двум основным ступеням — к ступеням силы и согласия, власти и гегемонии, насилия и гражданственности, индивидуального и универсального (Церкви и государства), тактики и стратегии и т. д., то есть к ступеням «двойной перспективы» в политической деятельности и в государственной жизни. И, конечно же, научное предвидение нельзя сводить к чему-то плоскому и убогому, к безоглядному эмпирическому следованию одного события за другим. Напротив, чем шире диалектический диапазон между первой, самой конкретной и элементарной ступенью перспек-

[65] Antonio Gramsci. Opere, v. 5, p. 39.
[66] Ibid., pp. 39—40.

тивы и ее второй, самой сложной, а потому и более «отдаленной», тем точнее будет предвидение, подобно тому как в человеческой жизни чем в большей степени индивидуум принужден защищать собственное непосредственное физическое существование, тем в большей степени в своих утверждениях и действиях он опирается на все более сложные и высокие ценности цивилизации и человечества.

Перспектива исторического развития, которую наметил Макиавелли, в силу конкретных условий того времени не могла реализоваться. Это вовсе не значит, что предвидение Макиавелли потерпело фиаско. Напротив, как мы знаем, история подтвердила правильность и реалистичность политической философии Макиавелли, предсказанную им перспективу действий исторических сил, которые в конце концов одержали победу, хотя и много лет спустя после смерти Макиавелли.

Если вдуматься в творчество великих мастеров эпохи Возрождения, то, несомненно, можно прийти к выводу, что каждый из них и все вместе они вырабатывали, формировали и развивали новую концепцию Гуманизма, или новое гуманистическое мировоззрение. Конгениальное чувство времени, постижение главных проблем эпохи, попытка их теоретического и практического решения, универсальный, всеобъемлющий взгляд на природу, мир и человека, активное участие в практической, теоретической и политической жизни и борьбе — эти черты характера не могли не сказаться на содержании и облике разрабатывавшегося ими нового Гуманизма. Эпоха нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености, и, в свою очередь, содержание, развитие, социальные параметры эпохи определялись во многом гением, характерами, умами и душами этих титанов. «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными. Наоборот, они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации, содержавшую в себе некоторые идеи, которые много позднее были вновь подхвачены Монталамбером и новейшим немецким учением о фортификации. Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер вычистил авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал «Марсельезой» XVI века. Герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающего, создающего однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников. Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Кабинетные ученые являлись тогда исключением; это или люди второго и третьего ранга, или благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцы» [67]. Тесная связь с жизнью, активное участие в практической и теоретической деятельности необычайно развивало социальные параметры каждой из этих личностей. Основательное усвоение предшествующей культуры позволяло им почти безошибочно улавливать как бы носившиеся в воздухе важнейшие проблемы эпохи и помогало находить более или менее верные способы их решения. В отличие от гуманистов, стремившихся оживить и возродить литературно-риторическую традицию, восходящую к Древнему Риму, титаны эпохи Возрождения в своих произведениях, в своем творчестве воскрешали не то, что умерло, а то, что должно народиться, воскрешали не далекое прошлое, а близкое и далекое будущее; решая реальные и жгучие проблемы современной им жизни, они благодаря универсальности решений выводили свои произведения на общечеловеческий уровень, на уровень, придающий их

[67] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, стр. 346—347.

творениям характер вечности. «Божественные» добродетели произведений литературы, поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры были призваны не для того, чтобы укрепить в народе веру в бога, а для того, чтобы вернуть человеку собственно человеческие доблести и добродетели. Божественный мир, святое семейство были формой собственно человеческого земного содержания, направленного на то, чтобы привести человека не к стопам бога, а к другому человеку, к другим людям, к самому себе. Чтобы решать вечные общечеловеческие проблемы, необходимо было начать решать конкретные проблемы, выдвигавшиеся реальной жизнью Италии того времени.

Усилия великих умов Возрождения были направлены на изучение природы, общества, мышления. Основными характеристиками человека этой эпохи постепенно становятся наука, техника, искусство, то есть такие характеристики, которые будут основными измерениями человека будущего, человека нового времени, человека современности. В этом смысле титаны эпохи Возрождения являются основоположниками нового гуманизма и его носителями, ибо их новое мировоззрение выводилось из развития науки, техники и искусства и опиралось на них в своем дальнейшем развитии. Однако, несмотря на то, что Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и другие великие мастера эпохи Возрождения положили начало современному исследованию природы, невиданному расцвету искусства, новой, современной литературе, уничтожили призраки средневековья, сломили духовную диктатуру Церкви, укоренили и стали развивать дальше новое мировоззрение — жизнерадостное свободомыслие,— ощущалось отсутствие какого-то очень важного измерения, в котором как в фокусе четко выражались бы наиболее существенные требования настоящего и задачи дальнейшего развития Италии и Европы. Это «четвертое» измерение, или основа нового мировоззрения и нового гуманизма, принадлежит Макиавелли, который, кроме науки, техники и искусства, предложил политику как самую действенную общественную силу истории. Как Леонардо находил новую общественную силу в науке живописи, так Макиавелли находит эту новую общественную силу в политике. Он отдавал должное и науке, и технике, и искусству. Однако Макиавелли в отличие от своих гениальных современников, не говоря уж о предшественниках, понимал, что новая общественная сила может стать таковой только тогда, когда она приведет в движение огромные массы людей. Следовательно, такой силой может быть только та сфера, которая выражает коренные интересы народа, то есть политика. С этой точки зрения Макиавелли не был удовлетворен функциональными параметрами науки, техники и искусства. В особенности это относилось к искусству. И это имело известные основания как в соотношении политики и искусства вообще, так и в конкретных формах взаимоотношения искусства и жизни народа, искусства и политики, художника и политика.

Относительно взаимоотношения политика и художника следует принять во внимание тонкое и глубокое рассуждение Грамши, которое не потеряло своего значения и по сей день: «...у литератора неизбежно менее точное и определенное видение, чем у политического деятеля, он должен быть в меньшей степени «сектантом», если так можно выразиться, но не без «противоречий». Для политика всякий «фиксированный» образ априорно является реакционным, он рассматривает все в становлении. Художник, напротив, должен представлять себе образы в «фиксированной», окончательной форме. Политик представляет себе человека таким, каков он есть, и в то же самое время — каким он должен быть, чтобы достигнуть определенной цели: работа политика как раз в том и состоит, чтобы привести людей в движение, вывести их за пределы нынешнего их состояния, дабы они обрели способность коллективным путем достигнуть поставленной цели, то есть «сообразоваться» с нею. Художник неизбежно изображает то, что есть в данный момент (личностное, не подвергающееся приспособлению и т. д.), изображает реалистически. Поэтому с точки зрения политической политик никогда не будет доволен художником и не сможет быть доволен: он всегда найдет, что художник плетется в хвосте, анахроничен, отстает от реального прогрессивного движения».

Относительно взаимоотношения искусства и жизни народа или взаимоотношения народа и культуры можно заметить, что углублявшийся и расширявшийся разрыв между ними требовал радикальных, революционных преобразований, следовательно, требовал вовлечения в активную общественную, политическую, творческую жизнь огромных народных масс. Этого не в состоянии были сделать ни один из видов литературы и искусства, ни культура вообще, поскольку дальнейшее развитие литературы, искусства и культуры нуждалось в уничтожении разрыва, существовавшего между ними

и жизнью народа. Вот почему Макиавелли, размышляя над социально-экономической, политической и духовной ситуацией своего времени, сфокусировал чаяния и надежды людей и требования эпохи на политике — новой, самой могучей и действенной общественной силе, способной выработать коллективную волю, сплотить людей и повести их к достижению поставленной цели — созданию объединенного национального государства, которое раскрыло бы перспективы дальнейшего всестороннего прогрессивного исторического развития человека, общества и государства.

В том, что эти взгляды Макиавелли были гуманизмом, сомневаться не приходится. Вот что пишет, например, об этом один из самых проницательных буржуазных политических философов, М. Мерло-Понти, стоящий в целом на довольно реакционных позициях: «Если гуманизмом называть философию человека внутреннего, не видящего никакой принципиальной трудности во взаимоотношениях с другими, никакой непрозрачности в социальном функционировании и заменяющего политическую культуру моральным превосходством, то Макиавелли не гуманист. Но если гуманизмом называть философию, занимающуюся проблемой взаимоотношений человека с человеком и установлением между ними общей для них истории и ситуации, тогда необходимо признать, что Макиавелли сформулировал некоторые условия любого серьезного гуманизма. И тогда столь обычное сегодня осуждение Макиавелли приобретает тревожный смысл: это было бы решение, ведущее к игнорированию задач подлинного гуманизма. Имеется способ дезавуировать Макиавелли макиавеллически — таковы святошеские хитрости тех, кто направляет свои и наши взоры к своду принципов, чтобы отвести их от своих деяний. И имеется способ, совершенно противоположный макиавеллизму,— восхвалять Макиавелли, поскольку этот способ воздает честь его вкладу в политическую ясность»[68].

Мы же вместе с Грамши можем сказать более ясно и определенно, что политическая философия Макиавелли, содержащая в зародыше элементы духовной и нравственной революции, политическая философия, наиболее тесно связанная с жизнью эпохи, была своеобразным завершением, вершиной ренессансного Гуманизма, была формой неогуманизма, близкого Гуманизму философии практики.

Размышляя над произведениями Макиавелли, Грамши приходит к следующему выводу относительно современного значения и перспектив главных, и самых существенных, идей великого флорентийца: «Современный Государь, Государь-миф, не может быть реальной личностью, конкретным индивидуумом; он может быть только организмом, сложным элементом общества, в котором уже начала конкретизироваться коллективная воля, признанная и частично утверждающаяся в действии. Этот организм, уже порожденный историческим развитием, является политической партией — это первая ячейка, в которой концентрируются зародыши коллективной воли, которые стремятся стать универсальными и тотальными»[69]. Грамши развивает учение о современном государстве — партии — программными положениями: «Современный Государь должен быть и не может не быть глашатаем и организатором интеллектуальной и моральной реформы, что означает создание почвы для последующего развития народной, национальной коллективной воли, воли к достижению высшей и всеобъемлющей формы современной цивилизации... Но возможна ли эта культурная реформа и, следовательно, гражданский подъем угнетенных слоев общества без предшествующих им экономической реформы и изменения социального положения и в экономическом мире? Интеллектуальная и моральная реформа не может не быть связана с программой экономической реформы, более того, именно эта программа экономической реформы является конкретным способом, посредством которого представляется любая духовная и нравственная реформа. Современный Государь, развиваясь, опрокинет всю систему интеллектуальных и моральных отношений, поскольку его развитие означает именно то, что всякое действие понимается как полезное или вредное, как достойное или преступное только постольку, поскольку его отправным пунктом является сам современный Государь и в зависимости от того, служит оно усилению его власти или противодействует ей. В человеческом сознании Государь займет место божества или категорического императива, станет основой современной светской культуры и полного светского характера всей жизни, всех отношений, обычаев и нравов»[70].

---

[68] Maurice Merleau-Ponty. Signes, Gallimard, Paris, 1960, pp. 282—283.
[69] Antonio Gramsci, Opere, v. 5, p. 5.
[70] Ibid. p. 8.

Для нас Макиавелли и его творчество имеет прежде всего конкретно-историческую и культурную ценность. Будучи одним из самых крупных и замечательных представителей эпохи Возрождения, Макиавелли связывает животворные традиции античной мысли и культуры с новым временем и современностью. Из его произведений перед нами предстает вся интеллектуальная, социально-политическая и культурная картина эпохи Возрождения, со всеми ее гуманистическими достижениями и конкретно-исторической ограниченностью, со всеми ее противоречиями, исканиями и борьбой. На его произведениях, может быть, особенно четко можно проследить, как из истории, из исторического диалога с мыслителями прошлого и из осмысления прошлых эпох рождается теория, как из критически-творческого освоения традиции рождается новаторство и как из ретроспективы, рассматриваемой с позиций самых фундаментальных и самых острых проблем современной жизни, вырабатывается перспектива исторического развития.

Наследие Макиавелли имеет не только исторический и культурный интерес, но также еще и интерес идеологический и политический. Пока существует буржуазное общество, буржуазное государство, буржуазная политика со всеми ее основными антагонистическими противоречиями, с мощным репрессивным аппаратом власти господствующего эксплуататорского класса, беспощадно подавляющего эксплуатируемые классы, до тех пор личность Макиавелли и его политическая философия будут оставаться в высшей степени актуальными.

А. БОЧАРОВ

★

РОЖДЕНО СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Художник и время, талант и эпоха — тема неисчерпаемая, привлекательная, вечно новая. В ее русле бесчисленное множество прихотливых поворотов, опасных мелей, неожиданных быстрин. Тема деликатная, здесь одинаково опасны и вульгаризаторские упрощения фактических воздействий и абсолютизация вдохновения. Тема жгуче важная, особенно для советской литературы. Литературы, в которой так тесны связи художника с бытием народа, в которой писатель не отстраняется от действительности, не становится в оппозицию к ней, а, наоборот, старается вторгнуться в нее, усовершенствовать быт, нравы, воззрения соотечественников. Литературы, в которой за минувшее пятилетие (веха его — только что завершившийся VII Всесоюзный съезд советских писателей) было предпринято столь много усилий для того, чтобы писатели могли как можно глубже познать жизнь самых разных регионов страны, самых разных сфер производства, науки, сельского хозяйства,—здесь и творческие командировки, и журнальные «посты», и писательские бригады, и выездные секретариаты, и многие иные формы, рассчитанные как на сегодняшнюю, так и на долговременную творческую отдачу. Литературы, которая нацелена на решение коренных вопросов народной жизни, на творческое единение всех национальных литератур.

Ныне мы с особой уверенностью говорим о благотворной концентрации писательских усилий для решения задач, продиктованных временем и жизнью народа. И вместе с этим — о невиданном прежде многозвучии художественного поиска, вызвавшего к жизни удивительно широкий спектр художественных манер, индивидуальных стилей, жанровых конструкций. Именно многозвучие отмечается как характернейшая черта литературы последних лет. А само понятие «художественные поиски» весомо и авторитетно прозвучало в докладе Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС.

Вне диалектики всех сложностей творческого процесса, обусловленных ходом времени и индивидуальностью таланта, нельзя в полной мере осознать, объяснить многие примечательные тенденции нашей прозы последних лет. Тем и определяется жизненно насущная актуальность этой «вневременной», «трансвременной» темы, не сводимой ни к критической публицистике, ни к отвлеченным теоретическим построениям (хотя и не минующей ни теории, ни публицистической страстности): художник и время.

1

В творчестве постоянно взаимодействуют три начала: жизненное, внутрилитературное и личностное (говоря научно — неспецифическое, специфическое и индивидуальное).

Первое из них вбирает прямые реалии времени, материальные и духовные факты воссоздаваемой действительности. Характеризуя атмосферу, воздух времени, этот жизненный материал решительно влияет на конфликты в художественном произведении, на обстоятельства, мотивы и побудительные стимулы поведения персонажей. Нельзя просто поместить героя в любую среду, любые обстоятельства, даже если эти характеры играют подсобную, «модельную» роль для выявления авторских идей (скажем, в интеллектуально-философской

прозе). Поведение нерасторжимо связано со средой обитания.

Второе связано с наличным художественным опытом, сформировавшимися художественными традициями, влиянием существующего литературного окружения; тут и сложившаяся система жанров, доминирующие стилевые структуры, воздействие наиболее видных произведений современности и т. д.

Наконец, третье (личностное) заключает в себе то, что присуще социальной и психической природе художника и определяет неповторимость его дарования во всей идеологической и эстетической совокупности. При всем том, что каждый художник — сын своего времени, он имеет право и на избирательность в обращении к тому или иному жизненному материалу и на возможное полемическое отвержение, а то и пародирование главенствующих литературных канонов.

Деятельное и непрерывное взаимодействие этих начал создает бесконечное многообразие художественных миров. Как неисчерпаем человек, так неисчерпаемо его творчество. Именно поэтому не бывает какого-то одного канонического «стиля века», «героя эпохи», а есть — и литература 70-х годов снова подтвердила эту истину — многие направления, тенденции, решения, в которых реализуется общее художественное исследование мира и человека. И чем обширнее это многообразие продуктивных попыток, тем богаче литература.

Часто встречающееся название статей и даже книг «Движение времени — движение литературы» носит в основе своей публицистический характер. Подразумевается, что литература достоверно отражает свое время. Но попробуем взглянуть на эту проблему с точки зрения сложного взаимодействия всех трех начал, о которых только что шла речь. Подумаем не просто об иллюстрации жизненных процессов литературой, а о влиянии жизненных процессов на состояние общественной мысли и внутренние закономерности художественного творчества и, в свою очередь, влияние литературы на состояние общественной мысли и жизненные процессы. В этом случае в формуле «Движение времени — движение литературы» тире будет означать не подчинительную связь, а как бы сочинительный союз «и».

Вне личности нет осмысления времени, вне времени нет личности, как бы ни пыталась эта личность (Кафка в «Процессе» и «Замке» или Камю в «Чуме») обойтись без примет времени: и сама личность и проблематика произведений принадлежат своей эпохе, своему времени. И хотя теоретически возможно появление и сегодня в нашей литературе новых Кафки или Камю с их зашифрованностью и моделированием, на самом деле практически это маловероятно. Ибо для такого появления нужна не только побудительная жизненная обстановка, но еще и определенная художественная атмосфера. Талант выявляет себя в определенной жизненной и художественной атмосфере, а не в безвоздушном пространстве.

Разумеется, критик по сравнению с историком литературы реже проникает в тайники, «закрома» писательской натуры. Мы ведь можем только гадать, какие обстоятельства личной или — еще глубже — интимной жизни воспроизвели, скажем, Ю. Трифонов, О. Гончар, Н. Евдокимов, В. Распутин в тех или иных своих произведениях. Да и всегда ли нам такое интересно и важно?

Конечно, было любопытно, скажем, узнать, что импульсом к созданию повести «Навеки — девятнадцатилетние» для Г. Бакланова послужило испытанное им потрясение от найденных в полузасыпанном старом окопе останков офицера при съемках на Днестре фильма «Пядь земли» в тех местах, где воевал и сам Бакланов. Или что фамилия Васильева в «Выборе» может проистекать от русского Юрий сын Васильев Бондарев и тем самым намекать на автобиографичность образа. Или, наконец, что строки армянского поэта X века Григора Нарекаци, взятые Ч. Айтматовым в качестве эпиграфа к своему последнему роману, содержались в «Книге скорби», подаренной ему, по свидетельству М. Дудина, Левоном Мкртчяном. Не подари армянский литератор книгу, не было бы эпиграфа, и лишился бы критик В. Коркин возможности трактовать строку Нарекаци «И слово это — вместо души моей» как айтматовское уточнение жанра своего произведения — роман-слово. А можно ведь пойти и еще дальше — написать исследование «Нарекаци и Айтматов». Так что круги от биографических фактов могут расходиться весьма широко.

И все-таки подобные сведения хоть и небезынтересны, но имеют сугубо подсобный характер. Что там ни говори, а импульсом, первотолчком для создания романа были не две строки Нарекаци, а раздумья писателя над сложными жизненными проблемами. А стихи Нарекаци уже пришлись, если следовать методу Коркина, к слову...

Сложность соотношений таланта и времени несомненна.

Сколько бы мы ни пытались прогнозировать появление таланта или направление таланта — а сейчас объявилось много охотников до прогнозов, да еще на основе громко возвещаемых системного и комплексного подходов,— нельзя предугадать появление таланта или произведения с заданными свойствами. В равной мере сколько бы на нашей памяти критика ни рекомендовала, ни подсказывала, какие черты времени нужно непременно отразить, литература осваивала лишь те, которые рождают у нее эмоциональный, непосредственный отклик. Социальный заказ не декретируется, а возникает в душе художника благодаря сложной совокупности многих воздействий.

Но при всем том, что настоящий талант неизменно индивидуален и неповторим, поднимается он обычно в окружении смежных или аналогичных талантов, часто образующих группы, школы, направления,— и, стало быть, есть нечто стимулирующее, побуждающее в самом духе времени, в общественном самосознании.

Время, эпоха не только пища, топливо литературы, не только жизненный материал для преобразования в художественную энергию, но еще и повар, истопник, решительно влияющий на использование этой пищи и этого топлива. Оттого и возникает алогичный по видимости и естественный по своему существу парадокс: каждый крупный художник неожидан для своего времени и каждый крупный художник — сын своего времени; каждый художник неповторим и каждый художник повторим — в той мере, в какой он отражает общие черты времени.

Конечно, нет строго выверенной закономерности в том, как время детерминирует талант. Известно только, что чем меньше талант, тем податливее он бывает обычно к внешнему во времени, а чем талант значительнее, тем глубже уходит он в подводную глубь современности. Известно и то, что бывают таланты своевременные и несвоевременные. Одни приходятся ко времени и, поддержанные всей атмосферой жизни, полноценно выявляют себя. Другие же гаснут, не сумев развернуться, ибо обстоятельства не совпадали с направлением их таланта.

И это подводит нас к мысли о том, что само понятие времени непросто, многосоставно. Для литературы оно заключается прежде всего в движении общественной мысли. Только поняв это, мы можем правильно оценить современность, актуальность тех книг, которые написаны на темы, отдаленные от сегодняшних событий или кажущиеся боковыми, неглавными: насколько важны они для современной общественной мысли, для общественного самосознания?

Именно в общественной мысли сплетаются воедино и политическое движение, и философские искания, и социологические наблюдения, и историософские концепции, и художественные открытия самых разных искусств. А где-то в фундаменте всего этого лежат социально-экономические изменения, которые могут быть освещены литературой как непосредственно, так и через их преломление в общественной жизни, общественном сознании.

Но если у нас еще появляются работы по истории литературы, то мало работ о движении общественной мысли (в которой литература является составной частью), к примеру обобщающих работ по истории культуры послевоенных десятилетий.

Между тем критики и историки литературы нередко или принимают литературные искания за адекватную реализацию общественной мысли, или сводят роль литературы в этом процессе единственно к нравственным проблемам: человековедение трактуется лишь как познание нравственного идеала, нравственных ценностей, а все богатство экономических, производственных, социальных отношений литература якобы непременно переводит в сферу нравственных ценностей, критериев и оценок. По видимости приближая литературу к человеку, такие суждения лишь сужают то представление о человеке, которое способна дать литература, исследующая все человеческое бытие, всю политическую, социальную, религиозную, философскую и иную деятельность человека.

И в этой связи особую актуальность и значительность приобретает сказанное Л. И. Брежневым на XXVI съезде КПСС: «Партия приветствует свойственные лучшим произведениям гражданский пафос, непримиримость к недостаткам, активное вмешательство искусства в решение проблем, которыми живет наше общество... И нас радует, что в последние годы в литературе, кино и театре поднимались такие серьезные проблемы, над которыми действительно не мешало бы «попотеть» Госплану. Да и не только ему».

Не следует забывать и о том, что в недрах каждого периода закладывается основа, зерно будущего развития. Литература

не только отражает время, она и опережает время, предугадывает назревающие и еще не нашедшие ответа вопросы. Вбирая злободневные проблемы и заботы, она как бы перекидывает мост к будущим поколениям, неся им свои вопросы, свои предварительные ответы. Не всегда точно, не всегда безошибочно, но тем не менее полагая эту постановку вопросов своей непременной прерогативой. И в этом смысле также всегда интересно понять, от каких явлений действительности отталкивается литература, перекидывая этот мост, какие вопросы почитает интересными для будущего. Нельзя не видеть и то, что стабильность писательской индивидуальности — в отношении многих крутых поворотов литературного процесса — служит залогом преемственности традиций, связующей нитью при переходе из одного исторического и литературного этапа в другой.

Сложное, многосоставное понимание времени и связей художника с ним отвергает попытки найти для литературы, в том числе литературы минувших 70-х годов, единый ключ, универсальную отмычку, будь то даже столь широкие определения, как связанное обозначением социально-исторической формации «литература периода развитого социализма», или «вольные» — «эпоха НТР», «космическая эра»... Очевидно, и не нужно пытаться найти — особенно стоя в такой близости к многообъемному, противоречивому процессу — одно определение, одну броскую магическую формулу. Гораздо полезнее всматриваться в мощный и достаточно прихотливый жизненный поток, в котором слились как достижения и проблемы развитого социализма, так и вопросы, вставшие в связи с успехами науки и техники, а также новое ощущение планеты как единого целого для решения многих кардинальных вопросов жизни всего человечества.

Не только общество формирует человека, но и совокупность человеческих устремлений формирует общественное сознание. Реальный гуманизм коренится как в твердом понимании социальной сущности нравственных и духовных побуждений, так и в реальном отношении к наличному состоянию человеческих идеалов, упований, заблуждений, исканий, потребностей. Таким образом, понятие контекста времени необычайно многогранно: здесь и экономика, и политика, и этика, и запросы аудитории, и т. д. и т. п. Только с этой позиции можно правильно уяснить взаимосвязи художника и эпохи в реальном их преломлении в литературном процессе 70-х годов.

II

Что и говорить, весьма могучие валы, рожденные жизнью нашего общества, вздымались в литературе минувшего десятилетия. Остра была творческая и критическая полемика по многим насущным жизненным проблемам, будь то характер воздействия НТР на человека, общество и литературу; или взаимоотношения человека и природы; или роль национальных корней, национальных начал в современном бытии; или реальный смысл категории «образ жизни»... Наиболее отчетливо и энергично обнаружили себя в этом широком и лишь пунктирно намеченном мною диапазоне, пожалуй, три тенденции нашей литературы: неистощимое тяготение к эпическому синтезу, обилие мифологически-притчевых конструкций, утверждение современной концепции личности. Не будет ошибкой видеть в развитии этих тенденций отвечающее сегодняшнему нашему мировосприятию осуществление трех вечных и всякий раз по-новому осваиваемых целей литературы: полно охватить действительность, решить или поставить общие философские и нравственные вопросы, проникнуть в глубины человеческого характера.

Какие же валы были исполнены подлинной мощи, а какие больше пенились, чем обладали действительной силой, какие упрямо били о крутые утесы эпохи, а какие гасли, утишась, на прибрежном песке? И какими ветрами поднимались эти валы — глубоким циклоническим вихрем или случайно налетевшим порывом, стремительным штормом или прочным, надолго установившимся смещением воздушных потоков?

Разбираться в этом интересно и увлекательно, многое уже видно с рубежа десятилетия, многое отчетливее прояснится с высоты последующих лет. Не ставя себе задачей охарактеризовать прозу 70-х в целом, хочу лишь попытаться увидеть на ее материале, как и в чем сказывалось время на движении литературы. Уловить те порывы, которые наполняли паруса литературы и во взаимодействии с неповторимым талантом художника двигали наш литературный корабль.

В самый канун 80-х годов словно бы утихли, улеглись волны дискуссий, диалогов, «круглых столов», проблемных выступлений на тему «Литература и НТР». Разве только Д. Гранин на творческой конференции в Харькове в прошлом году произнес речь о влиянии НТР на литературу,

но и у него слово было не столько о революции, сколько о расширившемся воздействии научного знания на, так сказать, общеобразовательном уровне. Или вдруг появилась в «Звезде Востока» статья А. Ларцева «Литературно-художественные жанры в эпоху НТР», главным открытием которой явился вывод о том, что производственный роман следует считать жанром, а не произведением на производственную тему.

Похоже, мы оставили зону энтээровских бурь позади, в 70-х годах. Отчего же?

Как-то исподволь выяснилось, что НТР, в сущности, несостоятельный партнер искусства. Писательские замыслы, вступавшие с ней в союз, не дали завидного, крепкого потомства, способного устоять под бурями времени. Наибольший интерес вызвали «Заводской район» А. Каштанова, «Гори, гори ясно» А. Кривоносова, «Бессонница» А. Крона — книги, ближе расположенные к тому, что теперь именуют прозой быта. А те, которые скоропалительно и восторженно возносились критикой как истинно «литература НТР», на глазах подернулись пеленой забвения. И хотя разные критики составляют свои почетные обоймы из разных произведений, но нет вроде никого, кто называл бы в десятке лучших ту книгу, что была напрямую связана с НТР. Вероятно, потому, что научно-техническая революция — лишь катализатор многих социально-исторических процессов, а не их первопричина.

При всем том, что достижения науки и техники бесспорно влияют на все стороны жизни современного человека, они действуют в комплексе с другими факторами и нельзя вычленять один из них. И «Соть» и «Русский лес» были написаны Леоновым до эпохи НТР — и, однако, сколь разительно уже тогда изменились акценты: от пафоса покорения природы к пафосу сохранения природы, который мы стали почему-то числить исключительно по линии НТР.

Вселяя гордость за человека, даже самая рьяная апология, поэтизация НТР неспособна заслонить, утишить тревогу за человека.

И не оттого ли в 70-е годы непререкаемо сильной оказалась деревенская, или экологическая, проза — та, которую следовало бы скорее назвать «антиэнтээрной», поскольку она больше говорила об опасности безоглядного прогресса и об устойчивости нравственных ориентиров?! И так ли уж случайно в романах минувшего года приобретают столь важный символический смысл настойчивые столкновения-параллели: пчелы и лайнеры в «Твоей заре» О. Гончара, заводь и завод в «Картине» Д. Гранина, пустыня и космодром в «И дольше века длится день» Ч. Айтматова? НТР не предмет поэтизации, а источник драматичных проблем — в таком повороте чаще всего можно объединять НТР и литературу в одной формуле.

Правда, в статье «Горизонты темы» Б. Анашенков всячески развивал тезис о том, что деревенская проза выступила «своеобразным зеркалом научно-технической революции», но прозрачное подстраивание к знаменитым ленинским словам о творчестве Л. Толстого не прибавляет убедительности тезису критика: слишком уж разный характер и слишком уж разные следствия у двух исторических явлений, равно определенных словом р е в о л ю ц и я.

Можно, конечно, считать, что лирическая деревенская проза рождена НТР, но тогда почему бы не числить по ведомству религии литературу Возрождения, коль скоро она выступала против религиозной схоластики и догматизма?

Спору нет, научно-технический прогресс ставит много социальных, политических, нравственных проблем. Одна из них — проблема адаптации в самом широком смысле, как это предстало в произведениях В. Шукшина: адаптация деревенского жителя к городскому укладу жизни, адаптация к потоку информации, низвергнувшемуся на каждого человека, адаптация к резко меняющимся требованиям к работнику и т. д.

Несомненные сдвиги произошли и в, так сказать, «пространственном зрении» литературы. Не простое освоение прозой новых географических или производственных территорий, используя образ отличного романа О. Куваева, а появление того мироощущения, что на нашей планете возникли проблемы и задачи, требующие объединенных усилий всего человечества: сохранение природных ресурсов, преодоление энергетического голодания, освоение космоса, возможность вооруженной конфронтации и т. д. Один факт в подтверждение этого: совместный полет советских и американских космонавтов по проекту «Союз» — «Аполлон» дал толчок ответвлению сюжета в айтматовском «И дольше века длится день».

Можно и далее демонстрировать это расширившееся «пространственное зрение», обратившись к «Разгону» П. Загребельного, «Твоей заре» О. Гончара, «Яконуру»

Д. Константиновского. И можно объяснить их при желании «энтээровской постоянной».

Но это лишь одна линия в современной развитой литературе. Да и у того же Ч. Айтматова нравственно-философская проблематика романа имеет несравненно более глубокие социально-исторические корни, выходящие далеко за рамки научно-технических возможностей и ситуаций.

Какие же уроки можно извлечь из этого факта, на мой взгляд бесспорного?

Литература питается не модными поветриями, а глубинными общественными закономерностями. Нового героя нельзя мерить критериями НТР: существует более традиционная и более устойчивая шкала ценностей, и после первого упоения деловыми людьми мы похмельно поняли, насколько прагматичен образ восславляемого делового человека и что нельзя выдавать социальную роль за художественный тип.

Основные конфликты времени все-таки порождены не иллюзией победного и всепроникающего шествия НТР, а более глубокими социальными преобразованиями.

В числе многих процессов, развитие которых в литературе не было напрямую обусловлено воздействием научно-технической революции, имеет иное происхождение, особое место занимает *осознание хода времени*.

В наиразличнейших преломлениях обнаружилось это осознание в самой жизни 70-х годов. Стало как никогда ясно, что даже развитие народного хозяйства нельзя планировать только на пятилетку, нужен больший размах, более далекие перспективы, обоснованное предвидение. А уж тем паче это относится к духовному и нравственному движению, которому вообще присуща относительная стабильность. И интерес философов, политиков, социологов, писателей к проблемам национальной жизни, национальных истоков был одним из проявлений общественной потребности найти устойчивые, надежные ценности, ориентиры, установить факторы, обеспечивающие такую стабильность. А рядом с *предвидением* и *стабильностью* должно по праву встать слово *преемственность*, означающее не только наследование революционных идеалов, на чем было так заострено внимание в годы, последовавшие за XX съездом КПСС, но и осознание нерасторжимой цепи жизни общества, народа, личности, сохранение духовных ценностей каждой нации.

Мощно отложилось в нашем сегодняшнем самосознании восприятие нынешнего этапа нашей жизни как звена в бесконечной цепи истории, где связи с прошлым оказались прочнее, чем чудилось некоторым, а состояние будущего неотрывно от сегодняшнего. Так прошлое, не минуя сегодняшнего, а через него оказалось тесно связано с будущим — опять-таки теснее, чем представлялось прежде. Вместо «Будущее рождается сегодня», как несколько по старинке назван недавно вышедший сборник критических статей, было бы правильнее сказать: «Будущее начинается вчера». «Роман — это всегда исследование, но одновременно и путешествие по «реке времени», однако путешествие не вниз по течению, а вверх, к истокам и первоистокам, чтобы постигнуть в движении секунду настоящего и как бы закрепить его между прошлым и будущим» — это высказывание Ю. Бондарева необычайно характерно для сегодняшнего мирочувствования писателей: секунда настоящего между прошлым и будущим.

Вместо узкой убежденности, будто в типическом следует видеть прежде всего то, чему принадлежит будущее, упрочилось желание объять типическое не только в его перспективе, но и в его истоках, в тех силах *стабильности* и *преемственности*, которые придают подлинную надежность *предвидению*.

Осознание связи прошлого и будущего родило один из сильнейших валов всей духовной жизни десятилетия. В литературе этот вал поднял на свой гребень лирическую деревенскую прозу с ее почти демонстративным утверждением тех нравственных ценностей прошлого, которые необходимо взять в будущее. Он перевернул многие утлые конъюнктурные ладьи, не имевшие серьезной морской остойчивости. Он определил интерес литературы к прочным и давним нравственным нормам как критерию нынешней гуманности и морали. Он показал человеческую судьбу в противоборстве с напором времени, а не просто с отдельным бюрократом, хапугой, конъюнктурщиком. «Единица измерения — человеческая судьба» — так определяю я то новое качество, которое утвердилось во второй половине десятилетия и вызвало расцвет *романа судьбы* сравнительно с романом ситуативным и романом панорамным.

Этот процесс Б. Анашенков объясняет с позиции своей «энтээровской постоянной»: «Научно-техническая революция рвет устоявшиеся связи, столь привычные нашей психике. Она оставляет человека один на один с новой калейдоскопической реаль-

ностью, к которой трудно, а подчас и невозможно подходить с прежними мерками». Что ж, и в этом можно видеть одну из причин обострившегося интереса к судьбе: в наш век, когда сам общественный характер производства ведет к объединению, человек все равно встает один на один перед резко переменчивой реальностью, требующей все новых и новых неожиданных, нерасчисленных реакций.

Короче говоря, ощущение стабильности и преемственности времен, служащее непременным условием предвидения, стало характернейшей чертой всей жизни и, стало быть, литературы десятилетия.

С бесспорной художественной силой сказалось это в лирической деревенской прозе, поскольку философия исторической преемственности проявилась в наибольшей степени именно в процессах сельской жизни. Смена бытовых укладов на селе контрастным светом высветила извечные антиномии любого исторического движения: устойчивое и неустойчивое, консервативное и динамичное, традиционное и новое.

Любое, в том числе и наше сегодняшнее, существование состоит из верности традициям и одновременно из становления нового, без чего невозможно движение. Философия исторического движения и сосредоточена на том, в какой мере мы должны преодолевать прошлое и в какой мере его нужно сохранять, с какими традициями нужно расставаться, а какие мы не имеем права растерять в нашем стремительном движении. По-разному каждый писатель решает эти вопросы, но миновать их не дано никому. Тем ведь и отличается лирическая деревенская проза как направление от просто литературы о деревне, оно держится на определенной осознанной философии народного бытия.

Оттого же такими органичными для 70-х годов оказались и книги о войне — в них соединились опыт прошлого и урок на будущее. Только наличие опыта и урока объясняет сегодня их современное звучание, оправдывает их появление.

Название повести В. Козько «Судный день» многозначительно для нынешней прозы о войне: снова и снова ставят писатели перед судом истории и судом нашей памяти те все более отдаляющиеся годы, отвергая легковесное уверение, будто победителей не судят, выявляя благородство и подлость, отвагу и трусость, героизм и предательство, торжество правого дела и неизбежное поражение зла. Вполне органично объединились — а не разделились на два поколения — ветераны, изведавшие войну, и молодые, осознающие ее уже не как живую память, самостоятельно извлеченный опыт, а как урок истории.

Тридцать лет понадобилось, признавался В. Семин, прежде чем он решился выплеснуть ту давнюю свою боль в романе «Нагрудный знак OST». Еще дольше созревал В. Кондратьев, прежде чем обнародовал «Сашку».

А «Судный день» В. Козько, «Плач перепелки» и «Оправдание крови» И. Чигринова, «Живи и помни» В. Распутина оказались возможны потому, что народная память, народная боль стали реальностью времени и воздействуют на сознание писателей, лично не переживших это. И опять-таки своими, потаенными путями преобразовывается эта реальность времени в их художественном сознании, особенно удивительном у Козько с его редкостным в нашей прозе трагедийным мироощущением, трагедийным дыханием.

Как всякая историческая литература, проза о войне стала все больше рождаться на перекрестии правды дня минувшего и запросов дня сегодняшнего. А многие книги появились уже на основе художественного опыта в изображении иной, мирной жизни. Роман «Усвятские шлемоносцы» Е. Носова не мог бы возникнуть без опыта лирической деревенской прозы. Если в рассказах «Красное вино победы» и «Шопен, соната номер два» Носов открыл для себя ту лирико-драматическую тональность, в которой он пишет в романе о воинах той поры, то в «Шумит луговая овсяница» открыл лирическую эпизацию крестьянского бытия, воплотившуюся в выходящем на бой пахаре Касьяне.

Не по первому кругу шла уже литература 70-х о войне: «Каратели» А. Адамовича после «Бездны» Л. Гинзбурга, «Навеки — девятнадцатилетние» Г. Бакланова после «Звезды» Э. Казакевича, «Живи и помни» В. Распутина после гончаровского «Дезертира» и т. д. и т. п. И прошла она широко — словно драга, промывая породу после старателей. Но оказалось, что дражного золота — в изобилии, да и не так уж редки в нем самородки. И хотя, как я писал недавно, военная проза испытала к концу десятилетия некоторую «усталость», сделанное ею в целом весьма значительно.

И вот что любопытно. В поэзии есть фронтовое поколение, которое сохраняет общие черты при всей индивидуальности составляющих его талантов,— С. Орлов, А. Межиров, М. Луконин, Б. Окуджава, К. Ваншенкин, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий. В прозе нет такого поколения.

Рискнем ли объединить под одной крышей поколения В. Закруткина и Г. Бакланова, А. Чаковского и В. Богомолова, С. Крутилина и В. Быкова, М. Бубеннова и К. Воробьева? Очевидно, в прозе более важен целостный эпический образ мира — больше, так сказать, миропонимание, чем мироощущение (да и в истории литературы чаще известны поэтические, а не прозаические группы, школы, течения).

Ю. Бондарев в «Выборе» определил манеру своего Васильева как «жесткий стиль», имея в виду его фронтовой опыт. Вряд ли можно говорить о «жестком стиле» применительно к пейзажной живописи, которой занимается Васильев. Думается, здесь Бондарев перенес на живопись то, что прилагалось к изображению войны в прозе рубежа 60-х годов. Но «жесткий стиль» определял немногих писателей и вовсе не служил отличительной чертой прозаика-фронтовика. В прозе о войне шла куда более напряженная творческая полемика, чем в поэзии о войне. Причем это была с у щ н о с т н а я полемика — полемика о путях развития всей литературы, а не отдельного «тематического звена».

Обычно критики рассматривают военную прозу как своего рода данность, вне ее развития под воздействием времени. А между тем многие тенденции времени отложились в разделенных десятилетием сюжетно сходных повестях В. Быкова «Сотников» и «Пойти и не вернуться» или повести «А зори здесь тихие» и рассказе «Встречный бой» Б. Васильева.

И здесь мы подходим к общей для всей литературы проблеме — насколько движение мотивов в творчестве одного писателя характеризует тенденции самого времени. Ведь мы знаем, что смена героев, проблематики, стиля не бывает вызвана только внутренней работой мысли или только нарождением новой жизненной ситуации; обычно она происходит в результате внутренней работы мысли под влиянием изменившейся жизненной ситуации.

III

Некорректно, как принято теперь выражаться в научных сочинениях, критиковал В. Кожинов некоторое время назад Ю. Трифонова.

Сопоставив первую его повесть «Студенты» с «Домом на набережной», он утверждал, что при всем различии в воссоздании ситуации конца 40-х годов Ю. Трифонов остался верен себе. «Действительно плодотворного развития за четверть века писательского пути Ю. Трифонова не произошло. «Эволюция» оказалась не такой уж глубокой и подлинной»[1]: повесть «Дом на набережной» — это еще одна партия в ту же игру, хотя внешне «с разными козырями»...

Нет ничего несправедливее такой оценки творческого пути Ю. Трифонова, который с 1960 года ни разу не переиздавал свою первую повесть, поскольку «это совсем другая литература, чем та, которую я сейчас пишу».

Подобно В. Кожинову И. Золотусский в рецензии на «Картину» упрекал Д. Гранина в расчетливом приспособлении к дуновениям времени, в конъюнктурном писании «без риска» (так называлась рецензия): «он всегда начеку относительно того, что на повестке дня», он никогда не переступает «роковую черту»... И это-то говорится о писателе, перу которого среди многого написанного принадлежат, в частности, и «Собственное мнение», и «Наш комбат», и «Священный дар»!

Примечательно, что в обоих случаях критике подверглись как раз писатели, чуткие к процессам современности, активно участвующие в борьбе современных идей. Конечно, из умиротворяющего далека легче писать безошибочно и, так сказать, поверх барьеров. Но в этом ли заслуга и призвание литературы?

В другой статье И. Золотусский, развивая свою концепцию, выделяет у Ю. Трифонова в городском цикле лишь «Другую жизнь», где, по его мнению, авторская мысль, «сбрасывая узы социальных утопий и социального раздражения, обретает крылья... и в прозу Трифонова, как гости, являются неопределенность, зыбкая поэзия снов, предчувствий, не находящих четкого обозначения надежд. Что может быть прекраснее веры, надежды и любви? Юрий Трифонов как бы впервые осознает это в „Другой жизни"».

Трудно представить, что было бы, если бы Трифонов, чьи шесть городских повестей фактически укладываются как раз в минувшее десятилетие, последовал совету Золотусского и поверил, что и впрямь «сейчас центр интереса сдвинулся к душе — к этой невидимой силе, которая, однако, ворочает всем и от которой зависит все». К счастью, у Трифонова центр интереса сдвинулся к истории.

---

[1] В. Кожинов, «Проблема автора и путь писателя (на материале двух повестей Юрия Трифонова)» (в сб. «Контекст-77. Литературно-теоретические исследования». М. 1978, стр. 46).

Причем если в «Обмене», открывшем цикл, была еще известная жесткость нравственных ситуаций, без объяснения, откуда взялись Лукьяновы, с прямым противопоставлением двух кланов (Дмитриевы — Лукьяновы), то в «Старике» при традиционном для Трифонова противопоставлении Летунова и Кандаурова, идущего «до упора», отчетливо прояснилась уже философия истории, философия времени, объясняющая, почему старик Летунов вынужден идти просить об одолжении человека, которого он сам в 20-е годы вычищал из партии за недостойное коммуниста поведение: время втягивает человека в свою орбиту, время диктует человеку логику поведения.

Трифоновская философия истории объясняет сходную расстановку персонажей в его последних повестях. И то, почему почти всегда сталкиваются два клана, олицетворяющие разные жизненные позиции. И то, почему дети революционеров — и Дмитриев, и Сергей, и Руська Летунов — почти сплошь «неуместные»: от стариков оторвались, а к нынешним не прибились. И то, как формировались характеры тех, кто легко принимал правила игры: и Лены, и Ольги Васильевны, и Вадика Глебова.

«Трифонов оттаивает вместе со временем»,— приводил Золотусский слова своего приятеля, соглашаясь с ними. И это действительно так. Время формировало Трифонова, а он, в свою очередь, вместе со всей литературой в определенной степени формировал время, влиял на развитие многих идей, характерных для минувшего десятилетия, особенно тех, что касались взаимоотношений личности и истории. Так было в «Другой жизни», где его Сергей пытался найти, какие нити тянутся от человека к человеку, из одного поколения в другое, из одной формации в другую. Так было в «Старике», где он отыскивал губительную власть той судьбы, что «играет человеком». Так было в «Доме на набережной», где он прослеживал жизненные обстоятельства, определившие поведение «никакого» Вадика Глебова.

И этот настойчивый социальный поиск, свидетельствующий о том, как Трифонов вместе с обществом и литературой проходил (увы, этот глагол теперь приходится употреблять в прошедшем времени) свой путь от точно увиденной конкретики к историософским обобщениям, конечно же, неотделим от того, что критик определил как «социальные утопии и социальное раздражение».

На фоне целостного трифоновского цикла творчество Д. Гранина в минувшее десятилетие кажется удивительно пестрым: здесь и любовно-бытовая повесть «Дождь в чужом городе», и фантастический рассказ «Место для памятника», и повесть — путешествие в город своего детства (и город последних лет жизни Достоевского) Старую Руссу «Обратный билет», и героико-трагедийная «Клавдия Вилор», и написанные в столь любимом Граниным жанре проблемно-биографической повести «Эта странная жизнь» и «Повесть об одном ученом и одном императоре», и принадлежащий к повестям «нравственного эксперимента» «Однофамилец», и созданная вместе с А. Адамовичем документальная «Блокадная книга», и, наконец, роман «Картина».

Но во всей этой пестроте неизменно улавливаются его интонация, его давние субъективные влечения. Больше того, в повести «Дождь в чужом городе» и романе «Картина» местом действия назван Лыков, прообразом которого послужила все та же Старая Русса. Давнее пристрастие Д. Гранина к судьбам реальных людей, неколебимо служащих своей идее, людей, живущих на пределе физических и духовных сил, воплотилось в «Этой странной жизни» и «Клавдии Вилор», да, пожалуй, и в новом для него жанре — «Блокадной книге». Прямым продолжением его путевых очерков, особенно «Прекрасной Уты» (где, кстати, шла речь о Петербурге Достоевского), стала повесть «Обратный билет». Наконец, интерес к героям, преодолевающим искушения жизни, героям, следующим своему призванию, воплотился в романе «Картина»: Андрей Лобанов из «Искателей», Крылов из «Иду на грозу» — словно старшие братья нынешнего Лосева. Это именно гранинские герои, они появились и в повестях «нравственного эксперимента», написанных перед «Картиной»,— «Кто-то должен» и «Однофамилец».

Как видим, все произведения глубоко органичны для таланта Гранина — органична даже сама их жанрово-тематическая «разбросанность». Можно пойти вглубь и отыскать характерные черты художественной манеры, присущие именно этому художнику: прием перевертыша, когда ситуация парадоксально меняется, особенности построения фраз, характер выражения авторской позиции в документальных повестях и т. д. Манера есть манера...

И в то же время можно ли себе представить написанное Д. Граниным *вне* 70-х годов, вне тех процессов — жизненных и литературных,— которые были характерны для минувшего десятилетия?

Интерес к документальности и (не в последнюю очередь) успех книги Я. Брыля, А. Адамовича и В. Колесника «Я из огненной деревни» предопределили его согласие взяться вместе с Адамовичем за гигантский труд по собиранию и обработке воспоминаний людей, переживших ленинградскую блокаду.

Но разве не тем же самым был занят в 70-е годы и К. Симонов, создавая свой уникальный телевизионный фильм «Солдатские мемуары», в основу которого легли записанные на видеопленку воспоминания полных кавалеров ордена Славы? Легко представить, какой огромной предварительной работы потребовала такая запись!

И в том и в другом случае авторы видели свой писательский долг в том, чтобы запечатлеть — без всякого «полета фантазии» — горькие и гордые свидетельства рядовых людей, каждое из которых не может, вероятно, стать отдельной книгой, но которые в своей массе создают величественную и потрясающую картину,— будь то люди, чудом избежавшие смерти в уничтоженных гитлеровцами «огненных» деревнях Белоруссии, или люди, пережившие блокаду в осажденном Ленинграде, или полные кавалеры солдатского ордена: многим ли солдатам удалось получить все три ордена Славы, уцелев в боях?

Одно чувство двигало писателями: не дать былому исчезнуть из народной памяти — ведь так стремительно, так ошеломляюще быстро уходят из жизни эти израненные, с подорванным здоровьем люди.

И разве не то же чувство двигало авторами многих книг лирической деревенской прозы: запечатлеть столь ошеломляюще быстро уходящий мир деревенской жизни, запечатлеть тех рядовых, простых людей, которые вынесли все, людей, на которых держава стоит, — полных кавалеров крестьянского ордена. Не раз Распутин, и Белов, и Астафьев говорили об этой ясно осознанной ими задаче: запечатлеть!

Конечно, есть большая разница в самой окраске произведений — ужасные и героические подробности быта войны у Адамовича, Гранина, Симонова и поэтизированный быт деревни у прозаиков, обратившихся к судьбе крестьянства. Но не из одного ли источника родилось само желание запечатлеть? Ведь этого пафоса, пожалуй, не было в стремительно-динамичные 60-е годы, отданные, можно сказать, решению нравственных проблем. Только в 70-е годы на место нетерпеливой жажды исправить недостатки недавнего прошлого пришло желание взять как можно больше из кладовых прошлого опыта.

И это расширение общего пафоса представляется тем более убедительным, что Е. Носов обратился к военной судьбе крестьянства в «Усвятских шлемоносцах», а А. Гранин, насквозь урбанист, насквозь проблематик, проявил интерес к истокам, к впечатлениям детства, к истинам мудрецов из народа — и появился его рассказ о поездке на родину, в Старую Руссу и поселок Кислицы. И, может быть, известная слабость «Обратного билета» заключается в том, что для динамичного Гранина, который больше «питомец НТР», чем дитя тихих окрестностей Старой Руссы, оказалась несколько неорганичной умиленность этой детски-деревенской идиллией.

И все же не поэзия ли родного города предопределила жизненную историю, что связана с картиной в его последнем романе? Так ли уж случайно, что, кроме чувства прекрасного, рожденного самой картиной, Лосев побуждается к действию и иной красотой — красотой, возникшей из воспоминаний детства. Жмуркина заводь не только объект прекрасного произведения живописи, но и поэтичная память детства и расцветающей юности нескольких поколений лыковцев, в том числе поэтичная память самого Лосева. Будь он варягом, человеком со стороны — вся история скорее всего не могла бы состояться: для поведения Лосева недостаточен тот несколько прямолинейный эффект, который можно определить заглавием известного рассказа Г. Успенского — «Выпрямила».

Некоторые критики с подковыркой замечают, что Гранин «польстился» на широко распространенное ныне влечение к сохранению памятников старины и заповедных уголков природы (кстати, очень любопытно, как у Гранина на картине Астахова соединились красота природы и красота урбанистического пейзажа: заводь и дом Кислых). Но это не конъюнктура, не «подстраивание», а забота времени, веление времени, к ходу которого столь чуток Гранин. Нет сомнения, что еще не раз и другие художники будут обращаться к этим проблемам — слишком большой и философский, и нравственный, и эстетический запал содержится в них.

А повесть «Дождь в чужом городе» появилась одновременно с «Южно-американским вариантом» С. Залыгина — и то, что два остроактуальных писателя одновременно обратились к семейно-бытовой теме, было необычайно симптоматично: не с того ли времени и обозначился резко тот повo-

рот литературы к этой теме, что столь лавинообразно нарастал и нарастал к концу десятилетия?

В равной мере почти одновременно появились «Клавдия Вилор» и роман также чуткого к процессам современности В. Липатова «И это все о нем». То была общественная потребность в сильном герое, противопоставленном и пассивно-простодушным старикам, и инфантильным интеллигентам, и потребителям, занятым лишь собой. Только если Женька Столетов был юношески прям и одномерен — оттого и перешел столь легко на телеэкран,— то у Гранина, смею думать, не появилось бы интереса к его героине, не будь у нее судьба столь некинематографически драматична (дерзнет ли кто экранизировать эту повесть?) и не случись того послевоенного зигзага в ее биографии, который придал новый свет всей ее судьбе.

Так проявляются у художника, в данном случае в «разбросанной» прозе Д. Гранина, те жизненные и внутрилитературные истоки, о которых шла речь в начале статьи.

Конечно, у писателей, не столь чувствительных к биению пульса жизни, подобные связи с движением времени менее заметны, но тоже прослеживаются.

Скажем, В. Белов после «Привычного дела» и «Плотницких рассказов» обратился в 70-е годы к широкому осмыслению судеб деревни: именно к такому осмыслению настоятельно его побуждали и реальные судьбы современной деревни, особенно в российском Нечерноземье, и дискуссии минувшего десятилетия о деревенской прозе. В романе «Кануны», здание которого продолжает воздвигаться, он воссоздает судьбы северной деревни в переломный для нее период — годы коллективизации.

А параллельно с этим В. Белов решил вглядеться в то, как чувствуют себя сегодня сельские жители в городе, попытался воспроизвести характеры людей, которых мы условно называем горожанами в первом поколении. Так появились его повести «Воспитание по доктору Споку», «Свидания по утрам», «Моя жизнь», «Чок-получок». Некоторые писатели считали даже, что проблема горожан в первом поколении — чуть ли не магистральная тема современности. И повести В. Белова и роман В. Бубниса «Цветение несеяной ржи» талантливо показали и действительно сложные проблемы адаптации деревенских жителей в непривычном для них городском укладе жизни, и подлинное место этой проблемы — важной, но, конечно же, отнюдь не магистральной в познании сегодняшних судеб народа.

А после, все расширяя круги своего художественного взгляда на исторический путь деревни, В. Белов подошел к «Ладу». Вознамерившись запечатлеть уходящую жизнь, уходящий уклад, он попытался сделать это не в художественной, а в прямой очерковой форме. Он описывает, как катали валенки, лечились у знахарей, трепали лен, ковали лошадей, мылись в черной бане и даже нищенствовали.

К подобным очеркам быта писатели обращались не раз: обычаи и нравы записывали и Даль, и Пушкин, и Толстой, и Успенский. Но в столь, можно сказать, монументальных масштабах это предпринято, пожалуй, впервые, что, вероятно, не в последнюю очередь вызвано изменившимся состоянием объекта: писателей XIX века интересовала не столько полнота, сколько именно колоритность таких подробностей, для Белова это уже практически исчезнувший быт, живущий только в воспоминаниях, словесных обозначениях, немногих оставшихся предметах. И здесь полнота, как во всяком собирательстве, играет первостепенную роль.

«Лад» написан не просто как очерк нравов, не ради одного желания запечатлеть быт, а и по отчетливо осуществляемому побуждению заставить читателя воодушевиться п о э з и е й этого быта. И композиционно и интонационно «Лад» рассчитан на существующую в подсознании читателя ностальгию: от одного слова «кудель» или «дровни» читатель должен испытывать умиление, восторг, томительную тоску по невозвратному. Но если в душе человека нет такой настроенности, то произведение воспринимается только как добросовестная этнографическая работа, а не писательское слово. И, думается, В. Белов переоценил состояние ностальгии у современных читателей, особенно тех, кто уехал недавно из деревни: они ведь уезжали от этого поэтизируемого уклада к лучшему, более высокому укладу жизни.

Но само появление «Лада» вместе с «Канунами» и повестями о современных горожанах (или, как иногда говорят, повестями зоринского цикла, по фамилии сквозного героя) свидетельствует о том, как современная проблематика воплощается в произведениях и на современную и на историческую или даже этнографическую тему.

Во взаимоотношениях таланта и времени нужно, вероятно, видеть не только те случаи, когда время дает жизненные силы, а

и те, когда оно обнажает досадные слабины писательской работы.

В течение нескольких лет часть нашей критики активно поднимала творчество В. Лихоносова. В большой апофеозной статье о его прозе О. Михайлов возгласил стремительный рост писателя, выделив целых три этапа — от лирического воссоздания деревенской жизни на основе непосредственных наблюдений до освоения судеб всей России, что позволило-де писателю обрести «прочный нравственный фундамент и горизонты духовности»[2].

Напротив, О. Кучкина с тревогой усматривала, что кривая творчества этого талантливого писателя идет не вверх, а вниз, все больше уводя его от достоверности к умозрительности, декларативности, велеречивости. Герои Лихоносова последнего времени, писала она, все чаще и чаще лишены подлинной духовности, хотя и говорят о ней беспрестанно,— «может быть, потому, что все чаще и чаще выключены из сферы действия, сферы дела наших современников?»[3].

Последующий путь Лихоносова подтвердил справедливость выводов О. Кучкиной, исходившей из правильного осознания места рецензируемой ею повести «Чистые глаза» и в творческой биографии писателя и в общем художественном процессе начала 70-х годов. И одной из главнейших причин было именно то, что увидела тогда О. Кучкина: постепенно истончавшиеся связи с подлинной, глубинной жизнью народа, на место которых выступали умозрительные представления и внутрилитературная суетность. Все это отчетливо сказалось в недавнем романе В. Лихоносова «Где ты? Что с тобой?».

Конечно, всегда бывает грустно — да и рискованно — вычерчивать кривую, направленную вниз. Утешает в этих случаях одно: да не сбудется пессимистический прогноз, да найдет в себе писатель силы преодолеть трудную полосу.

Показала литература 70-х годов и то, как порой книги утрачивают контакт со временем. Особенно это касается романов многотомных, которые, будучи начаты в одной общественной атмосфере с определенным полемически-творческим заданием, завершаются в другой, когда это задание оказывается уже не важным, не главным и произведение начинает буксовать: колеса крутятся, спидометр отсчитывает километры, а продвижения фактически нет. Так, оказался слабее предыдущих заключительный роман трилогии К. Симонова, появившийся в 1970 году: ослабла та напористая авторская мысль, которая вдохновляла писателя во время работы над первыми книгами трилогии, создавая драматичное натяжение всей повествовательной ткани. Так, пробуксовывает роман В. Закруткина «Сотворение мира»: время от времени писатель публикует новые части, но это уже стало простым скольжением по льду от прежнего толчка.

Сходное происходит и с «Войной» И. Стаднюка, создаваемой уже более десяти лет. Первая книга романа возникла на почве определенных общественных настроений, из полемической направленности против «окопной правды», против недооценки целеустремленной руководящей воли в первые месяцы войны. Но этот полемический запал, этот остро воспринимавшийся в атмосфере тех лет пафос во многом утратил свою общественную актуальность после прозвучавших с трибуны XXIV съезда партии слов: «Кое-кто пытался свести многообразие сегодняшней советской действительности к проблемам, которые бесповоротно отодвинуты в прошлое в результате работы, проделанной партией по преодолению последствий культа личности. Другая крайность, также имевшая хождение среди отдельных литераторов,— это попытки обелить явления прошлого, которые партия подвергла решительной и принципиальной критике...»

При всех своих достоинствах изданная в прошлом году третья книга «Войны» все же не стала значительным произведением, новым словом о минувшей войне. Не берусь предрешать ни как будет через несколько лет восприниматься законченный к тому времени роман, ни что мешает сегодня полному его успеху: то ли взят слишком краткий период для эпоса, ограниченный самыми первыми месяцами войны и оттого предстающий чересчур детализированным для державного эпического течения, то ли не сливаются органично документальная и романическая линии, то ли сами по себе эти линии малоинтересны (в частности, легковесная и, я бы сказал, противопоказанная подлинному эпосу авантюрная история шпиона Глинского). А может быть, и в этом случае сказалось ослабление тех тончайших духовных нитей, натяжение которых связывает любое историческое повествование с сегодняшним бытием общества? Не случайно даже самые

---

[2] О. Михайлов, «Тихий свет» («Наш современник», 1971, № 9, стр. 117).

[3] О. Кучкина, «Именно потому, что талантлив...» («Литературное обозрение», 1973, № 8, стр. 34).

благожелательные рецензии на третью книгу романа[4] фактически комментируют лишь документальную линию романа, а не его романную конструкцию, не образы тех героев, через которых в эпосе раскрывается сама философия истории. Очевидно, накопленный за годы работы над «Войной» огромный фактический материал грузно давит на писателя, преобразуя роман с его романным мышлением в беллетризованную историческую хронику. Разумеется, и жанр беллетризованной хроники имеет свои достоинства и задачи, наконец, свою аудиторию, но это несколько иные сравнительно с романом достоинства и задачи.

Не оставались неизменными на протяжении десятилетия многие литературные процессы — это хорошо видно, скажем, на внутреннем движении такого качества, как документальность.

Можно признать, что богом литературы конца 50-х — начала 60-х годов была документальность, достоверность, гордое овечкинское, дельное направление: литература *делом* пыталась помочь своему народу. Проза Е. Дороша, В. Конецкого, Г. Троепольского, почин серии «Пламенные революционеры» — вот некоторые из этих вех. На начало 70-х годов еще пришлось торжество социологии вплоть до памятного призыва одного из энтузиастов социологии литературы, В. Канторовича, организовать «перепись литературного населения». Но постепенно все чаще стали раздаваться голоса насчет того, что направление, о котором идет речь, чрезмерно прагматично, что оно правомерно и необратимо преодолено новой деревенской прозой с ее поэтизацией вечных ценностей. Даже «Привычное дело» В. Белова уже критиковали за приземленность героя и проблематики.

Конечно, нельзя сказать, что документальные и автобиографические произведения перестали появляться — слишком нужны они для жизни и литературы. Тут и поминавшиеся выше гранинские повести, и превосходный роман Д. Гусарова «За чертой милосердия», и историко-публицистическое исследование «Мост в белое безмолвие» Л. Мери, и многие иные.

Памятен и спор В. Кардина и В. Богомолова. Несколько лет назад В. Кардин уверял, что в 1944 году не было пулеметных рот, и это заставляет его усомниться в достоверности всего романа, а В. Богомолов в резкой форме — казалось, странно резкой из-за одного несущественного для романного действия факта — доказывал, что такие роты были. За вроде пустяковым, но таким накаленным спором у обоих оппонентов стояло их истовое отношение к достоверности мельчайшего факта.

И все-таки никуда не деться от шутливо-серьезного вопроса: зал наполовину полон или зал наполовину пуст? Кажется мне, что как раз ко второму сейчас ближе — на протяжении десятилетия все заметнее менялось отношение к документу и документальному.

Наверное, трудно доказать такое, просто перечисляя названия или вознося какие-то работы начала 70-х годов над работами последних лет: всегда можно в качестве контраргумента назвать слабую работу начальных лет и сильное произведение, недавно появившееся. Подобная дуэль в критике почти всегда бывает безрезультатной. Но есть ситуации, где срабатывает подобно врачебной критическая интуиция, оценивающая состояние *всего* организма.

Да и ослабление документальности и документалистики в литературе не является само по себе — продолжу сравнение — недостатком, заболеванием: как и всякое жанрово-стилевое явление, документальность может в разные периоды звучать сильнее или глуше, уступая первенство другим влечениям. Сошлюсь лишь на один характерный, на мой взгляд, пример — повесть А. Адамовича «Каратели», мимо которой редко кто проходит из пишущих о современной прозе.

Ее еще относят по привычке к документальной литературе, поскольку в основе лежат материалы одного судебного процесса, но по своей сути это, конечно, повесть: в ней через внутренние монологи воссоздана психология и идеология карателей, их философия — все то, что является правомерным для прозаика домыслом. В начале и в конце повести развернуты внутренние монологи Гитлера, который торжествующе (дело происходит до Сталинградского сражения) превозносит свои человеконенавистнические идеи сверхрасы, сверхчеловека. Своеобразной же кульминацией повествования служит «Разговор умершего бога с проституткой» — о смысле существования человека, о борьбе сил добра и зла. Наверное, если подыскивать здесь жанровое определение, это будет *публицистическая повесть*: беллетристически свободное использование фактов с публицистическим комментарием. Или, как выразился Ю Суровцев, «страшный и страст-

[4] См. С. Борзунов, «Подвиг народа бессмертен» («Литературная Россия», 23 января с. г.).

ный художественно-публицистический документ».

Пожалуй, эти тенденции развития документалистики отчетливо проявили переход, который я обозначаю как переход от правдивого к истинному. Иногда этот процесс определяют как переход от нравственности к духовности. Можно принять и такое, но мне все же хочется обосновать свою мысль.

Правдивое и истинное... Есть в искусстве различие между этими близкими по значению характеристиками. Художественная правда — в нынешнем понимании — означает достоверность сущего, глубокое проникновение в закономерности, честное отношение художника к воссозданию жизни. Истина же — своего рода духовное извлечение из реальной действительности, вывод, который вытекает из закономерностей. Правда — то, чему следуют, истина — то, что открывают.

В борьбе с приукрашиванием и иллюстративностью литература 60—70-х годов твердо отстаивала правду. И Д. Марков в качестве главного — и, пожалуй, единственного — ограничения своей «исторически открытой эстетической системы» утверждал правдивое отображение жизни. Нет, пожалуй, художника, который не клялся бы нынче правдой. Действительно, правда — нерушимый закон подлинного искусства, то достояние минувших десятилетий, минувших литературных битв, которое никак нельзя утратить. Правда — решающий водораздел между произведениями честных художников безотносительно к масштабу их дарования и конъюнктурной, иллюстративной, мотыльковой литературой. Документальность, документальная проза — и следствие и оружие этого процесса утверждения правды.

Но теперь все чаще поминают истину. «Момент истины» вошел в наш обиход не только потому, что этот профессиональный термин свежо и сильно прозвучал в романе В. Богомолова, а и потому, что наложился на зарождавшееся мироощущение.

Приметой общественного самосознания 70-х годов стали, несомненно, искания истины, желание самоопределиться в мире, найти те точки опоры, которые помогли бы человеку удержаться, обрести стабильность в стремительно меняющемся мире. Не столько сами приметы быстро меняющегося мира влекут сегодня наше внимание, а сокровенные тайны этого мира, душа мира, духовные связи человека с миром. Используя известное выражение, можно сказать, что природа воспринимается как храм, а не как мастерская и открывается тому, кто хочет обрести в ней истину, а не переделать по своему лекалу. И эти искания стали предметом не только лирической — деревенской и не деревенской — прозы, а и эпического воссоздания действительности.

Как известно, осознание места личности «на нашей беспокойной планете» было обозначено в докладе Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС как одно из важных направлений нынешнего художественного поиска.

Хорошо ощутимо это общественное настроение, преобразованное в художественную энергию эпоса, в романе А. Ананьева «Годы без войны». Недавно опубликованная третья книга прямо движется желанием каждого героя понять истину бытия — своего и общего. В этом замедленном повествовании, сюжет которого, как течение низинной реки, почти не движется, каждый эпизод как раз вбирает «момент истины», справедливо или ложно, тщеславно представляемой тем или иным персонажем, который в новой книге романа появляется обычно лишь раз, в одном эпизоде, чтобы выявить, высказать свою истину и уступить место другим, выражающим иные грани общей жизненной истины. Даже малейшего сюжетного продыха, отвлечения от этих поисков истины не дает автор.

И столь распространенные ныне мифологические и притчевые конструкции прежде всего направлены на постижение истинного. Иногда это удается — сошлюсь на общепризнанный успех романа Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа», который, будучи условно историческим, в то же время держится еще и на условно мифологическом каркасе, а бывает, миф уводит от правды, ведет к умозрительным, абстрактным конструкциям.

Настоящая правда возникает только в свете истинного. Настоящая истина рождается в бесстрашном познании правды. Но случается и такое, что на их «разночтении» художник особенно остро выявляет себя в сложившейся общественной ситуации. Нечто подобное ныне происходит с поколением сорокалетних.

О нем и пойдет речь дальше.

IV

Как едко заметил И. Золотусский, утверждается существование поколения сорокалетних почти исключительно теми, кто причисляет себя в этому поколению. Состав же причисленных к сорокалетним достаточно пестрый и нестабильный. Обычно

поминают В. Маканина, А. Проханова, А. Кима, В. Личутина, В. Крупина, А. Курчаткина, В. Орлова и других.

Что же объединяет столь различных писателей? Наиболее внятно сформулировал это А. Курчаткин в статье с точным заглавием «Бремя штиля».

Основные силы нынешней прозы прошли, по мнению А. Курчаткина, мимо жизни, ибо «выработанные предшествовавшими полутора десятилетиями методы, приемы, законы и прочая были выработаны для изображения и осмысления иного быта, иного сознания, иного типа человеческих отношений, а главное — иного типа жизненных ценностей». Между тем «определяющая константа» нашего сегодняшнего бытия и новых жизненных ценностей в том, что человек рядом с ощущением «малой своей родины» постиг «малость Земли», осознал себя «человеком всемирным». Оттого А. Курчаткина радует, когда «повествование приобретает некий всеохватывающий, общечеловеческий, я бы сказал, космический смысл», а «обычные человеческие события приобретают некий библейский отсвет». Исходя из этого всеохватывающего смысла, писатель и формулирует позицию своих единомышленников, причисленных к поколению сорокалетних. Перед нами, пишет он, «проза неоднородная по своему составу, не имеющая сходных стилевых и структурных начал и вместе с тем единая в своем принципе художественного подхода к миру... ее целью в итоге оказывается не постижение ценностных составляющих в изображаемом процессе жизни, а поиск в ходе этого изображения некоего ценностного идеала». При этом он не забывает добавить: «...этот ценностный идеал не выработала еще сама жизнь, она лишь задумалась над ним...»

Тут и впрямь задумаешься. Известны ценности духовные, социальные, нравственные, художественные. Но что такое ценностный идеал? И даже, по уточнению А. Курчаткина, «абсолютный ценностный идеал»? Причем не утверждение какого-то идеала, ибо, как сознает сам Курчаткин, «невозможно же соткать нечто из ничего», а именно только поиск его.

По моему убеждению, сегодня важен не некий абсолютный ценностный идеал — важна гуманистическая ценность происходящего в человеке и происходящего с человеком. Что, как мне представляется, поразительно точно показал Ч. Айтматов в своем новом романе.

Недавно В. Гусев несколько расширил обычный круг сорокалетних, выдвинув программу «новой прозы»: она, дескать, стремится реально смотреть в глаза действительности, правде в глаза... «Ей важна жизнь как она есть, но не в верхних, или не только в верхних, ее слоях, а и в подспудных — сейчас как никогда в мире актуальна правда не только внешняя и эмпирическая, а и правда «второй реальности», напряжение тайных энергий мира, его патетика, трагедийность, высокий пафос, жизнь в ее реальных и динамических проявлениях, в которых надо уметь прозреть и суть, и прочность, и силу». В этой на первый взгляд несколько неконкретно-патетической характеристике есть тем не менее твердое ядрышко: слово о правде «второй реальности», напряжении тайных энергий мира.

И вот уже и В. Коркин пишет, что форма нового романа Ч. Айтматова отвечает «нашей насущной потребности переживать «вторую действительность» в форме реальной жизни с ее изменчивостью ритмов, сменой впечатлений». Тоже, стало быть, имеется в виду более значительная правда под формой реальной жизни. Или, иначе говоря, истина под обличием правды. Осуществляется это уловление истинной реальности, истинной действительности по-разному, и есть прямой смысл разобраться в этом неспешно.

Одни охотно идут на условно-фантастическое смещение действительности, на свободное сосуществование реального и ирреального — В. Орлов в «Альтисте Данилове», Анар в «Контакте», В. Крупин в «Живой воде», Т. Каллас в романе-ревю «Звенит, поет» и т. д. Не буду говорить о них подробно, отмечу лишь как одну из активных линий нынешней прозы свободное совмещение реальных и ирреальных ситуаций, или, говоря более определенно, использование сюрреалистических приемов. Это бесконечно далеко от сюрреализма как литературного направления (противопоставляющего себя реализму как «позитивистскому» изображению жизни) с его стремлением к подсознательному, логически необъяснимому сочетанию предметов и явлений, выдаваемых за достоверные: ирреальность связи реальных деталей. Но как в изобразительное искусство вошел — особенно широко в 70-е годы — коллаж, который не имеет мировоззренчески ничего общего с поп-артом, хотя также пользуется сочетанием разных по цвету и фактуре материалов, так и наличие ирреальной ситуации в реальной ткани означает лишь общий прием, не возведенный, так сказать, в

степень мировоззренческой категории и опробованный в искусстве задолго до сюрреализма (сны, видения, ассоциативный монтаж и т. д.). Ведь точно так же обстоит дело и с импрессионистичностью как художественным приемом и импрессионизмом как направлением (или — использование символов и поэтика символизма и т. д.).

Свободное, сюрреалистическое совмещение реальности и ирреальности потребно в прозе такого типа для выяснения каких-то важных истин, когда прагматика, эмпирика уже не могут удовлетворить авторов.

А рядом с прозой В. Орлова и В. Крупина называют творчество В. Маканина, столь, казалось бы, противоречащее этим тенденциям.

Можно заметить определенную эволюцию В. Маканина от вышедшего в 1967 году романа «Прямая линия» до недавнего рассказа «Ключарев и Алимушкин». В чем же она?

Роман молодого автора был благосклонно принят тогдашней критикой — в немалой мере потому, что он оказался на удачном перекрестии тогдашней нравственно-проблемной и молодежной прозы. Он следовал гранинскому «Иду на грозу» — и описанием обстановки в НИИ, и типажами физиков-математиков, и, главное, противопоставлением центральных персонажей, один из которых, Белов, был подобно Крылову неудачливым, но надежным и совестливым, а другой, Князеградский,— баловнем судьбы и науки, но, как и Тулин, способным «вильнуть» в трудную минуту. Такая неразлучная пара—совестливый и преуспевающий— именно в ту пору сменяла на литературном ринге другую, изрядно выдохшуюся пару: новатора и рутинера.

Но роман Маканина находился и в кильватере тогдашней исповедальной прозы молодых: повествование шло от имени достаточно инфантильного двадцатитрехлетнего выпускника института со свойственным герою той прозы сплавом самоедства и самолюбования. Было в романе в меру иронии, немного чистой и грустной любви, немного молодежного сленга — словом, всего того, что полагалось таким историям из жизни молодых ученых, всего того, над чем сам Маканин впоследствии подшучивал в повести «Голоса», вспоминая прозу своих сверстников, входивших тогда в литературу. Удачно соединивший два наиболее активных и престижных направления прозы тех лет, роман был написан свежо и искренне, так что удивляться благосклонности критики не следует. Да и сегодня перечитываешь «Прямую линию» с какой-то снисходительной ностальгией по невозвратимой юности.

Затем постепенно вместе с автором взрослели и его герои — именно взрослели, а не мужали. Сначала им было за тридцать, затем в районе сорока, они женились, заимели детей и зажили небогатой жизнью современного служилого интеллигента, вдали, как говорится, от бурь века. Почти все они сохранили налет некоторой инфантильности и, как правило, все они плывут по течению жизни: «...сносит течением, и все тут дела».

Где-то иногда проскальзывает легким бликом общественная причина такой «сносимой» жизни его героев: они пережили свою волну, свой девятый вал, выпавший на годы их юности. (Вот и у А. Кима в «Луковом поле» есть слова о «подраненном войной» поколении. Так сказать, об опустевшей, опустошенной, а не пустой душе.)

С. Чупринин в этюде о В. Маканине прямо отметил, что «нынешние сорокалетние как бы отстранились от своей юности, почувствовали себя — так в литературе, по крайней мере,— поколением совершенно новым». Но сам Маканин не объясняет, а просто фиксирует эту обычную жизнь своих «отстранившихся от юности» героев. И недаром в критике так часто в разговоре о прозе Маканина поминается городской цикл повестей Юрия Трифонова.

Она и вправду близка, эта проза Трифонова и Маканина об интеллигентах большого города. Порой близка до удивления. И отдельными словечками, и выделением разрядкой или прописными буквами опорных, нажимных слов и выражений, свойственных несколько рассудочной прозе, и профессиями героев — инженеры да творческая интеллигенция,— и их возрастом в «районе сорока». А главное — образом их поведения.

Но у Трифонова всегда есть четкое разделение между совестливыми и «врастающими» — между теми, кто не только прислушивается к своей совести, а и слушается ее, и теми, кто легко подчиняется «законам игры», будь то Лена или Ольга Васильевна, или теми, кто идет «до упора» подобно Глебову, Кандаурову, Климуку. Все время ищет Трифонов, на что бы опереться, какие бы нравственные постулаты утвердить, подчас даже вопреки сносящему течению жизни, течению истории.

У Маканина же нет такого разделения. Уж на что режиссер Старохатов предстал в романе «Портрет и вокруг» хапугой и дельцом, а и то при внимательном рассмотре-

нии оказался и не хапугой и не барином, а просто слабым человеком — таким, как и сам рассказчик, вознамерившийся писать «жесткую» повесть — портрет Старохатова — и отказавшийся от этого намерения, потому что, как проницательно заметил Старохатов, узнав о его замысле: «Тебе не хотелось писать о самом себе». «Не ангел я, а человек грешный» — полюбились повествователю в романе слова из старинной книги, и он выделяет их кричаще прописными буквами.

Пожалуй, все герои Маканина таковы: склонные понимать, что жизнь состоит не из принципов, а из компромиссов. Рискну сказать даже, что идея компромиссов, постепенно созревшая у его героев вместе с их повзрослением, устройством быта, необходимостью кормить семью, главная в его прозе. Прошло время юношеского бунтарства, настала пора нести «бремя штиля», как удачно выразился А. Курчаткин.

Герои Маканина и не расценивают свершаемое как компромиссы — компромисс вроде подразумевает сознательное решение,— а принимают как естественный образ жизни, естественный образ поведения «обычного человека», вынужденного подстраиваться к громаде обстоятельств. Он дает прозу жизни без «вспышек», и оттого повествование временами оказывается вялым, затянутым — проза прозы, а не проза драмы, как у Трифонова. И нет ничего странного в том, что у Маканина не было громкой литературной славы: такое честное бытописание охотно читают, но о нем неохотно пишут, обольщаясь «бытийной» прозой.

А вот рассказ «Ключарев и Алимушкин» вроде и «традиционный» для Маканина, но уже иной: бытописание совмещено здесь с притчей.

Одного человека постигла «полоса везения», а у другого ни с того ни с сего все вдруг посыпалось, стало плохо. И тогда «везунчик» затеял мысленный разговор с богом: справедливо ли, что одному везет, а другому нет? И бог ответил: справедливо, ибо счастья на свете мало и оно подобно одеялу — на большую семью одного не хватит. И только после этой притчи, уже «в доказательство» ее, рассказывается история о конкретных людях — о Ключареве, которому везло, и о неудачнике Алимушкине, который в конце концов умер после второго инсульта, как раз в то время, когда у Ключаревых обмывали очередное продвижение по службе.

Ключарев и Алимушкин никак не противоборствуют друг другу, не сталкиваются в каких-то действиях или принципах: Ключареву просто везет, а не то чтобы он был из идущих на компромиссы или идущих «до упора». А Алимушкину не везет, опять-таки независимо от его человеческих качеств: просто одеяла на всех не хватает.

Значение этой притчи для Маканина тем заметнее, что в романе «Портрет и вокруг» он тоже рассказывает притчу о том, как человек каменного века искал истину и, оголодавший, отверженный, осмеиваемый, в отчаянии обратился к богу: да есть ли истина, а если есть, то почему я ее никак не найду? И бог ответил: ищут многие, а откроет один — «тот, кто ищет ее в холоде и голоде плюс — удачливый». Не каждый же, кто ищет, находит истину, добавляет уже сам автор. Истины, как и одеяла, на всех не хватит. Да вот и удачливому Ткачеву в «Полосе обменов» в результате удачного обмена и большая квартира досталась и удобная любовница Геля, прежде занимавшая эту квартиру; и он думает, глядя на фотографию погибшего лётчика, мужа Гели: «Вот ведь как обменялись. И почему же так вышло, что мне все, а тебе ничего?» Но горечь Ткачева, в сущности, легкая горечь. Конечно, легкая — он не забирал, не давил, ему просто досталось...

Не удивительно, что Маканина стали причислять в последнее время к прозе сорокалетних: ей ведь прежде всего несвойственно «прагматическое» решение жизненных вопросов. С. Чупринин назвал свой этюд о Маканине «Жизнь врасплох», подразумевая, что Маканин берет жизнь не в кульминациях, не в экстремальных ситуациях, а, так сказать, врасплох, непричесанной. Но, похоже, в этой формуле затаился иной смысл: жизнь застает писателя врасплох. Он не знает, как от нее уберечься и уж тем более как ею владеть.

Часто не знают этого и герои других писателей, причисляемых к тому же ряду. «Выручая» их, авторы обычно опираются на символику, метафору, романтические обобщения. Суть такого приема легко постигается из сопоставления повестей «Последний срок» В. Распутина и «Лотос» А. Кима, разделенных как раз десятилетием (первая появилась в 1970 году, вторая опубликована в прошлом году).

И у Кима к умирающей матери, которая уже, как и распутинская Анна, перестала есть и впадает в предсмертную мглу, приезжает вызванный телеграммой сын, художник Лохов, забывший в своей увлеченности искусством о далеко, на Сахалине, живущей матери. Как и Анна, мать в «Лотосе» прожила трудную жизнь: потеряла

мужа в первые дни войны, была изнасилована полицаями, едва не умерла в голодных странствиях, а теперь уже несколько лет лежит парализованная в лачуге, где за ней ухаживает ее третий муж, пьяница (но кто осудит его: можно ли не спиться от такой жизни?).

Нет надобности говорить о суровой и строгой пластике и драматичной энергии «Последнего срока»: об этом уже много написано в критике. В «Лотосе» перед нами совсем иная стихия — лирических восклицаний, ритмизованной прозы, многослойной символики. Даже имени мать не имеет, как то часто случается в подобных лирико-философских повестях.

Все бытие стремится вобрать в свой лирический водоворот, свой темпераментный лирический «захлеб» А. Ким. Лоховское «я» переходит в хор «мы». Будущее беспрепятственно смешивается с прошедшим то во внутреннем монологе, то в прямой сюжетной стыковке, дабы передать «сомкнутость времени». Лиса, умершая от смертельного испуга на кладбище, оборачивается медсестрой, которая отдается Лохову возле смертного ложа его матери, желая силою любовного трепета противоборствовать страху перед неотвратимостью смерти. И то ли давняя знакомая Лохова, у которой он, потрясенный смертью матери, провел ночь, то ли ее маленькая дочь вызвали утром у Лохова чувство, будто «я был ее отцом, а она, возможно, моей матерью или матерью моих детей — единство наше, слитое в любви, как дух жизни в земляной влаге, вспыхнуло передо мной в своем белоснежном сиянии». Предсмертные сны и видения переходят в реальность, голос умирающей — умершей — матери ведет диалог с голосом сына, с голосом мужа. А апельсин, который Лохов привез матери и надрезал кожуру так, что получились как бы лепестки лотоса, стал ярким Лотосом Солнца, с которым посылают гонца к тем, кто готов «к своему великому перевоплощению из живых в мертвые». Словом, бесконечно прихотливы и изобретательны попытки А. Кима собрать, объять весь мир в любых его пространственных, временных, духовных измерениях. И не случайно появляется в повести «опознавательное» слово и с т и н а. «Боже мой, да к какой это истине я взошел через смерть моей бедной матери?» — спрашивает себя Лохов и отвечает: «Умирая, ты открыла мне, что единственный путь к бессмертию — это жизнь...»

А в повести «Нефритовый пояс», появившейся почти одновременно — и тоже о жизни и смерти,— мудрый старик профессор говорит: «...самым важным своим достижением я считаю это свое смирение. Когда оно пришло ко мне, я понял п р о с т о т у, понимаете? Простоту мира... Звуки. Краски. Теплота. Движение. Небо, трава. Игры детей, крики их вдалеке. Милосердие. Доброта. Внимание. Их все не перечислишь, эти элементы, в которые вложена подлинная цена жизни». (И только б о р ь б ы, упорства нет среди них!) «Гамлет я без шпаги, вот я кто»,— многозначительно заканчивается и повесть А. Курчаткина «Гамлет из поселка Уш».

Такой предстает «новая проза» в своих исканиях философских истин — в противовес «нравственным узлам» прозы Распутина и других прозаиков, работающих «по-старому».

Об опасностях такой романтико-философской манеры писал А. Эльяшевич: «Иные романтические произведения на поверку часто оказываются произведениями лжеромантическими, искусственно приподымающими и ретуширующими действительность... Их герои не говорят друг с другом, а вещают прописные истины, бесконечно философствуют на абстрактные темы в выспреннем и патетическом стиле... Перед нами люди «вообще», лишенные крови и плоти, условные маски, воплощение тех или иных добродетелей или пороков. Их и величают частенько — «человек», «мужчина», «женщина» и т. д.» [5].

Но опасность риторики, подстерегающая А. Кима — и не только подстерегающая, а и приводящая подчас к выспренности и многословию,— не может поставить под сомнение правомочность и художественную значительность того лирико-философского поиска ответов на вечные вопросы о жизни и смерти, добре и зле, памяти и забвении, который последовательно и талантливо ведется им.

Еще одно направление в прозе сорокалетних представлено В. Личутиным, автором дилогии «Обработно — время свадеб», «Последнего колдуна», повестей из хроники поморской деревни. Для уяснения его художественных взглядов в данном случае важнее, наверное, обратиться не к поморской хронике, а к его эссе «Душа неизъяснимая», поскольку там отчетливо проявлены многие черты и мировосприятия, и художественной манеры, и лексики писателя.

Речь в этом эссе идет о сказительницах

[5] А р к. Э л ь я ш е в и ч. Единство цели — многообразие поисков. Л. «Советский писатель». 1980, стр. 215.

и профессиональных поэтах Севера — Крюковой, Клюеве, Рубцове... Нешуточно — или, вживаясь в его лексику, нешутейно — возводит он их в сан святых, словно канонизируя после смерти: «...на их судьбах запечатлелся отсвет схимы, святого служения душе». Из этой позиции святого служения душе (недаром, видно, И. Золотусский замечал, что «центр интереса сдвинулся к душе») исходят его оценки и характеристики.

Вот одно из главных положений, относящееся к людям вообще: «Мне так мыслится, что душа человека — дитя неба и солнца и более всего она стережется темени... Так случайна ли эта тяга в горние вышины, откуда и притекает в нас любовь ко всему сущему?» В таких предельно обобщенных, «горних» категориях ведет он речь и о сказительницах и о писателях. О сказительнице Кривополеновой он пишет: «Так какое же тут сердце, душу неизъяснимую надо иметь, чтобы всех сразу полюбить безо всякого умыслу и обо всех позаботиться». Зато Алексея Чапыгина, показавшего мрачные и тяжелые картины поморского быта, он сердито укоряет: «Как случилось, что Чапыгин позволил своему сердцу ожесточиться?.. Даже такой будто бы праведник и рачитель, охранитель леса и зверья малого, Афонька Крень, оказывается полон содома и гоморры».

Но добро бы такими предстали сказители и сказительницы (а такова у него, кстати, и праведница крылатая Серафима из одноименной повести). Но святым схимником изображен и Николай Рубцов. Это он «был подобен когда-то согрешившему, а после вечно кающемуся человеку». Он же «совершал свой крестный ход от самого рождения, и не было ему спокоя». И эта его «скорбь была так неугасима, что поэт сгорел в ней. Он сгорел на пламени собственной души... Небо было ему часто ближе и роднее земли. Одну огромную мировую душу, равномерно распределенную во всей вселенной, видел Рубцов».

Очевидно, из моего минимального комментария уже ясно, что я не могу без серьезных оговорок принять этот благовест о душе и зверье малом за новое слово, новое откровение, новую художественную правду: ведь и в прозе самого В. Личутина больше изображаются лики, а не лица. Но не мог я и миновать этого писателя, ибо и в такой форме проявляется несомненный поворот литературы второй половины 70-х годов к вечным нравственным и духовным ценностям, всегдашним страстям и томлениям.

Если В. Маканин словно выдвинулся из-за спины бытовой, городской прозы, а А. Ким форсирует прежде всего романтико-символические интонации современной прозы, то В. Личутин со своими нравоописательными полотнами вышел из недр лирической деревенской прозы (своего рода поморский вариант сибирской прозы — недаром о нем так тепло отзывался В. Распутин). Правда, А. Курчаткин старается «отбить» В. Личутина от нее, уверяя, будто он, говоря о прошлом, на самом деле весь лицом к настоящему и будущему. Но ведь тот же А. Курчаткин уверяет, что В. Личутину «присуща поразительнейшая трезвость взгляда, отметающего всякую умиленность и лирическую размягченность»!..

А рядом с А. Кимом и В. Личутиным неизменно поминается А. Проханов, писатель явно технократической ориентации, в последнем романе которого, «Место действия», отчетливо заметна эта поэтизация наступающего нового. По художественной же манере перед нами «авторская проза, легко совмещающая в себе условные, мифологические и реальные, достоверные элементы... Его проза патетична, заведомо необъективна», как представлял ее читателям В. Бондаренко.

Я нарочито использовал в этой характеристике сорокалетних и разбор художественного творчества, и их собственные декларации, и высказывания критиков, чтобы картина получилась более полной и многоаспектной.

Нетрудно видеть, что перед нами давно определившиеся мастера, идущие от разных жизненных истоков и литературных традиций. И все-таки они действительно несколько иные, чем их предшественники. Но объединяет в волну таких разных — «фантаста» В. Орлова, «романтического технократа» А. Проханова, ироничного В. Крупина и других — не столько «абсолютный ценностный идеал» или духовность, сколько более свободное обращение с жизненной реальностью при ее художественном воплощении. Благодаря такому обращению они «переплели воедино фольклорно-метафорическое, сказовое и дотошно-повествовательное, описывающее начало», по характеристике того же В. Бондаренко. Главным для большинства из них видится не воссоздание реалий действительности, а ее смещение, которое позволит легче обнаружить в ней «главную истину», «главное звено», за которое удастся вытянуть всю цепь.

И все-таки попытки свести их в одно поколение кажутся мне некоторым наси-

лием и над литературным процессом и над их творческой индивидуальностью. Если уж и говорить о поколении, то я бы использовал термин «оттесненное поколение». То их забивала азартная исповедальная проза, то проникновенно-пластичная лирическая деревенская, то изящно-парадоксальная энтээровская, а к концу 70-х оказался какой-то штилевой просвет, и в этом просвете стала видна довольно значительная группа прозаиков, составляющая крепкий, надежный «второй план», близкий резерв артиллерии «главного калибра» (ведь Маканин — ровесник Распутина и Битова и по годам и по началу литературной работы, а зачисляется уже в иные поколения).

Оттого-то и предстает столь зыбким состав этого поколения, перечисляемый в разных статьях: одни поминают еще Т. Пулатова и Г. Баженова, другие А. Афанасьева и А. Скалона. Да это и неудивительно — столь общей программой, как большим одеялом, многих талантливых прозаиков накрыть можно.

Оттого же в выступлениях «собирателей» этого поколения звучат вперемежку обида и наступательность. Обида — из-за того, что их мало печатают в журнальной периодике. А наступательность — по той причине, что группой (а еще звучнее — поколением) утверждаться легче, чем в одиночку. Обычно в истории литературы объединяется в группы, школы молодая поросль, из которой потом, по мере возмужания таланта, расходятся самобытные мастера. Здесь же, наоборот, стараются объединить совсем разные и уже зрелые, определившиеся таланты.

Речь, конечно, должна идти не о поколении, ясном в своих очертаниях. Просто набухает во всей литературе какая-то общая тенденция, которая выявляет себя в творчестве ряда писателей, в том числе и писателей средних лет. Словно ручейки пробиваются из-под талого снега. Пока эти ручейки не слились в широкий поток, не дали значительных, принципиальных художественных открытий, хотя уже ощутимо заметны в литературном пейзаже как отклик на запросы времени, на движение жизни, на потребность художественно осваивать все новые пласты действительности жизни и общественного самосознания.

«Дело литературных критиков и искусствоведов выносить профессиональные суждения,— говорилось в докладе Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС.— Но думается, что все читатели, зрители, слушатели чувствуют: в советском искусстве поднимается новая приливная волна». Предощущением заметных сдвигов живет все наше искусство. Конечно, оно должно обновляться. И если верно, что в одну реку нельзя войти дважды, то в литературную реку дважды входить и не хочется. Вполне возможны и необходимы иные по сравнению с существующими, по сравнению с устоявшимися взгляды на мир, на искусство, на назначение человека. Но всякое новое должно ясно ощущать свою необходимость для жизни, для утверждения более высоких социальных, нравственных, духовных ценностей. Степенью жизненной активности обусловливается и измеряется продуктивность искусства.

Рождаемое движением времени, искусство призвано, в свою очередь, помогать движению времени.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Рунин. Бремя времени.— **Юрий Болдырев.** Долгая была война.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ким Селихов. Люди трудной профессии.— **В. Елисеева.** Восхождение.— **С. Кузнецова.** Индия: связь времен.

Литература и искусство

БРЕМЯ ВРЕМЕНИ

Борис Слуцкий. Избранное. 1944—1977. М. «Художественная литература». 1980. 366 стр.

Отчет поэта за тридцать три года работы... Около трехсот стихотворений... Страница за страницей, одно за другим, без каких-либо остановок и пауз. Нет обычного в таких случаях деления на циклы. Отсутствуют даты. Сплошной поток стихов. Не то важно, что писались они в разные годы, по разным поводам. Важно, что из них можно сложить нечто цельное, выстроить сквозной лирический сюжет.

«Избранное» Б. Слуцкого не свод из двенадцати его предыдущих сборников, не однотомник, а книга. Не собрание жизненных замет, не череда впечатлений, а характер. Вот он перед нами во всей уникальности земного и духовного существования. Дело не столько в датах, сколько в логике душевных сцеплений, в движении поэтического смысла, в его единстве и целостности. Так или иначе, все стихи Слуцкого — и самые скромные, и самые знаменитые, и «проходные», и ставшие уже хрестоматийными — независимо от былой репутации читаются здесь как-то по-другому. Видимо, таков феномен «большого контекста». Помещенные под одной крышей, стихи вступают в новые связи, а потому приобретают иные акценты, выстраиваются в неожиданные смысловые и интонационные цепочки, чем-то существенно меняющие сложившийся узор представлений о творчестве Б. Слуцкого.

За поэтом давно и прочно числятся темы, которые он неуклонно и успешно разрабатывает на протяжении ряда лет. Тема общественного долга человека, например, воплощена им во многих благородных и мужественных стихах, причем не только о войне, но и о мире. Его герой и в обычных и в экстремальных условиях всегда сознательно и убежденно выбирает для себя путь наибольшего сопротивления, всегда самоотверженно обрекает себя на тяготы и лишения, если того требует общее дело.

Или возьмите тему скоротечности времени, его неуклонного, неостановимого бега, запечатленного в человеческих свершениях, всегда побуждающего нас размышлять над сменой событий, сменой времен года, сменой возрастов и поколений. Критика не раз отмечала умение поэта плодотворно соотносить настоящее и прошлое, его исторический оптимизм, наконец, мудрость и активность памяти. Острота памяти и чувство времени для художника качества взаимозависимые, обоюдные. Читая его «Избранное», убеждаешься в том, что память здесь выступает прежде всего как

связующее начало. Она не столько воскрешает образы былого, сколько объединяет различные психологические состояния человека на протяжении его жизни в целостное самосознание личности.

Но если в решении отвлеченных вопросов бытия — от проблемы долга как нравственного императива до проблемы времени как всеобщей формы смены явлений — все так легко поддается трезвому расчету и завидному благоразумию, то откуда же берется ощущение неизбывного драматизма, которым пропитана лирика Слуцкого вообще, а эта книга особенно? Ведь, читая ее, испытываешь такое чувство, будто оказался в зоне повышенной внутренней конфликтности. Именно внутренней, ибо тут налицо некое противоположение в самом подходе к каждой проблеме, в самом ее познавательном переживании.

Есть в «Избранном» коротенькое, состоящее из одной фразы стихотворение, которое раньше, в сборнике «Современные истории», честно говоря, не привлекло моего внимания. Здесь же, подготовленное многими другими и удачно помещенное где-то в середине книги, оно показалось мне едва ли не ключевым, потому что протянуло невидимые нити своего тревожного смысла и своей противоречивой поэтики во все стороны:

Слышу шелест крыл судьбы,
шелест крыл,
словно вешние сады
стелет Крым,
словно бабы бьют белье
на реке,
так судьба крылами бьет
вдалеке.

Тема судьбы, явно смущающая поэта старомодным и мистическим величием, тем не менее властно вошла в его творчество по закону, или, вернее, по праву лирического контрапункта. Сколь это ни покажется странным, но прислушайтесь — и вы различите почти блоковский роковой шелест крыл и эту беспощадно подавляемую склонность к символике в самых разных, в том числе и в самых новаторских, стихах Слуцкого. А уж там, где присутствует тема гражданского долга или тема необратимости времени,— непременно.

Ах, это стыдное, потому что уж очень архаичное и неортодоксальное чувство судьбы! Но как избавиться от него, если оно так человечно, так естественно, особенно в эпохи великих потрясений! Видимо, война своей неумолимостью пробудила его в нас. И те, кто подобно Слуцкому вернулся с войны, вдоволь хлебнув ее лиха, потеряв и близких и друзей, уже не вольны от него отрешиться. И все-таки хочется развенчать это неотступное чувство, лишить его суеверенной символики и суеверной семантики. Для этого, наверно, надо приглушить, приземлить его. И вот уже бабы на реке шумно делают свое дело, рьяно выколачивая из нашего восприятия этого образа его литературную традицию, низводя его из разряда категорий бытия в разряд деталей быта.

Удалось ли поэту таким способом добиться своего? Боюсь, что в данном случае нет. Он лишь приоткрыл суть своих борений с соблазнами регулярного общепринятого лиризма, оснащенного пусть чужими, но все-таки крыльями, а потому способного воспарить над эмпирической злобой дня, услышать, как падает роса — «слезы из глаз тишины», подсмотреть «парады природы», рассказать, как «звезд далекий разговор внезапно душу задевает». Нет, что ни говорите, а поэтизмы типа «трубы вечности» или «стук судьбы, как слепецкая палка», по-видимому, даже в век космических полетов сохраняют какую-то эстетическую привлекательность. И даже для Слуцкого.

Он сопротивляется подобным искушениям с истовостью страстотерпца. Он всячески пытается уверить себя, что старые чувства умирают. Он старается не писать о любви, природе, красоте, не ходить по тем дорожкам, где его легко могут обольстить достоинства традиционного стиха — и образные и ритмические. Он обороняется от натиска подобных соблазнов, как солдат в одиноком окопе,— всеми подручными средствами. С тоской и мукой оглядывает он горизонт в поисках союзников. Хлебников... Маяковский... Асеев... Мартынов... Хикмет... Может быть, Коля Глазков?

С надеждой оборачивается он на свою фронтовую мужеподобную музу, но она за ним не поспевает. В кирзовых сапогах, она отстала, ей все еще не удалось демобилизоваться... А с ней-то все было не так. Не надо было остерегаться изящной словесности с ее велеречивой вкрадчивостью, размагничивающей мелодичностью, «кантиленностью», баюкающими ритмами. Тогда, в юности, на войне, удаление поэзии от жизни было ничтожным и не требовало особой эстетической гибкости. Оно измерялось постоянной близостью смерти. «Та линия, которую мы гнули, дорога, по которой юность шла, была прямою от стиха до пули — кратчайшим расстоянием была».

Да, именно в те годы, когда ротные писаря закладывали «основы литературного

стиля», формировалась и самоопределялась пресловутая прозаичность лирики Слуцкого со всеми ее достоинствами и издержками. Как бы там ни было, но теперь приходится признать, что это она, проза его поэзии, сделала фигуру Слуцкого столь заметной в нашей литературе, а его лирику столь оригинальной, ни на что не похожей. Даже в ряду поэтов военного поколения он до сих пор стоит особняком.

Однако теперь этот необычный лирический характер будоражит нас не только тем, что он не такой, как все, но и тем, что он не такой, каким кажется на первый взгляд и каким мы привыкли его считать. Я потому и придаю такое значение «Избранному» Б. Слуцкого, что эта книга заставляет взглянуть на него по-новому, понять, как и где он «не идентичен» самому себе. Уяснить, как и где сквозь очевидные и давно замеченные свойства его натуры и его поэзии проступают совсем иные, порой даже противоположные черты характера и особенности стиха.

Признаться, меня самого не раз коробила образная скупость и намеренная приземленность поэзии Слуцкого, притом что я готов был с пониманием отнестись к уверенной категоричности его тона. За этой безапелляционной прямотой лирического высказывания я прочитывал упрямую правоту человека, которого опыт фронтовой политработы приучил к решительному «спрямлению кривизны» в любых условиях. Но вот я читаю Слуцкого «подряд» — и все оказывается вовсе не таким уж уверенным. Нет, эта книга и поэтична и драматична. Вернее сказать, потому и поэтична, что драматична.

Словно в противовес разливанному морю окружающего бесконфликтного лиризма Слуцкий настойчиво разрабатывает «лад баллад»: кто, где, когда. Почти всегда это солдаты, или бывшие фронтовики, или солдатские вдовы. Почти всегда это лирические сюжеты, почерпнутые на людях, в самой демократической обстановке: в общежитии, на передовой, в госпитале, на стройке, в бане, на базаре, в школе для взрослых, у сельской почты, в бесплацкартном вагоне. Что же касается «когда», то поэт знает лишь три времени жизни: до войны, на войне, после победы.

Существенность вещи у Слуцкого как бы опирается на вещественность сути. Изобразительная наглядность его стихов очевидна. Зрительные восприятия уверенно главенствуют в них над всеми остальными, а твердость штриха напоминает деревянную гравюру. В сочетании с неизменной определенностью каждой сюжетной ситуации этот «впечатлений зрительных навал» был бы весьма привлекателен для книжных иллюстраторов, если бы стихи издавали с рисунками. Но и без того лирика Слуцкого входит в мир читателя весомо, грубо, зримо.

И все-таки дело обстоит не так просто, особенно насчет «грубо». Ну хорошо, допустим, поэт на дух не принимает всякую там элегическую созерцательность и в полемическом азарте готов созорничать, прибегнуть к уличному жаргону, допустить несалонное выражение. Но ведь речь идет о чем-то куда более серьезном, нежели просто «плебейский эпатаж». С одной стороны, настойчивая, и притом часто ироническая, прозаизация стиха, установка на будничность, обыденность стихотворной речи. С другой — неожиданные выходы в патетику, живописность и даже задушевность. С одной стороны, намеренное рассудочное просторечие, с другой — невольное эмоциональное простосердечие. С одной стороны, едва ли не демонстративная ритмическая «антиграциозность», с другой — прославление ямба, традиционная классичность метра. С одной стороны, ориентация на насмешливую непринужденность раешника, наивность лубочного стиха, шуточность скороговорки, с другой — тяготение к высокой трагедии, величавой, торжественной философичности. А ведь этими несоответствиями ряд душевных разночтений в стихах Слуцкого далеко не исчерпывается.

«Надо думать, а не улыбаться, надо книжки трудные читать, надо проверять — и ушибаться, мнения не слишком почитать. Мелкие пожизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат». Вот и все стихотворение. Элементарность его назидательной иронии очевидна. Так же как нескрываемая бедность рифмовки: «улыбаться — ошибаться», «читать — почитать». Так же как в других стихах — настойчивая тавтологичность фразеологии типа: «Политработа — трудная работа. Работали ее таким путем...» Или: «Снова год не приходится на год, не приходится на год год...» Или: «Привычка привыкать, терпеть терпенье...» Или: «Стой, мгновенье, на мгновенье!» Я уж не говорю о щеголянии причастными и деепричастными рифмами, о неуклюжих ритмических сбоях и т. п.

Ведь это не огрехи новичка, не оплошность самозабвенного пиита, а эстетическая убежденность. Так во имя чего же Слуцкий дал этот обет опрощения? Зачем ему

это мнимое простодушие через явное просторечие? Ведь когда он говорит о том, что у него за долгие годы «образовался недосып», а также «недоед», то это звучит как четкая установка на примитив. Но так ли это? Вот он в стихотворении о солнце замечает: «Огромное преимущество — молча смотреть на него, когда никакого имущества нету, кроме него...» А рядом, в другом стихотворении, тоже о солнце, на какой-то миг забывает о напяленной на себя грубой поэтической власянице и вдруг разражается великолепной праздничной метафорой:

Огромное дело восхода:
как будто проходит пехота
навстречу грядущему дню
и каждый несет головню.

Красиво же, правда? А разве не были красивы «Лошади в океане»? А разве не проникнуто трогательным лиризмом и подлинным волшебством поэзии (намеренно употребляю эти «скомпрометированные» слова) стихотворение «Как важно дерево в окне...»?

Да мало ли у Слуцкого стихов, продиктованных чувством гармонии. Ведь в глубине-то души он больше всего завидует тем поэтам, которых поют. Иначе говоря, завидует песенности, музыкальности стиха. Да, да, он сам в этом признается. Неотвратимость музыки и впрямь смущает его покой: «Не обоснована ведь ни бытом, ни — даже страшно сказать — бытием... — размышляет он.— Разве чем-то забытым, чем-то, чего мы не сознаем...» Что-то забытое, чего он не сознает, несет в себе и поэзия Слуцкого. Что же это?

Процесс разговорного упрощения стихотворного языка русской поэзии не вчера возник и не со Слуцким закончится. И конечно, он вошел в литературу под знаком простоты не потому, что так его учил Сельвинский на своем семинаре в довоенном Литературном институте, а потому, что поэтом его сделала война. На фронте проходил он свои университеты стихотворного реализма. Все это общеизвестно. Но теперь мы уже склонны позабыть, что война сама была страшным упрощением всех связей, идеалов и норм человеческого бытия. Больше того, она не только сама жестоко спрямляла кривизну жизни, но и вселяла этот соблазн упрощения в человеческие души.

Война свела до чрезвычайного минимума обычное расстояние между жизнью и смертью, сделала его кратчайшим. Тем самым она сдавила, спрессовала все естественные промежуточные состояния жизненного цикла, ненормально сблизила самые разные ценности и значимости человеческого существования. А потому смешала формы, сместила акценты, нарушила естественную логику душевных потребностей и критериев духовности.

Мне кажется, что лирика Б. Слуцкого значительна тем, что она выражает драму упрощения, драму «спрямления кривизны» именно на языке этой драмы. Отсюда его «личный штамп» и «свое клеймо», которые не спутаешь ни с какими другими. Поэтику мучительных просторечий он принес с фронта не только как языковое наблюдение, но и как художественное мироощущение, с которым уже не волен расстаться.

Отсюда ни на что не похожая эмоциональная двойственность, или, как теперь принято говорить, амбивалентность, его лирики. Внешне уверенной в себе, то житейски-толковой, то иронически-рассудительной, даже полушутливой, а на деле беспокойной, тревожной, горькой, порой даже трагедийной. Ведь, если вдуматься, все стихи Слуцкого, в том числе и самые бодрые, самые жизнерадостные,— о чем они? О том, как трудно жить человеку на свете, о жестокостях бытия. О нашем полном борьбы, невзгод и утрат времени.

В том-то и дело, что за якобы упрощенной фразеологией, за бытовой разговорностью, порой даже за какой-то на первый взгляд нелепой, бесшабашной ухмылкой в лирике Слуцкого таится подавленный крик человека, несущего на себе неизбывное бремя войны. Человека с нежной душой, отзывчивым сердцем, ценящего добро и красоту, легко ранимого и чуткого к бедам и страданиям современников.

Он хочет выговориться, рассказать о своей и чужой боли, но никогда не позволит себе унизиться до стенаний и жалоб на свою участь. Он предпочитает спрятать, замаскировать истинное переживание тавтологией, насмешливой примитивностью речи, грубоватой снисходительной иронией по отношению к самому себе. Иногда даже кажется, что чем драматичнее психологическая ситуация, о которой он говорит, тем беспечнее делается его рассказ. И от этого контраста между внешней формой и глубинной сутью стиха иной раз мороз по коже.

«Трагические прибаутки» — вот как я бы определил поэтику подобной выразительности в ее предельном варианте. Иногда такое стихотворение всем своим строем напоминает подтекстовку к детской картинке: «Это Коля Глазков. Это Коля — шумный, как перемена в школе, тихий, как

контрольная в классе, к детской принадлежащий расе...» Да, чем сложнее выражаемое чувство, тем проще рисунок стиха: «Самый старый долг плачу: с ложки мать кормлю в больнице. Что сегодня ей приснится? Что со стула я лечу? Я лечу, лечу со стула. Я лечу, лечу, лечу... — Ты бы, мамочка, соснула.— Отвечает: — Не хочу...» Или: «У больничного окна с узелком стоит жена. За окном в своей палате я стою в худом халате...»

И снова убеждаешься — простота простоте рознь. Простота как преодоленная сложность — явление в лирике не редкое, особенно когда поэт соизмеряет свою жизнь с вечностью и старается обнаружить ее черты в своем субъективном опыте. Б. Слуцкого гипнотизирует не вечность, но память. Он ощущает ход времени в его конкретных и конечных проявлениях и неизменно оглядывается на свою военную юность, где все было до смерти просто. Конечно, с годами перед ним открывается «вся сложность мира, весь его объем». И простота уже не вмещает в себя, как когда-то, трудности жизни. Но именно потому, что когда-то вмещала, она как раз и становится для Слуцкого ностальгической формой познания современности.

Что ж, это не только его драма. Во многом это драма всего год от года заметно редеющего племени фронтовиков, уже давно живущего среди людей иного, только мирного опыта. Драма памяти. И, если хотите, драма самой истории. Вот почему так пронзительна лирика Слуцкого, когда он сводит к простым вещам и едва ли не к инфантильным интонациям серьезные конфликты нашего сегодняшнего общежития. Особенно когда его стих прикидывается при этом детской считалочкой или упрямо твердит полюбившееся созвучие. Давно известно, что детское начало в художественном освоении мира загадочно и спасительно сочетанием конкретности и непосредственности. Когда-то Пикассо сказал, что он как художник всегда завидовал детям и потратил всю свою долгую жизнь на то, чтобы рисовать, как они.

Б. Слуцкий пришел к этой мудрости, когда ему было тридцать лет. С тех пор постижение через простоту стало его второй натурой. А годов накапливалось все больше. И простота становилась все сложнее. И насыщенность ее тревогой мира — все очевиднее. Когда ему исполнилось сорок, он, бывший фронтовик, все еще старался не замечать груза лет: «Я от всех передряг упасся — только чуть заржавел с боков». Когда ему исполнилось пятьдесят, он написал свое, быть может, самое «детское» по простоте словесного рисунка и самое «взрослое» по итоговому смыслу стихотворение:

...Кончилось мое еще.
Началось мое уже.
Как мое уже — тощё,
на последнем рубеже.

Все начала кончил я.
Начинается конец.
Он тяжелый, как свинец,
но правдивый. Без вранья.

А еще через десять лет Б. Слуцкий собрал эту книгу, из которой видно, что его «уже» оказалось вовсе не «тощё» и о последнем рубеже думать рано. Многое для поэта здесь только началось. Как бы там ни было, «Избранное» Слуцкого «не только повесть о его собственной жизни, но и биография поколения и портрет времени, полного тяжелейших испытаний». Так оценил эту книгу покойный Константин Симонов, к счастью успевший написать к ней доброе дружеское предисловие.

Б. РУНИН.

★

ДОЛГАЯ БЫЛА ВОЙНА

Елена Ржевская. Была война... Повести, рассказы, записки. М. «Советский писатель». 1979. 640 стр.

У меня нет абсолютной уверенности в том, что Елена Ржевская название своей книги взяла из известнейших строк Бориса Слуцкого: «А война — была. Четыре года. Долгая была война». Словосочетание «была война» могло прийти к автору и само по себе, без воспоминания о чужой строке. Вот только чужая ли она, эта строка?

Ощущается — в последнее время особенно — вновь резко обозначившаяся общность этих людей, которым к 1941-му было по девятнадцать, двадцать и больше, которые уже до войны если не писали, то, по словам автора, «говорили, думали о ней, песни распевали, себя к ней примеривали» и шагнули в нее сознательно, как в заповеданный, как «в свой решительный, и

последний, и предсказанный песней бой». А сегодня они как бы невидимо для глаза, но ощутимо для души, невзирая на вчерашние воинские чины и нынешние литературные ранги, все в высоком звании Солдата Великой Войны встают в некий строй, создавая не обозначенное в воинских уставах соединение. И естественно видеть в этих редеющих рядах напечатавшегося до войны Давида Самойлова и вошедшего в литературу в позапрошлом году Вячеслава Кондратьева стоящих плечом к плечу и вспоминающих вроде бы каждый о своем, а вздох у них вырывается совместный — о погибшем товарище. Вот почему слова, произносимые каждым из них, при всей особости и неповторимости авторской интонации несут на себе печать общего слова, сказанного всеми — за живых и павших.

Поэтому два слова, взятые из стихов Слуцкого, свободно и без усилий становятся личными словами Ржевской, получившими элегическую окраску, которая, собственно, не замечалась в произведениях писательницы, вошедших в эту книгу, когда они читались впервые на страницах периодики.

Оттенки отношения к некогда написанному меняются не только у автора. Меняются они и у читателя. По крайней мере, это относится к повестям «От дома до фронта» и «Февраль — кривые дороги». Ловлю себя на том, что если в первом чтении самым значительным и интересным представлялся рассказ о каких-то участках и явлениях фронтовой и тыловой действительности, до того времени неизвестных, то теперь, при возобновлении знакомства, с первых же страниц интерес властно повлекся к другому — к характеру поколения, вступившего в войну на пороге третьего десятилетия своей жизни. Конечно, в этой перемене фокуса внимания сказывается и то, что информация, некогда новая, теперь уже стала знанием, и то, что все увеличиваются и углубляются наши знания, наше понимание той не забытой и не забываемой поры.

Да, они, конечно, знали: «...если будет эта война, она не обойдет нас. И вступали в нее, как в свою судьбу». Но это общее обозначение того, что было с ними. А конкретно: как вступали, что в них менялось, что оставалось и осталось неизменным? Об этом открывающая книгу повесть «От дома до фронта». Но о том же так или иначе говорит в сборнике Ржевской чуть ли не каждая страница.

В этой прозе нет специального и подробного рассказа о том, что осталось за порогом войны, что она внезапно и безвозвратно отбросила в былое. И в то же время все было только что, оно еще вовсю сказывается в характерах, в поведении, в языке (даже в прозвищах, которыми награждают друг друга курсанты и курсантки — будущие военные переводчики), в мелькающих ассоциациях: «„Лермонтовский год". Столетие со дня гибели поэта. Мы писали доклады, которые теперь уже не придется прочитать на семинарах»...

И вот вчерашняя интеллектуалка, наверняка гордившаяся тем, что она чувствует и мыслит непохоже на других, ловит себя на таком: «Может быть, и в каждом из нас идет внутренняя, скрытая от других жизнь. Но не хотелось так думать — все, что нас разделяло, было сейчас ни к чему»...

Равноправно на одной странице книги размещены и томик стихов Блока, с которым невозможно расстаться даже на войне, и торжественно звучащее напутствие штабных подполковников молодой переводчице, отправляемой на фронт, грохот разорвавшегося поблизости снаряда и соленo-горькие шутки деревенских женщин.

В таком параллельном восприятии рядового и чрезвычайного, масштабного и частного — своеобразие эстетических установок и этических принципов писательницы. И, несомненно, сказался тут угол зрения на войну, на действительность той поры, присущий штабному офицеру, в кругозор которого попадали и боевые действия наших воинов, и жизнь гражданского населения в прифронтовой полосе, и поведение неприятельских солдат и офицеров по ту (узнавалось из документов и допросов) и по эту (когда они попадали в плен) сторону фронта. Сказалась и женская приметливость, умение охватить все виденное целиком, свести его воедино, совместить и запечатлеть в памяти «густой запах векового жилья и военного кочевья», что следовал «за нами всю войну по нашим деревенским стойбищам», и убежденность в том, что война, стремление к победе пронизали судьбы и сознание буквально всех советских людей — от маршала до школьника.

Бросаются в глаза контрастные переходы от воспроизведения вражеских документов к деталям прифронтовой обстановки: «„Нашей задачей является не германизировать Восток в старом смысле этого слова, т. е. привить населению немецкий язык и немецкий закон, а добиться того, чтобы

на Востоке жили только люди действительно немецкой крови..."

Хлопнула дверь.

— Раз-зява! — сказала Лукерья Ниловна Нюрке, переступив порог.— Сонька-то где лазает! Ослепла!»

Героиня Ржевской переводит страшный документ, в котором пунктуально излагаются практические цели фашистского «Drang nach Osten», а тут же, в избе, где работает девушка-переводчица, хлопочет по хозяйству многодетная русская женщина. И мысли переводчицы: ведь это они должны умереть, освобождая пространство для «людей действительно немецкой крови», не кто-нибудь, а они — Лукерья Ниловна, ее Нюрка, Сонька, Костя, Ваня, Шурка, Минька... Так это было, так совпало. Это и подобные композиционные сближения не притянуты автором, они продиктованы самой жизнью, ввергнутой в круговерть войны.

В произведениях Ржевской память — конструктивный, созидательный элемент, определяющий содержание, форму, жанр. Жанр, но какой? В самом деле, под какую рубрику подвести «От дома до фронта», «Февраль — кривые дороги»? Писательница обозначает эти вещи как повести. Но если и согласиться с таким определением, то какого рода повести перед нами? Достаточно припомнить военные повести В. Быкова, Г. Бакланова, В. Астафьева, чтобы убедиться, что проза Е. Ржевской далека от их жанрового канона. Может быть, мы имеем дело с лирической повестью, написанной на военном материале? Для подобного вывода тоже нет резонов: рассказу автора о себе, о своих настроениях не дано главенствовать в произведениях, его внимание направлено вовне — на людей, события, многообразие жизни... И где, наконец, герой, к которому в повести стягиваются все нити повествования?

У Е. Ржевской каждое лицо, даже эпизодическое, единственно важно в тот момент, когда попадает в фокус рассказа, и в то же время не заслоняет тех, о ком рассказывалось или будет рассказываться на других страницах. Нет здесь и традиционной композиции с завязкой, кульминацией и развязкой. В большинстве случаев Ржевская заставляет память воскресить человека во всей его сложности и непростоте — и перед нами как живые, со всем добрым и дурным, что было в них, встают и курсанты Витя Самостин и Зина Прутикова, и преподаватель немецкого языка Грюнбах, и контрразведчик капитан Агашин, и машинистка штаба Ксана Сергеевна Меркулова, и разведчица Крошка — уральская девушка Маша с нелегкой судьбой.

«На их сосредоточенных лицах была война»,— сказано о персонажах одного из рассказов. Время, отраженное в людских лицах, в людских поступках,— вот то основное, что пишет Ржевская, что она стремится высветить, показать по возможности полно. Если прочесть написанное Ржевской в хронологическом порядке, то увидишь постепенное перемещение авторского интереса и внимания от отдельных образов к образу поколения и — далее — к образу времени. Увидишь и постепенный отход от четко определенного жанра (ранние рассказы Ржевской, часть которых вошла в эту книгу, это именно рассказы) к жанру, который не так просто определить.

Записками военного переводчика назвала Ржевская большую — в треть книги — работу «Берлин, май 1945», в которой рассказывается суховато и точно о том, как нашли и идентифицировали трупы Гитлера, Евы Браун и семьи Геббельса. Дополненная по сравнению с прежними изданиями, скрупулезно воспроизводящая обстоятельства и детали сложного криминологического исследования, работа эта занимает свое точное место в композиции книги. Ее задача — показать правдиво и объемно врага, противостоявшего советскому народу.

«„Ein Volk, ein Reich, ein Führer!"— этот фашистский девиз, окантованный черной рамочкой, я увидела прошлой осенью в дежурке барака Освенцима, того крайнего в бесчисленном ряду бараков, где камеры пыток и откуда один только выход — к стене расстрела. Какой неотвратимой логикой связаны этот девиз и этот барак! Трагический опыт Германии не должен быть забыт. Пусть же народы ни в часы своего исторического величия, ни в часы национальных бедствий, смятения не поддаются соблазну идеи „сильной власти"».

Приведенный пассаж показывает, что повествование не заканчивается сорок пятым годом, что книга написана современным писателем, заботы которого не исчерпываются стремлением рассказать о вчерашнем, прожитом...

Так вот, «Берлин, май 1945» — это записки военной переводчицы об одной из операций, в которых ей пришлось участвовать. Но ведь и открывающие книгу произведения тоже написаны военным переводчиком: одно — о том, как она и ее товарищи

готовились к своей будущей деятельности, другое — о событиях тяжелого сорок второго года. И, однако, записками, очерками их не назовешь. Пожалуй, это некий вольный жанр, вызванный к жизни неодолимой душевной жаждой рассказать о том горьком, прекрасном и яростном времени, когда «была война...», вызванный беспокойством, тревогой и за судьбу нынешних поколений. А еще можно сказать: перед нами просто проза. Проза, в которой есть что-то и от поэзии. Неопределим, но внятно слышен ее отзвук.

Юрий БОЛДЫРЕВ.

★

Политика и наука

ЛЮДИ ТРУДНОЙ ПРОФЕССИИ

К. У. Черненко. Вопросы работы партийного и государственного аппарата. М. Политиздат. 1980. 398 стр.

Беспокойна, трудна профессия партийного работника, организатора. Широки горизонты его деятельности, многогранны и разнообразны формы работы. Они требуют от партийного работника постоянного движения, совершенствования стиля и методов партийного руководства. Раздумьями на эту тему и делится в своей интересной книге «Вопросы работы партийного и государственного аппарата» К. У. Черненко. Здесь дается научный анализ практической деятельности по укреплению и совершенствованию партийного и государственного аппарата с момента зарождения партии до наших дней. Автор убедительно показывает титаническую работу В. И. Ленина по созданию партии нового типа, неустанную ленинскую борьбу за чистоту ее рядов, укрепление связи с широкими массами трудящихся, вовлечение их в руководство общественной и государственной жизнью. Здесь приводятся известные ленинские слова, что «чем больше размах, чем больше широта исторических действий, тем больше число людей, которое в этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов...»[1]. В книге рассказывается о деятельности В. И. Ленина не только как величайшего мыслителя и теоретика, но и блестящего организатора партии и народа, умеющего соединять ключевые вопросы развития общества с практическими будничными делами. «Ленинская лаборатория деловитости, четкости и оперативности была и остается бесценным образцом для всех поколений коммунистов, работников партийного и государственного аппарата»,— подчеркивает К. У. Черненко.

Значительная часть книги посвящена организации партийной и советской работы в современных условиях. Ленинский стиль находит свое воплощение в делах нашей партии в период строительства коммунизма. Партия заботливо растит свои кадры, проявляя постоянное внимание к их марксистско-ленинской закалке, повышению деловой квалификации. Практически все руководящие партийные кадры в настоящее время имеют высшее образование. Многие секретари ЦК компартий, крайкомов и обкомов партии имеют высшее инженерно-техническое и сельскохозяйственное образование. Современный партийный, советский работник не только политически высокообразованный человек, но компетентный организатор научно-технического комплекса всей экономической жизни страны. Среди секретарей горкомов и райкомов 99,3 процента имеют высшее образование, в том числе более 60 процентов — специалисты в области промышленности и сельского хозяйства.

В работе с кадрами наша партия сегодня на деле осуществила великую ленинскую мечту: «...чтобы управлять, нужно быть компетентным, нужно полностью и до точности знать все условия производства, нужно знать технику этого производства на ее современной высоте, нужно иметь известное научное образование»[2]. Автор на конкретных примерах показывает ленинский стиль в работе нашей партии, претворение ленинских заветов в жизнь в решениях съездов партии, пленумов ЦК КПСС, указаниях и рекомендациях, высказанных в трудах и выступлениях Л. И. Брежнева по вопросам совершенствования работы партийного и государственного аппарата. Особое внимание автор уделяет умению руководителей чутко прислушиваться к голосу масс. В этой свя-

[1] Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 140.

[2] Там же, т. 40, стр. 215.

зи обращается внимание на работу с письмами трудящихся. Именно на этот важный участок партийной работы указывал Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС: «Чуткое, внимательное отношение к письмам, просьбам и жалобам граждан каждый партийный работник, каждый руководитель обязан рассматривать как свой долг перед народом, перед партией».

Говоря о творческом отношении к партийной работе, автор указывает, что «коммунистическая деловитость не имеет ничего общего с узким практицизмом, бескрылой приземленностью, мешающими подняться выше задач минуты. Партия ценит умение коммунистов видеть перспективу, сосредоточивать усилия на главных направлениях, беречь время — свое и своих товарищей, высвобождаться из-под власти «текучки», обеспечивая себе, как советовал Ленин, возможность „спокойно подумать над работой *в целом*"».

Отличительными чертами партийного работника являются его скромность, высокая требовательность прежде всего к себе, а затем к людям за порученный участок работы. В книге рассказывается о чуткости руководителя к подчиненным, умении критически оценивать итоги своей работы, не пасовать перед трудностями, искать поддержку и вдохновение в коллективном творчестве народных масс. За плечами автора огромный опыт партийной работы. Он хорошо знает характеры людей, о которых пишет. «Партийный работник всегда готов по зову партии идти на самое трудное и сложное дело. Он всегда на людях. Его действия, его поступки оцениваются всеми. И это самая строгая оценка и, очевидно, самая верная. Люди им или восхищаются и учатся у него, или осуждают и критикуют».

Книга К. У. Черненко—творческое осмысление всестороннего опыта партийной работы от первичной организации до руководящих органов партии и государства. Вопросы, которые поднимаются в ней, не являются сугубо профессиональными. Книга имеет большое общественное звучание, она привлечет к себе широкий круг читателей. И это естественно: книга увлекательно рассказывает о главных героях нашей жизни — о коммунистах.

Ким СЕЛИХОВ.

★

ВОСХОЖДЕНИЕ

Григорий Медынский. Ступени жизни. Лирико-публицистическое повествование. М. «Советский писатель». 1981. 383 стр.

Может быть, из всех трудных книг Григория Медынского это самая трудная. Он назвал ее автобиографией духа. Точное, очень точное определение для «Ступеней жизни», означенных в подзаголовке как лирико-публицистическое повествование. Эпиграфом к нему писатель выбрал строки Есенина:

Года текут,
Года меняют лица,
Иной на них
Ложится свет.

Когда, дочитав последнюю страницу, я вернулась вновь к эпиграфу, мне представилось, что он освещает одну лишь ипостась книги — лирическую. Главная же ее тема, ее лейтмотив — вечная, неутихающая борьба, борьба с собой в поисках жизненного пути, истины, борьба с духовными противниками, тяжкое, со срывами восхождение к добру по крутым каменистым тропам — остается как бы за пределами есенинского поэтического образа. Шутя я посоветовала Григорию Александровичу дать к книге еще один эпиграф: «надеюсь верую вовеки не придет ко мне позорное благоразумие». В ответ услышала характерный тихий добрый смех Медынского:

— Маяковский? А ну еще раз прочтите...

Разговор о «Ступенях...» мне хочется начать с возражения автору, и не только ему. «...законных мемуаров,— пишет он,— у меня не получится: жизнь моя была несложная, может быть даже неинтересная, без особых происшествий, злоключений и подвигов. Внешняя жизнь... А внутренняя... Вот к внутренней жизни своей я решил приглядеться — через нее прошла такая величественная и такая сложнейшая эпоха».

С такого вот предупреждения: нет, это не мемуары, не простые воспоминания — начинает писатель свое погружение в прошлое.

Сколько же раз приходилось мне читать подобное отречение от мемуаристики в предисловии к... мемуарам, слышать такое отречение, принимая из рук писателей, ученых, бывалых людей рукописи, предназначенные для нашей новомирской рубрики «Дневники. Воспоминания».

А, собственно, почему не мемуары? Уж не знаю, с чьей легкой руки пошло это ничем не обоснованное, настороженное, недоверчивое отношение к старейшему прекрасному жанру, так обогатившему и продолжающему обогащать мировую ли-

тературу. Вот и Даль свидетельствует, какую широту и многозначность открывает этот жанр, толкуемый им кратко и емко: «...события, описанные очевидцем, современником».

Все дело — как писать об этих событиях. Великолепными образцами русской мемуаристики служат воспоминания М. Горького о Ленине, Л. Толстом, «Былое и думы» А. Герцена, «История моего современника» В. Короленко, «Далекое близкое» И. Репина и многое, многое другое. Все это поистине документы эпохи, как были ими для своего времени «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря, «Анабасис» Ксенофонта о походе греков в Месопотамию, открывающие историю мировой мемуаристики.

Да простит меня читатель за это отступление, но оно к делу: «Ступени жизни» — книга мудрая, правдивая и поучительная, жаль, что хорошее это, емкое слово претерпело некую девальвацию. И автору удалось дать широкую панораму сложного и бурного времени предреволюционных и революционных дней не потому, что он счастливо «ушел от мемуаров», а потому, что написана книга в лучших традициях этого жанра.

Все, о чем вспоминает, размышляет, что живописует Г. Медынский, интересно читать, следить за духовным развитием гимназиста далекой российской глухомани, сына сельского попа — образа столь знакомого по рассказам и очеркам о былой тмутараканской провинции. Но вот что примечательно: Медынский не то что разбивает это утвердившееся представление о сельском попике — полуграмотном, вечно пьяненьком духовном отравителе и обирале, а привносит нечто новое. Реже, много реже, но было и такое.

...Городня — забытая богом и всем миром точка в необозримом пространстве России: деревянная немудреная церквушка, кладбище, возле них «поповка» — дом попа, дьячков. «Кругом — поле, за полем лес, могучий, сплошной, без единого просвета в мир... Глушь! И в этой глуши, у рядового сельского «бати», я, подрастая, читал Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», Гейне «Германия», Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии», горьковские сборники...»

Богатейшая библиотека, а в ней крамольная литература — и вместе с тем не был отец Г. Медынского бунтарем против веры, не предавал анафеме ни бога, ни сана своего. «...это был обыкновенный «служитель бога на земле»,— пишет автор,— и он выполнял все, что ему было положено по должности — крестил, венчал, хоронил, провозглашал многолетие государю императору и всему царствующему дому... Но, служа злу в его большом историческом смысле, в жизни он никогда не делал людям зла».

Противоречивый и сложный образ, но вовсе не единственный, не исключение. Представитель той «умной части духовенства, культурный уровень которой, житейский демократизм и вытекающие отсюда скрытые политические взгляды резко расходились с его официальной ролью в старой России». Эта двойственность, несовпадение обязанностей службы и либеральных помыслов дорого обошлись просвещенному сельскому батюшке. Восстание сына против всего, чему отдал жизнь отец, было столь бурным, сокрушительным и бескомпромиссным, что разом оборвало все родственные и духовные связи.

Страницы, повествующие о том, как мучительно шло духовное прозрение подростка, юноши, как непросты были его искания истины, не только автобиография духа самого автора, но в значительной степени и его современников, и времени становления того поколения, что шагнуло в новый мир, не ведая, что несет человечеству всей планеты и каждой отдельной личности Великий Октябрь.

Но легко сказать «постигать мудрость истории» — и куда сложнее, мучительнее, а порой трагичнее пережить эту мудрость, как замечает автор, в хаосе событий, в сумятице чувств, «идей, понятий». Одним же из наиболее драматических периодов этого времени было для Медынского крушение веры.

Молодому читателю, воспринимающему все, что связано с историей религии, ее ритуалами, верованиями, как преданья старины глубокой, в одном ряду с мифами, трудно понять, через какой мучительный разлад шел его сверстник тех далеких революционных дней к отказу от, казалось бы, незыблемого: нравственность и религия суть едины.

...Эмоционально напряженно, взволнованно и убедительно дана в книге атмосфера трагических дней покушения на Ленина.

Особую убедительность, достоверность сообщают этим (да и не только этим) страницам выписки из дневниковых записей. Тут уж подлинно ни убавить, ни прибавить, ибо никакие воспоминания, сочинительства не могут с такой искренностью воссоздать сам воздух минувшего и чувства, обуревавшие юношу. Вот несколько строк из

этих записей: «Ранен Ленин. И, кажется, серьезно, жизнь его в опасности... Я даже сразу не понял это. Сначала я почувствовал простую человеческую жалость — вот человек падает, истекает кровью. Но вдруг — именно вдруг, вмиг! — меня точно обожгла искра: кто падает и кто истекает кровью?! Какой человек? И в круговороте взбудораженных мыслей у меня выплыло имя Петра, да, того Петра, который смелой и сильной рукой вздернул когда-то на дыбы скользившую над бездной Русь... Ведь и теперь Ленин перевернул русскую жизнь, видимо, до самого дна и сделал рискованнейшую операцию над ее исстрадавшимся телом. Я еще не все понимаю, но я почувствовал какую-то близость к этой могучей фигуре...»

Так начался перелом, один из самых крутых в жизни Медынского, когда наблюденное в жизни и знания, почерпнутые в библиотеке отца, постепенно складываются в убеждение и перед ним открываются дали, ради которых стоит жить. С максималистской непреклонностью формулируется цель: существует одно — благо трудового народа всего мира. Все должно быть принесено в жертву этой большой идее. «Мировая революция неизбежна. Теперь я в это верю. Иначе и не должно быть».

Среди записей юношеских лет есть одна очень примечательная. К одной из своих лекций в «Союзе молодежи», лекции, разумеется, «всемирного охвата», Медынский взял эпиграфом предсмертные слова Сен-Симона, сказанные им своему ученику Родриго: «Помните, мой друг, что только воодушевленный человек может совершать великие дела».

Воодушевленный человек! Не каждому дано свершить великое, но как оскудели бы жизнь, искусство, литература без воодушевленных людей, какой бы скучной и тяжкой повинностью обернулся повседневный труд, лиши его воодушевленности. Медынский — писатель и человек из когорты людей, которым воодушевленность особенно свойственна, составляет как бы главную, характерную особенность натуры.

Именно эта особенность, душевная чуткость, позволяющая угадывать человеческую боль до самых глубин и с полной отдачей сопереживать ей, сыграла решающую роль в том нравственном, творческом выборе, который встанет перед ним позже, при столкновении с судьбами трудных подростков. В этом убеждаешься, прослеживая этап за этапом все перипетии его нелегкой жизни, борьбы, исканий.

Трудно, да в этом и нет нужды, останавливаться на всех разделах книги. Она составляет некую квинтэссенцию прожитого, прочувствованного.

Писатель вводит читателя в свою творческую лабораторию, раскрывая, как рождались «Марья», «Повесть о юности» и другие произведения, столь хорошо знакомые читателю. Но я ограничу свою задачу лишь рассмотрением того периода, когда внимание писателя приковали к себе острые конфликты современности и его целиком захватили раздумья над мучительными вопросами, связанными с судьбами трудных детей, перевоспитанием заблудившихся в жизни.

Жизнь столкнула Медынского с парнишкой, сыном геройски погибшего на фронте солдата. Безнадзорность, дурная компания привели мальчишку в конце концов на скамью подсудимых. Его судьба, исповедь, присланная в редакцию «Комсомольской правды», и увиденные за этой историей проблемы, касавшиеся тех, кого война лишила детства, явились началом нового этапа в творчестве и стали сутью, смыслом, целью, всем содержанием жизни Медынского. Перед ним стоял вопрос: что делать с этими теневыми, порой трагическими сторонами жизни? «Конечно, мимо этого можно было пройти с самой неотразимой как будто бы аргументацией: это не показательно, это не характерно, я лучше буду писать об отличниках и комсомольцах, которых видел... Но что же делать с этой, «другой» жизнью?» Будто слышу голос писателя, голос его совести, властно определивший путь, который должен он избрать вопреки искусительной мысли уйти от зла и сотворить для себя благо.

Не станем закрывать глаза на очевидное: путь для рукописи, повествующей о трудных детях, о корнях преступности подростков, перевоспитании их, достаточно длинен, сложен и не всегда заканчивается выходом книги. Поводов к тому не перечесть, начиная от приятельского предупреждения (а тебе что, писать больше не о чем?) до теоретических обоснований (эта тема вне прекрасного и не может быть предметом искусства), до грозных обвинений в упадничестве и очернении. Но писатель не уступал и не отступал, ведя неустанную борьбу против подобного вульгаризаторства. И первой крупной победой — и творческой и гражданской — явилась его «Честь».

Не стану останавливаться на этой книге: в памяти читателя жив горячий отклик, который вызвала она; родились театральные спектакли, радиопостановки, в

издательство и автору хлынул поток писем, родивший новое произведение — «Трудную книгу». Но поразмышлять о природе протеста против так называемой темы трудных подростков стоит. Хотя бы потому, что если для прямолинейно-вульгаризаторской критики время прошло и, дай бог, не вернется, поутихли и радетели лакировочной литературы — не так все же просто в литературе с проблемой перевоспитания и возвращения к жизни и труду осужденных. Куда как легче с детективом.

В печати, на экранах кинотеатров и телевизоров во множестве повествуются истории о том, как совершалось преступление, как происходил поиск преступников и какое мужество проявили при этом люди, стоящие на страже охраны правопорядка. Обидно, что зеленую улицу при этом наравне с хорошими получают и сочинения крайне слабые. Диву даешься порой, почему шесть-семь вечеров телезритель должен разгадывать некую тайну, с легкостью поддающуюся расшифровке с первых же кадров школьниками младших классов.

Но речь сейчас не о том. Итак, в плохом, хорошем ли детективе преступник пойман (так бы всегда в жизни!), осужден и водворен в места не столь отдаленные. А дальше? Что дальше?

Отбыв срок наказания, человек должен вернуться в общество, его осудившее за преступление, и с п р а в и в ш и м с я. Важнейшая государственная задача — ничуть не меньшая, а может быть, более значительная, чем раскрытие преступления. И это забота не только работников охраны правопорядка, воспитателей, ученых-пенологов. В отношении к детям нужен единый воспитательный подход семьи, школы, общественности и административных органов, пишет в «Правде» генерал-лейтенант, начальник Главного управления внутренних дел Мособлисполкома В. Цепков. «Анализируя состояние воспитательной работы в школах,— читаем в статье «Сила доброго участия»,— мы нередко приходим к выводу, что трудные подростки — продукт заорганизованной, строго регламентированной жизни школьников, где нет выхода жажде живого дела, стремлению самоутвердиться в острых, неожиданных поступках».

В нашей стране существует разветвленная и многообразная сеть профилактики преступлений от экономических и идеологических до организационных и других мер, но, разумеется, немало еще нерешенных проблем в этой области, как и в самой исправительно-трудовой системе, подчиненной у нас одной цели: вернуть в общество осужденного, разбудить в человеке человеческое. Как это разнится от состояния тюрем в капиталистических странах, где, по признанию прогрессивных ученых-пенологов, положение дел таково, что после отбытия наказания на свободу вырывается нередко преступник более опасный, нежели каким он был до «исправления». Надо ли удивляться при этом катастрофическому росту преступности. США, например, за двести лет существования во всех войнах потеряли около 600 тысяч убитыми, а в XX веке в домах и на улицах были убиты преступниками 800 тысяч человек.

Нельзя, разумеется, тешить себя мыслью, что поскольку в нашей стране преступность неуклонно снижается, то и особых оснований для беспокойства нет. Есть! Каждый оступившийся в жизни — ощутимая потеря для нашего общества. «...коснувшись омута жизни с его мраком и низостью, я... стал писать о нем так же честно и искренне,— замечает Медынский,— без всякого сознательного стремления что-то смаковать и очернять. А просто сама владычица жизнь взяла меня «за шкирку» и повернула, заставив увидеть то, чего я не видел раньше и чего порой не хотели видеть другие».

Именно так, «по должности гражданина», писал свои трудные книги Медынский, и книги эти активно работают, ниспровергая зло, утверждая добрые нравственные начала, являясь двигателями жизни. Если б можно было подсчитать, скольких подростков уберегли они от тюрьмы, скольким заблудившимся помогли познать себя и вернуться к нормальной жизни!

Касаясь своей переписки с читателем — а она занимает в творческой жизни Г. Медынского огромное место,— писатель проводит образную аналогию с эхолотом, приспособлением для определения морских глубин. По продолжительности звука, возвращаемого с поверхности дна, на корабле определяют глубину моря под его килем. Переписка с читателем своего рода эхолот, дающий верное определение глубины и жизненной важности проблем, поднятых писателем.

Трудно удержаться от желания цитировать письма, адресованные Медынскому,— потрясающие человеческие документы, свидетельства спасенных человеческих жизней благодаря страстному писательскому слову, благодаря книгам, его борьбе.

Под влиянием книг Медынского происходило как бы второе рождение тех, кто обрек себя на жизнь изгоя. «Я заключенный, был вором, но когда я думаю о прошлом, мне кажется, что я обокрал самого себя, обокрал свою собственную жизнь!» — такое признание дорого стоит!

«Ступени жизни» — повествование о восхождении писателя к добру. Здесь каждая глава — спрессованный до предела этап творчества, раздумий о жизни, литературе, острая полемика по животрепещущим проблемам вплоть до вопросов религии. Но вместе с тем это и восхождение к жизни его героев, в которых писатель смог пробудить нравственное сознание — единственно надежный путь духовного возрождения, когда никакие обстоятельства не могут заставить нарушить нравственные законы общества, в котором все подчинено благу человека. Это и боевая страстная проповедь, обращенная не только к литераторам. Суть ее хорошо выразил Г. Медынский, отвечая одному из читателей, поблагодаривших его за то, что он посвятил свое перо осужденным. «Я посвящаю его не осужденным,— уточнил он,— а борьбе за здорового, светлого и сильного духом человека».

В. ЕЛИСЕЕВА.

✶

ИНДИЯ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Л. Шапошникова. По Южной Индии. М. Издательство восточной литературы. 1962. 248 стр.— Парава — «летучие рыбы». М. «Наука». 1967. 68 стр.— Дороги джунглей. М. «Мысль». 1968. 294 стр.— Тайна племени Голубых гор. М. «Наука». 1969. 317 стр.— Годы и дни Мадраса. М. «Наука». 1971. 383 стр.— Австралоиды живут в Индии. М. «Мысль». 1976. 295 стр.— Мы — курги. М. «Мысль». 1978. 284 стр.

Об Индии написано немало. Но часто ли вам случалось прочесть книгу, о которой не знаешь, что именно говорить: то ли разбирать ее научные достоинства, то ли просто признаться, что от нее нельзя оторваться, как от самого увлекательного романа? Быть может, поэтому первым в нашей печати высоко оценил серию книг Л. Шапошниковой об Индии не кто-либо из ее коллег-индологов, а Николай Тихонов — писатель, творчество которого было глубоко связано с Востоком и оказало в свое время влияние на формирование интересов нынешнего поколения востоковедов. По определению Тихонова, книги Л. Шапошниковой «открывают целые неизвестные миры», в них «оживают пейзажи, люди, звери, легенды и сказки», ибо она «выступает как ученый и писатель в одном лице», «одновременно и географ, и филолог, и этнограф, и историк, и блестящий рассказчик». Такое сочетание действительно редкий дар. И счастливую судьбу для индолога — прожить шесть лет в изучаемой стране — автор использовала с полной мерой и таланта, и труда, и немалого мужества.

Людмила Васильевна Шапошникова — первый советский ученый, работавший не только в городах Индии, но и в тех отдаленных районах (горы, джунгли), где до наших дней живут племена, сохранившие первобытнообщинные отношения. Три книги — «Дороги джунглей», «Тайна племени Голубых гор» и «Австралоиды живут в Индии» — посвящены этим племенам. Книги хорошо известны нашему читателю, переводились в ГДР, Венгрии, Румынии. «Дорогам джунглей» была присуждена в 1967 году премия Неру.

Почему же в многомиллионной Индии с ее богатствами древней цивилизации выбрана для исследования судьба малых (иногда насчитывающих лишь сотни людей) племен? И почему нас волнует их судьба? Дело не только в бесспорной научной значимости исследования живых свидетельств о давних этапах истории всего человечества, редкой возможности изучать психологию людей, а не только археологические черепки нашего с вами прошлого. Не может быть подлинной «истории страны в целом», в которой не видны отдельные ее народы, все равно — большие или малые. Экологи показали, что для здоровья людей одинаково опасно пренебрежение к судьбе и океана и малых речек или родников. Столь же опасно для нравственного здоровья нации «масштабное мышление», позволяющее пренебрегать судьбой малых народов, вошедших в большие многонациональные государства. Для Индии, где степень неодинаковости районов и народов чрезвычайно велика, эта проблема особенно остра.

Чтобы написать три книги о племенах, Л. Шапошникова много лет изучала вопросы происхождения народов Южной Индии как обычный (то есть кабинетный в основном) ученый, а затем, работая в 1963—1965 и 1970—1972 годах в Мадрасском университете, Мадрасском отделении представительства Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, стало быть, имея сверхдостаточную служебную нагрузку, в каникулы или любое другое свободное от ее непосредствен-

ных обязанностей время отправлялась к племенам. Немногим приходилось идти к «изучаемым объектам» ночью пешком через джунгли, ползти на животе вверх по отвесной стене в горах, чтобы увидеть в пещере наскальные рисунки, ночевать в хижине на дереве у каникаров, ибо в их деревню приходят дикие слоны, тигры, пантеры и безопаснее всего спать на дереве. Еще реже, очевидно, приходилось во время смены колеса в «джипе» идти одной вперед и караулить, появится или нет тигр, только что перебежавший дорогу. «Я бы не сказала, что стоять в зарослях джунглей ночью и ждать, придет тигр или нет, приятное занятие,— признается автор.— Более того, мне казалось, что глупее положения придумать нельзя. Вот так стоять и ждать. Придет или не придет. Съест или не съест». Впрочем, это нам бросаются в глаза немногие, причем с юмором написанные строки о тиграх, кобрах и диких слонах. А книги не об этом. Перед нами серьезное исследование этногенеза, духовного мира племен и одновременно яркий рассказ заинтересованного очевидца о современных событиях и судьбах конкретных людей. Автор жила среди них, нашла друзей, которых полюбила и невольно благодаря ее сердечному рассказу любим и мы, покоренные их чистотой и благородством, несмотря на нищету, несчастья, а зачастую и печать отверженности.

Общение с внешним миром оборачивается для племен вторжением чистогана, превращающего свободных охотников и земледельцев в поденщиков, которых жестоко эксплуатируют и бесстыдно обманывают. И все же люди помнят свой прежний уклад жизни, своих предков и богов. В этой памяти для них — стремление сохранить свое «я», для историка — кладезь сведений о самих племенах и уникальная возможность увидеть глазами исследователя XX века то, что происходило в эпоху, когда не было еще историков. Поэтому во всех книгах Л. Шапошниковой немало места занимают мифы, легенды, верования мудугаров и кхонда, тода и панья. И как бы ни была велика научная ценность собранного ею этнографического материала, невольно думаешь, что для автора не менее важно помочь людям племен защитить их человеческое достоинство, познавая их бесписьменную историю.

Двойная — этическая и историческая (исследовательская) — задача автора наиболее заметна в книгах «Тайна племени Голубых гор» и «Австралоиды живут в Индии» потому, что в их структуре выводы научного анализа отделены от рассказа о живых людях. В научном плане Л. Шапошникову интересует не решенная до сих пор проблема происхождения дравидийских народов Южной Индии.

Особенно интересовало исследователей племя тода. Его изучали на протяжении последних ста лет ученые разных стран, но тайна его происхождения оставалась тайной. Язык, или, вернее, языки, тода, внешний облик, занятия, обычаи, культы, музыка, жилища, одежда — все это не имеет аналогий ни в Южной, ни в Северной Индии. Высокие светлокожие пастухи буйволиных стад, похожие на оживших персонажей библейских легенд, поразили воображение первых европейцев, добравшихся до этих пустынных гор. Поэтому среди многочисленных версий о происхождении тода фигурируют фантастические гипотезы о потомках греческих солдат Александра Македонского или древнеиудейских племен, есть и более достоверные, хотя и не совсем убедительные сведения о связях предков тода с древним Двуречьем, Ираном и Кавказом.

Л. Шапошникова приходит к выводу, что тода являются протодравидами. По ее гипотезе какая-то группа из тех древних племен, которые много веков назад вторглись в Южную Индию, задержалась в Голубых горах, прельстивших скотоводов прекрасными пастбищами. Шли века за веками, и эти поселенцы, принадлежавшие к племенам с высокой культурой, постепенно утратили связи с внешним миром. Огражденное труднопроходимыми перевалами и малярийными джунглями, племя оказалось в длительной изоляции, что спасло от нашествия ариев, но привело к утрате ремесел, общему сокращению численности людей. «И время как будто остановилось в Голубых горах. Люди насильно пытались удержать его течение. Много позже время жестоко отомстило за это племени, которое называло себя тода».

Рассказ об этой жестокой судьбе живых людей загадочного племени является как бы выполнением другой — этической — задачи автора, которую тода так сформулировали при расставании:

Ты пришла из России,
Ты пришла в большие горы Нилгири,
Ты обошла все земли тода,
И все храмы ты видела.
И всех людей ты знаешь близко—
И поэтому ты знаешь нашу правду,
нашу веру.
Ты должна рассказать о нас,
И мы просим тебя об этом.

Обойти все земли тода теперь не столь трудно, ибо до наших дней сохранились

лишь небольшие группки людей, разбросанные в немногих деревушках. Можно с уверенностью сказать, что только независимость Индии спасла тода от вымирания. Но нищета по-прежнему остается их уделом. Племя, сохранившее родоплеменной строй, не приспособлено к борьбе с жадностью и хитростью ростовщиков, торговцев, и все тода находятся у них в долговой кабале. «Я не знаю ни одного тода, который смог бы расплатиться с долгами при жизни,— пишет автор.— Только смерть освобождает его от них. Произвол и бесправие, царящие при этом, с трудом поддаются описанию».

И тем не менее родовая солидарность и взаимопомощь помогают тода сохранить человеческое достоинство, не позволяют гибнуть слабым: «Если человек нуждается, значит, ему надо помочь. Ни один уважающий себя тода за помощь денег не возьмет. Если в семье есть серебряные или золотые украшения, оставшиеся в наследство от предков, ими может воспользоваться любой попавший в беду... Конечно, можно иметь собственность (то есть дом, одежду, буйволов.— *С. К.*). Но разве она дана для того, чтобы пользоваться бедностью и несчастьем других? Она для того, чтобы содержать свою семью и помогать другим,— так думают тода».

И так они действуют — в этом неоднократно убеждалась автор, получая неожиданные подарки, продиктованные дружелюбием и добротой, становясь сама объектом того же попечения, забот, которые считаются традиционной обязанностью тода по отношению к слабым, старикам, одиноким. «Чем беспомощнее человек, тем большую заботу о нем проявят в племени. И никто не будет считаться с тем, член ли он его семьи, живет ли он в его манде (деревне.— *С. К.*), принадлежит ли к его роду. Брошенных на произвол судьбы в племени нет».

По отношению к слабым во все времена проверяется сила и чистота нравственных устоев человека. Тода выдерживают эту проверку с высшим баллом. Не случайно «когда вы встречаете тода, то первое, что замечаете в них, это их глаза. Они смотрят на вас открыто, с ласковым дружелюбием. Для тода не важно знать, кто вы. Вы человек. А человек достоин всяческого уважения. Потому так приветливы люди племени с пришельцами, и потому так доверчиво и искренне смотрят на вас эти глаза. В них светится доброта и ум».

Доброта, уважение к человеку дополняются у тода сохранившимся от матриархального прошлого почтением к матери: «Мать детей, чьи бы они ни были, достойна всяческого уважения и почитания. Для женщины существует только слово «мать». Так называют маленькую девочку и восьмидесятилетнюю старуху. Забота о женщине-матери — священная обязанность каждого члена племени. И она бывает безграничной»,— с удовлетворением констатирует как истинная женщина Людмила Васильевна. В самом деле, где в наши дни встретишь сына, который по горной тропе несет на спине мать в гости в соседнее селение? Или мужчин, которые не садятся в автобус, пока не сели женщины и дети? Наконец, кто сочтет завидной невестой женщину, ждущую ребенка? На «высотах» цивилизованного общества ее ждет презрение обывателей, а у «примитивных» тода женщина находится в равном положении с мужчиной и то, что она готовится стать матерью, лишь украшает ее.

Все эти достоинства тода безусловно связаны с сохранением родоплеменного уклада. Однако последний означает в наши дни полуголодную жизнь, неграмотность, постоянный обман торговцами и ростовщиками... Что же делать? Вряд ли может ответить самая талантливая книга на этот труднейший вопрос. Но прочтя «Тайну племени Голубых гор», вы захотите, чтобы для тода совершилось чудо приобщения к современности без утраты доброты, честности, традиций помощи слабым.

Чудо необходимо не только тода. В помощи и защите нуждаются и многочисленные аборигены здешних мест — австралоидные племена, удивительному и своеобразному миру которых Л. Шапошникова посвятила книгу «Австралоиды живут в Индии». Как им помочь? В независимой Индии проводится ряд мероприятий с этой целью, созданы специальные министерства в некоторых штатах, блоки по развитию племен. «Однако,— заключает Л. Шапошникова,— вопрос, как способствовать развитию племен, как облегчить их положение, пока остается открытым. Решить его крайне сложно. Капиталистические отношения, господствующие в Индии, мешают этому. Те, кто стремится облегчить участь малых племен, встречают на своем пути много трудностей и не всегда получают желаемые результаты».

Решение сложнейшей, трагически острой проблемы племен предстоит найти гражданам современной Индии. О них две книги Л. Шапошниковой: «По Южной Индии» и «Годы и дни Мадраса».

В Мадрасе, где соседствуют современные доки, университет и древние кварталы, оставшиеся от Майлапура — «города павли-

на»,— известного еще древним римлянам, Л. Шапошникову особенно интересовали те, кто помогает восстановить связь времен — сохранить сокровища древней индийской культуры для современной страны. Так был сохранен, например, древний танец бхаратнатьям, запечатленный на барельефах храмов в Танджавуре и Чидамбараме. Великая танцовщица Баласарасвати, имя которой поставлено искусствоведами в один ряд с Анной Павловой, Галиной Улановой, танцует бхаратнатьям так же, как веками исполняли его храмовые танцовщицы из касты девадаси, но ее танец посвящен не богам, а человеку, она стремится донести до зрителей «всю тонкость чувств и переживаний богов-людей, а не богов-идолов». Но став широко известной танцовщицей, Баласарасвати осталась женщиной из низшей касты. После оваций на концертах она возвращается в жалкий домик. Здесь не раз бывала желанной гостьей Людмила Васильевна, в ней ценили не только поклонницу индийского искусства, но и человека, для которого нет высших и низших каст.

Автор много раз сталкивалась с проявлениями дружественных чувств к нашей стране. Она была свидетелем того, как Перияр Рамасвами, «апостол шудр» (людей низших каст, которые боготворили своего защитника), на митинге в Мадрасе в 1965 году начал речь с упоминания об успехах СССР в развитии науки, о выходе советского космонавта в открытый космос... Во время встречи с Л. Шапошниковой он с нежностью и радостью вспоминал о своем визите в Москву в 1931 году, о долгой беседе с М. И. Калининым. Поездка в Советский Союз в составе группы индийских парламентариев стала переломным этапом и в становлении мировоззрения другого видного политического деятеля Тамилнада, с которым познакомилась Л. Шапошникова,— Сампатха. Больше всего его поразило, что в СССР «смогли создать условия, при которых все нации имеют равные права, уважают друг друга и при этом не утрачивают своей культурной индивидуальности и самобытности. И тогда я решил, что путь вашей страны самый правильный, что Индия должна сделать так же».

Картины сугубо современной политической борьбы в современном большом городе (в частности, борьбы, завязавшейся вокруг вопроса о введении хинди в качестве государственного языка) стоят в центре книги «Годы и дни Мадраса». Но эту современность нельзя понять до конца, не принимая во внимание живучего прошлого. Поэтому автор вместе с пилигримами поднималась на гору Аруначала, была в ашраме Великого риши Рамана Махарши, в ашраме-коммуне, основанном Ауробиндо Гхошем, и даже говорила с главой шиваитов Шанкарачарией 68-м. Портрет этого своеобразного «индусского папы» не может не поразить воображение.

Шанкарачария, ставший главой шиваитов в 1908 году четырнадцатилетним мальчиком, до сих пор, несмотря на грандиозные изменения в стране, пытается поддерживать старые индуистские обычаи, выступает в защиту каст, против аграрной реформы, за сохранение традиционной роли женщины. Но его нельзя причислить к обычным религиозным фанатикам. Во время разговора с автором слова Шанкарачарии подкупали прямотой и почти детской наивностью. Он не имеет четкого представления о материальном положении своего монастыря, хотя его именем накапливают богатства. «И я ясно представила себе,— пишет автор,— как этот старик с детскими глазами идет пешком по Индии... входит в хижины, беседует с крестьянами, несет эфемерное временное «утешение» в городские трущобы... А в это время на почтительном расстоянии за ним следует процессия слонов и верблюдов, на которых едут жирные жрецы со своими сундуками. Эти сундуки наполняются во имя Шанкарачарии № 68. Сам же он ест простой рис с овощными постными приправами, как любой крестьянин Южной Индии, и ведет «чистый» образ жизни, за который его считают святым и богом. И только один он знает, как трудно быть богом. Ибо служители этого бога давно стали его хозяевами».

Страницы книги, посвященные индуизму, отнюдь не дань историка тайнам прошлого, они вклад в изучение сегодняшнего дня и даже будущего. Без этого не понять до конца причины поразившей многих победы Джаната парти на выборах 1977 года и последующего ее раскола, степени влияния реакционных религиозно-общинных сил, об опасности которых предупреждают левые партии Индии.

И все же сердце автора, видимо, принадлежит не шумным городам, а малым народам. Об одном таком малом народе — парава, ловцах жемчуга — рассказывает ее маленькая книжечка «Парава — „летучие рыбы"». Но сильнее всего захватывает седьмая книга Л. Шапошниковой — «Мы — курги». И потому, что здесь окончательно вызрел ее стиль — ученого и писателя, и потому, что удивителен этот небольшой народ — курги, странно схожий по внешнему виду и даже истории с горцами Кав-

каза, судьба которых, как известно, всегда волновала русскую интеллигенцию. Людмила Васильевна, случайно увидев в 1964 году в Майсуре двух незнакомцев, поразилась их «кавказским» обличьем: черная «черкеска», перетянутая красным кушаком, за которым торчал нож, лихие усы, негородская легкая грация, голубые глаза, европейский склад лица. Из этой встречи родилась поездка в Кург, маленькую горную страну на юге Индии, а затем и книга.

Европеоидный тип кургов, их одежда, военные традиции и другие отличия «придают кургам характер уникальности. Уникальности загадочной и не всегда объяснимой». Пока лишь можно констатировать, что вопрос их происхождения «тесно связан с еще не решенной общей проблемой происхождения дравидоязычных народов Южной Индии и может быть решен только в едином комплексе с этой проблемой». Однако курги покорили автора не только загадочностью своего происхождения, но и человеческими качествами: прямотой характера, искренней доброжелательностью, широким гостеприимством — в общем, теми же достоинствами, которые не раз прославлены в литературе о кавказских горцах.

В истории непрерывных войн Курга, его трагической борьбы с англичанами легко найти готовые сюжеты для десятка романов. Л. Шапошникова строго следовала за текстом исторических документов, но пересказала их так, что раджи и воины вновь воскресли на страницах книги. Более ста лет над Кургом развевался английский флаг. И все же кургский дух не был сломлен и растоптан. Народ сохранил свою самобытность. Это не значит, что для кургов «остановилось время» в той же степени, как для тода. Отнюдь. Английское вторжение застало здесь более развитые социальные отношения, и воздействие капитализма оказалось менее разрушительным. В годы независимости начался интенсивный процесс формирования местной буржуазии, а также интеллигенции. Тем не менее в семьях плантаторов и адвокатов, офицеров и бизнесменов, учителей и чиновников, лавочников и крестьян почти в равной степени основой жизни остался «дом предков», с которым связано «не только понятие крыши над головой, но и история предыдущих поколений. Это кусок хлеба (иногда малый, иногда большой) и причастность к собственности. Это — чувство клановой солидарности, оберегаемой «духами» неутомимых предков».

В галерее портретов людей, с которыми встречалась Л. Шапошникова (от генерала Кариаппы, главнокомандующего индийской армией в 1949—1953 годах, и местных общественных деятельниц до кули на их плантациях), снова с особой теплотой автор рисует тех, кто сегодня поддерживает связь времен, пытаясь сохранить лучшие традиции Курга. Судьба их (и традиции и людей) не слишком балует, ибо легче сохранить оболочку — красочный обряд, украшения, оружие,— чем общинный дух помощи нуждающимся, заботу о слабых, бескорыстие.

При всей внешней непохожести — облика, истории, нынешней социальной организации — отсталых бесписьменных племен и кургов их объединяет один и тот же жизненно важный вопрос сохранения культурной самобытности, а порой и самого существования малых народов. А в целом для страны, для всех ее народностей и народов, включая и многомиллионные, существенно важна проблема соединения традиционного мира и современности таким образом, чтобы традиции обогатили современность.

Недавно Л. Шапошникова снова побывала в Индии, на этот раз на севере, в горах Ладакха. Снова разговаривала с министром и с пахарем, тащила на себе тяжеленную фотоаппаратуру в разные медвежьи (или скорее барсовые) углы, чтобы потом рассказать людям об их собратьях, судьба которых станет вашей болью и радостью, когда вы прочтете новую «правдивую книгу о сказочной стране», как называл ее произведения Николай Тихонов...

Все семь книг прекрасно иллюстрированы снимками автора. Легко узнать тех людей, пейзажи, дома, утварь, о которых говорится в этих книгах,— именно узнать, а не взглянуть на них впервые, ибо благодаря умению видеть и образно передавать увиденное рассказы Л. Шапошниковой объемны и многокрасочны, они как бы материализуются перед вами силою двойного воздействия — анализа исследователя и вдохновения художника.

Такие работы, как книги Л. Шапошниковой, крепят нашу сердечную дружбу с великим индийским народом, о которой на XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев сказал, что она стала в обеих наших странах «укоренившейся народной традицией».

С. КУЗНЕЦОВА,

доктор исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

М. С. КАПИЦА. КНР: три десятилетия — три политики. М. Политиздат. 576 стр.

За годы, прошедшие со времени образования Китайской Народной Республики, курс ее внешней политики претерпел коренные изменения. Перипетии и метаморфозы этой политики обстоятельно исследуются в рецензируемой монографии М. Капицы. Автор — видный советский дипломат и ученый-международник, профессор Московского государственного университета, его перу принадлежат многие работы по истории международных отношений на Дальнем Востоке. Он один из ведущих советских специалистов в области китаеведческой науки, исследованию проблем которой посвятил многие годы жизни и обширный цикл печатных трудов, отмеченных глубоким проникновением в историю общественной мысли Китая, традиции идеологии, философии и культуры этой страны.

В книге выделено три этапа внешней политики Китая, каждый из которых охватывает примерно десять лет. В первом десятилетии КНР в целом шла в строю стран социалистического содружества, во втором десятилетии ее политика претерпела поворот влево, на тропу мелкобуржуазного революционаризма, а в третьем круто свернула вправо — от левоэкстремистской, псевдореволюционной позиции к прямому военно-политическому смыканию с империализмом.

Ныне в Пекине нагромождаются все новые горы антисоветской лжи и фальсификаций и замалчиваются общеизвестные факты взаимоотношений СССР и КНР в первые годы победы революции в Китае. В связи с этим важное значение для советского и особенно для зарубежного читателя имеет освещение подлинной картины этих взаимоотношений. В главе «Образование Китайской Народной Республики. Ее первые внешнеполитические шаги» содержится обширный фактический материал по этим вопросам.

К концу 50-х годов, взяв верх в резко обострившейся внутрипартийной борьбе, националистическая группировка Мао Цзэдуна приступила к осуществлению крутого поворота во внутренней и внешней политике Китая. Потерпев неудачу в попытках навязать СССР и социалистическому лагерю свою левацкую авантюристическую линию, группировка Мао Цзэдуна встала на путь разрыва с мировой социалистической системой.

Приводимые в монографии материалы переписки между ЦК КПСС и ЦК КПК свидетельствуют: советская сторона предпринимала серьезные усилия, чтобы преодолеть разногласия, нормализовать отношения двух стран. Но руководство КНР выступало с показными антиимпериалистическими призывами и декларациями, служившими в качестве камуфляжа курса на расширение связей КНР с капиталистическими странами за счет связей с миром социализма. Ярким примером этого была двурушническая линия Пекина в отношении вьетнамского народа, отстаивавшего свою свободу и независимость. В наши дни, когда появились новые документы об этом периоде, в том числе опубликованные в СРВ, смысл политики китайского руководства, исподволь готовившего сближение с империалистическими державами, выступил со всей рельефностью.

В 70-е годы Пекин круто повернул вправо, приступил к установлению тесных отношений с империалистическими державами, к смыканию с ними на международной арене при одновременном ухудшении отношений с Советским Союзом и всем социалистическим содружеством. Пожалуй, впервые в нашей исторической литературе в монографии М. Капицы столь полно и обстоятельно освещается и оценивается внешнеполитический курс пекинского руководства после смерти Мао Цзэдуна. Не случайно эти важные главы, посвященные наиболее актуальным проблемам, занимают почти половину объема книги. Они отличаются обилием фактического материала и помогают читателю разобраться в существе и деталях нынешней линии Китая на международной арене.

«Международная напряженность,— отмечается в монографии,— нужна Пекину для мобилизации усилий народа на форсированное наращивание военной мощи КНР при сохранении на длительный период крайне низкого жизненного уровня. Напряженность, в том числе региональная, по замыслам китайского руководства, ослабит глобальные позиции его противников. Например, ближневосточный кризис должен серьезно отвлекать внимание и материальные ресурсы США и СССР, конфликтная ситуация на Южноазиатском субконтиненте, в Бирме — связывать руки Индии как влиятельной силы в Азии и в «третьем мире» в целом».

Курс Пекина на международной арене не претерпел существенных изменений после смерти Мао Цзэдуна и отстранения его ближайших сторонников — так называемой банды четырех. В книге дан развернутый анализ главных аспектов этого курса. В ходе обсуждения программы модернизации в Китае, пишет автор, точка зрения военных кругов, требующих подчинения развития промышленности целям форсированного наращивания военного потенциала, оказалась доминирующей.

Этот курс не сулит ничего хорошего и трудовому народу Китая, обрекая его на новые жертвы во имя реализации несбыточных гегемонистских амбиций китайских руководителей.

В. Архипов.

★

И. А. ГЕЕВСКИЙ. Мафия, ЦРУ, Уотергейт. Очерки об организованной преступности и политических нравах в США. М. Политиздат. 1980. 287 стр.

На первый взгляд ряд не совсем обычный — преступный мир, разведка, изнанка политики, ее грязное белье. Но не произвол автора — поставить их рядом на обложке своей книги. До него и то, и другое, и третье уже соединила американская действительность, сама жизнь, да так, как умеет она одна.

Если организованная преступность — это сложный социальный феномен, то в конце концов не так уж важно, как писать слово «мафия» — с прописной буквы или со строчной. И не в названии дело. Что мафия, что «Коза Ностра», что синдикат — один, как говорится, черт. Важно, что реально существует тайная организация преступного мира и что воздействие ее на страну и народ подобно раку, проникающему всюду, разъедающему все — людей, отношения, мораль, нравы, институты власти.

А если к организованной преступности со всеми ее «донами», «капитанами», «лейтенантами» и рядовыми «солдатами» прибавить еще и неорганизованную, если не пройти мимо автономных групп, шаек, банд и синдикатов вроде Кливлендского, если, наконец, учесть особую роль Майера Лански с его разворотливостью и трехсотмиллионным капиталом в придачу, то общая картина получится поистине зловещей, а приводимая со ссылкой на американские источники цифра — 500 тысяч профессиональных преступников — даже для США покажется нисколько не преувеличенной, а скорее всего приуменьшенной. Таков, значит, размах.

Мафия и бизнес — другой принципиально важный вопрос, рассмотренный автором. Не верится, но факт: первая если не сильнее, то богаче. Конечно, вначале было все же дело. Морганы и Гульды подавали пример уличным грабителям. От частной собственности, от конкуренции, от желания взять жертву за горло — вот откуда поступали родовые импульсы. С первых же шагов мафия перенимала опыт большого бизнеса. Она хотела организоваться — и организовалась — «наподобие крупной корпорации», превратившись в разновидность капиталистического бизнеса. А последний следует прежней дорогой — с поправкой на время и на «опыт» мафии. Взаимовлияние налицо. Общие интересы настолько переплелись, что зачастую не видно, где делец, где преступник, а где политик. Сравнение с сообщающимися сосудами тем приемлемее, что в плане идеологическом это настоящий священный союз. Он нужен, чтобы сохранить существующее «общество в целом», то есть капитализм. Сие признается в официальном порядке.

Правые силы и преступный мир не могли не встретиться. Посредником выступало ЦРУ. Упущенные доходы на Кубе звали к мести. Сказалась одинаковая социальная природа и монополий и мафии. От насилия внутри страны до разбоя на международной арене последнюю отделял шаг. Он был сделан. Вседозволенность развязала преступникам руки. Один президент (Кеннеди) был убит, потому что не пошел до конца по пути, угодному мафии. Другой (Никсон) покинул Овальный кабинет потому, что превзошел все пределы, допустимые буржуазной демократией. При нем в Белом доме планировались даже убийства — куда уж дальше?! Политическая мафия доказала свое кровное родство с уголовной. Это серьезнейший вывод всего исследования.

В Америке политика всегда была грязным делом. Сколько ни копали «разгребатели грязи», а скандалы множились. Не счесть было маленьких. С лихвой средних. Наконец, один большой. Когда общий кризис системы, падение морали перешли красную черту, количество дало новое качество. По календарю уотергейтский скандал — это вчерашний день. Но история и пишется постфактум. А главное — Америка и меняется и остается Америкой. Нельзя этого забывать. При последней администрации, например, были Лэнсгейт и Биллигейт. В сравнение с Уотергейтом они не шли, но тоже были типичны. Во всех замешаны политики, приемами и маскировкой повторявшие мафиози. Деньги помогали обделывать противозаконные дела. Деньги же «обеспечивали молчание». Когда выручал плащ «национальной безопасности», по удачному выражению автора, детали удавалось скрывать. И хотя дом по-прежнему назывался Белым, дела оставались черными. Буржуазная демократия превратилась в коврик, о который вытирали ноги все, кому не лень. А мафия, та церемонилась с ней тем меньше, чем больше ей удавалось террор полиции дополнять своим невидимым, но осязаемым на каждом шагу террором. Коррупция, вымогательство, шантаж держали и держат в напряжении миллионы рядовых граждан. Так мафия превратилась, по словам одного американского исследователя, в «функцию социальной и экономической жизни в Соединенных Штатах».

Жизнь, однако, не стоит на месте. Вот говорили о «людях ЦРУ» в рядах организованной преступности. Называются, в том числе И. Геевским, отдельные фамилии. А нет ли уже сегодня людей мафии внутри ЦРУ? И не проникнут ли они завтра в Белый дом? Вопросы не только не праздные, но вполне правомерные. Когда-нибудь на них будет дан ответ. Это дело времени. А будут новые скандалы — появятся новые разоблачения. К рецензируемым очеркам тогда сможет прибавиться еще одна интересная глава.

Юрий Ярцев.

★

ВАЛЕНТИН ТОМИН. Дом на Красной Талке. Документальное повествование. М. «Молодая гвардия». 1980. 175 стр.

В. ТОМИН. Дорога к дому. М. «Знание». 1980. 112 стр.

В предисловии к одной из этих книг — «Дороге к дому» — писатель Овидий Горчаков говорит: «Валентин Томин в течение нескольких лет провел настоящую исследовательскую работу, изучил немало архивных документов, побывал во многих советских городах и селах, за рубежом, встретился со многими свидетелями описываемых им событий, оставшимися в живых...»

Да, именно основательность в работе, неустанность поиска, кропотливость заметны, когда читаешь эти небольшие по объему книги, вместившие в себя столько ярких судеб, неповторимых биографий, что их, право, хватило бы на несколько толстенных томов.

Эти книги — об отцах и детях. Отцы — революционеры, известные антифашисты, видные деятели международного коммунистического и рабочего движения Европы. Некоторые из них (немцы Франц Штенцер и Вильгельм Гуддорф, болгары — семья Карастояновых и Петр Ченгелов) погибли: замучены, расстреляны, повешены. Другие, несмотря на тюрьмы, концлагеря, смертные приговоры, остались в живых: члены Политбюро ЦК БКП Цола Драгойчева и Тодор Павлов, участник боев Ноябрьской революции 1918 года в Германии, а впоследствии секретарь ЦК КПГ Эрих Глюкауф, венгр Виктор Мозеш, бывший солдат венгерской Красной армии, и другие.

Когда на этих людей обрушились жесточайшие испытания, они уже были матерями и отцами. Дети революционеров — главные герои книг Валентина Томина «Дом на Красной Талке» и «Дорога к дому». Уже в начале пути им досталась нелегкая доля; трудными дорогами пробились, прорвались они в страну, которая стала для многих второй родиной,— в Советский Союз. И дом у них оказался теперь один на всех — Ивановская интернациональная школа-интернат имени Е. Д. Стасовой, в 1933 году построенная на окраине города ткачей, в прекрасном сосновом лесу, в местечке с поэтическим названием Пустошь Бор.

Много страниц посвятил автор описанию жизни детей разных стран и народов в этом прекрасном доме, тому, как советские люди собирали средства для его строительства, помогали чем только могли — фруктами и одеждой, инструментами и книгами.

И когда в жизнь страны ворвался день 22 июня 1941 года, «поток заявлений об отправке на фронт хлынул из интернационального детского дома в горвоенкомат... Их было много, ивановских ребят, ушедших сражаться против фашизма». Семнадцать из них — югослав и кубинцы, поляки и евреи, русский и болгарин, немцы и грек, латыш и эстонец — ушли из Пустошь Бора, чтобы уже не вернуться. И их имена теперь золотом начертаны на серой мраморной плите...

Среди всех глав-новелл (именно по такому композиционному принципу построены обе книги) выделяется «Дорога к дому», своеобразный стержень сборника, вышедшего в издательстве «Знание». В этой новелле рассказывается о том, как были спасены воспитанники Ивановского интернационального детского дома, уехавшие летом 1941 года в пионерский лагерь в Новоельню. Можно без преувеличений сказать, что их спасали все советские люди, которым довелось с ними встретиться: и русский крестьянин Иван Куликов, усыновивший болгарского мальчика Йонко Ченгелова; и жители одной из деревень Лепельского района Витебской области, у которых нашел приют словак Юлий Гере; и Анна Гульбинская, мать Ван Ли Измайлова, сына Чжан Вэньтяня, бывшего в те годы генеральным секретарем и членом Политбюро ЦК КПК, которая, бросившись на поиски своего ребенка, сумела разыскать австрийца Владика Бадиана и узнать о судьбе некоторых других детей; и жители Мукачева, которые спрятали от фашистов более двухсот детей и среди них нескольких ивановцев.

А двоих из них — корейца Володю Марсина и итальянку Полетту Глюкозио — освободили советские воины 18-й армии. В. Томин приводит слова одного из тех, кто принимал участие в этом освобождении, полковника запаса Сергея Степановича Пахомова: «Была осень 1944 года... Уже не помню точно, откуда до нас дошла весть, что во время бомбежки железнодорожной станции Жорнава фашисты бросили эшелон с... детьми, которых собирались увезти в Германию. Начальнику политотдела Л. И. Брежневу доложили об этом. И он немедленно приказал найти этих ребят. Задачу эту приравнивал к боевой и поручил ее разведчикам и политработникам. Детей обнаружили неподалеку от Мукачева, слабых и безмерно подавленных»...

По указанию Л. И. Брежнева к детям тут же направились врачи, были посланы машины с продуктами, одеждой, медикаментами.

Прошли годы и годы. Дети, воспитанники интернационального детского дома, выросли. Многие из них, когда кончилась война, уехали в свои страны, освобожденные от ига фашизма советскими воинами. Одни стали учеными-медиками, как, например, Иза Поппэ-Гуддорф, Вера Павлова и Чавдар Драгойчев; другие — учеными-обществоведами, как Фриц Штраубе и Рольф Глюкауф; третьи — видными политическими работниками, журналистами. Некоторые остались в Москве: танцовщица ансамбля Игоря Моисеева кореянка Вива Пак, учительница Полетта Глюкозио, ливанка Дулия Саади — архитектор, голландец Ян Рейзема, кандидат исторических наук, работает в Институте социологических исследований АН СССР. И все они помнят Пустошь Бор, приезжают сюда в дни больших торжеств либо же просто так — по зову сердца.

Георгий Степанидин.

★

АНДРЕЙ ЯХОНТОВ. Плюс минус десять дней. Повести и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1980. 271 стр.

Не то беда, что Сережа Искорцев, герой повести А. Яхонтова «Плюс минус десять дней», рассказывает об этих самых десяти днях с интонацией молодежно-исповедальной прозы 60-х годов, а сейчас, слава богу, уже 80-е, и даже не то, что узнаваем едва ли не с первых страниц скелет вещи — несложно предугадать, что где-то к концу повествования повзрослевший мальчик примет важное для себя решение (в данном случае бросить институт),— беда не в этом. Читал я эту вещь и ждал: ну когда же проклюнется свое, не заимствованное из книг чувство! Гнев. Сострадание. Недоумение. Злость, что ли. Вот ведь в рассказах, которые открывают книгу, особенно в первом — «Бабушкин комод»,— такие обнадеживаю-

щие подробности, сценки, мысли... Характер. Я говорю о бабушке из упомянутого рассказа. Ну чего, казалось бы, она так цепляется за свой допотопный комод? Для чего непременно желает перевезти его в новую квартиру?

Дочка не понимает ее. Сын тоже. А вот внук, от лица которого ведется повествование... Нет, он тоже не понимает, во всяком случае не декларирует своего понимания, но то, *как* он видит и *как* рассказывает об увиденном, свидетельствует о душе, способной сопереживать. «Подперев щеку рукой, она смотрела куда-то вдаль, хотя вокруг были только грязноватые стены». Надо было подметить в спешке и нетерпеливости и нетерпимости молодости этот отсутствующий взгляд, надо было разобрать едва слышное: «Да... Вот не угадаешь». Герой Яхонтова сумел — и разобрал и подметил. Это вселило желание читать книгу дальше. Желание и надежду на радость твоего, читательского, соучастия в живых и разных человеческих судьбах.

Рассказы такую надежду не только вселяют, но и во многом оправдывают. «Заведи кошку», «Воздух весны», «Свидание в декабре»... Мне симпатична их мягкая интонация. Автор то улыбается вместе со своими героями, то грустит с ними, но не спешит. Это очень важно: не спешит. Вынести приговор, осудить, оправдать... И это доброжелательное внимание к персонажу передается читателю. Вероятно, именно поэтому с таким внутренним протестом встречаешь повесть «Плюс минус десять дней», торопливую и по исполнению и, главное, по осмыслению жизненного материала. Это ранняя вещь А. Яхонтова, и она, наверное, уместна в дебютной книжке, поскольку, соседствуя с рассказами и особенно повестью «Светофор. Цвет — желтый», наглядно демонстрирует и писательский и человеческий рост автора.

Герой этой последней повести чувствует, больше того — осознает, что помимо него на свете есть множество других людей. Других — вот главное. Например, собственный его дед. «Интересно, как там, в прошлом, ему будущая жизнь рисовалась? И мог ли он себе такое представить: сидит — старый, слабый, тело непослушное, а напротив — внук. Странно это — откуда внук, если он недавно сам таким был?» И дальше пронзительное: «В дверях я оглянулся. Сердце сжалось — такого одинокого, маленького я его оставлял».

Это из счастливо завершающей книгу повести «Светофор. Цвет — желтый». Напряженная, нервная проза, срывающаяся порой на крик, порой на скороговорку. Но это крик взаправду почувствовавшего боль, это скороговорка сегодняшнего нашего ритма. Не всегда легко остановиться, вглядеться, понять. Но герой старается. «Вот мы с тобой сейчас едим эти блинчики с мясом, а ведь приготовили их вон там,— он показал за перегородку.— Вот их работа и есть для нас в настоящий момент изнанка жизни»,— на что герой-рассказчик: «Легко жить, если в кухню не заглядывать».

А. Яхонтов такой легкости не хочет ни для себя, ни для своих героев. И что с того, что покамест скрыты от их глаз таинства кухни? Чувства реагируют на окружающий мир, и реагируют остро, больно, а это самое важное. Сесть же за стол и не спеша разобраться во всем поможет время. Это первая книга Андрея Яхонтова, и она лучшими своими вещами свидетельствует о его несомненном праве на писательское слово о жизни.

Руслан Киреев.

★

АЛЕКСАНДР БАЛИН. Поздняя звезда. Стихи. М. «Советская Россия». 1980. 176 стр.

Хочется,
Чтоб жизнь была хорошей
У тебя и у меня,—
Вот и терпишь под нелегкой ношей
У кузнечного огня.

Хочется, чтоб жизнь была прекрасной
После нас с тобой,—
Вот и веришь: вовсе не напрасный
Этот вечный бой.

Жизнь...
Она не жалует, не хвалит,—
Все равно — мила!
Жаль, что ненаглядной нам не хватит
Сделать все дела.

Это программное стихотворение А. Балина, как, впрочем, и все его стихи, построено на реальности. После войны он в течение ряда лет работал в кузнечном цехе одного из знаменитых московских заводов. На лице поэта два отсвета. Вот этого кузнечного огня и еще отблеск боя, разрывов зенитных снарядов, вспыхнувшего десантного корабля, когда «нас рожал ночной бомбардировщик» «и — трещали обрывные фалы, пуповиной рвались возле люка» (для несведущих — речь идет о парашютном прыжке с принудительным раскрытием). Обилие подробностей десантной службы характерно для поэта. Еще бы! Ведь он юнцом попадает в столь необычный, невероятный мир.

Вот из «Оды обмоткам»:

При динамическом ударе,
Бывало, сапоги слетали
С сержантов,—приземлись босым!
А я глядел на вздутый купол
И ласково обмотки щупал
Под милым дождичком косым.

Динамический удар — это сильнейший рывок в момент раскрытия парашюта. И упоминаемые в других стихах симоновские противотанковые ружья, и парашютно-десантные мягкие мешки, и грудная перемычка — детали поистине уставной точности.

Все это близко и дорого поэту, и, однако же, это только фон. Главное для А. Балина сама армия, фронтовое товарищество, постоянная, неотпускающая память о погибших. Острое ощущение жизни и того, что не будет нас, а жизнь будет продолжаться. Разумеется, это не ново, но здесь *лично* и потому все таки ново.

Поэт умеет сказать сильно, резко, как принято профессионально определять — пронзительно. Вот о маленьком танке-амфибии:

Наступать, уходить буераками
По обилию ягодных дней,
Чтоб брусника взрывалась под
траками.
А на мине взорваться — поздней.

Последняя строка действительно как взрыв.

Или совсем другое — о жаворонках:

Вот опять нас посетили,
Крылышками машут:
«Улетали — молотили,
Прилетели — пашут».

Много стоит за этими строчками.

В лучших стихах А. Балина перед нами предстает живая неприкрашенная жизнь, обычная и в то же время редкостная, героическая, как жизнь всего того поколения, к которому принадлежит поэт. Кровная причастность к своему времени и естественное владение стихом — как оружием в бою, как стропами в полете.

И в заключение еще четыре строки А. Балина:

Таскать винтовку легче,
Чем пулемет ручной...
Взвалили мы на плечи
Судьбу страны родной.

Константин Ваншенкин.

★

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. Избранное. Сценарии. Стихи и песни. Разрозненные заметки. М. «Искусство». 1979. 407 стр., 24 л. иллюстраций.

Труд сценариста особый: его продукция, являясь видом литературного творчества, служит основой, даже сырьем, другому искусству — искусству кино. Поэтому, видимо, литературная критика, не желая вторгаться во владения киноискусства, скромно умалчивает о публикациях киносценариев и их авторах, а кинокритика чаще всего лишь упоминает имя сценариста, рецензируя фильмы.

Однако сценарии, вобрав в себя конкретность и емкую немногословность киноязыка, элементы драматургии, рассказа и повести, вошли в литературу новым, синтетическим жанром — повестями для кино. И сегодня литература немыслима без произведений А. Довженко, А. Володина, Е. Габриловича, В. Шукшина.

По мере выхода в свет произведений кинодраматургов литература обогащается новыми, ранее принадлежавшими только кино именами. Последним по времени приобретением литературы стал томик «Избранного» Геннадия Шпаликова.

Фильмы «Мне двадцать лет», «Я шагаю по Москве», «Ты и я» знает каждый. Многим известны имена режиссеров, их поставивших. Популярность Никиты Михалкова, Алексея Локтева, Николая Губенко, Станислава Любшина началась именно с этих лент. Но мало кто за пределами литературно-театральных кругов знает безвременно ушедшего от нас Геннадия Шпаликова.

Читая киноповести «Мне двадцать лет» и «Я шагаю по Москве», ловишь себя на мысли, что за литературным текстом почему-то не встают, не всплывают в памяти кадры фильмов. И хотя в тексте почти все как в фильмах, но в фильмах герои заслонили, «спрятали» Шпаликова. В книге читатель и автор с глазу на глаз.

Пять киноповестей, вошедших в сборник, воспринимаются как единая история, рассказанная в высшей степени личностно. Течение повествования порой прерывается уточнением: вот этой подробности «герой не видел». Или замечанием: «Дальше автор попробует вести эту историю, насколько получится, от имени Ксени». Внимание рассказчика то и дело привлекают мелькающие лица, случайные уличные сценки. В этих эпизодах неизменно улавливается нравственный климат времени, его неповторимость, его поэзия. В каждом произведении Г. Шпаликова Москва не просто место действия, а действующее лицо, образ живой и дышащий.

Герои произведений Шпаликова живут напряженной духовной жизнью, ежечасно решают для себя серьезные нравственные проблемы, во многом унаследованные ими от отцов, погибших на фронте.

Солдаты, не вернувшиеся с войны, живут в прозе Г. Шпаликова бок о бок с сегодняшними героями, оставшись навсегда девятнадцатилетними.

Пронзительное чувство единства с жившими до нас на этой земле, с живущими сейчас рядом и будущими жить после нас людьми, удивительная способность Г. Шпаликова воспринимать чужую радость и боль как свою собственную объединили в одной книге вещи, казалось бы, несовместимые — киносценарии и стихи, настроением, интонацией предельно близкие к внутреннему строю сценариев. Поэтический дар Геннадия Шпаликова раздвигает жанровые рамки произведения, пробуждая в читателе те чувства и мысли, которые и должно пробуждать истинное произведение искусства.

Я. Сидоров.

★

Р. ФАЙНБЕРГ. Виктор Конецкий. Очерк творчества. Л. «Советский писатель». 1980. 263 стр.

Виктор Конецкий, книги которого широко известны у нас да и во многих других странах, сначала стал моряком, а уж потом писателем. В одном из интервью, отвечая на вопрос корреспондента журнала «Морской флот» о своей профессии, он сказал: «Возможно, не будучи моряком, я бы все же стал писателем. Но далеко не всякий писатель всю жизнь верен еще какой-то другой профессии. Моя судьба сложилась иначе, и я остаюсь профессиональным моряком по сей день». В его жизни тесно сплелись две эти профессии, две биографии, что во многом и определило проблематику и поэтику его творчества. Это хорошо показано в монографии Р. Файнберг.

О Викторе Конецком писали много. Много спорили о природе и особенностях его дарования. В пылу полемики, случалось, бросали писателю несправедливые упреки (автор монографии в спокойной манере и очень доказательно отводит их). Но то были выступления, связанные обычно с появлением новой книги Конецкого; исследование пути, пройденного талантливым прозаиком за четверть века работы в литературе, предпринято впервые.

Автор ранее созданных книг о Константине Треневе и Юрии Германе, Р. Файнберг в новой работе внимательно прослеживает творчество Виктора Конецкого от первого рассказа «Капитан, улыбнитесь», за кото-

рый автору порядком досталось в литобъединении и который, по признанию самого Конецкого, он переписывал двадцать два раза, до «Путевых портретов с морским пейзажем» и «Вчерашних забот», увидевших свет во второй половине 70-х годов.

Особое внимание Р. Файнберг, естественно, уделяет идейно-эстетическому анализу автобиографической трилогии Конецкого — книгам его путевой прозы «Соленый лед», «Среди мифов и рифов», «Морские сны». Первая книга этого «романа-биографии», «романа странствий» стала переломной в творчестве писателя («Пожалуй,— замечает автор монографии,— с этого времени появился в литературе сегодняшний Конецкий»).

Нравственные мотивы наших поступков (такие категории, как честь, совесть, справедливость, человечность, верность долгу, обостренное чувство ответственности за себя и за других), замеченные читателями и критикой уже в первом сборнике рассказов Конецкого «Сквозняк», стали едва ли не главными в поздней его прозе. Эта проза не только «производственная», изображающая нелегкую морскую работу. Она в то же время и проза воспитания, показывающая процесс духовного, нравственного возмужания героя. И это в ней неразделимо. «Трудная и опасная морская работа,— читаем мы в монографии,— из эффектного, полного драматических ситуаций фона повествования превращается для писателя в средство проверить характер, выявить нравственный «заряд» человека, поставить его перед необходимостью сделать для себя решающий выбор». Совесть — вот чем диктуется выбор! Этот мотив все настойчивей звучит в книгах В. Конецкого. Не в этом ли следует искать объяснение того факта, что интерес читателя к его произведениям не увядает, а, напротив, заметно усилился в наши дни? Творчество В. Конецкого — одно из зримых свидетельств того, как отозвалось в литературе растущее внимание нашего общества к вопросам морали. Читателя привлекает исповедальный характер прозы В. Конецкого, стремление писателя разобраться в пережитом, осмыслить его.

Несомненное достоинство исследования Р. Файнберг видится мне в том, что, обстоятельно анализируя проблематику, содержание произведений, она показывает и то, как, в какой манере они написаны, подробно характеризует их стилистику. Говоря, например, о монтаже как об одном из главных приемов в прозе В. Конецкого, она подчеркивает: «Сила писателя — в его способности сопрягать разные временные планы, разные срезы жизни, малое — с большим, юмористическое — с трагедийным, иронию — с лирикой...» И добавляет: «Сам он считает, что научился монтажу, работая для кино. Пожалуй, он заблуждается. Монтаж — одна из составляющих таланта Конецкого, связанная с особенностями его мышления, его видения мира».

Интересны приведенные в монографии внутренние издательские рецензии на ранние произведения В. Конецкого, написанные Верой Пановой, Юрием Германом, Львом Успенским. Известные писатели внимательно, с бережным отношением к молодому автору прочитали то, что вышло из-под его пера, и дали начинающему прозаику путевку в литературу. Не меньший интерес представляют и выдержки из хранящихся в личном архиве писателя писем к нему Юрия Казакова, Виктора Шкловского, Николая Атарова, Вениамина Каверина, Марка Галлая...

Монография Р. Файнберг содержит много тонких и, как правило, точных наблюдений, помогающих глубже понять природу и самобытность дарования писателя.

В. Косолапов.

★

ДМ. МОЛДАВСКИЙ. Товарищ Смех. Лениздат. 1981. 344 стр.

Автор этой книги водил знакомство с необыкновенными людьми: Леонидом Соловьевым, автором блистательного романа о Ходже Насреддине, лукавым сказочником Евгением Шварцем... О жизни этих людей много знает и многое рассказывает читателю Дм. Молдавский в книге с примечательным названием «Товарищ Смех».

Дм. Молдавский давно и внимательно занимается собиранием и изучением сатирического фольклора и вообще сатиры как одного из литературных родов, в рассматриваемую книгу смогла вместиться только небольшая часть его размышлений и наблюдений над жизнью «смехового поля» русского народного творчества. Наука для Дм. Молдавского, как хорошо видно при чтении его работ, не отвлеченное умствование, особенно наука о народном слове — фольклористика. Это становится еще более очевидным, когда знакомишься с первым разделом книги — обширным очерком «Русская народная сатира». Он начинается с такой л и ч н о й ноты, что сразу понятно: все, что написано дальше, все страницы, посвященные истории жанра, его смысловым, образным и композиционным особенностям, вся эта длительная, скрупулезная работа — она-то и есть для автора смысл, цель жизни. И о чем и о ком бы ни писал Дм. Молдавский: о сказочнике Илье Богатыреве или о работе Маяковского в «Окнах РОСТА», о русском сатирическом лубке или о фольклоризме в гоголевском творчестве, о бессмертном Ходже Насреддине или на удивление живучем Остапе Бендере — везде чувствуется его вкус к смешному, его страстное желание доказать и специалисту и широкому читателю (так определен адрес книги в издательской аннотации), что смеховое богатство русской и советской литературы неисчерпаемо, что оно, уходя своими корнями в устное поэтическое творчество, содержит в себе мощнейший заряд народного оптимизма, здоровый и светлый взгляд народа и рожденных им творцов на свою историю, на свой быт и свое бытие.

Осведомленность Дм. Молдавского в различных сферах народного творчества служит ему добрую службу, позволяя находить фольклорные истоки и связи там, где невнимательному взгляду не видно ничего, кроме хрестоматийных строк. Так, обнаруженная им связь между изображением солнца на одном из русских лубочных листов и образом солнца в стихотворении Маяковского «Необычайное приключение...», кроме

того что сама по себе очень интересна, позволяет увидеть крайне любопытные контакты Маяковского с народным искусством.

Нельзя сказать, конечно, что все в этой книге бесспорно и несомненно. Может быть, излишне часто подчеркивает Дм. Молдавский то положение, что основной сатирический удар народного творчества направлен на господствующий класс; оно так, но ведь умение посмеяться и над собой всегда было первейшим признаком духовного здоровья, и в русском фольклоре это выступает со всей очевидностью. Требует, вероятно, дальнейшей разработки и уточнения гипотеза о происхождении имени Вий у Гоголя. Да в живой, продолжающейся работе иначе и быть не может.

Автор знал Леонида Соловьева, но, прочитав книгу, легко представить себе, что он был знаком и с самим Насреддином. Такой тонкий знаток и ценитель юмора, пародии (литературного шаржа, по его определению), шутки, меткого словца, как Дм. Молдавский, был бы, думается, желанным гостем на пиру легендарных остроумцев. Но и в реальной жизни Дм. Молдавскому очень понадобится его чувство юмора, когда он обнаружит, какое количество опечаток и редакторских ляпов рассыпано по страницам его книги. Смех смехом, но эта книга о смехе требовала к себе очень серьезного отношения издательских работников.

Но так или иначе, поздравляя автора с шестидесятилетием и желая ему, как водится, творческих успехов, скажем вместе с поэтом: «Итак, да здравствует юмор! Он — мужественный человек».

Галина Гордеева.

Чебоксары.

★

Ю. И. КАГАРЛИЦКИЙ. Шекспир и Вольтер. М. «Наука». 1980. 111 стр.

«Шекспир и Вольтер» — само название книги Ю. Кагарлицкого освящено более чем вековой литературной традицией; созвучие этих имен устойчиво зафиксировано в памяти культуры нового времени, хотя нередко отмечался и их диссонанс. Для Пушкина и Стендаля, Гёте и Гюго, для всех тех, кто расслышал могучую музыку Великой французской революции и претворял новый исторический опыт в художественном творчестве, имя Шекспира было боевым кличем в битвах с классицизмом. Уроки Шекспира в равной мере оказались необходимы романтизму и реализму XIX столетия, их впитывали жадно и полемично — через века.

Ю. Кагарлицкий тонко трактует диалектику художественного развития, сложные связи традиций, новаторства, парадоксальную преемственность культур различных эпох. Начало пути творений Шекспира в мировую культуру он по справедливости усматривает в полемике Вольтера с шекспировским наследием. Европейской славой в XVIII веке (а отчасти и в последующих столетиях) Шекспир, как полагает исследователь, обязан Вольтеру, хотя великий француз начал писать о великом англичанине после Байе, Беат-Луи Мюра и Прево. «Голос Вольтера был слышнее голоса любого из его современников». Дело не только в том, что поначалу Вольтер, упрекнув уроженца Стратфорда-на-Эйвоне за отсутствие хорошего вкуса и полное незнание классицистских правил, выше своих предшественников оценил его божественный гений. Автор исследования, анализируя перемены в вольтеровском взгляде на Шекспира начиная с англофильских «Философских писем» 1733 года, приходит к неожиданному, но резонному выводу: чем резче Вольтер критиковал создателя «Гамлета» и «Короля Лира», тем сильнее возрастал авторитет Шекспира на европейском континенте в XVIII веке. Быть оппонентом затворника из Ферне уже само по себе значило немало — на покойного английского драматурга он же нападал так искренне и истово, что возводил силу воздействия Шекспира на умы и сердца своих современников в высочайшую степень. Не без помощи (косвенной) Вольтера Шекспир все более завладевал умами и в конце концов оказался, по справедливому замечанию Ю. Кагарлицкого, одним из самых популярных иностранных драматургов во всех театральных культурах мира. «Да и сами слова «иностранная классика» не очень к нему применимы — он настолько уже вошел в сценическую традицию и культурный обиход всех народов, что давно уже принадлежит не одной только стране, его породившей, но и всему человечеству».

Ю. Кагарлицкий выбрал вполне оригинальный ракурс исследования проблемы — тема «Шекспир и Вольтер» стала отправной точкой для размышлений о взаимосвязях и взаимоотталкиваниях английской и французской культур, о проблеме трагического в эпоху Просвещения, о путях формирования просветительской драмы, наконец, о том, какие выводы делали современники Вольтера — такие, например, как Лессинг, Дидро, Баретти,— из вольтеровского ниспровержения Шекспира. Аргументированно и остроумно, обнаруживая истинный драматизм просветительского мышления, автор выдвигает еще один парадоксальный тезис: «Вольтер-драматург боролся за преобразование, приближение к жизни и тем самым возрождение классицистской трагедии. Вольтер-просветитель создавал условия, при которых само существование трагедии делалось невозможным». Просвещение с его еще не скомпрометированной верой в прогресс чуждо трагическому мировоззрению — отсюда определенная узость, ограниченность восприятия и античной традиции и традиции елизаветинского театра.

В своей новой работе Ю. Кагарлицкий, специалист по эпохе Просвещения, не скрывает личные пристрастия; гением Шекспира он словно проверяет сложное движение идей в культуре XVIII века, бережно выявляя все непреходящее в его наследии, все то, что вошло в нынешнюю художественную практику. В этой историчности взгляда на искусство — одно из важнейших достоинств книги. В глубинном понимании того, что искусство XX века наследует различным эпохам, новаторски вовлекая в творческий обиход полярные некогда эстетические идеи, ее актуальный, современный смысл.

М. Швыдкой.

★

А. И. ИОЙРЫШ, И. Д. МОРОХОВ, С. К. ИВАНОВ. А-бомба. М. «Наука». 1980. 423 стр.

Атомные электростанции и... пепел Хиросимы — таким предстает сегодня атомный опыт человечества. Возможность, используя новый энергетический источник, решить многие глобальные проблемы нашего времени — или превратить всю Землю в безжизненное небесное тело. Как же возник перед человечеством этот страшный, поистине апокалипсический выбор?

В основе этой книги, повествующей о событиях, связанных с открытием атомной энергии, созданием атомного и термоядерного оружия,— мемуары, подлинные документы, сообщения печати. «А-бомба» отличается наибольшей полнотой и охватом событий по сравнению со многими другими книгами на эту тему, появившимися у нас пока. Авторы удачно используют метод портретирования, то есть выборочного изображения самого главного. Читателя ведут в лаборатории ученых и кабинеты государственных деятелей, на атомные предприятия и полигоны... Мы присутствуем при мучительных раздумьях и спорах крупнейших физиков, понимавших, что ни одно открытие не ставило так вопрос о путях использования достижений человеческой мысли, не поднимало таких проблем моральной ответственности ученых.

«По-разному относились к своим исследованиям в области атомной энергии ученые-атомники различных стран. Так, И. и Ф. Жолио-Кюри думали в первую очередь о развитии любимой науки, о самом притягательном в ней — открытии нового. Р. Оппенгеймер в то время, когда его страна воевала, все свои силы отдавал созданию атомной бомбы... Кончилась война; стал знаменитым американец Э. Теллер: он думал уже о супербомбе, рассчитывая с ее помощью обеспечить США мировое превосходство.

По-иному относились к исследованиям в области атомной энергии советские ученые. Только угроза ядерного нападения со стороны империалистических государств, угроза безопасности страны заставила советских ученых форсировать создание атомной бомбы» — таково резюме авторов книги.

До сих пор в исторической литературе на Западе идет спор о том, почему гитлеровская Германия не смогла сделать атомную бомбу. Одни относят это за счет нежелания или неумения немецких физиков, другие видят причину в просчетах гитлеровской бюрократии и самого Гитлера, запретившего научные исследования, которые не давали бы быстрого военного эффекта. В книге «А-бомба» показывается, что причина совсем в ином. Мужественное сопротивление советского народа в Великой Отечественной войне, разгром немцев под Москвой и Сталинградом не позволили фашистам использовать промышленный потенциал для создания атомной бомбы.

Подвиг советских ученых во главе с И. В. Курчатовым, мирные усилия и инициативы советского народа предотвратили на многие годы атомные пожары. Но их угроза по-прежнему велика. Об этом со всей откровенностью и ответственностью было сделано предостережение на XXVI съезде нашей партии. Съезд отметил, что весь мир должен быть информирован о тех губительных для человечества последствиях, к которым привела бы ядерная война.

Книга хорошо и своевременно служит этой цели. В ней есть страницы, которые нельзя читать без душевного смятения. Это не только сцены гибели Хиросимы и Нагасаки, которые почти репортерски даны в нескольких ракурсах: холодная расчетливость политиканов, умелая деловитость летчиков, ужасающие рассказы очевидцев катастрофы. Это и страницы, посвященные трагедии тех жителей, которые, казалось, уцелели, но нашли свою атомную смерть через многие годы. Это и рассказ о рыбаках с японской шхуны «Фукурю мару», на которых упал серый радиоактивный пепел после испытаний американского ядерного оружия на атолле Бикини в 1954 году. Само существование ядерного оружия, способного уничтожить человечество как биологический вид, противоестественно, как, впрочем, и другого оружия и войн вообще.

Авторы много размышляют о роли науки в современном мире, справедливо подчеркивая, что одни и те же научные знания могут служить разным целям. В СССР развитие атомной науки широко направлялось на мирное использование источника новой энергии; уже в 1954 году Советский Союз стал первой страной, построившей атомную электростанцию. В США тем временем одна за другой спускались на воду атомные подводные лодки. В этих условиях наша страна вынуждена была также начать строительство атомных подводных лодок. Но все эти годы — и в книге приведены необходимые документы — Советский Союз предпринимал многочисленные усилия остановить производство атомного оружия и уничтожить его запасы, пока оно еще не расползлось по планете.

Авторы книги говорят нам: сегодня еще мир спасен; будущее его в руках людей. Право на жизнь должно быть обеспечено для всех грядущих поколений.

А. Венгеров,
доктор юридических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Уроки московского восстания. На дорогу. 23 стр. Цена 3 к.

Э. Генри. Профессиональный антикоммунизм. К истории возникновения. Под общей редакцией В. Д. Ежова. 367 стр. Цена 95 к.

Политические партии. Справочник. 351 стр. Цена 90 к.

К. У. Черненко. Избранные речи и статьи. 679 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

З. Богуславская. Посредники. Повести и роман. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Ковальджи. После полудня. Стихи. 87 стр. Цена 35 к.

Б. Можаев. Минувшие годы. Роман и повести. 536 стр. Цена 2 р. 10 к.

У. Рижинашвили. Дом. Повести и рассказы. 239 стр. Цена 75 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Вийон. Лирика. Перевод с фран узского. 174 стр. Цена 75 к.

Из монгольской поэзии XX века. Перевод с монгольского. («Поэзия Востока XX века») 278 стр. Цена 1 р. 30 к.

Т. Курбанов. Избранное. Повести и рассказы. Перевод с туркменского. 366 стр. Цена 1 р. 50 к.

Б. Полевой. Собрание сочинений в 9-ти тт. Т. I. Горячий цех. Повесть. Повесть о настоящем человеке. 527 стр. Цена 2 р. 20 к.

Р. Тагор. Собрание сочинений в 4-х тт. Перевод с бенгальского. Т. I. Стихи. Пьесы. 527 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Твардовский. Избранные сочинения. 671 стр. Цена 4 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Бусыгина. Глоток солнца. Стихи. Предисловие С. Поделкова. 31 стр. Цена 10 к.

С. Лаэк. Избранная лирика. Перевод с пушту и дари. 63 стр. Цена 25 к.

Г. Сафиева. Зеленая колыбель. Стихотворения и поэма. Перевод с таджикского Т. Кузовлевой. 111 стр. Цена 50 к.

И. Черных. Высота неизвестности. Роман. 240 стр. Цена 1 р.

М. Шагинян. Четыре урока у Ленина. 240 стр. Цена 50 к.

«СОВРЕМЕННИК»

Ю. Бондарев. Горячий снег. Роман. 383 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ф. Таурин. На Лене-реке. Роман. 477 стр. Цена 2 р.

Д. Хренков. А был он лишь солдат... Документальное повествование о жизни и творчестве Сергея Орлова. 207 стр. Цена 50 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Гончаров. Летающий мальчик. Поэма. 125 стр. Цена 70 к.

С. Полетаев. История двух беглецов. Волшебная трубка капитана. Повести. 238 стр. Цена 65 к.

О. Романченко. Властитель Синодала. Страницы биографии А. Чавчавадзе. Послесловие С. Лекишвили. 191 стр. Цена 45 к.

А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой...» Стихи. 32 стр. Цена 10 к.

В. Фролов. В двух шагах от войны. Повесть. 157 стр. Цена 2 р. 10 к.

«ПРОГРЕСС»

Б. Вогацкий. Дуэт с Амелией. Повесть. Перевод с немецкого. 342 стр. Цена 1 р. 30 к.

Где-то есть сердце... Современная проза Тамилнада. Перевод с тамиль. 367 стр. Цена 2 р. 10 к.

Из современной болгарской поэзии. Перевод с болгарского. 447 стр. Цена 1 р. 80 к.

Нгуен Динь Тхи. Избранное. Перевод с вьетнамского. 606 стр. Цена 4 р.

З. Посмыш. Цена. Роман. Перевод с польского. 183 стр. Цена 1 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Дом под чинарами. Составитель М. Лохвицкий. Тбилиси. «Мерани». 284 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Дракохруст. Притяжение. Стихи и переводы. Хабаровское книжное издательство. 77 стр. Цена 30 к.

Живая вода. Советский рассказ 20-х годов. («Однотомники классической литературы») «Московский рабочий». 464 стр. Цена 2 р. 30 к.

Камчатка. Литературно-художественный сборник. Петропавловск-Камчатский. Дальневосточное книжное издательство. Камчатское отделение. 199 стр. Цена 85 к.

Ф. Халваши. Мольба. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 190 стр. Цена 75 к.

Главный редактор С. С. Наровчатов

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 26/V 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 15—29/VII 1981 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 27,25 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 10618. Тираж 350.000 экз. Зак. 1806.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03327

Цена 70 коп. 0.60

70636